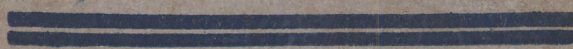


НОВОБЫТЪ
МИТРО

НОВОБЫТЪ МИТРО

1950

1



1950

Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXVI

№ 1

Январь 1950 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
МИХ. ЛУКОНИН — <i>Ленни</i> . Стихотворение	1
АЛЕКСЕЙ СУРКОВ — <i>Четыре стихотворения</i>	3
ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ — <i>Встреча года</i> . Стихотворение	7
ВЛАДИМИР ДОБРОВОЛЬСКИЙ — <i>Женя Маслова</i> . Роман	8
И. РЯДЧЕНКО — <i>Сверстник</i> . Стихотворение	240
С. МАРШАК — <i>Из Роберта Бернса</i> . Переводы. Предисловие М. Морозова	241

КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

ВИКТОР ВАЖДАЕВ — <i>Гроповедник космополитизма</i> . Нечистый смысл «чистого искусства» Александра Грина	257
--	-----

Книжное обозрение

<i>Литература и искусство</i>	273
-------------------------------	-----

Л. Сейфуллина. Роман о сибирской деревне. — Зоя Кедрина. В творческой разведке. — Ц. Солодарь. Голос честных людей Америки. — Е. Ковальчик. Новый роман А. Коптяевой. — Н. Соколова. Судьба таланта. — Ю. Капусто. Книга старшего друга.

<i>История. Международные отношения. Военная наука</i>	286
--	-----

В. Минаев. Американский легион — штурмовой отряд реакции. — Юр. Корольков. О чём же говорят немецкие генералы? — В. Мочалов. В новой Болгарии. — Ф. Шамагонов. Ватикан на службе Уолл-стрита.

<i>Экономика и право</i>	295
--------------------------	-----

Член-корреспондент Академии наук СССР А. Трайнин. «Социализм строится на труде».

<i>Техника и математика</i>	296
-----------------------------	-----

В. Охотников. Путешествие в невидимый мир. — А. Морозов. Сборник «Ломоносовские чтения». — Б. Ляпунов. Творцы русского ракетного оружия. — Научные сотрудники Львовского отдела Института математики Академии наук УССР Е. Рвачёва и Д. Мейзлер. Муза Болтливости.

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Сельское хозяйство</i>	304
И. и Л. Крупениковы. Завтрашний день наших степей	
<i>География</i>	306
Доктор географических наук Эд. Мурзаев. Книга исследователя Алтая.— А. Иглицкий. Русские путешественники в Африке.	
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ. Декабрь 1949 года	311

ЛЕНИН

МИХ. ЛУКОНИН

★

1

В открытый букварь
я глядел не дыша
на рисунок,
который любил:
романтике жизни

меня учил

Ленин у шалаша.
В юности

Ленинской чистотой
я вызван и вдаль и ввысь.
Ленин меня наделил мечтой,
Ленин сказал: учись!
Мы формулу поколений
помнили, как закон:
быть такими, как Ленин,
бороться и жить, как он!

В твёрдую память
жизни моей —

навсегда внесены —
ели синие у стены,
ступенчатый мавзолей.
В каждом деле моём, навек,
в сердце вошёл —

живой,
чуть улыбающийся человек,
с мудрою головой.

2

Ещё пушистого покрывала
нет и следа,
в Зимней Канавке заночевала
летняя вода.
Угол Невского и Садовой —
первый удар свинца,
Ленинским обжигающим словом
заряжены сердца.
Зимний

нашими взят штыками,
трясутся временщики.

Плещется
 первое наше знамя
 у матросской щеки.
 Смольный. Комната восемнадцать.
 Всю ночь Ильичу
 Над картой боевою склоняться...
 Сталин —

 плечом к плечу.
 Бегают часовые стрелки
 от минут до веков,
 от первой уличной перестрелки
 до наступленья полков.
 Мы бессмертны,
 и мир наш молод,
 нам здание счастья класть.
 Накрепко спаяны

 Серп и Молот.
 Здравствуй,
 Советская власть!
 К коммунизму
 проносит знамя
 советский народ.
 Ленинское наследство с нами —
 свобода из рода в род!

3

Боец Китая рядом со мной,
 мы с ним разговор ведём.
 Сегодня
 он поедет домой
 врага дожигать огнём.
 Я вслушиваюсь
 в незнакомую речь
 и опасуюсь того,
 что переводчик не сможет сберечь
 в памяти

 слов его.
 Я перевода ждать не могу
 и, забегая вперёд,
 по блеску глаз,
 по улыбке губ
 делаю перевод.

В мире
 ходят без всяких виз
 солнечные слова:
 Ленин.

 Сталин.
 Социализм.
 Советский Союз. Москва.
 Как в бой

 ведёт их
 Мао Цзе-дун,
 рассказывает он неспеша,
 а сам
 в тетради
 рисует звезду,

не отрывая карандаша.
 Умело звёзды рисует он.
 Горя под его рукой,
 лучатся
 светом на пять сторон
 звёзды —
 одна к другой...
 — Товарищ Ленин! —
 я слышу вдруг, —
 Ильич! — говорит он мне,
 и тянется взором
 китайский друг
 к Ленину
 на стене.
 — Ленин! —
 пылают его зрачки.
 Мы поднимаемся с мест.
 Я вижу
 в полёте его руки —
 Ленинский вечный жест.

4

Красная площадь,
 который час
 жизни моей сейчас?
 Утро встречает отчизна.
 В работах её сыны.
 Заревом коммунизма
 лица озарены.
 Дымкой морозной вспенен,
 рассвет начинает путь.
 Встал бы
 товарищ Ленин
 на это утро взглянуть!
 Ходит, как разводящий,
 утренний почтальон.
 Звякнул почтовый ящик.
 Радостен этот звон:
 «Правда» на свет явилась,
 ходит по всей земле.
 Она
 в этот час
 раскрылась
 у Сталина на столе.
 О выполнении плана
 рассказывают подряд —
 Бухарест и Тирана,
 София
 и Ленинград.
 В сводке труда и славы
 влиты в одну строку —
 трудящиеся Варшавы
 с тружениками Баку.

Предвидел он это утро
и завтрашний день работ.
Спокойно глядел
и мудро
в пятидесятый год.
Руку —
в карман жилетки,
прищуриваясь слегка,
глядел он,
сквозь пятилетки,
на будущие века.
Глядел он
с отцовской лаской
на наш счастливый удел.
На отблеск звезды китайской
Ленин
тогда
глядел.
Он знал наперёд столетья,
он
в коммунизме жил,
когда,
уходя в бессмертье,
веки свои смежил.

5

Красная площадь,
который час
жизни моей сейчас?

Стоит январь новогодний,
снег слетает к земле.
Сталин —
Ленин сегодня —
подходит к столу в Кремле.
Победы шумят над нами,
работы гудят с утра,
нашей свободы знамя
бурные мчат ветра.
Идём мы
за партией следом,
нам путь указал на века
Ленин — с броневика,
Ленин — с трибуны съезда,
Вкованы
Ленинские черты
в партию и коммунизм.
Сталин —
бессмертье его мечты,
его великая жизнь.

1947—1949.



ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ

★

«Гражданину мира»

*Человек без родины —
Соловей без песни.*

Я помню, как на зальцбургском вокзале,
Сквозь зубы, медленно цедя слова,
Вы, сверху вниз взирая, мне сказали,
Что вы Иван, не помнящий родства;
Что в нашем мире, смутном и усталом,
В гражданстве мира — выход для людей;
Что лишь пигмей довольствуется малым,
А вы — пророк космических идей;
Что ум людей, ленивый и растленный,
Бои́тся взлёта к звёздам, в высоту...
Ну что ж, почтенный «гражданин вселенной»,
Давайте говорить на чистоту.
Вы ходите, как тени, где-то рядом
И в будущее мира, как во тьму,
Глядите тупо, посторонним взглядом,
Брезгливо равнодушны ко всему.
И рыбе сердце гневно не забьётся,
Когда чужак глумится над страной.
Испив воды из чистого колодца,
Скверните вы его своей слюной.
Когда на мир опять наводят пушки,
Тревога вашу душу не сверлит —
К чему вам отрываться от кормушки?
Ведь вы нейтральный! Вы космополит!
Сквозь ваше блудословье краснобаев,
Придумавших отраву простакам,
Мы ясно слышим злобный рык хозяев,
Тех, кто хотят весь мир прибрать к рукам.
Вам всё равно, ландскнехтам и бродягам,
Какой над вами реет в небе флаг.
А мы росли под нашим красным флагом,
Мы пронесли его в огне атак.
Мы радостно вручили наши жизни
Большой судьбе своей родной страны.
Неугасимой верностью отчизне
Мы в мире неустроенном сильны.
Из полночи безвременья недалней,

В тот светлый час, в тот незабвенный год,
 Судьбу своей земли многострадальной
 Мы подняли до солнечных высот.
 Горячей кровью многих поколений
 Святая та земля окроплена.
 В дни тяжких бед и радостных свершений
 Нам бесконечно дорога она.
 Где б ни ходили мы по белу свету,
 Зов Родины звенит у нас в крови.
 Мы любим жизнь и любим землю эту —
 И не стыдимся мы своей любви.
 Такой любви ещё земля не знала.
 Её огромность не вместят слова.
 Мы в океан интернационала
 Вливаемся, не позабыв родства.
 Бесстрашно отстояв под Сталинградом
 И судьбы мира и отцовский дом,
 Мы с чистым сердцем и открытым взглядом
 Навстречу человечеству идём.

Шираз

Жёлтый лев на фуражке сарбаза.
 Тень сарбаза плывёт вдоль стены.
 Знаменитые розы Ширази
 Увядают, жарой спалены.

Позолотой одев минареты,
 Солнце медленно падает вниз.
 В этом городе жили поэты
 Саади, Кермани и Хафиз.

А теперь в этом городе старом,
 Что от пыли веков поседел,
 Проза жизни шумит над базаром
 Суматохой обыденных дел.

Как среди этой прозы жестокой
 Нежность речи певучей сбережь,
 Если бархатный говор Востока
 Заглушает английская речь;

Если нищий народ бессловесен,
 А в богатых домах, напоказ,
 Вместо старых, задумчивых песен
 Ржёт, скрежещет, мяукает джаз;

Если рыжим заморским банкирам
 Льва и Солнце стащили в заклад;
 Если нынешним Ксерксам и Кирам
 Сшит в Нью-Йорке ливрейный наряд..

Старый город, воспетый в поэмах,
 Дремлешь ты, о прошедшем скорбя.
 Благодетели в пробковых шлемах
 Опоили отравой тебя.

От недоброго жадного глаза
Осыпаются с роз лепестки.
И к могилам поэтов Шираза
Из пустынь подступают пески.

На Тегеранском базаре

Сюда нужда сгоняет нищий люд
Из городов и глинобитных сёл.
Рычат авто, трясёт горбом верблюды,
И, оскорбляя слух, ревёт осёл.

Спит дервиш, опираясь на костыль.
Кожевник руки погружает в чан.
Библейский ветер намедает пыль
На пробковые шлемы англичан.

Их обуви тяжёлой стук тупой
Не первый год привычен слуху здесь.
Они, как броненосцы, над толпой
Несут колонизаторскую спесь.

И если вдруг посмеет человек
Хоть слово им сказать наперекор —
Украшенный насечкой гибкий стэк
Взметнётся в воздух и погасит спор

Своей холодной наглостью храним,
Уйдёт обидчик цел и невредим.
А полицейский, лютый к бедняку,
Приложит льстиво руку к козырьку,
Готов разбиться этот «патриот»,
В надежде, что реал перепадёт.

Персидский залив

Трап выбросили за борт с лёгким звоном
В большом пути короткий отдых дан.
Издали дыханием солёным
Пахнул в лицо Индийский океан.

Унылая картина запустенья —
Ни тени, ни травы, ни деревца.
Пески, пески без края, без конца,
Раскалены до белого каленья.

Да две—три мачты над заливом голым,
Да чёрные от зноя рыбаки,
Да в прозелени волн за серым молотом
Нет-нет мелькнут акульи плавники.

И мы, устав от бесконечных странствий,
На перепутье дальнего пути,
Не чаем в этом выжженном пространстве
Живое слово дружества найти.

Но, над корзиной скудного улова,
Груди коснувшись пальцами сухими,
Встаёт рыбак и произносит слово —
Всем бедным людям дорогое имя.

Как братья после долгих лет разлуки.
Мы крепко, крепко жмём друг другу руки.
Пусть этой встрече спутники не рады!
Нам наплевать на их косые взгляды.



ВСТРЕЧА ГОДА

ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ

★

Огни, как дни,
 встают рядами.
Снежок на свет летит шурша,
Стою между двумя годами,
Как на границе —
 не дыша.

И в это строгое мгновенье
Сквозь память чуткую мою
Недели,
 словно отделенья,
Проходят в полковом строю.
Они ступают в хлопьях снега,
Полны труда,
Полны забот...
И целой жизнью человека
Представился мне Старый год.
Чтоб на земле прожить не даром
Большую жизнь большевика —
Покрытый бронзовым загаром,
Он медь искал среди песка.
Склонясь над жёсткой целиною,
Где ветром выжжена роса,
Он ставил, путь отрезав зною,
Огнеупорные леса.
Шуршащий колосок пшеницы
Рукой усталую ласкал.
На притаившейся границе
Он век тяжёлых не смыкал.
Всю жизнь он хлопотал о мире,
И за него вступал он в бой
В дипломатическом мундире
И в куртке мастера простой.
Он знал:
 покуда сердце бьётся,
Нельзя замедлить шаг в пути,
И пусть ему не доведётся
Всей жизнью в коммунизм войти
Он знамя нёс своё высоко,
Он время обгонял всегда,
Чтоб в коммунизм
 вошли до срока
Его товарищи — года.

ЖЕНЯ МАСЛОВА

Роман

ВЛАДИМИР ДОБРОВОЛЬСКИЙ

★

У Жени Масловой произошла неприятность. Профессор Яхонтов вежливо дал понять, что совершенно недоволен ходом её полугодовых аспирантских занятий. Как научный руководитель, он потребовал, чтобы она сделала отчёт на очередном заседании кафедры.

Конечно, претензии его справедливы. А вместе с тем обидно. Женя не сидела эти полгода сложа руки. Она занималась, и занималась упорно. Порой ей казалось даже, что она делает успехи.

Женя пришла на кафедру с чувством неуверенности. К тому же заседание на этот раз слишком многолюдно: студенты, по два-три человека от каждого курса, учителя средних школ — преподаватели физики.

Заведующий кафедрой, профессор Деревянко, давно поговаривал о таких широких и многолюдных заседаниях. Можно бы ему повременить со своей затеей. Не особенно приятно делать отчёт в присутствии незнакомых людей. Тем более, не так уж уверенно себя чувствуешь, когда приходится докладывать о вещах сложных и запутанных, а перед тобой учёные, да ещё, как говорится, авторитеты во всесоюзном масштабе.

А Женя привыкла к выступлениям на партийных и комсомольских собраниях, к шумным спорам на заводских оперативках, к «разносам» главного металлурга.

Здесь же — тишина. Деревянко напомнил: регламента нет. Женя может говорить сколько ей нужно. Жарко, ужасно натопили. Открыта форточка; когда Женя, прерывая речь, переворачивает листок с тезисами, слышно, как капает с крыш. Март, голубое небо и облака, похожие на мыльную пену.

Деревянко сидит на председательском месте, курит, изредка покашливает и рукой отгоняет папиросный дым. Лица его Жене не видно.

Доцент Бакеев, как всегда, вертится на стуле, часто поправляет очки в простой металлической оправе и, чуть улыбаясь, глядит то на Женю, то на Деревянко, то в окно, то на соседей. Он тоже курит — жадно, поспешно, поминутно затягиваясь, будто хочет поскорее отделаться от папиросы.

У Яхонтова обиженное выражение лица: он немножко простужен, а форточка открыта. Деревянко ещё в начале заседания сказал ему:

— Закаляйтесь, Илларион Митрофанович. Иначе мы тут друг друга растеряем в этом дыме. Прошу курить по очереди.

Нахмурясь, Яхонтов что-то записывает. Быстро, небрежно, откинув лысую голову назад, почти не глядя на бумагу.

Доцент Гордиевский сидит неподвижно. Вот уже двадцать пять минут говорит Женя, а он всё не меняет позы. В пальто, плечи опущены, руки со сцепленными пальцами — на столе. Он упорно, не отрываясь, разглядывает свои руки.

Рядом с ним заведующая лабораторией Рима ведёт протокол, часто опуская перо в чернильницу и делая кляксы на столе и на бумаге.

Семён Галич, аспирант, как и Женя, ученик Яхонтова, расположился во втором ряду с таким видом, будто слушает не научный отчёт, а симфонический концерт. Он маленький, круглый, весёлый, а глаза — голубые и мечтательные — прикрыты рыжеватыми ресницами. Жене приятно внимание Галича. Он вообще непоседа, постоянно занят общественными делами, говорит быстро, перебивая собеседника, и просто удивительно видеть его сейчас таким сосредоточенным, заинтересованным: за всё время он не обронил ни одного слова, ни одной реплики.

Возле Галича — в напряжённом положении человека, который никак не может понять, о чём идёт речь, — примостился Пересада, аспирант профессора Деревянко. Он в кителе, галифе и сапогах, колючие, коротко подстриженные волосы, красноватое лицо и красноватая, тщательно выбритая шея. Ему на вид лет тридцать пять, хотя университет он окончил, кажется, только в прошлом году. Поступил на первый курс давно — ещё в тридцать четвёртом, но всё никак не мог закончить. Пересада молчалив и замкнут; на кафедре известно, что он отстал от товарищей не по своей вине. Сначала Финская кампания, погром Отечественная война; оглянулся — за плечами уже половина жизни.

В глубине комнаты — студенты. Они чувствуют себя смущённо в не совсем привычной обстановке, сидят тесно, почти все за одним столом, изредка перешёптываются, пересылают друг другу записки.

Из студентов только Черкашин спокоен и деловит. Он — секретарь партийного бюро факультета, и для него заседания кафедры не диковинка.

— Таковы итоги проведённой мною работы, — заканчивает Женя. — В университете мне пришлось нелегко... говорю о методах постановки эксперимента. Я благодарна своему руководителю, профессору Иллариону Митрофановичу Яхонтову...

Яхонтов отложил карандаш и покосился на форточку. Надо бы надеть пальто. Гордиевский молодой, а сидит в пальто.

— Я имею некоторый опыт работы в заводских лабораториях: работала на заводе почти всю войну. Мы тогда много думали над тем, как получить здоровые металлургические слитки и отливки. И я знаю, какое значение для металлургического процесса имеет влияние окружающей атмосферы, влияние газов на металлы. Поэтому я и выбрала себе такую тему для лабораторной работы, решила исследовать некоторые явления взаимодействия азота с железом...

Женя возвратилась на своё место с приятным чувством облегчения. Отчёт сделан и, кажется, неплохо. Во всяком случае, получилось гладко. Больше всего Женя боялась, чтобы её не сбили какой-нибудь репликой с места. Спасибо Галичу: молчал. А то ведь всегда выскакивает с вопросами.

Длинная пауза. Даже Бакеев перестал вертеться и застыл в выжидающей позе. Деревянко устало прикрыл глаза, но сейчас же тряхнул головой и выпрямился:

— Перейдём, товарищи, к обсуждению...

Первым выступил Яхонтов. Говорил спокойно, красиво, делая широкие жесты своими белыми руками.

— В детстве у нас в семье было принято преподносить старшим сёстрам этикие подарки-шутки. Представьте себе огромный пакет, перевязанный цветной бечёвкой и содержащий в себе другой пакет, меньших размеров, который, в свою очередь..,

Дервянко нетерпеливо поморщился. Женя опустила глаза. Она не ждала от Яхонтова ничего приятного. А он продолжал, любуясь своим голосом:

— Одним словом, развёртывая последний, самый маленький свёрток, вы обнаруживаете какую-нибудь безделку, дешёвенькую брошку, завернутую в тридцать одежек. Я прошу извинения за этот экскурс в детство, но сегодняшний отчёт Евгении Васильевны мне напомнил вышеупомянутый подарок-шутку. Много слов, много словесной упаковки, а в итоге — воздушные замки... — Яхонтов красноречиво развёл руками и наклонился к блокноту. — Итак, как член кафедры и как руководитель Евгении Васильевны, я позволю себе сделать несколько существенных замечаний, которые для виновницы сегодняшнего торжества, очевидно, не будут неожиданностью, но которыми она, со свойственным молодости легкомыслием, не сочла нужным своевременно воспользоваться. Во-первых...

Надо записывать, хотя бы для приличия. Какое длинное «во-первых» у Яхонтова! Что, что? Методика эксперимента неправильная? Полностью повторены производственные условия в миниатюрных масштабах лаборатории? Да, действительно, Женя соорудила печечку по образцу большой заводской печи. Может быть, это и ошибка, Илларион Митрофанович. Но результаты! Результаты — налицо. Что? Исполнение тоже куда не годится? Нельзя было измерять температуру обыкновенной заводской термопарой? Почему не вымораживалась ртуть? Это Жене уже известно: Яхонтов несколько раз говорил о необходимости более точного измерения давления в вакуумной установке. Но так уж получилось, не удалось раздобыть дьюаровский сосуд...

— А между тем Евгения Васильевна не может пожаловаться на то, будто отправилась в своё первое плавание без руля и без ветрил. Мною была дана методика, однако, как изволите видеть, на каждом шагу — самовольные отступления от этой методики! Судя по кускам металла, которые подвергались исследованию, есть все основания предположить, что Евгения Васильевна взяла их в том же цехе, где работала...

Это намёк... Нужно знать предисторию металла? Прodelать предварительный химанализ? Легко сказать: обезгазить металл, плавка в вакууме... А ведь Женя в то время готовилась к экзамену. Аспирантский экзамен по английскому языку, а потом история философии, диамат, истмат — это не пустяки, уважаемый Илларион Митрофанович!

...Весьма неприятное влияние заводской практики... По-новому взглянуть на свою работу и свою карьеру...

Это Женя в первый раз слышит. Это что-то новое.

Яхонтов закончил гневным обращением ко всем тем, кто не понимает истины: науке следует посвящать себя целиком.

— Наука — это любовь, не знающая ни измены, ни равнодушия. Научитесь жертвовать собой. Награда будет столь велика, что я беру на себя смелость в кругу стариков, которые уже никогда не свернут с избранного ими пути, и в кругу молодёжи, которая только становится на этот путь, звать за собой всех смелых умом и духом, всех, готовых к жертвам, всех...

Разошёлся. Недаром рассказывали, что в юности Яхонтов был душой любительских театральных кружков. Илларион Митрофанович в роли Чацкого! Будто никто его не понимает, а он стремится со всем пламенем души открыть людям глаза на смысл и цель научной деятельности.

Всё это хорошо известно, Илларион Митрофанович. Но у меня, кроме всего прочего, сын Алик, пяти лет от роду. Отца не помню: он умер очень давно, когда я ещё была ребёнком. Мать погибла в сорок втором, в Ленинграде. Некому присматривать за Аликом.

Когда Яхонтов закончил, Бакеев нервно взглянул на часы.

— Прошу слова вне очереди, — сказал он, выбрасывая вперёд руку с вытянутыми пальцами. — Дело в том, что у меня лекция в пединституте, в тринадцать...

Деревянко кивнул. Бакеев мелкими шажками побежал к председателскому столу, на ходу докуривая папиросу. Очень высокий, худой, в коротком, довоенной моды пиджаке, он притушил папиросу о край стола и замер с выражением нерешительности на сухом лице.

Собирается с мыслями, сейчас тоже начнёт ругать, хотя это ему, кажется, не совсем приятно.

— Меня, признаться, несколько озадачила критическая тирада Иллариона Митрофановича...

Вот как! Женя облегчённо вздохнула.

Но Бакеев почти не коснулся существа дела. Он одобрил выбор темы, бросил несколько тёплых слов о трудолюбии и настойчивости аспирантки и сразу перешёл к выводам. По его мнению, кафедра может одобрить обсуждаемую работу. Профессор Яхонтов слишком требователен. Он забывает, что речь идёт не о диссертации, а о своего рода реферате.

Бакеев прав. Конечно, прав. Это же — не диссертация! Времени было мало, пришлось многое упрощать.

— Вот и всё, что я намеревался высказать. А теперь — прошу извинения — разрешите удалиться.

— Ну что ж, идите, — сказал Деревянко.

Слово взял доцент Гордиевский. Он говорил очень медленно, с трудом подыскивая слова и краснея. Тоже начал с комплиментов: товарищ Маслова проделала большую работу, отчёт оформлен вполне добросовестно, поражает недюжинная научная эрудиция, но...

Гордиевский ещё сильнее покраснел, забарабанил пальцами по столу и, наконец, выдал из себя:

— Но по существу отчёт меня не удовлетворил.

Женя опустила глаза. Если Гордиевский против — значит, что-то есть неладное. Яхонтов — тот мог просто придирается. За ним на факультете ходила такая слава. Но Гордиевский... В чём же дело?

— Слишком поспешные выводы, чересчур смелые, но при этом безосновательные обобщения. Необходима тщательная проверка результатов, работа только начата...

Неслышно подойдя, Рима села рядом с Женей.

— Вот не ожидала от Гордиевского, — зашептала она, обдавая Женю запахом духов. — И кто его за язык тянул!

Встал Деревянко.

— Разрешите мне несколько слов...

У него хорошие глаза, но ни одного утешительного слова. Он согласен с мнением товарища Гордиевского: эксперименты поставлены поверхностно, отсутствует критическое отношение к собственной работе. Что касается влияния заводской практики...

Женя с надеждой подняла глаза на Деревянко.

— Я лично считаю это влияние благотворным. Более того — жизненно необходимым.

Ну вот, Илларион Митрофанович. Вы слышите? Яхонтов выразительно кашлянул.

— Но я не закончил свою мысль, — сказал Деревянко сердито. Он стоял выпрямившись, широкий и сильный, слегка опираясь о стол сжатыми в кулаки руками. — Нельзя отождествлять цех и лабораторию. Нельзя механически переносить заводские методы к нам, в университет.

— О чём я и упоминал, — вставил Яхонтов, меняя позу. На его лице появилось выражение презрительного недоумения: к чему столько слов, если всё совершенно ясно!

— Мы тем и отличаемся от цеха, что ставим себе целью обследовать не частности, нет. Система, общие законы, ключ к тайникам технологии, над которыми ломают голову тысячи инженеров, техников, производственников... — Деревянко неохотно оторвал руку от стола и устало разгладил лоб. — Вы, товарищ Маслова, начали работу не с того конца. Разве можно установить общий закон, если в руках у вас кусок металла, уже содержащий какие-то примеси газов? Это же всё равно, что измерять температуру в этой комнате термометром, нуль которого смещён на несколько градусов. Прав я или нет?

— Да, правы, — сказала Женя тихо.

Деревянко перешёл к организационным вопросам. График учебного плана выполняется плохо. В значительной мере виноват и научный руководитель. Вот, пожалуйста, посудите сами...

Деревянко нагнулся над листом бумаги. Запланировано... Выполнено... Запланировано... Выполнено...

— А ты действительно отстала, — заметила Рима, оглядываясь на Яхонтова. Профессор сидел боком к ней, глядя в сторону. Его толстые розовые щёки нервно вздрагивали. Он несколько раз отрывисто кивнул головой, не глядя на Деревянко, как будто соглашаясь со своими мыслями.

Ну, вот и всё. Члены кафедры проголосовали: работу считать неудовлетворительной. О предложении Бакеева не вспомнили. Вот уже прояснилось круглое лицо Яхонтова, стало привычно любезным. И вот слова Деревянко:

— Переходим к следующему вопросу.

Женя плохо следила за тем, что происходит. Она почти не слушала. Что же теперь делать? Как жить? Сын, Алик. Он вырастет, сделается инженером или учёным. Настоящим учёным, которого даже Яхонтов не найдёт в чём упрекнуть. Нужно напрячь все силы, чтобы Алик вырос умным и смелым. Когда-нибудь Жене придётся давать ещё один отчёт. Придут люди и спросят: «Всё ли вы сделали для своего сына?».

Жене до боли захотелось увидеть Алика, увидеть сию же минуту. Как жалко, что он ещё ничего не понимает в жизни, и нельзя перед ним выложить душу.

Когда заседание кафедры закрылось, Женя поспешила к дверям. Ни в ком она не искала сочувствия. Невольно поймала обрывки разговора за своей спиной.

Яхонтов:

— У меня билеты на «Риголетто». Приехал московский тенор, советую послушать.

Деревянко:

— С удовольствием, но сегодня в восемь альпинистская секция.

— Вы, Степан Тимофеевич, неисправимы.

— Лето. Впереди долгожданное лето, Илларион Митрофанович. Будем утверждать маршруты.

— Кстати, что слышно с расписанием летних отпусков?

Женя ускорила шаги. За минуту до этого она была убеждена, что все расходятся под впечатлением её неудачного отчёта. Она думала: только об этом они и станут говорить в коридоре. И вдруг: «Риголетто», альпинизм, летние отпуска.

Что ж, всё ясно. Ни один человек на кафедре не относится к её научной работе серьёзно. Никто не верит в неё. Маслова! Разве это научная величина, хотя бы и потенциальная? У всех выступавших на сегодняшнем заседании, кроме Бакеева, была единственная цель: уговорить, убедить, заставить её бросить аспирантуру.

А я не брошу!

Но Яхонтов требует жертв, и существует Алик. Любые жертвы, только не эта!

На лестнице Женю догнал Виктор Черкашин. Да, перед ним, перед Черкашиным, она испытывает самый жгучий стыд за свой неудавшийся отчёт. И не только потому, что она — член бюро, а он секретарь. Просто так. Неизвестно откуда появилось такое ощущение.

Виктор взял Женю под руку:

— А хорошо сегодня прошло... Мне понравилось. И нам было полезно послушать.

Женя пожалала плечами. Она не ожидала такой фразы. Они спустились в вестибюль.

— Ну, Женя, — сказал Виктор, подавая ей пальто, — теперь у тебя дело пойдёт.

Она удивлённо поглядела на него. Нет, не шутит. Внимательные глаза. Голос, в котором слышится внутренняя убеждённость.

— Ты что — серьёзно?

— После такой принципиальной критики дело всегда идёт в гору.

С трудом натягивая свою серенькую шинель и взмахивая руками, Виктор пошутил:

— Узка. Растём! — Надел кепку. Ворот рубашки, выглядывающей из-под пиджака, так и остался расстёгнутым. — Привыкаешь к вещам. Иногда, Женя, думаешь: пора бы бросить, износились, но... — Он повертел в руках шарфик и сунул его в карман. — Не люблю, когда на шею что-то плещется. Но это Тамара связала. Хоть здесь, — он ударил по карману, — но всё-таки ношу.

Двери захлопнулись за ними. В палисаднике возле подъезда лежал снег. В мутном тумане он казался чистым, ясным. Но тротуары уже потемнели. Мокрые чёрные дорожки среди белесой, постаревшей зимы. Светящиеся шары фонарей неподвижно висят в воздухе.

— Насчёт критики... — сказала Женя, глядя в туман. — Это всё хорошо теоретически, а в жизни...

— Абсурд, — живо отозвался Виктор. — Старые одежды надо сбрасывать. — Он похлопал себя по шинели. — Старые представления. Даже в области учёбы. Когда помогают сбрасывать — это очень хорошо.

Он произнёс последние слова с особенным вкусом: «Очень хорошо!»

— А ты, Женя... Ну, словом, если бы кто другой был на твоём месте, Деревянко говорил бы иначе.

— Мягче или жёстче?

— Мягче, конечно. Не либеральничал бы, нет. Но...

Жене нужно было к трамваю, а Виктору в другую сторону. Жаль. Хотелось дослушать Черкашина. В его тоне звучала успокаивающая уверенность. «Дело пойдёт в гору!»

Женя поглядела вслед Виктору. Неторопливо, но очень решительно он шагал по мокрому тротуару, слегка размахивая руками. Высокий, но

весь какой-то лёгкий, ловкий. Подбородок приподнят, шинель распахнута. Идёт по лужам, не выбирая сухих мест.

Женя вздохнула. Нет, слишком отвлечённо рассуждает Виктор. «Дело пойдёт в гору...» Всё это — вообще. А в частности...

Из дверей университета вышли Гордиевский и Рима. Женя услышала, как Гордиевский церемонно прощался:

— До свидания, Рима Георгиевна.

Он выговаривал слова медленно, тщательно и певуче. Ещё раз приподнял шляпу и неспеша зашагал в сторону — очень аккуратный, с мальчишеским лицом, в модном демисезонном пальто.

Рима подошла к Жене:

— Гордиевский пытается за мной ухаживать. Но я вся под обаянием речи Иллариона Митрофановича. Никакой личной жизни. — Она рассмеялась.

— Я, наверное, аспирантуру брошу, — сказала Женя неуверенно.

— Ты с ума сошла!

Как всегда, у Римы ясные и точные доводы. Потрачено немало сил, многое сделано основательно. Глупо, если всё сделанное пойдёт на смарку из-за резкой критики. К этому пора привыкнуть относиться философски. Поругают и забудут.

Риме удалось переломить настроение Жени. Они познакомились несколько месяцев назад, когда вместе готовились к экзамену по английскому языку. С начала учебного года Рима начала сдавать кандидатский минимум. Два раза в неделю она и Женя ходили на практикум, организованный научной частью университета. Но и помимо практикума они часто встречались, чтобы упражняться в разговорной речи.

Совместные занятия их сблизили. Рима стала захаживать к Жене на дом. Несколько раз были в театре.

На вид Рима спокойная, ровная, знающая себе цену. Но жизнь у неё сложилась не совсем удачно. Университет окончила до войны, в другом городе, куда уехала вслед за мужем. Ушла с головой в семейные хлопоты, но ни семьи, ни уюта не получилось: муж погиб в начале войны, под Брестом. Рима ушла добровольно в армию, но на фронт не попала. До самой демобилизации проработала в тыловом госпитале. На память об этом времени осталась медаль «За боевые заслуги» на лацкане жакета. Вскоре медаль была заменена колодочкой, а потом и колодочка исчезла.

Рима объяснила небрежно:

— Теперь не модно.

Женя была моложе Римы года на три и чувствовала себя младшей сестрой. Ей далеко не всё нравилось в новой подруге. Но что поделаешь: неудачная судьба, одиночество Римы, отсюда и всякие её причуды. Иногда же Рима бывала просто необходимой. В ней проявлялось то, чего не доставало Жене: житейская трезвость, умение глядеть на вещи холодными глазами, несколько скептически. Рима любила похвастать своей жизненной опытностью, особенно знанием мужской психологии.

— Если бы я была писательницей, — мечтательно говорила она, положив ногу на ногу, — я бы не смогла писать о женщинах. Кто их разберёт! Никогда не угадаешь, что у них на сердце. Сколько женщин — столько характеров. — Презрительно прищуренные глаза, в зубах папироска. Рима иногда курит — в зависимости от настроения. — А мужчины все одинаковы.

Рима умела говорить тоном, исключаящим возражения.

В университете к ней привыкли, но мало кто знал, чем она интересуется, о чём думает. Лаборантки восхищённо рассматривали её туалеты.

ты. Старейшие доценты с филологического факультета приглашали её в театр. Девушки-первокурсницы оживлённо спорили, сколько ей лет: тридцать шесть или двадцать пять.

Вероятно, одной Жене известно, что живёт Рима со старушкой-матерью в большой полутёмной комнате, в центре города. Комната слишком большая, можно бы поменять её на две маленьких. Но Рима не хочет уходить из этой комнаты. Во-первых, с ней связаны воспоминания. Во-вторых, главная улица, внизу ресторан «Интурист», временами даже слышно, как играет джаз. Рима презирает тех, кто живёт не в центре. Она любит шум и блеск огней за окном.

У неё — страсть пооригинальничать. Зайти, например, в какую-нибудь пивную в своём шикарном демисезонном пальто и шляпке, скопированной с последней московской модели. Очень забавно наблюдать, как тарачит глаза буфетчик. Кружка пива, бутерброд с сыром, папироса. На лице у Римы — невозмутимое спокойствие. Ото всех столиков бегут, чтобы дать ей прикурить.

Женю коробит подобное оригинальничанье. Но Рима обладает способностью убеждать в своей правоте.

Вот и сегодня — целый поток доводов. А в общем:

— Бросить аспирантуру? Ты с ума сошла!

Попрошавшись с Римой, Женя заехала в детский сад за Аликом. Она была полна нежности к сыну. Но оказалось, что он напроказничал за день, и Жене пришлось сделать строгое лицо и даже прикрикнуть на мальчика. «Материнская любовь — самая трудная», — думала Женя, возвращаясь в сумерки домой с Аликом.

Она терпеливо объясняла:

— Дяди убирают снег, чтобы не было скользко и чтобы люди не падали. А на саночках по улицам кататься нельзя, на саночках можно кататься только по двору.

Покормив сына, Женя присела к столу. Ещё не совсем стемнело, но уже можно глядеться в стёкла окон, как в зеркало. Туманное продолговатое лицо с высокой короной светлых волос. Глаза большие, круглые, пристальные. Похудела. Недаром Рима говорит: «Не следишь за собой». Готовилась к отчёту, недели две даже к зеркалу не подходила. Но теперь всё это позади: занятия, лаборатория, волнения.

Ничего, кроме усталости. Какая-то странная, непонятная усталость: ведь ещё совсем рано. Спать, спать, спать! Ни о чём не хочется думать. В комнате не подметено. Утром было некогда. Очень неудобно жить одной. Но у Жени сын, и она аспирантка: ей дали отдельную комнату. Иногда завидуешь студентам — живут в общежитии, все вместе, весело. Вот остаёшься наедине с собой: отсюда лишние раздумья, сомнения в себе, сомнения в полезности своей работы.

Женя включила электроплитку. В чайнике мало воды, всего на два-три стакана. Но ведь больше и не нужно. К сожалению, одного стакана хватит.

«Ну, хорошо, — сказала Женя себе, — я ошиблась. Я запустила занятия и не учла указаний Яхонтова. Меня поругали. Что из этого следует? Стоит ли расстраиваться?» И всё-таки грустно.

Машинально Женя перелистала страницы своего отчёта.

И это недавно казалось ей успешной разработкой темы! Да, она упустила из виду: у них университет, а не заводская лаборатория. Яхонтов сказал: «Весьма неприятное влияние заводской практики», «Поновому взглянуть на свою работу и свою карьеру...» И, главное, Яхонтова поддержал Деревянко.

Приходится сознаться, что, действительно, злияние завода сказало-сь во всём: в стремлении скопировать заводские установки, применить заводской опыт, чувствовать себя в университетской лаборатории, как в самой гуще заводской жизни. Будто вот-вот ворвутся технологи, конструкторы, мастера и скажут:

— Быстрее, Маслова! Мы ждём. Давайте результаты, давайте расчёты и анализы, нам нужен самый лучший в мире металл.

Об этом думают все: главные инженеры, начальники цехов и смен, мастера блоков и сталевары. Об этом думает Женя.

И вот что получилось из этих её размышлений! Утешения Римы — это на час, на полчаса, на минуту. «Поругают и забудут!» Нет, нужно прямо и честно взглянуть в глаза правде. Получится ли диссертация? А вдруг не получится? Всё же приятна уверенность Виктора: «Дело пойдёт в гору».

Черкашин слов на ветер не бросает. Он суховат, сдержан, но глаза у него внимательные и тёплые. С ним интересно работать: не просто руководит, а увлекает своими замыслами.

В начале учебного года, когда в бюро распределяли обязанности, Жене достался комсомольский участок.

— Я совершенно уверен, что у вас это дело пойдёт, — сказал Черкашин. Он тогда ещё называл Женю на «вы». — В этом деле всё должно быть молодым. — Короткий взгляд в её сторону. — Начиная от резолюции и кончая «здравствуйте» и «до свиданья». Словом... — он сжал губы, тряхнул головой. — По-моему, вы самая подходящая кандидатура.

Женя не отказывалась. Она не привыкла отказываться от каких-либо поручений. Но в данном случае у неё появились сомнения, сможет ли наладить дружбу с комсомольцами? Всё-таки ей уже двадцать девять лет. «В этом деле всё должно быть молодым». Черкашин на три года моложе, а относится к ней, как к девочке.

Нет, отстала от университетской жизни. Хорошее время, когда была комсомолкой! Но то время прошло. Теперь другие заботы, другие интересы.

— Вы знакомы с секретарём нашей факультетской комсомольской организации? — спросил Черкашин. — Нет? — Он взъерошил прямые, зачёсанные назад волосы. — О!

Женя ждала, что за этим многозначительным «о» последует подробный рассказ или описание секретаря. Но Виктор ничего больше не сказал, только пообещал сегодня же познакомить с Ниной.

Когда Женя и Черкашин постучались в комнатку комсомольского бюро, Нина, взгромоздясь на стул и вытянувшись на цыпочках, старалась прибить шторку над окном. Внизу стояла большеглазая девушка с блестящими, будто лакированными, тёмными волосами, свободно падавшими ей на плечи.

— Нина, к тебе, — закричала девушка тонко и капризно.

— Пускай обождут.

Нина говорила сквозь зубы и неумело стучала молотком по гвоздю. Гвоздь гнулся.

Виктора задержали в коридоре, а Женя вошла.

— Садитесь, — пригласила большеглазая девушка.

— Давайте я, — предложила Женя, пододвигая к окну стул. — Давайте, я это мигом.

Нина вполоборота повернулась. У неё сердитое лицо. Вероятно, потому, что в крепко сжатых губах — гвоздики, про запас. Кисти рук аккуратно перебинтованы.

— Что это у вас? Гюранили?

— Растянула. На турнике, — ответила Нина небрежно, сквозь зубы. Но всё-таки протянула молоток. У неё, очевидно, затекли руки. А Женя выше ростом. Она действительно мигом всё сделала.

Нина соскочила на пол, смахнула пыль со стула и улыбнулась:

— Как это у вас получается!

— На заводе работала. Всю войну.

Девушка с большими серыми глазами понимающе кивнула. У неё острые плечи и красивое, но очень резкое лицо.

— И вообще я вам скажу, девочки, — продолжала Женя, присаживаясь к столу, — кто хочет, чтобы из него вышел настоящий физик-экспериментатор, тот должен всё уметь. Начиная от этого гвоздя, — Женя повертела в руке гвоздик, — и кончая токарным станком.

— Я выбрала теоретическое отделение, — сказала Нина, опуская голову. Пышные волосы упали на лоб. Она встряхнула ими и повела глазами на большеглазую девушку:

— Знакомьтесь. Это Майя. Культсектор.

Майя притопнула ногой в туфельке на высоком каблук:

— Очень приятно.

В эту минуту вошёл Виктор. Он сделал такой жест, как будто хотел сказать: «Вот видите, я же предсказывал, что вы с комсомолом найдёте общий язык».

— Так... — он постоял с минуту на пороге, словно обдумывая, куда ему пойти, раз уж здесь и без него обошлись. — Вы знакомьтесь, а я в деканат.

Женя рассказала Нине, что прикреплена к комсомольской организации факультета для контроля и помощи. Нина вздохнула и с шумом выдвинула ящик стола:

— Вам протоколы? Или планы?

— Ничего не нужно. — Женя поправила волосы. — Зашла познакомиться. — У Нины такое выражение лица, будто у неё отбирают половину работы. — Я не собираюсь вас опекать.

Нина насупилась.

— Понимаю.

Рядом с Майей она казалась широкоплечей, плотной, серьёзной. У неё неторопливые плавные движения. А Майя — порывистая, нетерпеливо кривит яркий рот: вот-вот вмешается в разговор.

— Буду помогать, если нужно. Обычно я там, — Женя показала на окно. — Там, в лаборатории. С утра и до вечера.

Теперь, сидя у себя за столом, Женя вспомнила об этой встрече. Она невольно оторвалась от своего блокнота. Мысли возвращались к Черкашину. Говорят, во время войны у него была романтическая история с девушкой, на которой он теперь женился. Они потеряли друг друга, но верили, что встретятся, и действительно встретились.

Женя вспомнила шарфик, который Виктор прятал в карман. Вздохнула: шарфик, шарфик... Да, нехорошо привыкать к вещам, нехорошо, когда только вещи напоминают о людях.

Перелистала блокнот. Помимо воли память подсовывала отрывочные картинки недавнего прошлого — то, о чём сейчас не хотелось думать.

Итак, Виктор верит: «Дело пойдёт в гору». А всё-таки счастливая эта Тамара, его жена! Правда, Черкашин не любит её называть женой. Вероятно, ещё не привык. Странное предубеждение! Виктор произносит раздельно: «Же-на. Нет, это не то! Тамара! Совсем другое дело...»

Смешной мальчик. А Тамара Жене не особенно нравится. Несколько раз Женя видела её в университете. Тамара заходила за Виктором

после работы; она в прошлом году окончила консерваторию и теперь работает в филармонии. Рояль. Концерты.

Жене не понравились её глаза. Чёрные и сердитые. Очень ревнивые. А что же плохого в том, что Женя ведёт себя с Черкашиным по-студенчески? Да, она может иногда в шутку шлёпнуть его ладонью по спине или взбешить волосы. Совместная работа в бюро их сблизила. Но по душам они никогда не говорили. Виктор кажется скрытным, но в его присутствии Женя оживает, шутит и чувствует себя девчонкой.

Рима однажды заметила это и сказала презрительно:

— На физмате все девушки по очереди влюбляются в Черкашина. Эпидемия какая-то!

Женя улыбнулась. Римины намёки её не касаются. Она теперь застрахована от того, чтобы — как это принято говорить? — влюбиться. Однажды она уже обожглась на этом.

В коридоре звонок. Два раза. Это к соседям, к Чемезовым. Женя занимает одну комнату, они — две. У них тоже сын — Мишка. Чемезов работает в университете, на кафедре физкультуры и спорта. Так сказала Муся, его жена. Но Женя не встречала Чемезова в университете. Учебные корпуса разбросаны по всему городу. Физкультурная кафедра, кажется, ещё не полностью оборудована.

Слышно, как пробежала к дверям Муся, как вошёл Чемезов, громко стуча сапогами. Вероятно, отряхивает снег.

— Чёрт бы их побрал, хозяйственников! — загремел он раздеваясь. — Шёл по лестнице, чуть не убится. Два месяца как ремонт закончили, а бочки с известью до сих пор убрать не могут!

У Чемезова привычка громко разговаривать, шумно расхаживать по квартире.

На этот раз он быстро присмирел. В гостях у Муси её мать, Анна Ивановна. При Анне Ивановне Чемезов ведёт себя почтительно.

И вот во внезапно наступившей тишине Женя, сквозь полуоткрытые двери, услышала обрывки разговора о себе.

Голос Муси:

— Я считаю, что она не виновата... Вероятно, муж виноват. Остаться одной с сыном — не такое уж приятное дело.

Чемезов:

— Нужно было думать, когда сходилась...

Анна Ивановна:

— Родители бешутся, а у детей жизнь искалечена!

— Мама, тише, — сказала Муся недовольным тоном.

— А чего тише? Я и в глаза ей то же самое скажу. не постесняюсь.

Стукнула дверь. Это Муся плотно её притворила.

Женя несколько минут задумчиво глядела в окно. Туман разошёлся. Падал мокрый снег. Крыши домов блестяли.

Алик, сидя на корточках возле своей кровати, строил пирамиду из кубиков. Он отчаянно пыхтел и отдувался: трудная работа. В его небогатом словаре отсутствует слово «папа». Отец есть, но какой же это отец, если живёт за тридевять земель от сына? «Родители бешутся, а у детей жизнь искалечена»...

Женя положила локти на стол, голову опустила на руки. У неё защеботало в горле, а глаза застлал туман. Давно такого не было, кажется — с самого детства. Но это пройдёт, это ерунда: переутомилась.

Хотела прокашляться, но получился какой-то тихий стон, и лицо залилось слезами. Всхлипывая, она облизала солёные губы. Алик удивлённо поднял голову. черноглазый, с каштановой чёлкой — в отца.

— Почему ты смеёшься, мама?

Она быстро, одним движением, вытерла глаза, щёки, губы. Нельзя же так расклеиваться!

— Нет, я не смеюсь, — сказала она серьёзно.

Он поглядел на неё недоверчиво. Растерянная улыбка. Кубики рассыпались, но Алику уже не до кубиков. Как тонко чувствует он настроение матери: когда Жене весело — шалит, кувыркается на полу, болтает безумолку. А сейчас присмирел.

Тонкие, смуглые ручки. Вырос. Вот уже и штанишки коротковаты. Скоро лето, надо бы сшить матросский костюмчик.

— Ты занимайся, мама. Занимайся. Я построю вот такой домище...

Домище. Каждый день — новые слова. Новые фразы, подслушанные у взрослых. Новые книжки.

Растёт. Разрезная азбука — это уже прошлое. Теперь жадное любопытство ко всему, что можно читать. Книги, календарь, вывески на улицах. Говорят, вредно, если ребёнок так рано развивается. Но Женя ничего не может поделать с Аликом. Обо всём ему хочется знать.

— Рассказывай, рассказывай!

Кубик на кубик — получается высокая башня. Дворец. Алику уже не хочется строить, но он строит, потому что мама сердится, когда он роется в книгах.

— Ты будешь инженером.

Женя не спрашивает, она утверждает.

— Я буду аспирантом, как мама.

Какая огромная сила в этом неуклюжем, худеньком существе! Ради него — всё! Жить, учиться, работать, бороться, быть сильной, красивой, нежной. Ради него. Ради той жизни, в которую он войдёт, как хозяин.

А сейчас всё-таки не по себе. Всё собралось вместе: неудачный отчёт, невольно подслушанный разговор, грустные воспоминания, сомнения в своих силах. Женя сжала губы и наклонилась над блокнотом. Смертельно не хотелось заниматься. Но она упрямо сидела за столом и чертила на бумаге кружки и треугольники...

Недавно казалось, что самое трудное в её жизни позади: день и час, когда она решила бросить мужа и уехать из Сибири. Вместе с Аликом. С мечтою о поступлении в аспирантуру. А теперь оказывается, что это было не самое трудное. Теперь нужно сызнова продумать всю свою жизнь. Что делать дальше? Может быть, и в самом деле оставить университет, распрощаться с мечтой, уехать, смириться, попросить у кого-то помощи?

Конечно, что-то жалкое есть в том, что она поздно спохватилась: проучившись полгода. Жалко и нечестно. Но тогда, перед вступительными экзаменами, всё казалось проще и легче. Никто не может упрекнуть Женю в том, что она сделала необдуманный шаг, поступив в аспирантуру. Ей не восемнадцать лет, она не девчонка. У неё четырёхлетний стаж работы на заводе. Её считали способным инженером. В заводской лаборатории она сделала несколько маленьких, но самостоятельных открытий. Стоило большого труда уговорить главного металлурга отпустить её на учёбу. Она любит науку. Но вот в чём вопрос: «Достаточно ли одной любви?»

Рима сказала как-то: «Ничего, Женечка. Поработаешь, втянешься...»

Но сейчас такое время, когда нужно знать заранее, выйдет ли из тебя что-нибудь. Сейчас такое особенное время, когда нельзя выбирать профессию только по влечению: надо знать, что ты в этой профессии будешь полезен. Сейчас такое время, когда каждый гражданин мыслен-

но отчитывается перед обществом. Сейчас за хороший урожай пшеницы дают правительственный орден.

Женя машинально водила карандашом по бумаге. Мысли невольно сосредотачивались на одном. Лабораторная работа. Нужно доделать её, доказать и силу свою, и правоту. Вот на бумаге пункты, по которым, как по ступенькам, предстоит подняться к общему выводу. Сколько на это потребуется времени? Месяц, два, три? Всё равно! Впереди — лето. Женя пожертвует отпуском.

Она живо представила себе выражение лица Яхонтова, когда он услышит о конечных результатах.

Прежде всего нужно смонтировать установку. Это должна быть настоящая установка. Она пригодится и для диссертации. Вот именно: пригодится. Потому что теория взаимодействия газов с металлами и теперь нуждается в новых экспериментальных подтверждениях. Это совершенно ясно. Никто на кафедре не возражал против темы. Вспомнить завод. Разве мало производственных процессов, тесно связанных с той проблемой, которая увлекает Женю?

Восстановление металлических руд. Это во-первых. Окислительные процессы рафинирования металлов. Наконец, один из важнейших этапов при выплавке стали — раскисление. Ведь важно добиться своевременного раскисления. А своевременность раскисления во многом зависит от того, в какой степени будет исследовано взаимодействие металлов и газов.

Женя встала из-за стола. Решено? Решено. Лабораторную работу она переделает. А потом пойдёт дальше. Может быть, Яхонтов будет возражать? У него, кажется, припасена для Жени другая тема?

— Алик, пора спать.

— Нет, мама, я посижу ещё немножко...

Он снова увлёкся кубиками, забыл обо всём. Упрямый характер: кубики рассыпаются, но Алик, пыхтя, снова и снова сооружает башню.

— Дай я помогу.

— Нет, сам, сам!

Женя улыбнулась. Мой сын! Она вернулась к столу. Значит, решено. Завтра же нужно раздобыть у Римы форвакуумный насос. Насос будет выкачивать воздух из вакуумного колпака.

Женя быстро набросала схему.

Под колпаком — образцы металла. Самые обыкновенные куски железа. Яхонтов съезвил: «Есть все основания предположить, что Евгения Васильевна взяла их в том же цехе, где работала».

Понятно, Илларион Митрофанович. Вы хотели сказать, что для исследования я взяла не свободные от примесей газов образцы металла. Или, как образно выразился Деревянко, нуль на термометре оказался смещённым.

Хорошо. Женя расплавит куски железа в вакууме, в относительно разреженном пространстве. И тогда все примеси газов выделятся, откачаются насосом, и можно будет сказать всем и каждому: я исследую металл, в достаточной степени очищенный от примесей газа. Я твёрдо знаю его предисторию, Илларион Митрофанович. Нуль на моём термометре — это именно нуль, Степан Тимофеевич.

А иначе, какие же можно делать выводы, если в испытываемом образце заранее содержатся нитриды — те азотистые соединения, степень влияния которых на структуру металла и следует выяснить?

Очищенный металл. Вот чего нужно добиться. И только после этого продувать азотом.

Безусловно, придётся повозиться с вакуумом. Нужно достать шланг-

ги, стеклянные краны. Лучше бы, конечно, вместо кранов — ртутные затворы. Но их, кажется, у Римы нет. Придётся обмазывать швы стекла и резины специальной замазкой — «менделеевкой», чтобы не было течи.

Женя уложила Алика спать и далеко заполночь просидела у стола, снова и снова перелистывая свой отчёт, думая, считая, набрасывая планы.

Стало легче. Легла она с чувством приятной усталости. Только обида не давала покою... Обида на Анну Ивановну.

Спустя несколько дней, воспользовавшись тем, что Чемезовых ещё не было дома, Женя постучалась в комнату Муси. Анна Ивановна уже часа два наводила порядок в коридоре и кухне. Она стояла посреди комнаты с мокрой тряпкой в руке:

— Ну вот. Теперь, кажется, всё на месте, всё по-людски.

Женя начала без предисловий:

— Я случайно услышала, как вы говорили обо мне.. Я совершенно с вами не согласна... Мне обидно, поэтому я и пришла.

Что же дальше? У Анны Ивановны самый мирный, домашний вид. Рукава длинного до пят платья засучены, локти толстые, крепкие. Ей уже шестьдесят, а она всё ещё работает на фабрике, председатель месткома. Рабочая женщина, привыкшая к труду и прямоте в обращении. Что ей до Жениной судьбы и до её сына? Ну, сказала жестковато, но ведь это не со зла — к слову пришлось.

— Я и вам в глаза могу всё это в точности повторить, — сказала Анна Ивановна. — Нехорошо жизнью играть, особенно, когда ребёнок есть... Всякое в жизни бывает, но уж если случилась незадача — молчи, терпи, а судьбу малыша не ломай.

Женя решительно пододвинула к себе стул и села.

— Вы ничего не знаете, Анна Ивановна. Нельзя же так говорить...

Глаза у женщины добрые, и вместе с тем это глаза судьи. Не такого, который бесстрастно приговор выносит, а бережного и даже по-своему нежного. Так покойная мама могла бы глядеть

— Я с ним познакомилась в начале войны, — голос у Жени тихий, виноватый. — Вы слушаете? Он — инженер. Старше меня на десять лет. Очень талантливый человек. — Женя вздохнула. — Очень сильный... Он меня вывез из города, когда немцы уже совсем близко подошли. Вместе эшелонами ехали. Нет, он, вероятно, не влюбился в меня. Он просто очень добрый к людям, он многим помогал, очень многим.

Анна Ивановна бросила тряпку в угол, вытерла руки о фартук.

— Если бы не он, я умерла бы, наверно. У меня воспаление лёгких было, в дороге простудилась, зима очень суровая, помните?

Анна Ивановна участливо посмотрела на неё и тяжело опустила на стул против Жени.

— Я его очень уважала за энергию, за ум, за работу. Словом за всё. А он ко мне тоже хорошо относился. И сама не знаю, как получилось, — Женя прищурилась, помолчала, продолжала уверенно. — Нет, я его любила. Я его сразу полюбила, но не понимала сначала. Потом мы жили в Сибири, работали на одном заводе, Алик появился И... я его разлюбила.

Анна Ивановна взглянула пытливо.

— Он в Ленинград ездил, за мамой, — быстро добавила Женя, чувствуя потребность сказать о Грише как можно больше хорошего. — Но не доехал, заболел сыпным тифом, чуть не умер.

Наступила пауза.

— Вот оно что, — сказала, наконец, Анна Ивановна. — Вот как вы горячо об этом говорите. А я не так про вас думала...

Не так думала! Как же вы могли думать? Так и думали, как я сказала. А теперь вам неловко, да и жалко меня, пожалуй. Не сумела я ничего доказать. Всё было так, и в то же время не так.

— Разлюбили, говорите? — Анна Ивановна покачала головой. — Душа не всегда правду говорит про любовь. Иной раз ошибётся, и тут уж у жизни поучиться следует. Да, да, у жизни. А ~~жизнь~~ учит, что семья — это ~~счастье~~ на земле. Не только моё счастье, маленькое, а и большое, общее. Я на своём веку многое повидала и всегда буду горой стоять за людей, которые ради такого счастья бьются и своей душе обманываться не разрешают.

Женя вздохнула.

— Вот я вам случай расскажу. — Анна Ивановна на секунду задумалась. Много у неё, вероятно, случаев в памяти. Выбирает. — На фабрике у нас парень один механиком работает. Пришла жена, помощи просит. А он вот тоже: разлюбил — и всё. Пять лет жили, двое ребят, а теперь вдруг разлюбил.

Женя низко наклонилась над столом. Не нужно было заводить этот разговор.

— Мы его на местком вызвали. Почему? Объясни причину. Упёрся: разлюбил — и точка. Дали ему сроку три месяца. Прошёл срок — парень на своём стоит. Тогда я решила по-другому испробовать. Пошла к нему, с семьёй познакомилась. И девушку ту, что голову ему закружила, тоже повидала. Девушка хорошая, серьёзная. Словом, так все об этом заговорили, такое участие приняли, что и девушка поняла и он понял... Поняли, какое это счастье большое — семья, раз за неё весь коллектив, как один, поднялся.

— Нет, я, вероятно, ошиблась, когда замуж вышла, — сказала Женя, поднимая голову. — Очень ошиблась, — добавила она решительно.

Анна Ивановна нахмурилась.

— Легче всего так судить. А почему ошиблась? В любви ошиблась? Любовь завоевать нужно. — Лицо её прояснилось. — Я вот за своего зятя опасалась. Знакомство у дочери с ним, с Михаилом, короткое было. — Он нервный, шумный. Но всё хорошо. Я теперь за них спокойна.

— Потому что он любит Мусю, — сказала Женя с обидой в голосе.

— И жизнь он любит. А жизнь любить — значит соблюдать верность жизни. Как он жизнь любит, как любит! — с увлечением продолжала Анна Ивановна. — Ведь после фронта был на волоске от гибели. И вдруг — жизнь, полная чаша, семья, работа. Я живу на него и думаю: мало кто так, как он, жизнь ценить умеет. Каждый день, каждую минуту. Натура у него упрямая, к вершинам стремится, и добьётся. — Анна Ивановна коротко взглянула на Женю. — Вот так получается. Людей на земле хороших гораздо больше, чем плохих. И с каждым годом плохих всё меньше. — Она помолчала и добавила с лаской: — Расстраиваться не нужно. И вам хорошо будет.

— Мне хорошо, — заговорила Женя уверенно. — Мне очень хорошо. Я знаю — если случится беда, мне всегда помогут. Я за Алика не боюсь. Мне только сейчас трудновато, решиться нужно, обдумать... Но я за двоих для Алика буду: и матерью, и отцом.

— А братьев у вас нет?

— Никого нет.

— У меня ещё сын, Саша... — Анна Ивановна отошла к этажерке и вернулась с небольшой книжечкой в руках. — Вот, пишут про него...

На обложке брошюры изображён сталевар в синих очках и комбинезоне, с длинным железным прутом в руках. Мартеновская печь полыхает пламенем. Вверху надпись: «Опыт работы Александра Попова».

— Дайте мне, пожалуйста, — попросила Женья. — Я работала на металлургическом заводе.

Анна Ивановна ласково поглядела на Женю:

— Нам будет очень приятно.

Когда прощались, она сказала:

— Не думайте, Евгения Васильевна, что убедили меня. Я при своих мыслях остаюсь. Но есть в вас что-то такое... Верю, что вы не виноваты, хотя ваша жизнь для меня ещё довольно туманная.

— Нет, у меня очень простая жизнь, — ответила Женья весело. — Но я такая: если жить вместе, то всё пополам, и жизнь и любовь. Правда?

Рима, когда узнала об этом разговоре, насмешливо скривила губы:

— Я не понимаю, какое дело этой женщине до твоей личной жизни? У тебя, Женька, детская привычка выкладывать душу перед каждым встречным-поперечным.

Может быть. Но разве Женья раскрыла душу перед Анной Ивановной? Нет, она не сумела этого сделать. В её рассказе получилось так: война, эвакуация, трудное положение, человек, протянувший руку помощи, замужество, сын, а потом вдруг — разлюбила. В жизни всё было гораздо сложнее. В жизни была и жажда любви, неожиданно прорвавшаяся в гот суровый год, и сама любовь, и хорошие минуты, и плохие, и мечты о прочном счастье, и злость, и упрямство, и раскаяние, и — в конце концов — непримиримость.

Сначала Гриша был настоящим товарищем. Только-только познакомились: теплушки бесконечно длинного эшелона, станции, кипятки, грустные песни пассажиров, споры о том, задержат ли наши немцев на Днестре, воспоминания о мирной жизни, об освещённых электричеством городах, об университете, о театрах, о мелочах вчерашнего быта.

До сих пор перед глазами безвестная станция за Волгой, Гриша чуть было не отстал от эшелона, вскочил в вагон разгорячённый, без шляпы:

— Женечка, я вас чуть не потерял! — Поцеловал руку, в первый раз при всех, быстро, отчаянно. — Но я вас не мог потерять. Я вас никогда не потеряю.

Вероятно, со стороны это было смешно: Гриша и тогда казался старше своих лет. В чёрных волосах, зачёсанных набок, седина. А Жене никто не давал больше восемнадцати. Она улыбалась и поправляла:

— Нет, двадцать два.

Когда приехали в Сибирь, Гриша сразу же с головой ушёл в работу. Он редко ночевал дома: сутками жил в цехе. В дороге он казался порывистым, лёгким, отзывчивым, всегда готовым прийти на помощь. На заводе Гриша как будто нашёл своё подлинное место. Но в жизни стал тяжёлым, сосредоточенным, угрюмым: ничего не хотел знать, кроме своего технологического процесса, никого не хотел видеть, кроме людей, двигающих цех вперёд.

Женья чувствовала, как с каждым днём Гриша отдаляется от неё всё больше и больше. Они так и не узнали друг друга до конца. В эшелоне мешали посторонние. Когда приехали в Сибирь, не было отдельной комнаты. А позже им показалось, что всё уже давным-давно сказано между ними и говорить больше не о чем.

Гришин цех стал передовым на заводе. Слава, уважение, телеграмма наркома.

— Давай вдвоём отпразднуем твои успехи, Гриша. Ты и я. Больше никого. Ведь мы теперь так редко бываем вместе.

Он рассердился. Всегда был сдержан, а на этот раз рассердился. Конечно, Жене не следовало так говорить с ним. У него уже появились

товарищи по работе И всё — холостяки. Если раз в два месяца удастся выкроить выходной — обязагательно с удочками на реку, пол-литра и свои мужские разговоры

Женя начала работать в заводской лаборатории. Но и это не сблизило с Гришей. У него появилась своя жизнь, а может быть, и всегда была, только Женя не замечала.

Но он всё-таки чуткий: понял, что она тоскует. Начал брать её с собой на рыбную ловлю. Один раз пошли в клуб, в кино. В эти дни у Гриши не ладилось что-то с конвейером. Он молчал, насупившись.

— Говорить не хочется, Женя. Неприятности. Ты посиди, помолчи минутку. Не мешай.

Однажды — в перерыве — после удачного опыта Женя прибежала к нему сияющая, начала рассказывать. Он слушал молча, потом спросил: — Ты в магазин не ходила? Там, говорят, сельдь привезли. Жирную.

У. Жени была непреодолимая потребность всем делиться с Гришей: и успехами, и неудачами. А он всё, что касалось работы, носил в себе. Но о чём же во время войны думать и говорить, как не о работе на фронт?

Когда родился Алик, в квартире поставили радиоприёмник. Первый концерт из Москвы. Женя полгода не слышала музыки! И вдруг Чайковский! Правда, Алик может проснуться. Если раскричится — всю ночь не успокоишь. Но Женя всё-таки включила радио. Нехватило сил отказаться от такого счастья.

Гриша ещё не спал. Приоткрыв дверь, пробурчал:

— Выключи. Мне завтра в пять на работу.

— Одну минутку. Ария Ленского. Слышишь?

— После войны будем арии слушать.

Что-то новое прорвалось в его тоне. Какие-то хозяйские нотки.

Алика он видел редко, но когда брал на руки, лицо у него менялось: становилось нанвно-счастливым, как тогда, в эшелоне.

— Мой сын, Женя, а?

— Не «мой», а наш.

— Нет, именно «мой». Смотри, ничего твоего. Всё — моё.

Женя молчала. Постепенно она привыкала молчать. Последнее время ссоры начинались с мелочей и тянулись целые месяцы. Иногда Жене казалось: Гриша вовсе забывает о том, что они в ссоре. Это очень мало трогает его.

Но вот — мир. Женя позволила себе помечтать вслух. Много лет вынашивала она мечту об аспирантуре. Настало, наконец, время, когда мечта могла осуществиться.

Серьёзно и озабоченно Женя продумала план. Во-первых, подготовиться к вступительным экзаменам и на это время взять для Алика няню. Во-вторых, временный переезд в Новосибирск. В-третьих...

Словом, трудно и сложно, но вполне реально.

Гриша выслушал с улыбочкой.

— Хочешь проехаться, развлечься — пожалуйста. Хоть в Новосибирск, хоть в Москву. А насчёт аспирантуры... Выкинь этот бред из головы...

— Почему бред?

— Потому что бесперспективно. Три года учиться, а ты основательно отстала, не догонишь... В общем, не разрешаю. Точка.

Женю взорвало. Она наговорила Грише резкостей, но он выслушал их с обидной бесстрастностью.

Нет, она не могла верить тому, что он не пойдёт ей навстречу. Не

верила, что он не поймёт её стремлений, с которыми связаны жизнь, счастье, будущее.

Бессознательно боясь непоправимого, что может произойти, Женя несколько раз поднимала этот разговор. Гриша не разбивал её надежд. Он просто произносил «нет». И столько равнодушия было в этом «нет», что Женя внезапно сказала себе в смятении и страхе:

— Он не любит меня...

Гриша не замечал, как она вдруг потускнела, поблёлка, как мучилась. Томясь бессонницей, она оглядывала всю свою жизнь — то, что было, что есть и что будет. Как жить? Может быть, уступить Грише? Но это же не выход!

Но тут произошло событие оскорбительное, как удар в лицо.

Нет, Женя не ревновала. Какая-то женщина. Не в женщине дело. Он изменил счастью, справедливости, сыну. Он оскорбил в Жене самое чистое, что она вынашивала с детства, пронесла через юность и отдала любви. Он оскорбил веру в человека.

Женя не требовала объяснений.

Сейчас не хочется вспоминать подробности отъезда. Да, уехала. Собрала все силы и сделала решительный шаг. Не любишь? Не нужно. Ну и оставайся всегда таким — человеком, шагающим по жизни с высоко поднятым воротником. Только раз отогнул воротник, взглянул на Женю и увидел, что она не сможет жить без Алика.

Женя не знает, во что обошлось Грише согласие отдать ей сына. Но, вспоминая о муже, она представляла себе его только таким, каким он был в минуту расставанья с Аликом. Постаревший, растерянный, жалкий. Всё другое постепенно забылось. Любовь умерла.

Гриша аккуратно присылал деньги, но писем не писал. В день рождения Жени — поздравительная телеграмма. Вместо «целую» — «срочно сообщи об Алике». На Новый год пришла посылка: сладости и игрушки. Женя распечатала ящик и вытащила большого плюшевого медведя. Она машинально прижала его к груди. Муж, семья, любовь, счастье — как это всё далеко!

А дни идут. Нужно готовиться к экзамену по общей физике. Женя просмотрела свои старые, ещё студенческие конспекты. Теперь на всё это нужно взглянуть глубже. Листок бумаги, и на нём быстрым почерком, с небольшим креном направо — даты и темы. До пятнадцатого изучить две первых главы. До первого закончить третью. До двадцатого... Пункты плана имеют весьма категорический вид.

Особо выделить те главы, которые лишь бегло упоминались в общем университетском курсе. Электропроводность и теплопроводность металлов. Теория упорядочения сплавов. Сверхпроводимость.

Вечерами Женя сидела в библиотеке, а днём продолжала работать в лаборатории. Она не полностью посвятила Яхонтова в свои планы. Ей казалось, что профессор сразу же их разобьёт. Теперь она уже не боялась критики, но ей хотелось, чтобы не исчезало то чудесное, немножко злое вдохновение, с каким она принялась за исправление своих ошибок.

Женя долго ломала голову над тем, как быть с Аликом. Детский сад закрывается в шесть. С шести до десяти лучшее время для занятий.

Выход нашёлся сам собой. Вскоре после разговора о Грише к Жене зашла Анна Ивановна. И как только она успевает совмещать свою работу в фабкоме с заботой о семье дочери!

— Ну как, Евгения Васильевна? Учитесь, не сдаётесь? — Она улыбнулась. По лицу забежали мелкие морщинки. — Я хотела у вас спросить,

Евгения Васильевна... Что, если я вашего Алика из садика буду брать? Мне ведь с руки: за Мишкой-то хожу? И хлопцам веселее будет.

Женя сразу не нашлась, что ответить. Ей вдруг показалось, что её хотят ограбить, отнять сына хоть на время. Надо защищаться.

— Нет, спасибо. Я сама.

— Зачем же сама? — Анна Ивановна широко развела руками. — Вам специально приходится ходить, а мне мимоходом.

Решили, что иногда Женя будет оставаться в университете до десяти. С Аликом займётся Муся. Этот договор дал Жене возможность ускорить лабораторную работу. Кроме того, Женя с увлечением погрузилась в дела факультета.

На очередном заседании бюро Черкашин предложил укрепить редакцию стенной газеты.

— Галич? — сказала Женя вопросительно.

— Нет, Галич занят. У него слишком много поручений по линии профкома. — Виктор задумался. Грызёт карандаш и шевелит бровями. — Надо бы коммуниста... — Он встал, одёрнул пиджак. — Понимаете, товарищи, я крепко верю в газету...

У него привычка: когда говорит, поочерёдно переводит взгляд с одного товарища на другого, проверяя — доходит ли? Кроме Жени, в комнате два члена бюро. Пятый, Деревянко, уехал в командировку.

Виктор закурил:

— Я предлагаю редактором очень грамотного парня с нашего курса, Бориса Ивнева.

Женя покачала головой:

— Он ещё комсомолец. И потом — характер! Завалит.

— Думаю, что не завалит. Во-первых, культурен, как дай бог каждому. — Виктор загибал пальцы. — Во-вторых, изобретателен...

— Но газета ему скоро надоеет.

— На то и мы, чтобы не надоела.

Виктор присел к столу, пригладил волосы:

— Кстати, я хочу вот ещё что сказать... Это относится ко всем членам бюро. И ко мне в том числе. — Он поднял пресс-папье и повертел его в руке. — Мы обстроились и обжились. Теперь учёба должна стать центром всей нашей жизни. Самая разносторонняя — от «Краткого курса» и сегодняшней газеты до уравнений математической физики. Мы — партийное руководство. Учебный год идёт к концу. А с учёбой не ладится. — Виктор брезгливо прижал пресс-папье к чернильной кляксе на столе. — Я замечаю формализм в нашей работе.

Женя подняла брови.

— Я не о тебе. Хотя это всех касается. Вот представь себе, Женя, что у тебя есть сын.

— Очень хорошо это представляю, — улыбнулась Женя.

Виктор тоже усмехнулся.

— А до этого сына не было. И вот, когда появился сын, совсем другое настроение у тебя, другой строй души.

— Правильно.

— А почему другой?

— Потому что сын, — ответила она удивлённо. Станный вопрос!

— Но что такое сын? Сын — это ответственность перед собой, это тревога за него, радость, ожидание, надежды, мечты. Словом — вся жизнь меняется коренным образом.

— Вы будете хорошим отцом, — сказала Женя грустно.

— Но я не о сыне начал разговор. Я о нашем факультете. О нас. Когда мы стали членами бюро, наша жизнь изменилась самым корен-

ным образом. Я понимаю это, как новый и замечательный переворот в личной жизни, когда ты чувствуешь, что должен вести людей вперёд. — Виктор увлёкся. — Но не за ручку. Ты как считаешь, Женя, сын всегда нуждается, чтобы его вели за ручку? Нет, конечно! Не за ручку. А сердце расшевелить, войти в душу и остаться там самым дорогим и необходимым. Правильно я говорю?

— Я поняла, — сказала Женя. — Мы должны руководить по-партийному.

Глаза у Виктора блеснули:

— План мы утвердили. Прошу вложить в него душу. — Он улыбнулся. — Я серьёзно. Газета, кружки, бороться за отличников, ни одной двойки, высокая сознательность, а главное — комсомол. — Он поглядел на Женю. — Самый трудоёмкий участок, потому что у нас девяносто процентов комсомольцев. Я тоже буду ими заниматься, как секретарь и как член бюро, наравне с политико-воспитательной работой. Словом, дела много.

Да, дела много.

Бориса утвердили редактором газеты. Первое заседание новой редколлегии он созвал в комнате комсомольского бюро. Он был очень важен. Постучал о стол рёбрами пальцев и вынул изо рта папиросу.

— Я, ребята, люблю так: или работать, или не работать. Засмеялись.

— И имейте в виду, что в детстве меня вежливости не обучали. Словом, иногда могу загнуть. Понятно?

— Понятно, — дружно ответили члены редколлегии.

— Итак, работать, — он прищурился. — Прежде всего — название. У кого будут предложения? «Вектор»? Устарело. Шаблон. На географическом — «Компас», на геологическом — «Гранит», а на физмате спокон веков «Вектор». Будем ломать традиции.

Названия не придумали. Решили объявить конкурс.

— Теперь о содержании. Зубоскальство буду безжалостно вычёркивать. — Борис провёл карандашом по столу резкую жирную линию. — Вот полюбуйте, — он вытащил блокнот. — Я сделал выписки из старого комплекта. Иронико-комическая поэма под названием «Стипендиада». «И вот настал тот миг блаженный, когда физмат весь, как скаженный, на кассу налетел...» Что это такое? — Борис сделал страшные глаза. — Бред! Таких писак на пушечный выстрел не подпускать! Дальше. — Он послунил палец и перелистал блокнот. — Где раздел «По следам наших выступлений»? Такогого не имеется. А на чёрта в таком случае газета, разрешите спросить?

Итак, начал по-боевому. Но что из всего этого выйдет? Женя не любила Бориса. Заложив руки в карманы, ходит по коридорам и насвистывает фантастические мелодии. Хвастун: «Я газетку поставлю на ноги».

— Только не на ходули, — заметила Женя.

Он не обиделся. Вообще, он не обидчивый, но такую напускает на себя важность, будто прожил на земле по крайней мере лет на двадцать дольше своих однокурсников. К аспирантам относится скептически: Пересада подготовит диссертацию только к концу следующей пятилетки, Галич — зубрёжник, отними у него конспекты — и сразу пойдёт ко дну. А Женя Маслова...

Бог его знает, что он думает о Жене Масловой! Впрочем, это совершенно неважно. С мнением о Пересаде Женя кое-как ещё может согласиться. А Сёма Галич очень способный молодой человек. Усидчивость — не недостаток, а качество. У Галича семья, жена, но он успевает и в

лаборатории заниматься, и сдавать очередные экзамены, и работать в профкоме, и увлекаться театрами. И аккуратен во всём, начиная с выполнения общественных поручений и до порядка в лабораторном рабочем ящике. Всё на месте: отвёртки, плоскогубцы, ключи, справочники, конспекты.

А у Жени на столе — ералаш.

Однажды Яхонтов, появившись в лаборатории, заметил:

— Когда вы приступите к работе над диссертацией, Евгения Васильевна, то, пожалуйста, наведите порядок на своём столе. Это даст вам возможность сократить срок работы минимум на полгода.

С этих пор Женя начала присматриваться к Галичу, стараясь подражать его аккуратности. Разложила инструменты в таком порядке, чтобы любой был всегда под рукой. В ящике стола сделала фанерные перегородки. Выпилила лобзиком полочки для книг.

Галич, в свою очередь, присматривался к Жене. Он часто обращался к ней за помощью, особенно когда дело касалось тонкой слесарной или механической обработки. В аспирантуру он поступил сразу же по окончании университета. Немудрено, если нет рабочего навыка.

При Жене Галич отчитывался на кафедре только один раз. Женя уже не помнит отдельных моментов, так давно это было. К тому же Семён на каждом заседании берёт слово, участвует в дискуссиях: поэтому создаётся впечатление, будто он всякий раз в центре совещания. Члены кафедры относятся к нему по-разному.

Деревянко поглядывает с интересом, выслушивает, не перебивая. Если Галич слишком увлекается, профессор короткими репликами незаметно подталкивает его к выводу.

Яхонтов следит за Галичем ревниво. Чуть что, сейчас же ехидная усмешка или гневный окрик. Рима склонна думать, что Илларион Митрофанович «переживает». Почему же он не «переживает», когда выступает Женя?

Конечно, Яхонтов ценит Галича. Ценит и отечески волнуется за него. Работают они вместе сравнительно недавно. Яхонтов вернулся из эвакуации года два назад, а до войны заведывал кафедрой в одном из приволжских городов. Кажется, он был коротко знаком с Деревянко в двадцать пятом — двадцать шестом году, когда Степан Тимофеевич ещё только начинал свою научную деятельность. Позже они не встречались.

В университете говорили, будто после войны Яхонтов решил отказаться от кафедры, требуя максимально благоприятных условий для экспериментаторской работы. Деревянко создал ему эти условия. Однако у Иллариона Митрофановича неуживчивый характер. Последнее время он частенько даёт понять, что не удовлетворён своим положением на кафедре. Да, условия для работы есть. Да, у него двое учеников — Галич и Маслюва. Но этого недостаточно. Он привык к почёту и уважению. А тут вечные споры, критика; придирки.

К Бакееву Яхонтов относится пренебрежительно. Галич доверительно шепнул Жене: Илларион Митрофанович не может себе представить физика, который в сорок шесть лет не был бы в состоянии написать докторской диссертации.

Женя не знает, что на это ответил Галич, но ей хорошо известно его отношение к Бакееву.

«Мы с ним большие друзья», — говорит Семён. Он слушал лекции Бакеева два года подряд. Теперь с удовольствием вспоминает:

-- Вы не забыли, Яков Платонович, экзамен на нашем третьем курсе? Двенадцать часов ночи, я выхожу в коридор последним. В зачёт-

ке ещё одна пятёрка, девушка преподносит вам цветы... Эх, времечко, времечко!

Бакеев слушает молча. Изредка приоткрывает рот: вот-вот что-то ответит. Нет, это лёгкая улыбка. Ему приятно. Удивительно подвижное лицо. А у Галича — неизменное застывшее выражение беззаботного счастья и уважения к собеседнику.

Гордиевский его недолюбливает. Не только Жене кажется, но и другие замечают это. Галич объясняет такое отношение Гордиевского к себе очень просто:

— Он видит в нас будущих конкурентов.

Может быть, и так. Однако Пересаде Гордиевский симпатизирует. Вероятно, сказывается общность характеров. Галич — бойкий и многословный, а Пересада молчалив. Когда ему нужно включить высокое напряжение, он, пытаясь, разъединяет провода, связывающие Женину установку с общей электрической цепью, и, помедлив некоторое время, взвешивает со своего места:

— Я вас отцепил.

Он произносит слова неясно, небрежно. Глухое «г». Вместо «что» — «шо». Движения неторопливые, почти ленивые.

С первого знакомства Пересада произвёл на Женю впечатление крайне медлительного человека. Рядом с Галичем он ещё больше терялся и тускнел. Как только дело доходило до математики — сейчас же выскакивал Семён. Математику он знал прекрасно и любил подшучивать над Пересадой, который соображал туговато.

В лаборатории висела классная доска. На этой доске делались предварительные расчёты, необходимые для эксперимента. Галич был хозяином доски. Он охотно прекращал возню возле своей наполовину смонтированной установки и, завладевая кусочком мела, принимался помогать в подсчётах Жене или Пересаде.

Монтаж у него двигался медленно. Во всяком случае, Яхонтов был недоволен.

— Ну как, Илларион Митрофанович? — бойко спросил однажды Галич. — Как вы считаете, направление я взял правильное?

Семён задал этот вопрос с таким счастливым лицом, что будь Женья на месте Яхонтова, у неё нехватало бы духу ответить ему отрицательно.

Яхонтов сидел на стуле возле высокого столика, опутанного проводами и трубками водяного охлаждения: будущей установки Галича.

— Что я могу сказать? — Яхонтов обеими руками взялся за столик. — Прочно, не шатается. Но о направлении можно судить лишь после того, когда некое тело уже прошло некий путь в пространстве... — Галич вежливо улыбнулся. — А когда черепаха делает свой первый шаг — откудава я знаю, какое она изберёт направление?

Семён не обиделся. После ухода профессора он теребил Пересаду:

— Вот отбрил! А? Один он так умеет! Черепаха! Я ему покажу черепаху! Через три дня всё до конца смонтирую.

Но ему, вероятно, всё-таки было досадно, что Яхонтов высмеял его при всех.

А Деревянко, навещая в лаборатории Пересаду, только смотрел и слушал. Все важные и спорные вопросы решались или в кабинете Степана Тимофеевича, или у него на квартире.

Галич не давал покоя Пересаде:

— Ну, что сказал твой шеф? Как настроение? Одобрил или разнёс?

Пересада по обычаю помалкивал.

— Дела не блестящие, — подмигивал Семён Жене. — Народ безмолвствует.

Пересада работал как-то незаметно. Он почти никогда не посвящал в свои планы ни Женю, ни Семёна. Если удача — молча отойдёт к окну, отдернет штору и, нервно постукивая крепко сжатыми в кулаки руками, скажет:

— Погодка! Хороша погодка!

Только раз он размечтался. Рабочий день подходил к концу. Галич уже собирался домой и, перескакивая с одной темы на другую, развлекал Женю разговорами.

— Да, Яков Платонович Бакеев — это талант в своём роде, — говорил он, раскладывая инструмент по полочкам. — Лекции читает блестяще, есть чему поучиться. Вот подрасту, — он щегольски одёрнул пиджак, — и постараюсь вступить с ним в соревнование.

Пересада кашлянул, а Галич резко повернулся и затарахтел:

— А что вы думаете? Преподавание — великая вещь. Лучше, чем возиться в лаборатории. — Он сердито поглядел на свою установку. — Входишь в аудиторию, все на тебя смотрят, а ты, как на сцене, расправляешь крылья и летишь, летишь, летишь...

— Значит, пойдёшь на преподавательскую? — спросила Женя.

— А что же ты думаешь? Пойду. Вот как Бакеев.

— Мне тоже не хотелось бы отрываться от университета, — сказала Женя задумчиво. — Если бы удалось остаться на полставке...

— А из тебя оратор неважный, — перебил Галич, ласково улыбаясь.

— Не обязательно оратор. Вот тут, в этой лаборатории... Возиться с дипломниками. А самое главное...

Семён уже готов был снова вмешаться.

— Подожди, дай досказать. Самое интересное, чего бы я желала, — это институт металлов. Научным сотрудником. Столько интересного, нужного, что нас ждёт!

Вот тут-то Пересада не выдержал:

— Я тоже. Только по другому ведомству. В физико-химический. Такая мысль появилась. А как появится, так уж не отстанет.

Он собирался ещё что-то сказать, но Галич перебил, затарахтел о другом и уже не умолкал до самого своего ухода.

Однажды Женя сидела в деканате у стола секретаря и просматривала факультетские журналы семинарских занятий. Бакеев прохаживался вдоль стены. Вошёл Деревянко. Женя поспешно встала.

— Сидите, сидите! — Деревянко положил на стол большой портфель с тяжёлыми металлическими застёжками. — Ну, как себя чувствуете? Не убили мы вас тогда на кафедре?

У Жени отнимался язык, когда с ней заговаривал Деревянко. Она завидовала Риме. Рима умела со всеми держаться свободно и независимо. Для каждого у неё находилась особая улыбка и особый тон. С Гордиевским она разговаривала мягко и вкрадчиво, с Бакеевым — шутя, с Деревянко — строго, серьёзно. К студентам младших курсов относилась пренебрежительно, к дипломникам — покровительственно.

— Я его давно знаю, — сказал Деревянко о Пересаде. — Готовь сани летом, а аспиранта с первого студенческого курса.

Бакеев продолжал расхаживать по комнате, заложив руки за спину и выпятив узкую грудь.

— Я удивляюсь вашей энергии, Степан Тимофеевич.

— Что ж удивляться? Интересно знать заранее, с кем нас в самом ближайшем времени соединит наука.

— Надо докторскую заканчивать, Яков Платонович, — сказал Гор-

диевский Бакееву. — А то молодёжь обгонит. — Покраснев, он покосился на Женю.

Бакеев болезненно сморщил своё сухое жёлтое лицо:

— У меня — семья. А вам раздолье. Гол как сокол.

— Добре, если молодёжь начнёт обгонять, — вмешался Деревянко. В хорошем настроении он всегда говорил «добре». — Молодежь — наше будущее, и в ней счастье наше.

— Да, Степан Тимофеевич, да... Я завидую вашей самоуверенности, — ответил Гордиевский

Он всегда казался Жене завистливым и болезненно самолюбивым. Трудно определить его возраст. То — юноша, преждевременно повзрослевший, то — пожилой, но очень моложавый мужчина.

Студенты его не любят. Он читает слишком сухо. Но у него неугасимая страсть к экспериментальной работе. Кажется, ничего ему не нужно в жизни, кроме лаборатории. Помимо университета нигде не преподаёт.

А Бакеев, в полную противоположность ему, читает лекции всюду, куда только ни позовут. Из-за этого постоянные неприятности в научной части университета. Он торопливо оправдывается:

— Дочитываю, дочитываю... Нельзя же так: сразу бросить — и будёте здоровы!

Но «разгрузиться» Бакееву не удаётся. Он нарасхват. Его приглашали читать публичные лекции в Дом пропаганды, в Офицерский клуб, во Дворец пионеров. Звонили из городского лекционного бюро, из пединститута, из райкома профсоюза. Всегда одна и та же просьба: разрешить доценту Бакееву временно, в виде исключения, пока совмещать лекторскую работу с основной в университете.

Эти «временно» и «пока» были звеньями цепи, конца которой не видно.

Женя иногда ходила слушать Бакеева; присаживалась в верхних рядах огромного, расположенного амфитеатром зала. Этот зал в расписаниях занятий имел название «большой физической аудитории», а среди студентов именовался «цирк».

Даже в минуты наивысшего ораторского вдохновения Бакеев не упускал аудитории из виду. Глаза его неизменно встречались с глазами Жени.

— Ну как? — скромно спрашивал он у неё после лекции. — Сегодня из рук вон. Вы согласны? Неинтересно. Отвратительно читал.

Чувствовалось, что он польщён заинтересованностью Жени. Конечно, он прекрасно знал, каким успехом пользуются его лекции. Но ханжески пожимал высокими плечами:

— Разве? Неужели хорошо?

В начале учебного года начиналось паломничество первокурсников в аудиторию Бакеева. Вступительные лекции он читал особенно эффективно. Слушать его приходили математики, химики, биологи, географы, филологи. С течением времени интерес постепенно угасал, у студентов появлялись повседневные заботы, неотложные дела, но слава Бакеева перерастала в легенду, проникающую в другие вузы и города. Поговаривали, что лекции Бакеева доступны всем слушателям, даже совсем не подготовленным к курсу высшей физики.

На кафедре по-разному относились к этой славе. Деревянко посмеивался, Яхонтов презрительно улыбался, а Гордиевский завидовал. Зная, что рано или поздно ей придётся заняться педагогической практикой, Женя решила систематически посещать лекции Бакеева.

После её отчёта на кафедре прошло немало дней. Продолжать ли учёбу в аспирантуре или отказаться от мысли стать учёным? Женя откладывала решение этого кардинального вопроса не из робости, а просто потому, что была слишком занята. Она продолжала опыты.

Между тем приближались студенческие экзамены. Дёла в бюро по горло. Прежде всего семинарские занятия по истории партии, общей физике и математике. Особенно неблагополучно на первых курсах. Вчерашние десятиклассники с трудом втягивались в студенческую колею. У некоторых с самого начала сложилось убеждение, что можно с прохладцей относиться к занятиям в течение года, а потом, во время экзаменов, наверстать упущенное. Нужно немедленно объявлять войну этим настроениям.

Не откладывая, Женя отправилась в комсомольское бюро, к Нине.

В университете было шумно. Только что закончились лекции. Когда Женя вошла, Нина сидела вполборота к двери, за столом, и что-то писала. Она на секунду задумалась, постукивая карандашом по бумаге, машинально закладывая за уши тяжёлые, кофейного цвета волосы и глядя в окно. Глаза так широко раскрыты, словно стараются вобрать в себя эту широкую и яркую акварель: рваные апрельские облака на голубом фоне, замесловатую, но чётко вырисованную путаницу голых веток, просыхающие крыши домов, далёкую фиолетовую полосу загородных лесов на горизонте. Весна в разгаре. День такой яркий, что кажется, весь город отражён в мокром, сверкающем асфальте. Внизу, на улице, машины бегут в вихре мелких брызг. На теневой стороне, под ногами прохожих — рыжий снег. На солнце уже кое-где по-летнему сухо и пыльно. А у стен домов — голубовато-серый, зернистый лёд, пробитый тысячьо капель, падающих с крыш.

Жене вдруг вспомнилось далёкое. Ещё нет войны, ещё она, Женя, на третьем курсе, и тоже работает в комсомольском бюро. Такой же апрельский день, в окне — облака, они пролетают, разрываются, снова летят к горизонту. Женя сидит в комсомольской комнате возле телефона и строчит письмо. Одно из тех писем, которые пишутся без особого повода и остаются без особых последствий. Сейчас Нина, кажется, тоже пишет письмо. Совпадение. Только телефона нет рядом. А тогда отчаянно звонил телефон, из райкома срочно требовали цифры и сводки, в комнату прибегали комсорги групп, приносили листочки, вырванные из тетрадок, протоколы, донесения, рассказывали, что сегодня на курсе одни пятёрки и четвёрки, стенгазета выйдет завтра, экскурсия в Исторический музей, культпоход в театр, группы взаимопомощи.. А Женя, то и дело отрываясь, упрямо продолжала писать письмо. В ней жила глубокая уверенность в том, что и эти телефонные звонки, и шум голосов, и сводки, и споры, и её личное письмо — всё это части одного целого и одинаково важны и необходимы ей.

Разговор с Ниной начался с академической успеваемости комсомольцев. Нина с жаром, волнуясь и часто переходя на скороговорку, рассказала о том, что уже проведены собрания в группах, что специально об экзаменах говорилось на бюро, что вышла стенгазета, что первый курс уже сдал два зачёта...

Если бы за минуту до этого Женя не вспомнила себя точно такой же, какую сейчас была Нина, она, может быть, и промолчала бы или принялась просматривать протоколы собраний. Но теперь, отчётливо представляя себя комсомолкой, Женя почувствовала недовольство.

— Это всё хорошо, — сказала она Нине — Но мне кажется, нужно искать нового, новых форм.

Нина поглядела своими обеспокоенными круглыми глазами прямо в глаза Жене.

— Нового? Но что же может быть нового? Какие могут быть новые формы?

— Сразу не могу сказать. Нужно посоветоваться с Черкашиным. Возможно, нужно поставить на группах отчёты комсомольцев. Это уже было? Вы понимаете, Нина, необходим резкий толчок, который понудил бы заниматься серьёзней, по-настоящему. — Женья задумалась. — Знаете что? Я поговорю с профессором Деревянко. Может быть, он согласится рассказать на общем собрании, как он учился, в каких условиях вообще учились тогда, как он растил в себе учёного.

— Именно, как растил, — быстро согласилась Нина. Она сразу при-смирела, вместе со стулом отодвинулась от стола и спрятала письмо в ящик. — Мне всегда кажется, что Степан Тимофеевич готовил себя к научной деятельности, как Рахметов к революции.

— Нужно себя готовить так, чтобы можно было в себя верить, — сказала Женья, мысленно возвращаясь к своей собственной судьбе.

Нина стукнула кулаком по столу:

— А у нас ещё многие живут так: день прошёл — и хорошо. Экзамен прошёл — ещё лучше. А нужно себя к чему-то твёрдо готовить, к чему-то определённом.

Вечерами Женья заходила в общежитие. Нина с подругами добилась у коменданта отдельной комнаты, где были расставлены столы и развешены по стенам списки рекомендованной литературы. На двери прибили дощечку: «Кабинет домашних занятий».

Пришёл Борис Ивнев, посмотрел на табличку, раскритиковал в пух и прах.

— Что это за вывеска — кабинет? Громко, но не убедительно. Кроме всего прочего, в учебных кабинетах запрещается курить, а я не могу заниматься без папиросы. — В пальто и шапке он прошёл вдоль столов, заглянул в чернильницы, зачем-то выдвинул ящик, щёлкнул выключателем: — Мало света.

Майя в голубенькой трикотажной кофточке спортивного покроя сметала пыль с подоконника.

— Ты вечно, — проворчала она, осторожно расправляя тряпку, — придёшь, наговоришь. Попробуй сам.

— Я при исполнении служебных обязанностей, — сказал Борис торжественно. Он имел в виду своё редакторство. — Прошу меня не задевать.

— И я при исполнении...

— Я вникаю в детали.

— Между прочим, — сказала Нина строго, — в помещении принято снимать шапку.

— Извините, — Борис стащил с головы свой серенький картузик.

Он действительно оказался очень наблюдательным редактором.

В этот день Женья задержалась в общежитии до позднего вечера. У неё было много неотложных домашних дел, и сначала она предположила вернуться домой не позже семи. Но Нина и ещё несколько девушек с третьего курса попросили помочь. Через месяц сдавать электродинамику — есть непонятные вопросы. Речь шла, главным образом, о природе ферромагнетизма.

— В учебнике об этом сказано, — объяснила Майя, слюнявя палец и перелистывая страницы книги. — Но так сказано, что... — она обвела широкий круг своей худенькой рукой с тонкими пальцами. — Ах, если бы все так объясняли, как Яков Платонович Бакеев!

Женя озабоченно наморщила лоб. Природа ферромагнетизма. Этот раздел всегда ей казался трудным. Неужели всё забыла? Не то чтобы она боялась оказаться в неловком положении перед девушками... Просто перед собою было бы стыдно. Она сидела несколько секунд молча, обхватив рукой лоб. Нина сказала, сочувствуя ей:

— Что вы, девочки! Не будем затруднять Евгению Васильевну. Мы сами разберёмся.

Но Женя подняла голову и, не обращая внимания на слова Нины, заговорила. Она и сама не ожидала, что её объяснение выйдет таким простым и логичным. В общем — всё это заняло часа полтора. Девушки наперебой благодарили её.

После этого вечера у Жени установились дружеские отношения с Ниной и Майей.

Майя попережнему работала в культурно-бытовой комиссии. Каждую неделю она устраивала концерты или киносеансы в актовом зале. Появилось много знакомых актёров местной филармонии. Иные ухаживали за ней, но она никому не отдавала предпочтения. Рима, которой Майя иногда доставала контрамарки в театр, однажды сказала ей:

— Удивляюсь вам. Такие связи, и ни одного серьёзного поклонника.

Майя относилась к Риме, как к человеку какого-то иного, недоступного ей, Майе, мира. Она смущённо улыбнулась:

— Вы знаете — я уважаю всех одинаково.

Рима со смехом вспоминала её слова:

— Десятиклассница, право! — И добавляла серьёзно: — Но внешность яркая. Вся она какая-то слишком бросающаяся в глаза. Нельзя пройти мимо.

Присматриваясь к Майе, лёгкой и ловкой, Женя замечала, что девушка редко говорит о себе, а больше интересуется делами подруг и знакомых. Казалось, Майя и не задумывается над своей жизнью, над будущим, а просто живёт без затей, занимается вместе со всеми и старается быть похожей на подруг, добросовестно выполнять комсомольские поручения и успешно сдавать экзамены.

Она жила интересами окружающих. Ходила в оперу, потому что опера любит Нина. Училась кататься на коньках, потому что Виктор убеждал её в том, что у неё задатки фигуристки. Её можно было встретить на занятиях по гимнастике, потому что на факультете много говорили о спорте и добивались общеуниверситетского рекорда в численном составе спортивных секций.

Майя так выросла в обстановку университета и общежития, что её уже трудно было отделить от этой обстановки. Только экзамены выбивали Майю из обычной колеи. Но с течением времени она стала относиться к экзаменам, как к неизбежному злу, которое лучше пережить молча, со стиснутыми зубами.

Разговаривая с Ниной, Виктор однажды предложил:

— Майя постоянно среди девушек, общительная. Толкай её в самую гущу студенчества, пусть она влияет на людей.

— Что ты имеешь в виду конкретно? — спросила Нина, наклонившись над бумагами.

— Я имею в виду влияние снизу, — сказал Виктор. — Ленился кто-нибудь — нужно подстегнуть. Майя заметит то, что и ты не заметишь. И слова такие найдёт, каких ты не найдёшь.

Нина резко подняла голову:

— Что же, я оторвалась от масс?

— Оторвалась — скажешь! Нужно бить со всех сторон в одну точку

Движение снизу — за честь, за право называться отличником — безусловно налицо. Нужно возглавить это движение.

— Вряд ли Майя сумеет.

— Пусть попробует. Не хочет, боится? Подтолкни. Её нужно подталкивать. Пусть расскажет, как раньше отставала, а теперь о тройках и думать забыла.

Нина часто забегала к Жене в лабораторию советоваться о комсомольских делах Галич неизменно встречал её словами:

— Привет начальству!

Он расхаживал по комнате с независимым видом человека, погружённого в сложные расчёты. Но ему редко удавалось оставаться безучастным к разговорам Жени и Нины. Он вмешивался, оживлялся, спорил, с его лица не сходило сияние добродушия.

Даже в присутствии Яхонтова Галич не становился молчаливее и озабоченней.

Илларион Митрофанович бывал в лаборатории ежедневно между двенадцатью и часом. Он долго снимал в коридоре калоши, а Галич прислушивался к шуму за дверью, взглядывал на ручные часы, вправленные в серебряный браслетик, и шёпотом сообщал:

— Внимание! Шеф идёт.

Яхонтов входил — в пальто и высокой конусообразной каракулевой шапке, мрачноватый, с недовольно вытянутыми губами и с руками, засунутыми в карманы. Вид у него был такой, словно он зашёл не по делу, а случайно, мимоходом, поболтать с аспирантами. Но все знали хорошо, что именно в лаборатории Яхонтов не терпел лишних разговоров.

— Итак, Евгения Васильевна... Итак, Семён Михайлович...

Галича он часто одёргивал за многословие:

— Меня не интересует беллетристика.

После того как Жёня сообщила Яхонтову предварительные результаты своих контрольных опытов, Илларион Митрофанович заметно оживился:

— Великолпно. — Он строго поглядел на Галича, который, бросив работу, насторожился. — Я одобряю ваше упорство в научной работе, Евгения Васильевна... Заметьте — упорство, а не упрямство. Потому что упрямством вы часто подменяете упорство, и это чрезвычайно мешает вам.

Он высказал надежду на будущие успехи Жени.

— Думаю, в дальнейшем вы лишите кого бы то ни было оснований упрекать вас в игнорировании учебных планов и графиков.

Кого бы то ни было... Прозрачный намёк на Деревянко.

— Вам известно, Евгения Васильевна, что я обладаю многими недостатками. Ничто человеческое мне не чуждо. — Яхонтов сокрушённо потрянул головой. — Но, кроме недостатков, есть у меня одно достоинство, о котором я не стыжусь говорить вслух и которое трудно перечеркнуть даже моим врагам...

О каких врагах идёт речь?

Галич понимающе подмигнул Жене. На факультете известно, что Яхонтов постоянно и с увлечением раздувает слухи о том, что против него настроены отдельные члены кафедры и Учёного совета. Ему было не по себе, если научное заседание заканчивалось мирно и тихо, без взаимных препирательств. Илларион Митрофанович обожал интриги. Он объединялся и сходился на почве какого-нибудь пустячного спора то с Гордиевским, то с Бакеевым, но всегда против Деревянко. Трудно было

назвать это враждой. Скорее — слишком резкое различие в характерах, вкусах и научных устремлениях.

— Могу сказать смело, что в совершенстве владею методом эксперимента, — продолжал Илларион Митрофанович. — И вот, когда вы рассказывали на кафедре о некоторых результатах своей полугодовой работы, чутьё подсказало мне, что результаты далеко не проверены. Вам нужно было медленно и осторожно идти вперёд, ощупывая окружающие предметы, а вы побежали сломя голову и стукнулись лбом о стену.

Женя перебила:

— Я думаю, мечтать можно во всех областях... А тем более — физика. Сидишь в лаборатории, серия длинных опытов, и невозможно удержаться, чтобы не представить себе конечный результат... — Сейчас он скажет: «Воздушные замки!» — Что бы я ни делала, Илларион Митрофанович, у меня всегда перед глазами завод: что получится из моих наблюдений, как это будет жить там, на заводе?..

Яхонтов заторопился:

— Вот это и преждевременно... Я уже говорил на кафедре. Нужно расставаться с подобными настроениями.

— Я стараюсь, Илларион Митрофанович, — сказала Женя грустно.

И хотя беседа с профессором в общем приободрила, какой-то неприятный осадок остался.

«Я боюсь, трудно будет сработаться с Яхонтовым, — сказала себе Женя. — Но почему же трудно? Нет, чепуха, чепуха! Всё зависит от меня самой».

К концу дня в лабораторию забежала Рима:

— Ты ещё здесь? — Рима возмущена. — Сейчас же отправляйся домой, переодевайся и жди меня. Пойдём на вечер. Обязательно!

Да! Сегодня открытие нового университетского клуба. Событие торжественное, но всё-таки лучше бы остаться дома. Хочется побыть с Аликом, да и заниматься надо.

Но Рима уговорила. Женя наскоро пообедала в студенческой столовой и поехала переодеваться. Рима запаздывала. Вот уже Чемезов с Мусей ушли — тоже в клуб, — а её всё нет. Наконец — звонок.

— Ненавижу эти великосветские привычки, — сказала Женя, отворяя двери. Она уже была одета: в чёрном платье и чёрных лакированных туфлях.

Рима наполнила комнату смехом, запахом духов, грохотом отодвигаемых стульев.

— На улице опять снег. Тает, снова падает — то весна, то зима. Сумасшедший апрель. Не погода, а выставка пейзажей на тему: времена года. — Рима на секунду умолкла, разглядывая Женино платье. — Сейчас же переодевайся. Сколько раз я тебе говорила — надо переделать. Сейчас носят длиннее. — Не дожидаясь ответа Жени, она распахнула дверцы шкафа и вытащила темнокрасное с синими фантастическими цветами. — У тебя есть плечи? Сейчас я подошью плечи.

«Как ребёнок», — подумала Женя, покорно снимая платье. В одной сорочке она присела рядом с Римой. Это хорошо, что Риме весело. Пусть красное платье — какая разница. Лишь бы Риме было весело. А ведь правда: красное платье лучше.

— Довольна ли ты своими соседями? — спросила Рима, сосредоточенно орудуя иглой.

Жене передалось весёлое настроение Римы. Она глядела на мелькающие пальцы Римы почти с увлечением.

— Соседи очень хорошие. Они мне здорово помогают. Вот Алик,

например, сегодня у Анны Ивановны в гостях, вместе с Мусиным сыном. Анна Ивановна обещала привести их часов в девять и уложить спать.

— Тебе повезло. Чемезовым, конечно, легче с сыном. Бабушки — это великое изобретение природы, даже если они профсоюзные деятельницы.

Женя промолчала. В ней проснулось чувство гордости и нежности. Алик — мой, только мой и больше ничей!

Когда она ждала сына, ей очень ясно представлялось, как она будет его воспитывать. А теперь немножко терялась. Алик рос среди детей. Он успел уже крепко привыкнуть к людям. Как и все мальчишки, шалил и дурачился, но никаких дурных наклонностей Женя за ним не замечала. И всё-таки она жила в постоянной тревоге за сына. Что он делает в детском саду? Как ест? С кем дружит? Почему за последнее время ни разу не вспомнил отца? Неужели догадывается о семейном разрыве?

— Я не знаю, кем будет Алик, — сказала Женя, — физиком или инженером. Не знаю. Но он обязательно будет строителем.

Рима любила возражать, подчёркивая этим, что на всякий жизненный случай у неё есть своя оригинальная точка зрения.

— Пусть он будет музыкантом. Знаменитым, заслуженным, лауреатом и так далее.

— Нет, инженером. Самое важное в жизни — это строить. — Женя упёрлась локтями в голые колени и заговорила задумчиво: — Придёт тысяча девятьсот восьмидесятый год. Я стану ждать сына из далёкой командировки. Он никогда не будет сидеть на месте. Будет уезжать в самые далёкие места, строить, строить. Я стану ждать его и верить, что с ним ничего не случится дурного. Потому что он будет сильный, ловкий, закалённый человек, привыкший ко всем испытаниям жизни. И ещё потому, что, когда он вырастет, многое, очень многое дурное будет изгнано из человеческой жизни. Кто знает — о таких страданиях, как война, колониальный гнёт, будут писать только историки. И останется единственным героизмом человека — строить, изобретать, работать.

Рима поглядела на Женю смеющимися, очень узкими и длинными глазами.

— Воздушные замки! — сказала она снисходительно, тоном Яхонтова — Ну вот, готово. Примерь.

Женя прошла перед зеркалом.

— Хорошо?

— Великолепно. Гордиевский сойдёт с ума.

Рима была в песочном костюме. Жакет очень длинный, по моде, с круглыми большими лацканами. Светлые чулки и светлые туфли. Косы, как всегда, выложены вокруг головы.

Рима одёрнула Женино платье, отошла в сторону, ещё раз оглядела. Вдруг глаза её сделались задумчивыми, она присела на стул. Спрятала бело-розовое лицо в ладонях, капризно, как девочка, застучала каблучками об пол. Остро блеснули её маленькие колени в шёлковых чулках.

— А к чему всё это? — зашептала она, не отрывая ладоней от лица. — К чему эти наряды, эти платья? — Откидываясь на спинку стула, она вдруг сказала не то устало, не то сердито: — Никуда я не пойду.

Ну, вот тебе! Начинается.

— Рима, брось свои фокусы. Тебе не шестнадцать лет.

Вышли. На улицах ещё не зажигали огней. Снег растаял. Ветер медленно прошёлся по тротуарам и стих. Снова подмораживало. Воздух холодный и голубой. Мир ясных и чётких линий. Вот-вот совсем стемнеет, но пока корочка льда смутно поблёскивает на мостовой. Когда

проходит машина, корочка хрустит и рассыпается. Остаются чёрные влажные пятна.

— Почему ты расклеилась? — спросила Женя, беря её под руку.

— Не знаю. Грустно. — Рима вздохнула. — Вот такая же погода была десять лет назад. А в тридцать девятом, как сейчас помню, метель...

Хорошая память. Особенно на даты. Рима любит вспоминать. В прошлом году, в позапрошлом, в сорок первом, в тридцать девятом...

— Охота тебе копаться в настроениях, — сказала Женя. — Давай лучше помечтаем.

Рима усмехнулась:

— Сорок лет, потом стукнет сорок пять, потом пятьдесят. Противно! Один остроумный человек изрёк, что трагедия старости не в том, что стареешь, а в том, что, старея, чувствуешь себя молодым.

— Ничего я не знаю, — ответила Женя задорно. — Я ещё молодая. Молодая! — прибавила она так громко, что Рима поспешно дёрнула её за рукав.

Это, действительно, неудобно — кричать на улице. Но вот освещённый подъезд студенческого клуба, ветер полощет красный кумач над входом, возле дверей — толпа.

У вешалки Женя и Рима встретили Федю Карпенко, секретаря партийного комитета. Он учился на одном курсе с Черкашиным. Женя знала его мало. Они издали обменялись поклонами. Карпенко стоял с переброшенным через руку кожаным пальто, дожидаясь своей очереди. Он был в тёмном костюме. Загорелое лицо с широким подбородком. Чёрные, цвета смолы, падающие на лоб волосы.

— Давай подойдём, — шепнула Рима и потащила Женю к Карпенко. — Фёдор Иванович, Фёдор Иванович... Вам не по чину стоять в очереди.

Первокурсники, толпящиеся впереди, заволновались: узнали секретаря комитета.

— Пожалуйста, пожалуйста, товарищ Карпенко!

У Феди был невозмутимый вид. Он терпеливо дождался своей очереди. На Риму поглядел недружелюбно:

— Давайте ваши пальто.

Рима с готовностью сбросила с себя котиковую шубку. По лестнице шли втроем.

— Как у вас дела? — спросил Карпенко, обращаясь к одной только Жене. Рима повисла на её руке, подражая шаловливой девочке.

— Вы о факультетском комсомоле? — спросила Женя.

— Нет, об аспирантуре.

— Товарищи, это же скучный разговор, — вмешалась Рима.

— А вы насильно не выжимайте из себя веселья. — Взгляд у Феди серьёзный, строгий. — Веселье придёт само собой.

Рима прищурилась. Узкие синие глаза.

— Недаром о вас говорят, Фёдор Иванович, что вы насквозь видите человека.

Карпенко пропустил её замечание мимо ушей.

— С аспирантурой как будто бы ничего, — начала Женя. — Меня за отчёт сильно грели, но потом я продумала, исправила кое-что. Сейчас подгоняю.

— Знаю. Черкашин рассказывал. Это хорошо, что вы сделали верные выводы — Его тёмное лицо оживилось. — А грели сильно? И Степан Тимофеевич грел? Ну, уж если Степан Тимофеевич... Вам нужно

сейчас так силы рассчитать, чтобы не упустить основного... Кандидатский минимум и диссертация. — Глаза его оживились: — Мы на вас большие надежды возлагаем. — Помолчал, внимательно разглядывая свежешкрасенные стены фойе.

— Абрикосовый цвет, — сказала Рима манерно. — Сюда не идёт.

— Может быть, вам трудно в бюро?

— А что? — спросила Женья с тревогой. — Если я лишняя...

Надо бы это сказать небрежно. Но голос дрогнул. Карпенко взял её под руку.

— Я всегда рублю с плеча.

— Значит, лишняя?

— Вы необходимы. Особенно вы. В частности вы, понимаете?

— Ну, всё, — сказала Женья весело.

Карпенко одобрительно крикнул.

— Отлично. Вы видели, как отделали сцену?

Он повёл Женю по узкому коридорчику. Рима отстала. На ходу Федя рассказал о своём плане: прорубить стену, построить стеклянную галерею — переход в химический корпус. То крыло здания до сих пор пустует. Можно его использовать, расширив клуб. Оборудовать комнаты отдыха, конференц-зал, читальню.

По гремющей винтовой лестнице они поднялись на сцену. Занавес был ещё задёрнут. Возле стола для президиума Виктор Черкашин распекал какого-то студента:

— Эх вы, основы элементарной механики забыли! — Он поднял глаза на занавес. — Трос нужно было сюда вывести, да подлинней конец оставить.

Поздоровались. Карпенко спросил:

— Как успехи?

— Можем начинать. Только Бакеева нет.

— А что Бакеев? — заинтересовалась Женья.

Бакеев — руководитель самодеятельности. «Худрук», — пошутил Ивнев.

Появилась Нина, растрёпанная и озабоченная.

— Где Майя? Почему заперт гардероб артистов?

— Не суетись, — сказал Черкашин, заглядывая в зал через щёлку в занавесе. — Народу — тьма. Борис, распорядись, чтобы освободили первый ряд. Пусть принесут стулья. Где же, в самом деле, Майя?

Нина соскользнула вниз по винтовой лестнице.

Бакеев, как всегда, запаздывал.

И на сцене, и в фойе, и в зале господствовало тревожное возбуждение. Всё ли в порядке? Хорошо ли подготовились?

— Как до войны! Смотрите — даже колонны жёлтые.

— Рояль! Двигайте рояль. Немного вперёд...

— А этих люстр прежде не было...

— Товарищи, поздравляю с праздником!

Среди всего этого шума, сосредоточенно прикусив губу, Виктор то бочком пробирался в зал, то возвращался на сцену.

Разыскали Майю. Она сидела в кабинете у директора клуба и, подняв к подбородку колено, зашивала чулок.

— Ужасное происшествие! Зацепилась за гвоздь, а ниток ни у кого нет. Еле разыскала в химическом корпусе, у лаборантки.

— Но ты же срываешь репетицию! Нужно проиграть вещи, — Нина торопилась. — Где ключ от гардероба?

Майя не подняла головы.

— Тише, — сказала она умоляющим тоном. — Сейчас, кажется, даль-

ше побежит. — Тоненькими пальчиками она ловила распутившуюся нитку.

— Как конференсье предстоящей программы, объявляю выговор, — вмешался Ивнев. — Сначала нужно закончить общественные дела, а потом заниматься личными проблемами.

— Ты хоть убей меня, а в порванном чулке я не могу разрешить ни одной проблемы.

Появился Бакеев, в пальто и глубоко надвинутой на лоб огромной мехнатой кепке с длинным лопатообразным козырьком. Как свой человек в клубе, он прошёл прямо наверх.

Борис торжественным жестом распахнул дверцу электроосветительной будки.

— Даю сигнал.

И нажал кнопку на мраморной доске с рубильниками. Сигнализация была придумана и смонтирована им самим. Но звонка не последовало, лампы не мигнули.

— Связь голосом! — закричал Виктор насмешливо. — Объявляйте начало.

— Нет, нет, не может этого быть... — Борис рывком сорвал с себя пиджак, с грохотом подкатил к стене стол, на стол поставил стул, влез на него и потянулся к распределительной коробке. Нина пыталась сдвинуть стол на старое место.

— Ты с ума сошёл! Сейчас занавес откроют!

Ивнев балансировал на своём возвышении, осматривая предохранители.

— Замыкание, чёрт бы его побрал! — Он обернулся. — Да подождите вы открывать, что за спех! У кого-то чулок порвался — ждали. А тут капитальная авария.

Женя вызвалась помочь. Она проверила проводку под сценой. Борис командовал сверху:

— Включайте, Евгения Васильевна! Да не рубильник, а кнопку. Так, жмите сильней. Это вам не аспирантура. Тут надо профессиональный опыт иметь.

Рима, увидев Женю на коленях, неестественно громко захохотала:

— Женька, ты просто прелесть!

В конце концов Ивнев обнаружил неисправность и замотал оголённые провода изоляционной лентой. Открыли занавес и выбрали президиум. Вечер начался с небольшого торжественного собрания. За столом на сцене появились ректор, Карпенко, Деревянко, Черкашин и ещё несколько профессоров и студентов с разных факультетов.

Женя и Рима сидели в четвёртом ряду. Рима шептала подруге на ухо:

— Посмотри на Степана Тимофеевича, какой он сегодня интересный. А Карпенко, как всегда, мечет молнии. Пронзительные глаза. Ректор — милый старичок. А Черкашин, Черкашин... Ну, прямо красная девица...

Оглядываясь вокруг себя, она искала знакомых, улыбалась, здоровалась с ними. Борис Ивнев сидел сзади. Он положил локти на спинку переднего кресла и, встретившись взглядом с Римой, вежливо поздоровался:

— Добрый вечер.

Рима снисходительно кивнула.

— Вы, как ёлочная игрушка, — шепнул Борис.

У Римы лукаво затрепетали ресницы. Но Борис сейчас же добавил:

— Потому что появляетесь раз в год.

Как обычно, выступал Федя Карпенко. Слегка сутулясь и заложив руки в карманы пиджака, он неторопливо говорил о том, как преобразились город и университет за три послевоенных года.

— От вашего имени, — с неожиданным звоном в голосе заканчивал Федя, — благодарю правительство за помощь. От вашего имени благодарю партию за то, что она выковала в нас умение делать жизнь своими руками. Они — наши руки — порука тому, что не будем почивать на лаврах. Впереди много труда и много счастья. А руки наши — твёрдые, железные. У кого они от приклада такие, у кого — от кирки, а у многих из нас и по наследству. За добрые, мужественные и сильные советские руки! За мудрые головы, за дерзающие души, за вдохновение наших прекрасных сегодняшних дней...

В зале заплодировали.

— Научился он ораторствовать, приятно слушать, — заметила Рима. — А полюбуйся на Черкашина. Переглядывается со своей женой.

Виктор улыбался кому-то во втором ряду. Женя вытянула шею и увидела Тамару. Рядом с Тамарой сидел офицер: волосы, как у барашка, курчавые, смуглое лицо.

— Кто сей демонический брюнет? — спросила Рима.

— Вероятно, кто-нибудь из приглашённых.

В перерыве Виктор отрекомендовал офицера, как своего фронтowego однополчанина. Офицер протянул руку и, опустив яркие глаза, представился:

— Капитан Вашакидзе.

От него пахло крепким одеколоном. Жене не понравилось, что он назвал себя слишком громко. Подумаешь, какая самоуверенность!

Скользкой походкой капитан прохаживался с Тамарой по коридору, пахнущему извёсткой и краской. Обычный форменный армейский китель, узкий, в талию, на груди орден Ленина старого выпуска, без колодочки. Выражение круглого твёрдого лица немного рассеянное.

Он держал Тамару под руку, отставив локоть и осторожно прикасаясь пальцами к её руке. Усики на верхней губе придавали ему подчеркнuto молодцеватый вид. Но лицо слишком живое: молодцеватость сменялась насмешливостью, насмешливость — внезапной задумчивостью. Он показался Жене каким-то неестественным, наигранным: каждую минуту придумывает себе новое обличье. Глаза у него мягкие, но быстрые. Сам порывистый, сдерживающий в себе эту быстроту движений и живость. Среди университетских ребят капитан сразу выделился своей армейской формой и манерой себя держать

— Ваш супруг неуловим, — сказал он Тамаре.

Наклонив узкую голову с гладкими блестящими волосами, Тамара ответила в тон:

— Такая уж моя участь. — Сдержанный взмах рукой в сторону зрительного зала. — Вечер организован не одним физматом, но Витя бегаёт и командует больше всех.

Сегодня Тамара не казалась сердитой. Высокие каблочки туфель, чёрное бархатное платье. В университете она держит себя сдержанно и недоступно... Ещё бы: в прошлом году закончила консерваторию, началась самостоятельная жизнь. У музыкантов всегда немножко романтический вид.

Рима измучила Женю болтовнёй. Обижена на Гордиевского: мог бы оторваться на вечерок от научной работы. Черкашин ведёт себя не солидно. Бросил жену и мило совещается о чём-то с Ниной. Нина — весёлая девушка, но её жених — настоящий медведь. Разве Женя не знает, кто её жених? Володя. В прошлом году закончил филфак, служит в

районе учителем. Нине ещё два года учиться Неужели Женя надеется, что Володя будет ждать свою невесту там, в деревне, два года? Ой, девочки, девочки, до чего же вы наивные!

Риме надоело хождение по коридору с Женей. Ушла к группке аспирантов. Галич — маленький, круглый, лысеющий юноша, делая вальсообразные движения покатыми плечами в такт музыке, рассказывал что-то смешное Пересада, в гимнастёрке и сапогах, неуклюже прислонился к подоконнику и, не отрываясь, читал книгу.

Прошли Чемезов и Муся. У него сухое лицо, подбородок приподнят, резкий острый профиль, толстая короткая шея. А Муся — полная, немножко неповоротливая, но вся какая-то смеющаяся.

Снова прозвенел звонок и мигнуло электричество. Женя поглядела на часы. Чемезовы, вероятно, останутся до конца.

Рима стояла в кругу преподавателей-химиков. Когда Женя спускалась по лестнице, она помахала ей рукой.

— Куда? Домой?

— Сын! — крикнула Женя, отыскивая в сумочке номерок от пальто.

Вдогонку долетели слова Римы:

— Полюбуйтесь, образцовая мать!

Женя промолчала. Риме, конечно, не понять этого всеобъемлющего чувства, когда вдруг, ни с того, ни с сего, появляется настойчивое, неодолимое желание увидеть сына. Смотреть, как он спит, как дышит, хорошо ли лежит подушка, не отвернулось ли одеяло, не дует ли из форточки.

«Но я всё-таки старею, — подумала Женя, выходя на улицу. — Случалось ли раньше недосидеть в клубе до конца? Но это хорошо, что я стала старше! Я стала счастливее — у меня сын».

Она неторопливо прошла под окнами клуба. Длинные полосы света лежали на обледенелом тротуаре. В окнах мелькали знакомые лица. Вот, кажется, прошла Нина под руку с Виктором. Тамара и смуглый офицер, знакомый Черкашина. Музыка. Молодость. Весна.

Погода капризничала ещё несколько дней. То начинался пушистый снегопад, и по утрам господствовала зима с санной дорогой и тяжело провисшими ветками засыпанных снегом деревьев. То бурное таяние, озёра воды с плавающими льдинками и серый осенний дождь, смывающий к вечеру последние следы зимы. Липкий снег всё же держался кое-где на городских каштанах, и на фоне влажных, до блеска вымытых каменных стен деревья казались покрытыми весенним цветом. Ледоход так и не состоялся. Порывистые ветры высушили землю, и в конце апреля сразу, неожиданно запахло летом. Вдоль аллей городского сада расставляли скамейки. Поблёскивал гравий. Было жарко в пальто. Только из глубины, из чащи тянуло сыростью Там, между деревьями, под лёгким слоем перепревших осенних листьев пряталась зелёная прошлогодняя трава. Казалось, что она посыпана пеплом.

Из окна университета виден двор, в котором и сейчас прохладно и мрачно. Кое-где серый мокрый снег, а там, где его нет, обнажились жёлтые пятна земли и чёрные колеи, пробитые автомашинами во время оттепели. То, что зимой принимали за сугробы, теперь оказалось холмиками мусора, поросшего травой. Возле входа в лабораторию, на брёвнах, лежащих здесь ещё с позапрошлого года, сидят ребята с третьего курса, курят.

Виктор глядел из своего кабинета и строил планы:

— Двор нужно убрать. Разравнять площадку, а к лету можно волейбол владать.

В комсомольском бюролюдно и шумно. Нина действует: экзамены на носу. Заслушали отчёты комсorghов, настояли, чтобы читальня закрывалась не в семь, а в двенадцать, вывесили в коридоре большие плакаты, чтобы отмечать на них академические показатели каждого курса.

Борис шутил, кивая на Нину:

— Начальник штаба.

Но Нине плохо давалась солидность. В бюро толпились комсомолки математического отделения, а она, возмущённая, стояла посреди комнаты:

— Девочки, ну как вам не стыдно!

Ивнев проговорил сдержанно, но с явной ноткой восхищения:

— Даже когда у неё что-нибудь не получается, то и это у неё здорово получается

Нина посвятила Женю в свой план организовать в группах пятёрки комсомольского контроля.

— Понимаете, Евгения Васильевна, мы наметим самых авторитетных ребят. Их обязанность — следить за тем, как работают остальные, быть всегда в курсе учёбы, проверять конспекты, напоминать, помогать, подталкивать...

— Майю — в пятёрку, обязательно, — сказала Женя.

— Да, да, Майю. А кроме Майи... — Нина назвала до двадцати фамилий.

К началу весенней экзаменационной сессии пятёрки комсомольского контроля развернули работу. Трудно было ещё говорить о результатах, но Женя одобряла план Нины. Во всяком случае, этот план нужно будет широко осуществить и в будущем учебном году.

А нынешний — заканчивался. В научной части Женя выписала график своих аспирантских занятий. Раньше она мало обращала внимания на этот график, надеясь на то, что всё сладится само собой. А теперь было ясно, что с общей физикой не удастся разделаться до лета. По плану полагалось сдать этот курс к декабрю следующего учебного года; приступая к занятиям, Женя была уверена, что справится с общей физикой значительно раньше. Ошиблась. Вероятно, придётся ориентироваться на сентябрь... Лабораторная работа, о которой шла речь в отчёте, в основе пересмотрена и переделана. Яхонтов как будто удовлетворён. Предстоит очень важное: выбор темы диссертации. В научной части уже начали торопить: в июне тема должна быть утверждена на Учёном совете.

Женя забежала в библиотеку, взяла книгу по теории упорядочения сплавов. С твёрдым намерением сейчас же как только вернётся домой ещё раз посмотреть график, она вышла на улицу.

С утра парило. В городском саду, по размытым недавним дождём дорожкам, засыпанным мелкими красными камешками, бродили девушки с портфелями и тетрадками.

Май начался лиловыми тучами, грозами и духотой по ночам, когда за распахнутым окном стоит такая тишина, такое безветрие, что аромат сирени слышен до самого рассвета, пока не погянет бензином и запахом мокрого асфальта, только что сбрызнутого поливочной автомашиной.

Женя шла неторопливо, предвкушая свободный вечер, который она проведёт с сыном. Приятно всё-таки, что лабораторную работу удалось довести до конца. И вообще всё хорошо: солнце, негромкий шелест пятнистых листьев, тени деревьев на траве, бормотанье юношей в кустах: вслух что-то учат. Кажется, политэкономия

Блаженное состояние умиротворённости, спокойной уверенности в том, что с аспирантурой всё будет в порядке.

Женя зашла в детский сад за Аликом, но, как обнаружилось, его уже увела домой Анна Ивановна. Муся встретила Женю на пороге смущённой улыбкой:

— А к вам гости приехали.

Гости? Какие гости? Женя никого не ждёт. Она поспешно толкнула полуоткрытую дверь своей комнаты. На коврике, рядом с Аликом, сидел Гриша, переворачивая страницы книжки с яркими картинками. Женя остановилась в нерешительности. Гриша встал и сделал неуклюжее движение плечами, будто оправляя пиджак. Знакомая привычка.

— Здравствуй. Я у тебя тут хозяйничаю.

Они пожали друг другу руки. Сели.

— Хорошо устроилась, — сказал Гриша, медленно обводя комнату сонными глазами. У него всегда такие глаза — и еле заметные голубоватые отёки под ними. Вечно недосыпает, очень много работает. А сейчас устал после дороги.

— Довольно неожиданно, — Женя оправила на Алике костюмчик. — Я пойду посмотрю, что с обедом.

— Я обедал на вокзале.

Женя вышла. Нужно собраться с мыслями. В передней она мельком посмотрелась в зеркало: растерянные круглые глаза, волосы смешно взбились у лба, какая-то фантастическая причёска. Надо привести себя в порядок.

Зачем он приехал? Алик свободно чувствует себя с ним. Ему нравится подарок — яркая книжка. Слишком неожиданно! Не писал — и вдруг приехал. Постарел. Совсем седой. Но так лучше. Рима сказала бы: «Ему идёт седина». Видный сорокалетний мужчина, знающий цену себе, своему таланту, своему положению. Что ж, надо разогреть обед. У Жени даже нет третьего прибора: никогда ещё не обедал никто третий. Придётся попросить у Муси. Мишка дома? Пускай Алик уйдёт после обеда к Мишке. При сыне не знаешь, о чём говорить с Гришей.

Муся вскинула на Женю блестящие глаза:

— Это он? Я сразу догадалась. — Она легонько пожала Женины пальцы, словно передавая из руки в руку сердечное пожелание чего-то хорошего. — Очень симпатичный!

— Ну вот, встретились, — сказал Гриша, когда Женя принесла суп. Он попросил чтобы она налила ему самую малость: совершенно нет аппетита. Жене тоже не хотелось есть. Она внимательно кормила сына, и разговор вращался главным образом вокруг Алика: о детском саде, о здоровье, вырос, совсем взрослый молодой человек. А «молодой человек» сидел на высоком стульчике, чрезвычайно довольный и обедом, и общим вниманием, и плиткой шоколада, которая ждала его в шкафчике. И вдруг сказал неожиданно, подняв глаза на отца:

— Надо кушать, дядя Гриша.

В Сибири, когда семья ещё не развалилась, Алик называл отца по имени. Это забавляло и Женю и Гришу. Потом они привыкли, перестали останавливать Алика. А теперь он вдруг сказал: дядя Гриша.

Женя сдвинула брови:

— Алик, перестань шалить!

Она так и не сумела ничего прибавить к этой классической фразе всех мам. Только мельком, тревожно взглянула на Гришу. Но у него попрежнему сонные глаза. предпочитает притворяться, будто ничего не заметил.

Алик свѳет:

— Ты у нас будешь жить, дядя Гриша?

Женя крикнула:

— Перестань, Алик, перестань!

— Не трогай его, — сказал Гриша чуть дрогнувшим голосом.

Как всегда, он говорил очень мало. Ничего у него не поймёшь: то ли едет в командировку, то ли возвращается из командировки.

— Да... Работаем понемножку... Осваиваем новую продукцию... Жарко... Дождь будет... Нет, ехал хорошо, в мягком, выпался.

После обеда Женя умышленно долго возилась с посудой, Гриша не отпустил Алика к Мишке. Буркнул под нос:

— Пускай тут посидит. Возле меня.

Молча курил очень длинную папиросу, сбрасывая пепел в раскрытый портсигар. Портсигар тоже знакомый. Подарок Жени. На нём даже дата есть. Как грустно порой вспоминать некоторые даты.

У Алика на лице написано счастье. Он возится со своими паровозиками и автомобилями. Автомобили и паровозы одинаково грозно гудят. Алик надувает щёки, стараясь, чтоб вышло громче.

Уже поздно. Вернулся домой Чemezov. Умываясь, пробасил Мусе:

— Дождя сейчас будет, красота!

В комнате стало темно: наполнили тучи. Гроза на заходе солнца всегда бывает мрачной.

Гриша только раз взглянул на окно. А остальное время сидел, не меняя положения, с папиросой в зубах, с головой, откинутой на спинку стула. Заснул? Нет, следит за Аликом. Но Алику пора спать. Нельзя нарушать распорядок. Ударил гром. Муся закричала в коридоре:

— Миша, выключи антенну!

— Это уже не первая гроза в нынешнем году, — сказала Женя, облачиваясь локтями о подоконник. — Но самая сильная.

Ливень был косой — лицо у Жени сразу сделалось мокрым.

— Закрой окно, — посоветовал Гриша. — Сильные разряды,

Нет. Очень приятно. Вниз по улице несутся серебристые потоки воды. Какая-то женщина в намочшем прозрачном плаще неловко перепрыгивает через лужи. Под окном кто-то визжит, потом весёлый девичий голос:

— Бог с ними, с туфлями! Урожай будет хороший.

Гриша придвинулся к окну. Сказал, поджимая нижнюю губу — это у него улыбка такая:

— Представляю себе, как сейчас будущие Герои Социалистического Труда радуются.

— Сейчас все радуются.

Разговор не ладится. У Гриши неприятная привычка: сидеть и молчать. Выкурил уже половину портсигара.

— Ты надолго или проездом?

— Завтра еду. В семь утра. Домой.

— Из Москвы заехал?

— Да, дела. В министерстве.

— Как Сибирь?

— Ничего. Растём. В районе уголь нашли.

Помолчали.

— Я уже первый курс заканчиваю, — сказала Женя. Надо что-нибудь говорить.

— Кончаешь? Гм... Всего сколько? Три? Понятно. Ещё два года...

Вот, наконец, кончился ливень. После дождя зелень небывало яркая.

Пахнет летом. Улицы быстро высыхают. На тротуарах остались только тёмные пятна. А в сквере дорожки всё, ещё влажные, темнооранжевые.

Гриша встал. Собирается уходить? Нет, грузно прошёлся по комнате. Заглянул за занавеску, на спящего Алика. Вернулся к столу, снова сел. Да, он постарел. Длинная морщинка — от скулы к подбородку. Раньше её не было. Лучше, внимательней одет, располнел, ещё медлительней в движениях. Забаловали, вероятно, на заводе. Но лицо всё-таки прежнее: добродушное, сонное; в Грише чувствуется скрытая сила. Вот встанет сейчас — неуклюжий медведь, — скажет какие-то веские слова, схватит Женю в охапку, унесёт, увезёт...

Но он молча сидит и курит. Уже темно.

Женя отошла от окна, зажгла свет. Неужели Гриша собирается у неё ночевать?

— Привет тебе от главного инженера, — сказал Гриша.

— Спасибо.

— Спрашивал, не собираешься ли вернуться.

— Нет, не собираюсь.

Как долго тянется время! Ещё только одиннадцать. Гриша неторопливо закрыл портсигар. Поглядел на серебряную крышку: инициалы и дата. Потом — на часы.

— Быстро время бежит, — сказал он безразличным тоном. — В поезде тянулось бесконечно. А тут — быстро. Я пойду.

Женя молча глядела на него, пока он одевался. Гриша усмехнулся, поджимая губу:

— Кажется, наговорил я тебе очень много... Такое чувство, будто рассказал всю свою жизнь. А в сущности...

— А в сущности ты преимущественно молчал.

— Вот что, — сказал он уже на пороге. — Приведи завтра Алика к семи. Попрощаться. Поезд номер пятнадцать. Третья платформа. Пятый вагон.

— Я тебе могу постелить на диване, — сказала Женя вскользь.

— Не надо. У меня номер в гостинице, при вокзале.

Он мягко пожал её руку. Женя вернулась в комнату, подошла к окну. Сутулясь, Гриша шёл по противоположной стороне улицы. Походка человека, которому некуда спешить. Неторопливая, грузная, размеренная.

Только теперь появилась злость. Конечно, Григорий не ставит её ни во что. Зашёл, накурил, ничего не сказал, выбил из колен. Чёрствый, сухой человек. Для него откровенный разговор — усложнение жизни. «У меня номер в гостинице!». Хорошо, пусть у тебя нет жены в этом городе. Но есть товарищ, есть человек, с которым ты недавно был близок. У этого человека трудная жизнь, потому что она новая. Этому человеку не так уж легко приходится. В ласке он не нуждается. Но участие, ободрение или, если хочешь, укор — разве он не имеет права на это? Хоть бы два слова о ней самой, о её работе: «Молодец, Женька!» Не сказал ничего. Абсолютно ничего. Взял и вычеркнул целую главу её жизни.

Женя проснулась рано. Ровно в семь она уже была с Аликом на вокзале. Гриши нигде не видно. В гостинице сказали, что такой не числится. Может быть, Гриша остановился в городе?

Вот удовольствие — бегать по лестницам. Гришин поезд пока не подан, а на соседнем пути — длинный пассажирский состав с голубыми вагонами. Алик тянул смотреть на паровоз.

— Нам некогда, — сказала Женя, спокойно осматриваясь.

— Ну, неможко. Ну, хоть пять минуточек.

Паровоз — чёрный, блестящий, мокрый. Его огромный корпус мерно подрагивает. Зелёный сигнал светофора. Сейчас отправление.

Мимо пробежал мужчина в пижаме, с чайником в руке. Женщина замахала платочком:

— Пишите из Ялты!

— Ему жарко, правда? — спросил Алик, глядя на паровоз. — А зачем эти маленькие колёсики?

— Нам некогда, — решительно повторила Женя. — Мы вот тут стоим, а папа уедет.

У Алика тревожно округлились глаза.

— Уедет? Ну, тогда пойдём, пойдём. Можно в другой раз прийти, поглядеть на паровозы. Ведь вокзал не бывает без паровозов?

В зале ожидания, в углу, между бородатым стариком, дремлющим на мешке, и молодым парнем в солдатской гимнастёрке, Женя увидела Гришу. Он спал сидя, полуоткрыв рот, обняв рукой чемодан. Так вот какая у него гостиница!

Женя осторожно пробралась сквозь толпу. Бородатый старик подозрительно покосился на Женю.

— Гриша!

Не просыпается. Он всегда очень крепко спит.

— Не тревожьте, — сказал старик строго. — Они только под утро всхрапнули, с непривычки здесь глаз не сомкнёшь.

Женя покорно присела на краешек скамьи. Алика она взяла на руки, стараясь отвлечь от Гриши. До поезда ещё час, пускай немного поспит.

Он проснулся с трудом, долго не мог ничего понять, потом сердито кашлянул, встал, дёрнул плечами, отряхнул брюки. Конечно, очень недоволен тем, что Женя застала его в таком виде. Он никогда не любил, чтобы кто-нибудь знал о его неприятностях или тяготах. Другим помогало, но для себя помощи ни у кого не искал. Даже у Жени.

— Ну, здравствуй, Александр Григорьевич... — он поцеловал Алику.

Они двинулись на перрон. Чувство жалости сменилось у Жени чувством обиды. Когда Гриша устроился в вагоне и вышел проститься, Женя спросила:

— Ты ещё не женился или... собираешься?

Гриша вздохнул и мрачно ответил:

— Не собираюсь.

Через трансляционную сеть объявили об отпадении поезда номер пятнадцать.

— Через сколько минут?

Гриша поглядел на часы: через десять. По его лицу прошла тень беспокойства, он взял Алику на руки, потом опустил на перрон. Сказал тихо, медленно, будто мучительно обдумывая что-то:

— Какая же может быть женитьба?.. Другой такой, как ты, не существует в природе...

Женя рассмеялась. Очень забавно слышать такую фразу от Гриши.

— Комплименты за десять минут до отхода поезда, — сказала она грустно.

— Но что я могу сказать? — вдруг закричал Гриша, забывая об Алике. — Что я могу сказать? Вижу, что нечего мне говорить. Да, я — сухарь, я — эгоист, я совершил подлость. Хорошо. Всё признаю. Кругом виноват. Так что же говорить? Ты не поверишь. Мне сорок лет, за спиной жизнь, и сделано немало. Ничего ты не понимаешь...

Женя слушала, испуганно опустив голову. Гриша вдруг оборвал себя, вытер ладонью лицо, вытащил папиросу.

— Неужели это всё? — спросил он. — Несколько минут — и всё?

— Было много дней и месяцев, — сказала Женя, вынимая из сумочки платочек. Ей казалось, что она сейчас заплачет. — Но тогда ты их не замечал.

Он не успел ответить. Поезд тронулся. Так и не поцеловались, Женя успела только поднять Алика. Гриша стоял на подножке — сосредоточенный, суровый. Он не махал рукой, не улыбался — стоял и смотрел.

Она не удержалась и рассказала Риме о приезде Гриши.

— И ты нервничаешь? — спросила Рима покровительно. — Плюнь. — Она помолчала, разглядывая свои темнокрасные ногти. — Говорят, Черкашин и Тамара очень дружно живут. Но это понятно. У них любовь с колыбели. Но в нашем возрасте очень трудно найти человека, который мог бы дать полное счастье. — Она пристукнула ладонью о стол, подтверждая неоспоримость своих слов. — Потому что нужно поступать всем ради этого счастья: привычками, пристрастиями. Нужно жертвовать собой. А мы не способны на жертвы.

О чём-то похожем говорил Гриша. Вероятно, и Рима и Гриша по своему правы. Практически правы. Они старше. Они лучше знают жизнь. А у Жени ещё в десятилетке выработался свой взгляд на любовь. И она не хотела этого взгляда менять.

— Ты говоришь не то, — сказала она Риме, чувствуя потребность в споре. — Ты уже забыла, что такое любовь. Жертвы — разве это подходящее слово?

Рима насмешливо прищурилась:

— Я тоже так думала когда-то. На заре туманной юности. А теперь... Тебе следует помириться с мужем.

Женя покачала головой.

— Глупо, — сказала Рима. — Можно обойтись и без счастья. Он неплохо зарабатывает, тебе с ребёнком было бы легче.

— Ты что, с ума сошла? Какие вещи говоришь!

— Не волнуйся, Женечка. Смотри на события практически. И помни, что счастья, такого круглого-круглого, как луна, вообще не существует.

— Нет, есть, — сказала Женя упрямо.

Есть... Нет... Пустые разговоры. Ни к чему. Надо заниматься делом. И всё-таки после отъезда Гриши трудно сразу найти равновесие. Так и относит куда-то в сторону: раздумья об Алике, воспоминания, желание разобраться, правильно ли она, Женя, поступила, уехав от Гриши. Может быть, и в самом деле закрыть глаза на юношеские идеалы и признаться самой себе, что её долг — жить только ради сына?

В лаборатории Яхонтов недовольно заметил:

— Что-то вы, Евгения Васильевна, невнимательны последнее время.

А мог бы спросить, почему она невнимательна. Не прямо, а как-нибудь обиняком, так, чтобы деликатно дать ей возможность всё рассказать о себе. Почему бы ему не задуматься, нет ли у Жени какой-нибудь неприятности или горя?

Муса тоже не расспрашивала ни о чём, но делала вид, будто всё понимает. Алик теперь постоянно бегал к Чемезовым. У них часто бывал Саша, брат Муси, совсем мальчишка с жёлтым, почти рыжим чубом и замашками весельчака-задиры. Приходил в выгоревшей шинели на-распашку, громко спорил с Чемезовым об игре любимой футбольной команды, бегал в кухню за посудой.

— Иди к столу, мама! — кричал он Анне Ивановне — Я сам принесу!

С Мишкой он затевал шумные игры. Мишка выбегал в коридор и звал Алика:

— Приходи к нам! Дядя Саша у нас!

Саша выходил и говорил строго:

— Тише. Тётя Женя занимается. Шуметь нельзя.

Женя не знала, продолжались ли в семье Поповых разговоры о её разрыве с мужем. А первый, невольно подслушанный разговор вспоминался часто. Ей казалось, что Чемезов относится к ней пренебрежительно и намеренно её избегает.

В середине мая Женя столкнулась с ним в кабинете у Черкашина. Было свежее утро. Окна распахнуты. Ветер шевелил занавески. Женя вошла и удивлённо остановилась на пороге. Черкашин — без пиджака, в белой рубашке с раскрытым воротом — с увлечением лупил волейбольным мячом о стенку. Он пригнулся, подпрыгивал и, стараясь не упустить мяч на пол, приговаривал:

— Ещё раз! Ещё раз!

Чемезов, не обращая внимания на Виктора, что-то писал за столом, заглядывая в раскрытую книгу. Заметив Женю, Черкашин ловко поймал мяч и смущённо улыбнулся:

— Засиделся. А тут погода... — он кивнул в сторону окна. — Садись, Женя.

Чемезов неторопливо перелистал книжку, закрыл её и сказал с сожалением:

— Жаль, что не твоя. Но я кое-что выбрал. Полезно.

На обложке была изображена коричневая девушка в белых трусах и майке — на турнике.

Женя присела на диван, дожидаясь, пока Виктор освободится. А он сосредоточенно слушал Чемезова.

— Значит, на первых курсах дела неважные?

— Мало сказать — неважные. Физподготовку за предмет не считают. На занятия не являются. — Чемезов погрозил кулаком. — Подходят зачёты, а я поблажек давать не собираюсь. Нехватает баллов — зачёт не поставлю.

— Ну и правильно, — решительно сказал Виктор. — Ты хорошо сделал, что пришёл. Деканат деканатом, а мы тоже поможем. Безотлагательно.

Лицо Чемезова прояснилось.

— Знаю. Сам спортом занимаешься — должен помочь.

— Не в этом дело. Это, товарищи, не личный вопрос. — Черкашин потянулся разминаясь — Это вопрос государственный, насколько я понимаю — Он повернулся к Жене.

— Но, может быть, первокурсникам, особенно девушкам, трудно сразу сдать нормы по всем видам? — спросила она.

— Трудно? — Чемезов задумался. — Конечно, трудно. Было бы легко — так зачем же нормы? Тянуться нужно.

— Если трудно, имеется такая хорошая вещь, как помощь, — заметил Виктор. — Помощь признаю, либерализм не признаю. Ох, и не люблю ж я либерализма!

— У вас на факультете ещё так-сяк, — сказал Чемезов убеждённо. — А вот на других факультетах хуже. Думаю с Федей поговорить. Как ты считаешь?

— Обязательно. Именно с ним. Он им, этим гнилым либералам, покажет!

За Федей Карпенко утвердилась слава грозы университета. Слава эта, разумеется, распространялась людьми, в той или иной мере чувствующими за собой какую-либо вину. Студент, получивший двойку, и заведующий орсом, не справившийся с очередным хозяйственным за-

данием, одинаково старались избегать встреч с Карпенко. Ректора не боялись. Он был человек крайностей: или слишком мягок, или до конца гребователен. Но требовательность ректора проявлялась очень редко, в самых крайних случаях. А Карпенко не прощал ничего — даже самой мелкой провинности. По какой-то безмолвной договорённости с Черкашиным он почти не вмешивался в дела физико-математического факультета, ограничиваясь обычными формами контроля. Это объяснялось, конечно, тем, что для него физмат был родным домом. Федя редко пользовался своим правом свободного посещения лекций и, бывая на факультете ежедневно, всегда находился в курсе всего, что там происходило. Но Женя сделала и другой вывод. Карпенко доверяет Виктору больше, чем всем остальным.

А к жизни других факультетов он относился с пристальным вниманием. Сначала долго присматривался, расспрашивал, изучал. И вдруг пришёл своим человеком.

В его огромном кабинете — на втором этаже главного корпуса — две стены занимали книжные полки. Математика, биология, геология, лингвистика, литературоведение, химия, география...

Однажды, когда Женя зашла с Черкашиным к Феде, Виктор пошутил:

— Ты становишься энциклопедистом.

— А как же иначе? — серьёзно спросил Карпенко. — Ты же знаешь: не хотел я, упирался, когда меня выбирали. Но совесть сказала: «Иди». Выбрали — значит нужно идти. В сорок втором, в Челябинске, когда комсоргом огромного завода пошёл, тоже думал, что не вытяну, а вытянул. Теперь надо на все педали жать... — Он сжал кулаки и потряс ими. — А какое это удовлетворение: знать, что трудная у тебя работа, а ты всё-таки идёшь и не падаешь лицом в грязь.

Женя слушала его с пониманием и сочувствием.

— Всё это необходимо, — Федя обвёл рукой шкафы с книгами. — Всё это наука. А плюс вот это моё место, плюс каждый день черновой работы, споров, борьбы со всякими неполадками там у вас, на факультетах и курсах — и в итоге возникает ещё одна большая и сложная наука. Наука руководства. Мы ведь не святые, грешим иногда, а всё-таки, если вдуматься, и наша организация вносит свой маленький вклад в эту науку, в опыт партийной работы.

— По-моему, нужно больше обобщать то, что мы делаем, — сказала Женя и положила на стол небольшую тоненькую книжечку. — В этой брошюре описаны методы работы одного молодого рабочего, брата моей соседки.

Виктор вскочил:

— Это же Саша Попов!

— Саша? Давай сюда Сашу.

Оказывается, и Мусю, и её брата знают в университете. Виктор был обижен:

— Почему же книжка сразу не попала мне в руки?

Черкашин с Сашей друзья. Вместе на фронте были.

— Мне Анна Ивановна подарила, — сказала Женя. — Я давно этим заводом интересуюсь.

Федя спрятал брошюру в ящик.

— Я потом верну, — успокоил он Женю. — Этот нахал, конечно, на днях появится у меня и принесёт книжку с дарственной надписью, но я вытащу этот экземпляр и скажу: «Спасибо. Уже нашлись добрые люди». Надо бы к ним сходить, Витя, к Поповым.

— Да, — продолжала свою мысль Женя, — о стахановском опыте много пишут. Я хотела бы прочесть и о партийном опыте. Вы сами говорите, Фёдор Иванович, — наука. Газетные материалы не всегда под рукой.

Федя выдвинул ящик стола, разглядывая брошюру.

— Мысль справедливая, — проговорил он, не поднимая головы. — Надо будет в райкоме рассказать. А пока... — он поглядел на Женю, — своими силами хорошо бы организовать. Конкретно, что мы можем сделать у нас, в парткабинете?

Виктор поднялся с дивана.

— Что можем? Да хотя бы те же газетные материалы. «Правда», наши городские органы. Взять да и собрать всё, что есть в отделах «Партийная жизнь».

— Вырезки? — спросила Женя.

— Вырезки. Материалы конференций, пленумов. Завести специальные папки...

— Зачем папки? — перебил Федя. — Альбомы, сборники, культурно оформить... Это, товарищи, вещь совершенно реальная. Учить руководству, и не «вообще», а на конкретном, животрепещущем опыте... — Он провёл обеими ладонями по колючим щекам, снизу вверх. — И учиться.

— Поручите это мне, — сказала Женя неожиданно.

Карпенко переглянулся с Черкашиным.

— Нет, Евгения Васильевна, вам от основного отрываться не след.

Женя немножко обиделась. А впрочем, Федя прав. И так ничего не успеваешь сделать «сверх плана». Например, её реферат о технологии электроискровой обработки металлов — это «сверх плана». Женя подготовила реферат на основании нескольких статей, появившихся в последнее время в журналах. Научные и технические новинки являлись предметом обсуждения на специальном еженедельном семинаре, которым руководил профессор Деревянко. С Галичем, куратором семинара, договорились, что Женя сделает сообщение на одном из занятий в середине мая.

Как всегда, на семинар пришло много народу. Здесь и студенты старших курсов, и аспиранты, и учителя средних школ, и инженеры городских заводов. В толпе третьекурсников Женя заметила капитана Вашакидзе. А он-то здесь почему? Непонятно.

Деревянко ещё не было. Женя прохаживалась по коридору под руку с Ниной. У Нины грустный вид. Должен был приехать Володя, но почему-то не приехал. Крепко сжимая локоть Жени, будто боясь, что она уйдёт, не дослушав, Нина торопливо рассказывала:

— Раньше Володя жил как-то сонно. Филфак, стихи, споры о том, у кого из поэтов рифма изысканней... А теперь вдруг сразу вздохнул полной грудью... — Нина провела рукой по лицу, словно стараясь стереть следы грусти. — Он с тех пор, как стал работать, сразу вырос. Так вырос, что мне даже иногда за него страшно.

— Почему же страшно?

— Нет, знаете, так бывает... Когда очень близкий человек — немно- го страшно: как он идёт по улице, как он едет на поезде... — Нина вдруг расхохоталась. — Глупости я говорю, правда? Ерунду? — Она одёрнула кремовую в полоску кофточку и белый бант на груди. — А всё-таки как хорошо ждать. Ждать и верить! Самое основное в жизни — это дружить и верить.

Ждать! Да, это хорошо. А вот Жене некого ждать. Она так и сказала Нице:

— А мне некого ждать.

У окна — спор. Противоречия капитализма. Англия. Америка. Колониальный вопрос.

Борис Ивнев закрутил длинную фразу:

— В том случае, если принимать во внимание не только экономику, а и надстройки, которые, в свою очередь, влияют на экономику, которая..

— Там, где пахнет трупом, там прежде всего начинает копошиться фашизм, — перебил Виктор.

Нина сказала Жене:

— Вот увидите: у вас с Грищей всё уладится.

Ивнев услышал и сделал патетический жест рукой снизу вверх:

— Всё, как полагается. Мужчины о политике, а женщины...

Голос Вашикидзе:

— Женская политика — это особый мир, недоступный для непосвящённых.

— Вы, товарищ, изучали женщин на плохих образцах.

Это сказала Женья. Ей и самой непонятно, зачем так резко. Капитан пошутил. Но он пошутил плоско.

Виктор забыл, что уже представлял своего товарища. Спыхватился:

— Женья, вы, кажется, незнакомы...

— Капитан Вашикидзе, — с готовностью отрекомендовался офицер.

Женья не подала руки.

— Нет, нас уже знакомили.

— Хорошая примета, — шутиливо заметила Майя. — Если знакомят дважды, значит на всю жизнь.

— Я не верю в приметы, дорогая, — ответил Вашикидзе всерьёз.

Когда начался семинар, он сел позади Жени и принялся записывать. Ей очень хотелось обернуться и заглянуть в его тетрадь. Интересно, что он может записывать? Но она не обернулась. А потом наступил её черёд читать реферат, и как-то сразу капитан выпал из поля зрения. После семинара Женья его увидела среди третьекурсников. Ребята не спешат уходить. Виктор спорит о чём-то с Галичем. Борис присел на подоконник и помогает Майе решать математическую задачу. Его узкий пиджачок застёгнут на все пуговицы, узел галстука торчит под самым подбородком, и Борис то и дело дёргает шеей, будто стараясь освободиться от галстука.

Женья неторопливо направилась к дверям, но не вышла, вернулась. Какое-то странное возбуждённое состояние. Нет, нужно подождать Виктора, Нину... Она остановилась у окна, прислушиваясь к голосам. Подложив книгу, Майя сосредоточенно выводит алгебраические знаки на клочке бумаги.

— Всё! — закричал Ивнев, заглядывая через её плечо. — Вот в этом месте тебя уже можно погнать с экзамена. Ты же подинтегральную функцию пишешь неверно!

Майя покраснела и принялась ожесточённо перечёркивать написанное. Борис завладел карандашом. Он не писал, а бросал на бумагу крупные острые иероглифы. У него был вид художника, орудующего кистью.

— Понятно?.. — громко спросил он, дважды подчеркнув решение. — Простой и красивый путь.

— Понятно. — Майя сдвинула стрелочки бровей и нагнулась над бумагой. — А это что за двойка? Откуда взялась?

У Бориса вытянулось лицо.

— А говоришь, понятно! Двойкой я обозначил второй пункт своих рассуждений.

Рядом засмеялись.

— Ах, значит, это не двойка, — Майя делала вид, что поняла.

— Нет, двойка! — торжествующе сказал Ивнев. — Только не здесь, на бумаге, а там, на экзаменах.

Мимо прошли Деревянко и Рима. Рима позвала Женю: пора домой. Деревянко остановился.

— Значит договорились?

— Договорились, Степан Тимофеевич, — ответила Рима. — Протоколы я сдам послезавтра.

— А на следующий семинар будем готовить материалы из последнего номера ЖЭТФ'а. — Деревянко имеет в виду журнал экспериментальной и теоретической физики. — Интересные материалы.

Он заинтересовался мнением Жени. У него привычка втягивать в разговор собеседника: «Прав я или нет?».

— Да, да, очень интересные материалы, — заторопилась Рима.

— А я ещё не успела прочесть, — сказала Женя смущённо.

Деревянко помолчал и вдруг спросил:

— Что вы думаете делать летом, товарищ Маслова?

— Так, ничего... Заниматься.

— Вы бы отдохнули.

— А план? — робко заметила Женя.

— Разве у вас запланировано нажить себе какую-нибудь болезнь на почве переутомления?

Конечно же, она ужасно выглядит. Рима права: совершенно не следит за собой.

Женя машинально ощупала свои щёки. Деревянко попрощался и ушёл. Студенты тоже ушли. Пока продолжался короткий разговор со Степаном Тимофеевичем, коридор опустел.

Женя заторопила Риму. Может быть, ребята ещё внизу, в вестибюле. Нет, исчезли. Досадно: хотелось пойти вместе.

— Зачем на семинар приходил капитан?

— Не имею понятия.

Женя думает о своём, а Рима болтает без умолку:

— Меня вчера вызывал Степан Тимофеевич по поводу лаборатории. Опять строит какие-то новые планы, никакого покоя. Спрашивал, как у меня дела с кандидатским минимумом. Я, конечно, наговорила массу фантастических вещей. Сдаю, занимаюсь, тружусь. На самом деле — застряла основательно. А что же — так, как ты, ставить себя в неловкое положение? Вот, например, сегодня, с этим последним номером журнала...

— Но я ведь его не читала, — сказала Женя.

— Не читала, не читала! Нужно думать о своём реноме.

— Глупости ты говоришь, Рима.

— Нет, не глупости. Деревянко — хороший-хороший, а если рассердится... Ты бы слышала, как он вчера распекал: Бакеева.

— Бакеева?

Рима вдохновенно описала всю сценку. Бакеев, бледный, стоит у стола, а Деревянко размахивает протсколами заседаний кафедры. «Вам не раз указывали! Вы игнорируете критику». Степан Тимофеевич, ока-зывается, присутствовал на лекции Бакеева. Нашёл, что лекция поверхностная. «Форма и содержание должны быть в единстве!»

— А студенты любят Якова Платоновича, — задумчиво заметила Женя.

— Представь себе, не все. Если взять Бориса Ивнева... Впрочем, он — знаменитый умник. — Рима вдруг оживилась. — Что я тебе расскажу! У Ивнева неудачная любовь. — Она усмехнулась. — Драма на физмате. Да, да, у меня на этот счёт особое чутьё. А кто объект, не догадаешься? Ну, хорошо, назову... Нина, комсорг.

— И всё-то ты знаешь, — ответила Женя с досадой. Ей не хотелось говорить о неудачной любви. Лучше подумать о другом — о жизни, похожей на эту весеннюю ночь. Всё ещё впереди — и буйная зелень, и запах скошенных трав, и чудесное солнце. А завтра нужно идти к Яхонтову и окончательно решать вопрос о диссертации.

Илларион Митрофанович упрямится. Он давно наметил для Жени тему и не хочет слышать ни о какой другой. Нет, не лежит у Жени душа к теме, предложенной Яхонтовым. Некоторые учёные занимались проблемами, связанными с этой темой, лет десять тому назад. Писали теоретические статьи. И Яхонтов писал. А потом практика показала, что теоретики ошиблись. Они надеялись предсказать возможность создания нового твёрдого сплава. Но наука и жизнь пошли по другому пути. Твёрдые сплавы были созданы. Путь, намеченный Яхонтовым, оказался узенькой боковой тропинкой. Да к тому же тропинкой, которая никуда не ведёт.

Илларион Митрофанович прекрасно это знает. И всё же он хочет, чтобы Женя тщательно обследовала физические свойства тех сплавов, которые уже давно забракованы жизнью. А Женя чувствует непреодолимую потребность в том, чтобы продолжать и развивать свою лабораторную работу. В ней она видит глубокий смысл, в ней черпает своё вдохновение. А без вдохновения нет достижений.

Тема, предложенная Яхонтовым, кажется ей и пустой, и нежизненной. Возможно, результаты получатся яркие и самый ход эксперимента окажется увлекательным — кто знает! — работа может получиться. Допустим, Женя напишет диссертацию на эту тему. Страшно подумать: диссертация! Допустим и большее: Женя защитит диссертацию.

Защитит. Но что из этого следует? Зачем? Кто ей скажет спасибо за годы труда? Снисходительно похвалят: работоспособно, квалифицированно, научно. Но спрячьте, Евгения Васильевна, вашу папку в письменный стол, сохраните её на память. Это ваш первый этюд. Как в музыке: упражнение для развития пальцев.

А Женя не хочет упражнений. Она ищет настоящего дела. Но — Яхонтов! Ведь тему предлагает «сам» Яхонтов.

Довольно мучиться. К профессору. Поговорить, обсудить, решиться.

У Яхонтова, как у врача, на двери висит табличка с обозначением приёмных дней и часов. В другое время к профессору попасть невозможно. В часы приёма Яхонтов надевал парадный костюм и садился в гостиной на низенький диванчик, возле круглого стола. В ожидании посетителей он читал мемуары знаменитых актёров или свежие номера московских литературных журналов. Если никто не приходил, Яхонтов пользовался этими часами, как отдыхом, — вплоть до той минуты, когда заканчивался срок приёма. Затем закладывал страницу недочитанной книги бархатной ленточкой с вышитыми цифрами «1911» и уходил в кабинет. Остальное время он спал или работал. В его кабинете Женя ни разу не была. Туда никого не пускали.

В своей гостиной Илларион Митрофанович довольно долго убеждал Женю. Был бурный майский вечер с оранжевыми пятнами заката, то и дело вспыхивающими на блестящем паркете, со стуком тополиных веток в стёкла, с хлопаньем оконных рам и форточек.

Яхонтов устремил глаза на копию с картины Айвазовского «Ночь в Гурзуфе», висевшую в золотой раме на противоположной стене. На круглом столике стояли сахарница, вазочка с шоколадными конфетами и две чашки кофе. Профессор очень любил чёрный кофе. Когда он бывал в хорошем настроении, то очень длинно и вкусно толковывал Жене, что этот напиток чрезвычайно полезен для людей интеллигентного труда, что он повышает умственную деятельность, проясняет мысль и так далее...

Сегодня Яхонтов забыл о кофе. Говорил негромко, неторопливо, изредка делая тот же, что и на лекциях, короткий взмах кистью руки. Жест этот должен был означать: «Вот, пожалуйста, доказательства налицо, ваше упрямство бессмысленно».

— Я настаиваю, чтобы вы взялись за разработку предложенной мною темы, ибо только на этой теме вы сможете продемонстрировать своё умение ставить эксперимент, технику, опыт, свой теоретический багаж, свою, наконец, эрудицию...

Женя слушала профессора, наклонив голову и вертя в руках пепельницу: на тяжёлой мраморной подставке отлитая из жёлтой меди венецианская гондола с гондольером.

— Нет, я чувствую, что у меня ничего не выйдет.

— Вы должны на два года спрятать в дальний ящик письменного стола все ваши женские эмоции. Как это частенько бывает у женщин, эмоции обманывают. И поверьте моему опыту — пусть горькому, пусть сладкому — наука требует жертв, в том числе и эмоциональных...

Не отдавая себе отчёта, Женя старалась согнуть фигурку гондольера. Она выбрала минуту, когда Яхонтов на секунду перевёл дух, и сказала унылым голосом:

— У меня руки опускаются, когда я чувствую, что работаю без пользы.

Яхонтов быстро перевёл взгляд с картины Айвазовского на Женю.

— Неужели вы не понимаете? Эта тема для вас выигрышна.

Гондольер согнулся под пальцами Жени.

— Не надо мне выигрышных тем.

Яхонтов взял из рук Жени пепельницу и сказал раскатисто:

— В таком случае, вы никогда не станете учёным.

— Ну и не нужно. Вернись на завод.

Так ни до чего и не договорились. Уже перед самым уходом, допивая мелкими глотками кофе, Женя мимоходом сослалась по какому-то поводу на Бакеева. У Яхонтова покраснела лысина. Рассердился. Видно, всё время сдерживался, а теперь прорвало. Да, сказала невпопад. Полное отсутствие такта.

— Я не понимаю одного, — заговорил Яхонтов, приподымая белевые брови. — Как можно, если речь идёт об определённых, конкретных и живых научных истинах, считаться с мнением многоуважаемого Якова Платоновича.

Профессор отпил кофе, сердито поглядел на чашечку и вежливо улыбнулся Жене.

— Очень весёлый человек Яков Платонович. Но можно быть дилетантом в музыке, это даже приятно в обществе; можно быть дилетантом в живописи, это полезно в быту; можно, наконец, быть дилетантом в литературе, это любят дамы. Но быть дилетантом в науке!..

— Вы считаете дилетантизмом умение точно и ярко ~~передавать~~ свои знания другим? — спросила Женя, даже не стараясь скрыть обиду за Бакеева. Эту фразу она давно припасла для профессора, и вот удобный случай!

У Яхонтова ни одна лекция не пройдёт так, как проходит она у Якова Платоновича. У Яхонтова — сухой академизм, фразы с длинейшими периодами; студенты жалуются, что трудно конспектировать: после двадцати минут уже нетерпеливо поглядывают на часы, успокаивая себя тем, что можно прочесть учебник или, в крайнем случае, просмотреть журнальные статьи, на которые ссылается профессор.

— Умение передавать знания другим? — переспросил Яхонтов, патетически приподымая руку с золотым кольцом на среднем пальце. — Милости просим в среднюю школу, в десятилетку. Если вы жаждете зрелищ — двери театров открыты. Если вы скучаете по дешёвым островам — купите билет в цирк. Там заодно увидите фокусника, перерезающего пилой женщину. Но у нас университет. Вы вдумайтесь в это священное слово: университет. Здесь надобно передавать слушателям не только знания, а и метод, научный опыт, научную страсть.

Это, конечно, правильно. Но всё-таки...

Женя, задумавшись, сломала конфету, крошки упали на скатерть.

Яхонтов уже успокоился. На лице — выражение снисходительности. Откинувшись на спинку дивана, Яхонтов незаметным движением смахнул со стола крошки.

— Представьте себе учёного, — сказал он улыбаясь. — Я не называю имени, какой-то икс или игрек.

Ну, речь, конечно, о Бакееве.

— Он полон жизни и энергии, он неприменимый участник всех торжеств и юбилеев, он поднимает бокалы за науку, он член всевозможных организационных комитетов и подкомитетов, автор журнальных статей, не претендующих на исчерпывающий анализ фактов, предисловий, в которых львиную долю страниц занимают цитаты, брошюр, из которых вы можете узнать, что угол падения равен углу отражения. И вот жизнь прожита. Он умер, и над прахом его — могильная плита, высеченная из мрамора. Но что же осталось от него, кроме этой могильной плиты? Где же след человека, где его труды, его открытия, его монографии, его вклад в науку?

— Я думаю, Илларион Митрофанович, что след человека останется. Ученики хотя бы. И ещё я думаю: тому, кто при жизни мечтает о памятнике, редко его ставят после смерти.

Яхонтов попрощался с Женей сухо. Всегда он сам провожал её до двери, а на этот раз позвал домашнюю работницу.

— Даша, будьте любезны, затворите дверь за Евгенией Васильевной!

Дома, не зажигая света, Женя долго сидела за столом, подперев подбородок кулаками.

Сомнения, которые мучили её после неудачного отчёта на кафедре, проснулись с былой силой. Верно ли она строит свою жизнь? Выйдет ли из неё учёный?

И снова — мысли об Алике. Он спит. Лёгкое, еле слышное дыхание. Ручка, закинута за голову, — худенькая, розовая, и ещё такая слабая. Сколько лет пройдёт, пока она станет сильной мужской рукой! Тогда, в нужную минуту, она легонько поддержит маму за локоть. Совсем легонько. Ей очень не хочется представлять себя старой и слабой.

Ну их побоку, эти раздумья! Пусть будет так, как хочет Яхонтов. Женя начнёт работать, втянется, увлечётся.

Если бы рассказать Риме о споре с Илларионом Митрофановичем, она бы только руками всплеснула.

Но Рима, узнав, не всплеснула руками. Она задумалась, а потом заметила:

— Может быть, ты права.

Женя покачала головой:

— Вопрос гораздо шире. Вопрос — быть мне учёным или не быть. Рима ответила обычным своим тоном старшей сестры:

— У нас сейчас не существует этого «быть или не быть». Двери открыты. Выбирай.

— Вот именно: потому, что двери открыты, поэтому и трудно выбирать. Ответственно.

— Ты же знаешь, какая ставка у старшего научного сотрудника...

— Я не о ставке, — сердито сказала Женя. — Я о сути.

— Ты стала сукрём. Наука наукой. Я понимаю: она даёт большое удовлетворение. Но есть ещё звёзды, весна, музыка, цветы И поцелуй, Женечка.

Взгляд сквозь прищуренные ресницы.

— Хотела бы я, чтобы ты, Женька, в кого-нибудь влюбилась.

Женя грустно усмехнулась. Шутки. Ей не до шуток. У неё вдруг возникло твёрдое решение: предложить на кафедре собственную тему. Слишком смело? И не столько смело, сколько нетактично?

Дня два мысли об этом не покидали Женю. В университете её не тревожили. Похоже, Яхонтов махнул на неё рукой. «Ваши женские эмоции»... «Как частенько бывает у женщин, эмоции обманывают...» Может быть, он желает ей добра? Знает, что у Жени сын, что ей трудно, что аспирантура — не в её возможностях? Не может прямо сказать и осторожно подталкивает её к этому решению...

В разгар этих мучительных колебаний пришло письмо от Гриши. Женя поспешно распечатала конверт и заглянула в конец листка.

«Деньги я задержал, так как неправильно оформил авансовый отчёт, пришлось переделывать, но теперь всё в порядке, поцелуй Алика. Гр.».

«Гр.»! Он всегда так подписывал письма. Когда-то это было смешно; сейчас — обидно. Она ждала чего-то другого. Прочитала с начала.

Опять об угле. Нашли уголь. Это прекрасно, но уже известно Жене. Уголь, уголь, уголь. Он занял целую страницу.

«У меня сейчас жизнь какая-то неестественная, так как после встречи с тобой и Аликом я не могу представить себе, что я один, что вы живёте на расстоянии трёх тысяч семидесяти пяти километров от меня...» Точно высчитал!

«...и мне кажется, что у меня какой-то затянувшийся антракт между действиями, как в театре, и я хожу, что-то делаю, пью пиво...»

Он даже шутит! Нет, Гриша, это не антракт. Это самое настоящее действие, последний акт...

Женя быстро вырвала листок из блокнота и, без обращения, резко встряхнув автоматическую ручку, начала писать:

«Пойми одно, основное. Я тебя не люблю. Ты поступил со мной так нечестно и оскорбительно, что я уже больше не люблю тебя. Ты не такой. Я придумала тебя другим, а ты оказался не такой. Одна моя знакомая говорила, что любовь требует жертв. Это неправда. Любовь не признаёт жертв, и ты не жди их от меня. Если жертвы — значит нет любви. И ты правильно сделал, что уехал, на этот раз ты поступил честно, за что я тебя немножко буду уважать. Но я тебя не люблю...»

Она перечитала, поморщилась, разорвала написанное и принялась стирать чернильное пятно с книги, взятой у Яхонтова.

Начало июня. Алик уехал с детским садом на дачу; в комнате день и ночь раскрыты окна, светает в три часа ночи; в половине четвёртого, как по команде, гаснут городские огни, одинокая машина стоит на пу-

стынном перекрёстке, перед красным светофором. Шофёр терпеливо ждёт зелёного сигнала. Порядок, во всём порядок. Даже сейчас, на рас свете. Жизнь неутомимо движется вперёд. Жене кажется, что она отстаёт от неё. Какое-то грустное мечтательное настроение. Стол завален книгами и тетрадами, а Женя подолгу лежит на застланной кровати, закинув руки за голову и прислушиваясь к щебету птиц за окном. Четыре часа утра. Уже нет смысла спать. Что нужно сегодня сделать? Хорошо бы увидеться с Черкашиным. Необходимо договориться об очередном заседании бюро. Жене поручено подготовить центральный вопрос повестки дня: предварительные итоги экзаменов. Хочется поделиться с Виктором некоторыми из своих наблюдений и выводов. Например, о взаимоотношениях комсомольского бюро и профсоюзного. Жене кажется, что у них нет делового контакта. Разобщённость. Она изучила этот вопрос довольно широко. Во всяком случае, побывала не только на своём факультете, но и на историческом и химическом. Ей кажется, это недостаток, общий для всех. Секторы профкома и комитета комсомола работают несогласованно. Партбюро должно вмешаться и помочь.

Но сегодня воскресенье. Вряд ли Черкашин будет в университете. Женя решила зайти к нему домой.

Было около двух часов дня. Сестра в трамвай — и думать нечего. На стадионе футбольный матч. Весь город едет на стадион. Женя тоже с удовольствием поехала бы. Но теперь уже, конечно, не достать билета.

Черкашин жил на пятом этаже недавно выстроенного дома. Две дамы в шляпах с большими соломенными полями дожидались лифта. Женя не стала ждать и быстро — через одну ступеньку — стала подниматься по лестнице. На площадках солидные таблички под стеклом: «Доктор такой-то...», «Заслуженный деятель науки...», «Академик...», «Болезни уха, горла, носа...»

На пятом этаже полумрак. Женя постояла с минуту, вглядываясь в номера квартир. Вот дверь Виктора. Четырьмя кнопками припилен аккуратный квадратик ватмана. Тушью, под линейку, выведены четыре фамилии. Самая нижняя: «В. Черкашин». Сам писал. Сразу видна рука чертёжника. Пока — только фамилия, безо всяких титулов.

Женя улыбнулась и постучала. Четыре раза, как указано в табличке. Когда-нибудь и у Черкашина будет громкий титул. Он говорит, что по окончании университета уедет учить детей. Вряд ли. Деревянко заберёт его в аспирантуру.

Двери открыл Виктор. Отступил в глубь коридора и пропустил Женю.

— Заходи.

— У вас тёмная ночь на площадке, — сказала Женя.

— Там что-то с проводкой. Вот я полезу погляжу.

Из комнаты мужской голос:

— Одну минутку!

— Это он надевает сапоги, — пояснил Виктор.

— Кто — он?

— Вашакидзе. У него всегда сапоги узкие. Бывало, как снимать — взвод управления вызывать приходилось.

Открылась соседняя дверь. Лицо у Виктора недовольное, строгое.

— Я не помешала? — спросила Женя беззаботно. — У меня большого дела нет. Я только хотела передать...

— Ты не обращай внимания, — сказал Виктор, подталкивая Женю за плечи. — Это я на Тамару сердит. Ушла на пять минут, а уже два часа её нет.

Вошли в комнату. Вашакидзе вскочил со стула, протянул свою смуглую жилистую руку.

— Извините. Кавказские сапоги. Очень хороши, когда под кроватью стоят.

В маленькой комнатке — простая железная кровать. Одеяло смято — на кровати сидят, она служит диваном. Два стула, ножки стола скреплены внизу свежей, гладко выструганной доской. Вешалка, прикрытая длинным куском цветастой материи. Из-под материи видны шпатель Виктора, женское синее пальто и кожаная военная сумка. Возле кровати, на полу — книги и ноты. На оливкового цвета стенах ничего, кроме единственной фотографии. Вероятно, родители Тамары.

— По-солдатски живу, — сказал Виктор, усаживаясь на кровать. — Но я это люблю — по-солдатски. Уют будем в сорок лет заводить. Вот окончу — поедем по Союзу. Куда позовут, туда и поедем.

— Нет, надоела бродячая жизнь, — отозвался Вашакидзе, вытягивая ноги в очень узких блестящих сапогах.

— Женись, — сказал Виктор, нетерпеливо поглядывая в окно. Вашакидзе засунул пальцы за борт застёгнутого на все пуговицы кителя и сказал, грозно сдвинув брови, будто угрожая кому-то:

— Женюсь. Вот поеду в Тбилиси и женюсь.

Он произнес слово «Тбилиси» нараспев: «Тыбилиси».

Женя коротко рассказала Виктору о цели своего прихода. Почему-то она испытывала неловкость, была напряжена. Ей казалось, что капитан пристально следит за ней. Она повернулась к нему. Нет, разглядывает свои сапоги.

— Ты сними жакет, Женя, — сказал Виктор. — И не спеши, куда спешишь? Вот придёт Тамара, мы угостим тебя чаем...

— Какой чай? — возмутился Вашакидзе. — Я тебе говорю: оставь Тамаре записку и поедем в теннис играть.

— Нет, не могу... Надо подождать. Ну что ж, Женя, бюро мы соберём в среду, как намечено. Ты сделаешь сообщение, выступят парторги. А что касается комсомола и профкома — обсудим, запишем и проследим, чтобы Нина это немедленно ушла.

Виктор — в светлосиних брюках и стоптанных тапочках. Майка. Мыскулистые руки уже загорели. Очень светлые, с голубоватым оттенком глаза широко раскрыты. Не мигая, Виктор смотрит в сторону, тихонько прищипывая тапочками в такт мотиву, который, вероятно, сам собою возник в его сознании в эту минуту задумчивости.

— Ты слышала, Женя, о строительстве нового Московского университета?

— Да, читала.

— Я почему-то очень отчётливо представляю себе эти будущие здания на Ленинских горах, — сказал Виктор. — Так отчётливо, будто я сам автор проекта.

Вашакидзе не сиделось на месте. Он ёрзал на стуле, открывал и закрывал портсигар, вставал, прохаживался по комнатке.

— Это правда, — спросил он, оборачиваясь к Жене, — что в новом университете каждый студент будет иметь комнату?

— Дело совершенно не в этом, — резко ответила Женя, сидя в той же напряжённой позе, с руками, засунутыми в карманчики жакета. У неё был такой вид, будто она вот-вот встанет и уйдёт.

— Во всяком случае, учиться там будет отлично, — сказал Виктор примирительно.

Он удивлённо поглядел на Женю. Она ответила ему незаметным движением плеч: сама не знаю, почему мне не нравится капитан.

— Может, будущие студенты и нас помянут добрым словом, — продолжал Виктор, переводя взгляд спокойных глаз на Вашакидзе.

— Вспомнят, — сказала Женя.

— Слушай, Виктор, такой день пропадает! — Капитан всё о том же — о теннисе. — Вашакидзе не всегда свободен в такой день.

— Ты не сердись, — сказал Черкашин мягко. — Вот женишься — и поймёшь, что если в разгар экзаменов, — он улыбнулся Жене, — выпадет воскресенье, когда и ты и жена свободны..

— То можно и подвести друга, — закончил Вашакидзе, выпячивая губу. — Нет, не женюсь, не женюсь, честное слово!

Он принялся шутить. Но Женя промолчала. Вашакидзе сделался серьёзен, сдвинул брови, встал, одёрнул китель. Строгий, холодный, равнодушный.

— Разрешите откланяться...

Виктор, пряча под кроватью свои босые ноги в тапочках, посоветовал:

— Пригласи Женю. Она тоже когда-то играла в теннис.

Скрипя сапогами, Вашакидзе прошёлся по комнате — лёгкий и прямой. Он бросил быстрый скептический взгляд в сторону Жени, но ничего не сказал.

— Стесняешься? А ты пригласи, — повторил Виктор.

Капитан сердито поглядел на Черкашина, потом как-то неестественно улыбнулся и пожал плечами:

— Это бессмысленно, Евгения Васильевна всё равно не пойдёт.

Похоже, предложение Виктора его смутило. Это приободрило Женю.

— Вы читаете мои мысли, товарищ капитан.

Он вздохнул, взял фуражку, которая лежала на стуле, повертел её в руках. Видимо, продолжая какой-то прерванный разговор, сказал Виктору:

— Напиши полковнику. Честное слово, рад будет старик. Часто вспоминает.

Черкашин пообещал написать. И к Жене:

— Иди, побегай с ракеткой. Погода хорошая. А партнёр... — он серьёзно оглядел Вашакидзе. — Партнёр тоже хороший. Впрочем, не могу ручаться... Знаю только, что с немцами не особенно церемонился.

Они оба захохотали, вспомнив фронтовой эпизод.

— Да, — сказал капитан, поплёскивая зубами. — Пойдёмте, Евгения Васильевна. — Он надел фуражку и взял в руки маленький чемоданчик.

Короткий взгляд, вроде вызова: боитесь, стесняетесь? А я такой: скажу «пойдёмте» — и вы пойдёте.

— Хорошо, — Женя пожал плечами. — Только не надолго. Мне нужно работать.

До троллейбусной остановки они шли молча.

Скучная перспектива: игра в молчанку. Пропащий день.

Кое-как втиснулись в троллейбус. Капитан вежливо поддерживал Женю под локоть. Она сделала еле заметное досадливое движение.

Когда вышли у парка, миновали главную аллею, сверкающую гравием и пестротой женских платьев, и подходили к стадиону, Вашакидзе спросил:

— Простите, вы давно знакомы с Черкашиным, Евгения Васильевна?

— Не так давно... Но знаю его хорошо. Простой, открытый, его сразу можно узнать.

— Чистый человек, — сказал капитан. — Но есть такие чистые, что

всегда в перчатках ходят. А он — если нужно — голыми руками за огонь возьмётся.

— Так и должно быть, — сказала Женя, запрокидывая голову.

Ей вдруг стало очень радостно: от того, что день действительно хороший, яркий, и синее небо, и деревья в расцвете июньской красоты, и масса народу, и музыка где-то в глубине парка. В конце концов, сыграть партию в теннис — не такая уж плохая затея. Редко удаётся выбраться на корты.

— А Тамару я мало знаю, — продолжал капитан. — Слишком звонко смеётся. В их хижине кажется, что она из другого мира.

Претенциозно. Женя досадливо пожала плечами.

— Ей бы шатёр и бубны. — Тон у Вашакидзе декламаторский. — Но, повидимому, тонко чувствует человека. Не может не чувствовать, если так играет.

— А вы слышали?

— Хорошо играет. Только, кажется мне, всегда немножко себя играет, свой характер играет.

— Разве это плохо? — сердито спросила Женя.

— Не плохо... Но односторонне...

На кортах тоже многолюдно. Какие-то мальчишки в коротких брюках с готовностью уступили им площадку. Вероятно, капитана здесь хорошо знали.

Он долго выбирал мячи. Женю это разозлило: играть — так играть! Она сердито глядела на серебряные сетки, на сплошную зелёную стену кустов за сетками, на быстрые фигуры теннисистов. Она сняла жакет и туфли. Платье у неё подходит — белое и не слишком узкое. А вот туфли...

Капитан на минуту исчез и принёс ей теннисные туфли. Сам он тоже переоделся. Парусиновые брюки и фланелевая рубашка с широкими короткими рукавами. Руки смуглые и лицо смуглое.

Женя только мельком взглянула на капитана и сейчас же перенесла всё своё внимание на мячи и ракетки. Мячи капитан выбрал со знанием дела: упругие, с ворсистой шероховатой поверхностью. Он положил шейку ракетки на вытянутый палец. Рукоятка перевесила.

— Эта для вас не годится, Евгения Васильевна. Эту я возьму себе.

— Не беспокойтесь обо мне, пожалуйста.

— Простите. А вот эта ракетка — специально для вас.

Он, видимо, чувствовал себя на кортах, как дома, даже тон у него переменялся: сделался деловитым и профессиональным. «Ракета» вместо «ракетка» — тоже характерно.

Капитан ударил струнами по ладони. Звонящий звук.

— Одно меня смущает, — сказал он, снова взвешивая ракетку на руке. — Натяжка сильная. Потребуется точной игры.

— Повторяю: не беспокойтесь, капитан.

— Простите, Евгения Васильевна.

Он уже сто раз повторял это: «Простите, Евгения Васильевна». Опять у него насмешливые глаза. Говорит серьёзно, а кажется, что посмеивается. Вероятно, думает: «Ничего-то вы, Евгения Васильевна, не понимаете в спорте».

Они вышли на площадку.

— Предлагаю, Евгения Васильевна, начать с игры ошибок. Вы знаете, что в теннисе называется игрой ошибок?

Да, Женя прекрасно знает.

— Я предпочитаю со счётом.

— Тогда гандикап, если разрешите?

Посмотрим, кто кому ещё даст фору.

— Вы слишком самоуверенны, капитан.

— Давно играю, — сказал он самодовольно. — А вы, Евгения Васильевна?

— Я давно не играла. Давайте — короткую партию.

Женя подбросила вверх мяч, но не поймала его, он покатился в траву.

Вашакидзе быстро нагнулся. Как на пружинке. Предупредительный молодой человек.

Они разошлись по своим местам.

— По нулю, — сказал капитан и замахнулся ракеткой. Ему сразу не повезло. Слишком поспешил.

— Сетка, два мяча! — закричала Женя весело.

Но удар был звонкий, чистый. Самоуверенность партнёра, видимо, имеет основания. Ну что ж, поиграем!

Женя сегодня в ударе. Её ожесточали ленивые позы Вашакидзе, который всей своей манерой давал понять, что не видит в Жене серьёзного противника. В короткие заминки, когда нехватало мячей, он делал беглые замечания тоном учителя:

— Не суетитесь, Евгения Васильевна... Советую вам континентальную хватку ракеты, Евгения Васильевна...

Он делал вид, что играет не в полную силу. Во всяком случае, Жене так показалось. К чему, например, этот устаревший вариант драйфа, этот отброшенный назад корпус и размашистое движение руки с занесённой далеко за левое плечо ракеткой?

Мяч стремительно пронёсся над сеткой. Женя метнулась, но успела отбить его лишь при втором подскоке.

— Поздно! — закричал капитан. — Смотрите на мяч, Евгения Васильевна!

Женя нахмурилась. Снова разыграли очко. Какой счёт? Тридцать—ноль. Сорок—ноль. Вашакидзе нетороплив, играет с задней линии. Бойтсся рисковать или щадит Женино самолюбие?

Она решила удивить его плоским ударом. Когда-то этот удар никак не удавался ей. Обими руками Женя отвела назад ракетку, повернулась вполоборота и ударила по мячу. Ну как? Голова у неё слегка опущена, ноги согнуты, левая рука — далеко за спиной, а ракетка плавно следует вслед за мячом и застывает, вытянутая вперёд, словно прочерчивая в воздухе кривую его полёта.

— Верный! — крикнул Вашакидзе, не достав мяч.

— Счёт?

— Ровно, Евгения Васильевна.

Но он всё-таки выиграл игру.

— Разрешите сделать вам несколько замечаний, Евгения Васильевна?

Пытается превратить свою победу в шутку. А Женя настроена вполне серьёзно и непримиримо.

— По нулю, — перебила она, уходя на подачу. Она рвалась в бой. Отыгаться во что бы то ни стало! Она подбросила мяч вверх. Резаная подача. Ага, растерялись, капитан? Он принял этот мяч, но слишком небрежно, не сгибая ног. Удар получился неточным, мяч ушёл за линию. Вашакидзе потерял очко — это неплохо. И то, что чаще начинает выходить на сетку, тоже неплохо. Он думает: шуточки, игра с новичком. Ещё одно очко. Учтите, товарищ капитан, вперёд следует выходить только после надёжного подготовительного удара. А Женя сейчас перейдёт

в наступление. Довольно сидеть в обороне. Немудрено, что при таком вялом темпе игры капитан всюду поспекает во-время.

Женя послала несколько резких мячей в разные углы площадки. Отличная пассивировка. Капитана нужно сбить с толку. Обстрел правого угла. И неожиданно — в левый угол. Вашакидзе не ожидал. Не ожидал, но всё-таки принял. В таком случае, испытаем вас на другом. Укороченный удар — трудная штука. Дашь чуть дальше от сетки — и капитан обязательно убьёт мяч.

Женя предприняла серию сильных драйфов, а потом легонько срезала мяч на сетку. Ну, конечно, очко. Капитан не успел добежать. Он уже не даёт советов: остановился, вытер лицо платком, укоризненно покачал головой.

— Могу вас успокоить, — задорно сказала Женя. — Один теоретик подсчитал, что в теннисе ошибки составляют восемьдесят пять процентов всех ударов.

— Вы хотите взять себе остальные пятнадцать? Не выйдет, Евгения Васильевна!

Опять — быстрый темп. На этот раз приходится защищаться Жене. Капитан всё-таки отлично играет. А главное — теперь уже всерьёз. Жене весело. Она находит удовольствие в том, что посмеивается в свою очередь:

— Гандикап... Вы говорили что-то насчёт гандикапа?

Длинным косым ударом Вашакидзе выбил её из площадки. Нужна передышка. Во что бы то ни стало — передышка. Женя послала мяч высоко вверх. Свеча. Именно длинная свеча, иначе капитана не отгонишь от сетки. Выиграть, обязательно выиграть! Знакомое приятное напряжение всего тела, почти невесомого, быстрого, слившегося с этой звонкой ракеткой. Какое наслаждение — побеждать!

Капитан принял свечу. Но Женя уже была готова к ответу. Настал решающий момент. Она выбежала вперёд, взмахнула ракеткой над головой и сильно и точно положила мяч в пяти шагах от Вашакидзе.

— Правильный смэш, — проворчал он, нагибаясь и накатывая мяч на ракетку.

— Игра? — спросила Женя задорно, когда партия закончилась её победой — Что же вы замолчали и не объявляете?

— Игра, — покорно ответил капитан, смущённо улыбаясь. — Игра и партия.

— Как говорят судьи, игра, партия и соревнование.

— Неужели вы не дадите мне возможности отыграться?

— Мне нужно работать, — сказала Женя, подкидывая мячик.

— Простите, Евгения Васильевна, нечестно так: одна партия, а вы уже — соревнование!.. Я вас очень прошу, Евгения Васильевна. Задета моя спортивная честь, ничего не подслаешь.

Капитан стоял перед ней с виноватым видом и вытирал лоб платком.

Они ушли с площадки — отдохнуть. Скамейка возле душевой пустовала. Вечерело. Стволы сосен по ту сторону поляны стали розовыми.

— Вам не жарко, Евгения Васильевна? Может быть, бутылочку воды?

— Называйте меня просто Женя, — сказала она со вздохом. Ей вспомнился Яхонтов, кафедра и множество вопросов, которые нужно решить.

— Слушаюсь, Евгения Васильевна.

После этого он молчал. На красных теннисных площадках появились длинные тени лип и каштанов.

Где сейчас Алик? Вероятно, ужинает. За городом на дачах вот такие

жѣ неподвижные громады деревьев и серебристый светящийся воздух в вышине. Прошла всего неделя, как уехал Алик. Женя уже была у него два раза. Завтра, вероятно, тоже поедет. Невероятно пусто и одиноко без сына.

Вот прошѣл Деревянко, с растопыренными локтями, в накинутаго на плечи полотняном пиджаке. С ним Борис Ивнев в своём обычном чёрном костюмчике. Подпрыгивающая походка, вытягивает шею, словно выгладывает кого-то на площадках, размахивает острым кулачком; доказывает что-то. Федя Карпенко — немножко сутулый, со спокойным тёмным лицом, «лейка» через плечо.

Женя окликнула бы их, если б не Деревянко.

— Не рассчитывал, что вы так сильно играете, — сказал Вашакидзе. Он сидел, наклонившись вперѣд. На затылке в курчавых волосах блестяли серебряные ниточки седины.

— Недооценка противника — большой недостаток, капитан. Вам это должно быть известно лучше меня.

Они играли почти до восьми вечера. Когда Вашакидзе переоделся и вышел к Жене с чемоданчиком, окончился футбольный матч и народ хлынул к трамваям и троллейбусам. Решили переждать. Капитан взял Женю под руку, и они медленно побрели по парку. В тени было прохладно. Пахло лесом. Возле каменного забора доцветала жѣлтая акация.

Они свернули в боковую аллею. Жирно чернела голая земля под каштанами. На скамейках сидели парочки. Вашакидзе заметил:

— У нас говорят: вино пить — много друзей надо, с девушкой говорить — никого не надо. Пойдѣмте дальше.

Женя промолчала. Пускай капитан шутит. А она будет молчать и дышать свежим воздухом. И не вспомнишь, когда в последний раз была в парке. Особенно в такой вечер. Лето нагрнуло как-то неожиданно. Совсем недавно — толстые почки на дубах и клѣнах. А сейчас изумрудная зелень рванулась отовсюду. Всѣ в зелени: деревья, земля, клумбы, веранды, кафе, киоски. Даже сквозь чёрную шершавую кору дубов пробиваются зелёные стебли с крошечными листочками.

Присели на одинокой скамейке, в самом конце боковой аллеи. Из чащи парка тянуло сыростью.

Вашакидзе тихонько насвистывал арию герцога из «Риголетто».

— Я вас не задерживаю? — спросила Женя спохватившись. — Мне хочется ещё немножко понежиться. Хорошая погода.

— Да, да, пожалуйста. Я сегодня свободен, не дежурю.

В деревьях, совсем рядом, громко защёлкала птица.

— Соловьи, — сказал Вашакидзе, делая неопределѣнный жест рукой с зажатой между пальцами папиросой.

— Неужели соловьи? — удивилась Женя прислушиваясь. — А я не узнала. Забыла.

— Я их на фронте впервые услышал. Знаете, песня есть такая: «Соловьи, соловьи...» Вы не были на фронте, Женя?

— Нет, не была. А почему вы спрашиваете?

— Да так. Вид у вас такой. Боевой.

Женя усмехнулась.

— Разве вы не узнавали обо мне у Черкашина?

— Ничего не знаю о вас. А вы обо мне?

Женя отрицательно покачала головой. Потом сообразила, что капитан в темноте не заметит этого безмолвного ответа. А ей захотелось, чтобы Вашакидзе заметил. Она повторила его словами:

— Ничего не знаю о вас.

— Как странны встречи людей, честное слово, — сказал капитан, будто разговаривал сам с собой. — Цепь случайностей В сумме получается необходимость.

— Вы в этом уверены?

— Я так думаю.

— Во время войны я работала на заводе, — сказала Женя, застёгивая жакет.

— Вам не холодно?

— Вы спрашиваете об этом в десятый раз. Я сама скажу, если будет холодно. Я всё говорю самостоятельно, так что, пожалуйста, не церемоньтесь.

— Слушаюсь, Женя.

— Мы работали на вас. Вы ведь, как и Черкашин, артиллерист?

Вашакидзе кивнул. Да, он артиллерист. Но с Виктором служил недолго, всего несколько месяцев. Потом, в мае сорок пятого, был в Берлине. Да, как раз в самый разгар. Словом, кончал войну у рейхстага. Впрочем, это был ещё не конец. Ещё Япония Нет, в Токио, конечно, не был, был в Маньчжурии.

— И, наконец, вы ошастливили нас появлением в нашем городе?

— Так точно.

Он смял потухшую папиросу и щелчком пальца швырнул её в темноту.

— Но я здесь не надолго. Наверное, уеду учиться, на офицерские курсы. Рапорт написал. В Тбилиси.

— На родину тянет?

— Тянет. Но это случайно.

— Что случайно?

— Случайно, что курсы там оказались, на родине. У меня родина большая. Кура — не Волга, Волга — не Кура. А мы с Волгой родственники. Сталинградцы.

— Да, интересно.. — сказала Женя неопределённо. И вдруг ни с того ни с сего сообщила:

— Знаете, а у меня есть сын, Алик.

— Знаю, конечно. Вы его очень любите?

— То есть как — очень? Я не понимаю, как вы можете вообще задавать такие вопросы.

Вашакидзе вздохнул. В темноте уже не было видно его лица. Вот он сидит рядом, незнакомый человек. У него своя жизнь, свои воспоминания, свои дороги. Он вздохнул: может быть, не ладится что-нибудь в жизни. Может быть, было что-то неприятное, о чём не хочется вспоминать. Может быть, вовсе не нужно было заводить этого разговора.

— У меня есть невеста, — сказал капитан таким же тоном, каким Женя сообщила о сыне. — В Тбилиси.

Женя шутливо повторила вопрос Вашакидзе:

— И вы её очень любите?

Она ждала, что он ответит в тон. Но он помолчал, а потом сказал задумчиво:

— Её зовут Ната.

Было так тихо, что Женя вдруг явственно услышала, как шелестят крыльями ночные бабочки.

— Я верю в женщину, — отозвался Вашакидзе из темноты. — Верю, как в самое святое для меня на свете. Вот такой идеалист, ничего не поделаешь. Эту веру мне внушила моя мать. — Он щёлкнул портсигаром и добавил: — Ей было сорок пять лет. Она работала военврачом.

Капитан медицинской службы. Под Минеральными Водами умерла. Погибла. Сильная бомбежка санитарного поезда.

Жене сделалось холодно, она поёжилась, оглянулась. Очень далеко. где-то на краю света, огоньки главных аллей.

— Как мы далеко забрались. Тут страшно.

— Ну что вы! — Вашакидзе слегка придвинулся. Теперь было видно, что он улыбается. Смутное лицо и тёмные незнакомые глаза. Кажется, что они глядят в упор.

— Нет, конечно, я смеюсь. С вами мне не страшно.

Он дотронулся до её руки, слегка пожал пальцы.

— Какие холодные! Совсем замёрзла.

Решительно снял с себя китель. Под кителем у него тёмная рубашка с воротником и металлической застёжкой. Женя потрогала рубашку, тёплая ли, и только после этого накинула китель.

— Но ведь мы скоро пойдём, правда?

— Да, мы скоро пойдём.

Где-то совсем недалеко, ошупывая фарами шоссе, медленно проползла машина. Вслед за ней, постепенно смолкая, проплыл весёлый мотив вальса. Вероятно, в кабине — радиоприёмник.

Они заговорили о музыке.

— Когда-то, до войны, я училась петь и играть на рояле, — рассказывала Женя. — Но потом эвакуация, работа. Отстала.

Ей вспомнился случай, когда Гриша заставил выключить радио. Но сейчас она почувствовала потребность в том, чтобы оправдать Гришу.

— Вообще было не до музыки, — сказала она строго. — Вот когда сидишь так, отдыхаешь — другое дело. Музыка нужна для того, чтобы с каким-то особенным чувством взглянуть на всё — на мир, на звёзды.

— Музыка нужна, чтобы открывать звёзды, — сказал Вашакидзе.

— А она какая — Ната? — спросила Женя. — Она красивая?

— Да, красивая. Очень красивая.

Женя прикрыла глаза, стараясь представить себе Нату. Потом она поспешно отодвинулась от Вашакидзе и сняла китель.

— Я уже согрелась. Спасибо, товарищ капитан.

— Меня зовут Николай, — сказал он хмуро. — Но называют больше так: Нико.

Вашакидзе застегнул китель на все пуговицы и поправил погоны.

— Отчего вы не демобилизовались? — спросила Женя. — Не смогли?

— Почему не смог? Не хотел. То, что любят, то и выбирают. Любовь великие дела делает, Женя.

— Что же, вы полюбили войну?

— Нет, я полюбил мир.

Внезапный порыв ветра нарушил тишину. Тревожно зашевелились листья. Запахло сиренью. Где-то на опушке парка, в чёрном провале между деревьями трепетно заблестала звезда. Мир. Ветер, несущий запах влажных садов. Великие дела.

— В созвездии Лебедя есть красивая голубая звезда, — тихим голосом сказал Вашакидзе. — Денеб. Самая яркая.

— Это она? — спросила Женя, указывая вытянутой рукой.

— Не знаю. Нет, я не то хотел сказать.

Он поймал Женину руку и зачем-то опустил вниз. Сказал, отодвигаясь и упираясь локтями в спинку скамейки:

— Астрономию в сорок первом году изучил, ничего не поделаешь.

— Вы тогда учились?

— Да, учились. Выходили из окружения

Женя резко запрокинула голову назад, коснувшись шеей руки Вашакидзе. Он не убрал руки. Его лицо ужасно близко. Опять пронёсся порыв ветра: зашелестели листья, трава, куски газетной бумаги в кустах. Острый край погона оцарапал щеку Жени. Она мотнула головой, задев волосами лицо капитана.

Через секунду они сидели в прежнем положении, слегка отстранившись друг от друга. Вашакидзе встал и протянул обе руки:

— Пойдёмте, Женя?

— Да, пора, — сказала она смущённо.

Они молча прошли мимо пустых скамеек главной аллеи, мимо высокой, как башенка, клумбы с фиолетовыми ночными цветами, мимо тёмной эстрады летнего театра, мимо деревьев, кустов, мимо всей этой чёрной, непроницаемой, остро пахнущей зелени

В парке погасли огни. У входа, на троллейбусной остановке, было пусто.

— Глупо, — сказала Женя. — Немножко глупо. — Она беззвучно рассмеялась. — Пожалуйста, никому не рассказывайте.

— Что глупо? — спросил Вашакидзе.

— Да всё. Соловьи, звёзды... Вы представляете себе — уже половина второго.

Лицо его помрачнело. Он опустил глаза. Кажется, обиделся.

Ветер нёс по асфальту сухую пыль. Молоденькие, недавно высаженные деревца гнулись.

— Я очень растрёпанная?

— Нет, вы очень хорошая...

Женя сунула Вашакидзе сумку, на ходу поправляя волосы.

— Откуда вы знаете, что я хорошая? — спросила она тихо и серьёзно. — Откуда? Ниоткуда. И незачем так говорить. Вы не мальчик, Нико. Подошёл троллейбус. Женя села у открытого окна, оправила юбку и сказала громко и сердито:

— Воздушные замки.

Вашакидзе не понял.

— Это мне вспомнилось любимое выражение моего научного руководителя, — сказала Женя.

Они попрощались сухо. Жене показалось, что капитан чувствует себя виноватым. Она боялась, что он будет просить о новой встрече. Но он ничего не сказал, только ещё раз извинился:

— Простите, Женя.

Вот так, в два часа ночи, закончилась эта встреча.

Дома, включив свет, Женя некоторое время сидела на подоконнике, глядя вниз на большие расплывчатые тени деревьев. Она ничего не села с самого утра. Неторопливо пройдя на кухню, включила газ.

Итак: сочная трава, соловьи, звезда Денеб, ночные цветы на клумбах, «вы очень хорошая»... Женя громко рассмеялась, прижав ладонь к губам: Чемезовы спят. Всё очень естественно: впервые за много-много дней она вырвалась на волю. Удивительно ли, что она немножко разнежилась? Уж слишком отвыкла от звёзд, от соловьёв, от ласкового слова. Никто об этом не должен знать. Даже Рима.

Закипел чай. Женя унесла чайник в комнату, налила в стакан, помешала ложечкой. Разложив тетради и нетерпеливо поглядывая на них, принялась за ужин. Вот здесь, на десяти тетрадных листах — смутные очертания той будущей работы, которой она хочет отдать все свои силы. Воздушный замок.

Уже набросана схема точного измерения электродвижущей силы тер-

мопары. Уже есть чертёжник трубчатой печи для продувания газов. Но это только самое начало. Первые шаги. А кажется, что мысли, решения и выводы уже прошли длинный и сложный путь: от лабораторной установки — через инженеров-металлургов, инженеров-химиков, инженеров-машинистов — до заводских корпусов. И там, в разливочном пролёте мартеновского цеха, в изложницах, наполненных застывающим металлом, осуществится мечта Жени. Оживёт, как торжество человеческого разума, как победа человека над природой.

Вот осколок металла. Известен его состав, его строение. На первый взгляд кажется, что это совершенно чистый металл, без всяких примесей. А раз так — значит, можно быть спокойной за него. Можно предсказать, как он будет вести себя в различных своих состояниях. Его расплавят, станут придавать ему нужную форму. Его будут растягивать и сжимать, сплющивать и оглушать молотом, резать и закалять в огне. При этом человек должен быть уверен в металле — в его прочности, в способности выдерживать все эти испытания. Но для того, чтобы быть уверенным в металле, чтобы подчинить его себе — нужно в совершенстве знать его структуру. Знать максимум того, что можно узнать сегодня. Знать максимум того, что способна дать сегодняшняя наука. И когда начинаешь проникать в тайны скрытой от человеческого глаза жизни металла, многое усложняется. Металлический образец, как будто чистый и однородный, выглядит по-иному в свете знаний. Он оказывается заражённым газами, в присутствии которых обычно происходит нагревание или плавление металлов. Эти газы увеличивают вероятность образования опасных пустот и раковин в затвердевающем слитке.

Такова природа. Покорись ей, смиришься с растворёнными в металле газами — и они в подавляющем большинстве случаев будут вредить дальнейшей службе металла. Они испортят труд литейщика. Они дадут почувствовать себя в прокатном цехе. Они скажутся в процессе кузнечной и термической обработки.

Стало быть, нужно подчинить природу, переделать её, преобразовать!

И если взглянуть на растворимость газов в металлах с какой-то новой, более общей точки зрения, то ведь можно сказать, что этот вопрос является частью большой и широкой проблемы о зависимости состояния твёрдых тел от давления температуры и характера окружающей среды.

Женя вздохнула. Всё это слишком общие рассуждения. Привычка забегать вперёд. Может быть, без этого и нельзя? Но Женю интересует азот. Пока только один азот. Допустим, что в мартеновском деле этот газ не имеет серьёзного значения. Впрочем, надо проверить. Мало ли что писали несколько лет назад! Но при электроплавке влияние азота очень заметно. А электросварка? Нет, бесспорно тут можно добиться интересных результатов.

Только бы Яхонтов не возражал против избранной Женей темы! Нужно убедить, доказать. Поскорее переделать всю подготовительную работу. И не распыляться, сосредоточиться.

Представим себе всю работу, во всём её объёме, до самого конца. Хорошо, допустим, что с обработкой металлов всё ясно. Доказано, что в этой области проблема газов чрезвычайно важна.

Но вот металл обработан, ему придана определённая форма, он стал деталью машины, начался период эксплуатации.

Исчезли ли следы взаимодействия металла с газами? Нет, не исчезли. Они содержатся в каждом отдельном слитке. К примеру — коррозия. Это явление приносит много хлопот в технике. А разве выяснишь его электрохимическую природу без знания законов взаимодействия газов с металлами?

Значит, следы этого взаимодействия остаются. На первых порах они скрыты, как бывает скрыта болезнь человека, десятки лет тайно подтачивающая его организм.

Это потенциальные следы. Вот что важно.

Женя придвинула к себе тетрадь и под схемами и расчётами написала крупно и броско: «Потенциально...»

Её снова злило: мысли слишком резво рвутся вперёд. Глупое волнение.

Надо ликвидировать эти потенциальные следы. Освободить металл от скрытых недугов. Вылечить.

Что это значит? О, это многое значит! Тысячи тонн сэкономленного металла. На эти средства можно сделать гораздо больше полезных, нужных вещей. Тепловозы, турбины, мосты, самолёты...

Женя отчеркнула свои записи и написала в виде вывода:

1. Решение практической задачи экономии металла.

И вдруг вернулась к исходному пункту своих размышлений. Схема установок. Вакуумный колпак, трубчатая печь. Вот здесь, под колпаком, нужно установить миниатюрное приспособление для плавки металла. Чего предстоит добиться? Чистоты условий. Надо подумать о плавке. Как осуществить плавку? Соорудить обычный тигилёк? Нет, нет, не то...

А если металл плавить при помощи электронной бомбардировки? Способ не так уж нов, но он гарантирует чистоту условий.

Правильно, именно электронная бомбардировка.

Женя устало потянулась. Повезло. Приходят же иногда в голову удачные мысли!

Такой длинный и волнующий день. И вечер. И ночь.

Славное имя — Нико. Как это он просто сказал: «У меня есть невеста». Женя почувствовала прилив симпатии к этой далёкой девушке, красивой и юной. А она, Женя? Грустно поглядела в зеркало. Утомлённые глаза. Не то серые, не то голубые. Морщинки на переносице. Слегка выдаются скулы. Похудела.

Женя насмешливо улыбнулась и спросила у своего отражения в зеркале тоном Иллариона Митрофановича:

— Что же вы, Евгения Васильевна, в довершение ко всем своим милым качествам потеряли сердце?

Ах, какой вздор! Зеркало, разговор с самой собою; нехватает колоды карт и гадания на тренового короля!

Женя вскочила на подоконник, вдыхая холодок раннего утра. Небо бледно-голубое, почти белое. Тишина. Стекланный рассвет. И вдруг — розовый отблеск на западе. Чьи-то звонкие шаги внизу, на тротуаре. Женя перегнулась. И сейчас же отпрянула назад, чувствуя, как отчаянно заколотилось сердце. Черноволосый смуглый офицер пересекал улицу. Конечно, не он! Он сейчас мирно спит и видит во сне Тбилиси. Когда-то Женя была в этом городе. Она смутно помнит наклонную линейчку фуникулёра, серебристые — с каплями дождя на хвое — ели у оперного театра, сладкий запах прелых осенних листьев в переулках Авлабара. Она помнит озарённые электричеством пролёты цехов, людей с утомлёнными суровыми лицами, надписи углём на ящиках: «Наш ответ Гитлеру».

Тогда Вашакидзе в городе не было. Он шёл к Берлину.

Женя долго ещё сидела на подоконнике, босая, розовая, обхватив руками колени. Теперь она очень ясно представляла себе, что будет говорить при обсуждении темы своей диссертации. До сегодняшней ночи возникали только обрывочные мысли, намёки на решения. И вдруг мыс-

ли превратились в бурный поток. А если тебя увлекает поток, нужно прислушаться к сердцу: выдержит?

Прислушалась: выдержит.

Небо всё больше светлело. Уже обозначились длинные облака, похожие на кометы с хвостами. По улице проехала поливочная машина, волоча за собой серый шлейф водяной пыли.

Последующие дни были сполна заняты подготовкой курса общей физики. Неоднократно Женя мысленно возвращалась к прошлому воскресенью. Всякий раз ей вспоминался разговор со своим отражением в зеркале. Она насмешливо улыбалась. Ей хотелось, чтобы в этой улыбке было немножко презрения к себе самой. Но глаза не отражали презрения: они были задумчивы и грустны. Тотчас же её охватывала необыкновенная жажда деятельности. С этой жаждой она пришла на заседание кафедры.

Шли последние дни учебного года. Яхонтов весь день принимал экзамены и явился на заседание, когда уже все были в сборе. Ему принесли стул, он сел в первом ряду. Гордиевский глубокомысленно оглядел длинный, с разрезом сзади, чесучёвый пиджак Яхонтова. У Гордиевского слегка дрогнули уголки тонких бескровных губ. Было такое впечатление, что он собрался улыбнуться, но передумал. Перед ним на столе лежала серая фетровая шляпа. Скрипя стулом, он уселся поглубже и спрятал лицо за шляпой.

— Итак, разрешите начать? — спросил Деревянко, закидывая за голову руку с дымящейся папиросой. Дымок серой змейкой тянулся в открытое окно и быстро возвращался оттуда, оседая на блестящей лысине Яхонтова. Яхонтов подул на дым и, подняв подбородок, застыл в суровой выжидательной позе.

— Утверждение диссертационной темы аспирантки Масловой, — объявил Деревянко, улыбаясь сразу и Жене и Яхонтову. — Прошу, Илларион Митрофанович.

Длинно и убедительно описав преимущества предложенной им темы, Яхонтов доложил, что, по причинам чисто эмоционального характера, научные интересы Жени пока не совпадают с его собственными.

— Я считаю своим долгом предупредить коллег, — сказал Илларион Митрофанович. — Вопреки старинному изречению, в нашем с Евгенией Васильевной споре ещё не родилась истина. Каждый из нас всё ещё остаётся при своих убеждениях.

Он секунду помедлил, откинул голову назад и с полускрытой надменностью оглядел присутствующих.

— И если меня здесь убедят в том, что с точки зрения психологической я не прав, то методологический фундамент, на котором зиждется здание моих доводов, отнюдь не может быть поколеблен. Ибо... — Он сделал ещё одну короткую паузу. Толстые губы, будто по инерции, продолжали шевелиться. — Ибо всякая тема диссертации, над которой собирается работать аспирант — менее удачная или более удачная, менее значительная или более значительная, — неизбежно должна удовлетворять основополагающему условию: она должна быть диссертательна.

— То есть? — спросил Бакеев, не отрываясь от газеты, которая была развёрнута перед ним. Он уже успел дойти до объявлений.

— То есть... — Яхонтов скептически поглядел на газету. — Как бы вам это объяснить, Яков Платонович... — тон нарочито дружелюбный, — ...попроще. Представьте себе исследование, в котором вы задаётесь целью в виде результата получить некий плюс. Вам необходимо плюс, ибо минус зачёркивает всю вашу многолетнюю работу. Но у вас получается

минус. И, как обнаруживается при дополнительных проверках — ничего, кроме минуса, и не могло получиться.

Яхонтов слегка наклонился к Деревянко, подчёркивая этим, что своё последующее замечание адресуется лично ему:

— Так случается иногда в нашей работе.

— Случается, — согласился Деревянко, не поднимая головы.

— Диссертабельной же я называю такую тему, успех которой не зависит от того, что получится в итоге. плюс или минус. Получился плюс — хорошо. Этим самым вы доказали какое-то положительное свойство объекта вашего исследования. Получился минус — тоже неплохо. В ваших руках доказательства отрицательных качеств исследуемого. — Яхонтов строго поглядел на Женю. — Для темы, предложенной вами, Евгения Васильевна, в итоге нужен только плюс.

Женя едва заметно качнула головой.

— Именно плюс! — повторил Яхонтов, повышая голос. — Абсорбция азота железом изучалась с исключительной обстоятельностью, и в нашем распоряжении — подробные таблицы растворимости, проверенные многими экспериментаторами, работавшими в лучших лабораториях мира...

— Это ещё не основание для того, чтобы отказываться от дальнейших поисков в данной области, — сказал Деревянко негромко. В его тоне Жене послышалась нотка небрежности, которая предвещала начало спора.

— Именно основание! — вежливо ответил Яхонтов. — А вот у меня нет оснований не верить данным, полученным за рубежом, где тончайшая лабораторная техника и блестящее оборудование дают возможность...

— Это старая песня, товарищ Яхонтов, — перебил Деревянко, жёстко поджимая губы. Он коротко махнул рукой.

Яхонтов заторопился.

— Да, да, не будем отвлекаться... Итак, Евгения Васильевна, вам необходим только плюс. Но кто может поручиться за плюс? Кто? Я? Профессор Деревянко? Или, может быть, Яков Платонович со свойственным ему оптимизмом?

Бакеев поспешно стащил с носа очки, беспомощно оглянулся и, сунув газету в карман, зашептал на ухо Жене:

— Беспокойный старик. Но сегодня я тоже спешу: консультация в пединституте, последняя перед экзаменом, пропускать нельзя. Вы меня извиняйте, всегда так получается, что, когда вы выступаете, мне приходится убежать.

Он нашёл руку Жени под столом, легонько пожал и вскочил. Женя успела тихо ответить:

— Ну, что вы! Я прекрасно понимаю.

Бакеев очень симпатичный человек. И талантливый. Да, талантливый. Быстрый, энергичный, деятельный. Вот так и нужно жить. Широко.

Заметив, что Бакеев шепчется с Деревянко, Яхонтов прервал свою речь и спросил скептически:

— Вы опять куда-то опаздываете, Яков Платонович?

Бакеев остановился в дверях и сделал театральный жест своим сухоньким бледным кулачком:

— Я оптимист. Я верю в свои крылья.

— Артистическая натура, — заметил Яхонтов, когда дверь захлопнулась. — Ловко это у него получается: картинное словечко под занавес — И добавил с ноткой накапливающего гнева в голосе: — Оперста!

Вероятно, эта нотка окончательно рассердила Деревянко. Он перебил:

— Хотя я и не любитель лёгких жанров, но должен вам заметить, что в каком бы жанре ни выступал доцент Бакеев, а режиссер — я, а не вы, товарищ Яхонтов.

— Прошу извинения, — щёки у Иллариона Митрофановича слегка побелели. — Да, на чём я остановился? — Он потёр лоб кулаком. — Я остановился... Одним словом... Тема, предложенная Евгенией Васильевной, не удовлетворяет тому требованию, о котором я говорил выше. Эта тема предполагает не просто измерения, с которыми, я уверен, Евгения Васильевна справится, но и генеральный обобщающий вывод, конечную формулу, установление которой сопряжено с большим риском.

Женя нетерпеливо задвигалась на стуле, а Яхонтов, окончательно оправившись после реплики Деревянко, сказал небрежно:

— Многие мерили до вас, многие будут мерить после вас. Но я не вижу повода к обобщениям.

— Нужно же биться за обобщения, — осторожно заметила Женя.

— Но не ставить на карту свою диссертацию.

— Я верю в свою тему.

— Пожалуйста, — сказал Яхонтов раздражённо. — Верьте. Возьмите тот же азот и то же железо, и исследуйте их взаимодействие в простых, частных, скажем, лабораторных условиях. Как я уже говорил, эта проблема отнюдь мне не импонирует. Она, простите, слишком банальна для того, чтобы я связывал с ней своё имя. Но раз вы, Евгения Васильевна, так упорствуете...

— Станный взгляд, — вмешался Деревянко. — Банальность! Неужели эта проблема кажется вам банальной, товарищ Яхонтов?

— Симпатии — категория субъективная.

— Нет уж, позвольте! — Деревянко энергично разгладил лоб. — Давайте смотреть на вещи объективно. Я бы не сказал, что все эксперименты, описанные до сих пор в данной области, достаточно чисто проведены. А следовательно, и тут можно стать новатором. Можно!

— Да, но разве вы, Степан Тимофеевич, уверены в том, что Евгении Васильевне удастся добиться чистоты? — спросил Яхонтов, любезно склонив свою массивную голову набок.

Деревянко промолчал.

— Таким образом, предложенная Евгенией Васильевной тема рискованна, — закончил Яхонтов. — Диссертация может не получиться.

— Ну и не нужно, — сказала Женя тихо.

— Вы опять повторяете эти недостойные слова?

— Я считаю... В общем, если не удастся эта тема, возьмусь за другую. Я не ради звания берусь...

— Звание, звание! — зашумел Яхонтов. — Обывательские разговоры. А если вы не защитите в срок, кто за вас будет отвечать?

Женя порывисто вскочила:

— Я не понимаю! Что такое наука? Вот я сейчас проходила по улице, на заборе — объявление: «Школа танцев. Основной курс — двадцать четыре урока с гарантией». Двадцать четыре урока — и получается танцор. Три года в аспирантуре — получается учёный?

Яхонтов округлил глаза. Деревянко чиркнул спичкой и сказал улыбаясь:

— Это мне нравится. У нас становится оживлённо. Что же, Евгения Васильевна, вы считаете, что в науке не может быть плана?

Ну, конечно, теперь Деревянко ополчится против Жени. Он теперь

станет долго рассуждать о планах. Это его конёк. А что ответить? Женя тоже за план. У неё самой есть план. Он помогает работать.

Она молча отмахнулась, вычерчивая карандашом на столе беспорядочные фигурки человечков с ногами-палочками.

Неожиданно выступила Рима. Никогда на заседаниях не выступала, а тут вдруг выступила.

— Я имею сказать... По-моему, дело обстоит так...

В разговорах она была бойка на язык, но сейчас говорила нескладно, с явным смущением, комкая в руках исписанный листок протокола и испуганно поглядывая на Гордиевского. Из её выступления Женя поняла, что Рима совершенно согласна с Илларионом Митрофановичем и удивлена возражениями аспирантки Масловой.

— Наша цель — как можно скорее добиться получения звания, то есть, я хочу сказать, хорошей защиты диссертации. Мы знаем, что стране нужно как можно больше специалистов.

— Стране нужно качество, — перебила Женя.

— Стране нужно и то и другое, — сказал Деревянко. — Но давайте не уклоняться в сторону. Выслушаем товарища Маслову.

Вероятно потому, что Женя слишком много передумала и слишком часто, почти вслух, повторяла наедине с собой речь в защиту диссертационной темы, ей не удалось ясно и последовательно высказать свою точку зрения. Может быть, Женя попросту выдохлась; ей казалось, что присутствующие уже много раз слышали то, о чём она собралась говорить. Во всяком случае, планы и надежды, связанные с темой диссертации, сегодня выглядели менее убедительно, чем в ту памятную бессонную ночь, когда они впервые приобрели стройность и завершённость. Снова промелькнула мысль: не послушаться ли Яхонтова?

Илларион Митрофанович после своего выступления пересел на место Бакеева, подальше от Деревянко. Выслушивая Женю, он что-то быстро записывал. Углы его губ были обиженно опущены. Гордиевский, загордившись шляпой, внимательно рассматривал свои руки.

Женя закончила извиняющимся голосом:

— Я не знаю... наверное, я говорила неубедительно. У меня как-то разбросанно получилось. Наверное, никто ничего не понял.

Деревянко улыбнулся:

— Я понял. Вы заболели этой темой.

— Детская болезнь, — отозвался Яхонтов.

— Нет, это не плохо, — сказал Деревянко. — Может быть, это самое важное — заболеть темой.

Женя вдруг с ужасом осознала, что в своём выступлении, по забывчивости, упустила главное. Всего несколько слов о том, как необходимо разрешение проблемы для производства. Вот непоправимый промах! Может быть, Деревянко и без объяснений понял? Ведь он во время войны работал главным металлургом большого завода.

Но уже выступал Гордиевский. Сидя и не поднимая глаз, он спрашивал у Яхонтова:

— Мне несколько неясно, почему Илларион Митрофанович так упорно настаивает на своей теме. Только ли из-за этой... — он запнулся на трудном слове... — диссертательности?

— Выражайтесь по-русски, — перебил Деревянко.

Гордиевский покраснел, зачем-то встал и продолжал:

— Или из каких-нибудь других соображений?

Яхонтов тоже вскочил:

— На что вы намекаете? Да, в тридцать девятом году мною была напечатана теоретическая статья по этому вопросу. Мне было бы очень

лестно, если бы Евгении Васильевне удалось экспериментально подтвердить мои расчёты.

— М-да, видите ли... Не совсем удобно...

Гордиевский замялся и спрятался за шляпу.

— Как записать? — громко спросила Рима. — Я не поняла.

— Запишите так, — сказал Деревянко. — Запишите, что доцент Гордиевский считает нецелесообразной совместную работу аспиранта и его руководителя, а профессор Деревянко полагает, что профессор Яхонтов в данном случае совершенно прав и что научные идеи следует передавать, как эстафету. Вы когда-нибудь были на стадионе, товарищ Маслова?

Женя неожиданно покраснела. Раньше она не замечала за собой этого свойства, а теперь почувствовала, как горит кожа на лбу, на щеках, на шее. Неужели Деревянко видел её в воскресенье вместе с капитаном? Нет, кажется, профессор далёк от такой мысли. Случайное совпадение... Но одна эта фраза неожиданно преобразила Женю: она сделалась уверенной в себе, бойкой, даже восторженной.

— Разрешите мне ещё несколько слов.

— Точка, — сказал Деревянко решительно. Он не любил длинных заседаний. — Всё ясно. Научные идеи полезно передавать ученикам. Но — какие идеи? — Деревянко выпрямился. — Весь вопрос: какие идеи!

Женя насторожилась.

А Степан Тимофеевич начал издаലെка:

— В зарубежном учёном мире существует такая тенденция... Что такое диссертант? Диссертант — это вроде певца, который выходит на сцену и демонстрирует свои вокальные данные. — Деревянко насмешливо поглядел на Яхонтова — Колоратурное сопрано!

— Кому нравится бас, а кому — колоратурное сопрано, — сказал Яхонтов.

Деревянко не обратил внимания на его реплику.

— Вот и у нас некоторые слепо следовали этой тенденции. А советская научная школа требует иного. Будьте добры продемонстрировать не только вашу колоратуру, а и ваше понимание сегодняшней жизни, вашу готовность делом служить обществу... Тема профессора Яхонтова — хочет он этого или не хочет — дань упомянутой мною гнилой традиции. Что касается предложения Масловой...

Пауза. Жене кажется, что все слышат, как стучит у неё сердце.

— ...Я за предложение Масловой. Будем голосовать.

Яхонтов неожиданно быстро сдал свои позиции.

— Но мне хотелось бы оставить за собой право высказать некоторые из своих сомнений на Учёном совете, — оговорил он в заключение

— Ваше право, — ответил Деревянко. — Я предпочитаю дерзать.

— Фантазировать, — пробурчал Яхонтов.

Он попрыскался с Женей с подчёркнутой уважительностью в голосе и о теме диссертации больше в этот день не заговаривал.

В коридоре Женю догнала Рима:

— Ты на меня не в обиде?

— Ну что ты!

Они остановились возле дверей бухгалтерии, стараясь выбрать сухое место. Маляры белили потолок. Пол был заляпан мелом.

— Ты пропала, — сказала Рима убеждённо. — Факт. Яхонтов тебе ходу не даст.

Женя, скрывая возбуждение, следила за длинной мокрой кистью, которую штукатур обмакивал в ведро с белой жидкостью. В очереди за стипендией громко разговаривали студенты.

— Я так учила, так учила, а мне попалась соляная кислота...

— У вас в группе нет троек?

— Ты знаешь, он сдал досрочно и уехал. А я теперь хожу как сумасшедшая.

Жене вдруг захотелось говорить о Вашакидзе. Да, именно с Римой. С Римой, которая знает все тонкости жизни.

— Представь себе, — сказала Женя небрежно, — я прошлое воскресенье целый день гуляла с капитаном До часу ночи, в парке.

— Да, он, кажется, милый, — ответила Рима, счищая с юбки пятно мела. — Я думаю, тебе будет трудно. Яхонтов постарается доказать справедливость своей точки зрения. Если не на Учёном совете, то в процессе руководства.

— Что ж, интересно! — ответила Женя. — Я люблю, когда в открытую.

Они прошли к выходу. На подоконниках сидели студенты Курилы. Ждали отпускных. Девушки бегали взад и вперёд с обходными листами. Наступило лето.

И хотя Рима не откликнулась на её откровенность, Женя почувствовала какое-то внутреннее облегчение. Сначала она предполагала, что Рима удивится, начнёт подшучивать или отзовётся о капитане неодобрительно. Но ничего этого не произошло. «Да, он, кажется, милый». Всё очень просто, в порядке вещей. Самая обыкновенная воскресная прогулка. Самые обыкновенные соловьи. Очевидно, у всех бывает такое. И никто не придаёт этому особого значения.

А вот то, что Деревянко поддержал Женю, — это нечаянная радость. Рима предсказывает, что Яхонтов будет мстить. Яхонтов не будет мстить. Он не обыватель. Он учёный.

На последнем перед каникулами Учёном совете была окончательно утверждена тема Жениной диссертации. Женя на совете не присутствовала; ей рассказали, что Яхонтов не возражал.

Первого июля он уехал на курорт, оставив для неё у Рима ключ от своего университетского кабинета.

Итак июль. По радио передают, что даже в Арктике лето. Ярко цветёт тундра. А на Черноморском побережье — в разгаре купальный сезон. В Тбилиси жара, тридцать пять градусов выше нуля. «Летнее июльское утро... как отрадно бродить на заре по кустам!» Это из Тургенева. Книга лежит на подоконнике, окно раскрыто, воздух густой и пахучий. Цветут липы.

Женя несколько раз ездила за город, к Алику. Он загорел, поправился и даже, кажется, не особенно скучает: обидно! У них там на даче свои дела: придумали какой-то кукольный театр, старшие мастера из ситца заек и мишек, набивают опилками, разрисовывают морды. Алик недавно упал и в кровь разодрал руку. Но врач говорит, что ничего, заживёт, на то и дети, чтобы шалить. Всё-таки ужасное время — лето: жить вдали от сына и беспокоиться, что каждую минуту с ним может что-нибудь случиться. Женя очень долго упрашивала воспитательницу как можно лучше присматривать за Аликом.

В воскресенье Женя за город не поехала. Толчея в поезде, слишком жарко, и нет настроения. Она в отпуску, и может поехать в любой день. А кроме того...

Нет, «кроме того» — это глупости. Смешно надеяться на то, чтобы такие воскресенья, как прошлое, повторялись. То был особенный день.

С утра Женя стирала. Занялась стиркой, чтобы сдержаться: так и подмывало куда-нибудь итти. Но, как назло, стирка быстро приближалась к концу. Появилась Муся:

— Женечка, давайте я вам помогу. И поедem купаться. Чудный день.

— Что-то не хочется.

Женя купаться не поехала. Чемезовы уже выходили, а она развешивала в кухне бельё. Муся крикнула из передней:

— Если надумаете — мы будем на водной станции.

В самом деле, какое-то размагниченное настроение. Что-то похожее на ожидание. Будто кто-то предупредил, что обязательно зайдёт.

Но никто не заходил. В двенадцать Женя переоделась. Надела босоножки, летнее платье и светлые чулки. Потом чулки сняла. Долго устанавливала настольное зеркало, чтобы разглядеть себя с головы до ног.

Никто не заходил. Женя заперла комнату и вышла, щёлкнув замком. Куда? Просто так, пройтись.

Она мучительно придумывала повод, чтобы зайти к Виктору. Но повода не было. В конце концов, для чего обязательно повод? Ведь они друзья? Ну, если не друзья, так товарищи. Товарищи по университету и по работе. Можно зайти и без всякой причины.

Женя решительно свернула в переулок. На этот раз она поднялась на лифте. На пятом этаже горела лампочка. Дверь открыла соседка. Она сказала, что Черкашина нет дома. Заходили знакомые, и все вместе куда-то отправились. Кажется, на водную станцию.

Женя почему-то почувствовала себя обиженной. Она решила вернуться домой и заниматься. Назло. Но кому — назло? Всем!

Обида постепенно исчезала. Это была какая-то особенная, приятная обида. Хотелось, чтобы эта обида не исчезала, а росла. И чтобы разжечь обиду, Женя села в трамвай и поехала на водную станцию.

Спускаясь по каменной лестнице на пляж и заслоняясь ладонью от солнца, она оглядела берег. На вышке лениво извивался красный флаг. Песок, дощатые скамьи трибун, камни у самой воды были усеяны коричневыми телами людей. Плеск воды, шум, громкие голоса, выкрики, скрип уключин на лодках.

Да, настоящее лето! Женя сняла платье, сбросила босоножки, подумала, где бы положить одежду. В эту минуту подошёл Виктор. Женя не сразу узнала его, до того он сливался сейчас со всеми: такой же коричневый, широкоплечий, мокрый, в узких голубеньких плавках.

— Наконец-то и ты выбралась.

— Да, жарко.

— Мы — там, — сказал Виктор, оборачиваясь и указывая на полосу жёлтого песка между прибрежными камнями и деревянными грибками для защиты от солнца.

Женя взяла босоножки в руки и, перебросив платье через плечо, пошла за Виктором, осторожно ступая босыми ногами по горячей гальке. Там, куда указал Виктор, много народу. Вон неуклюжая фигура Муси в купальном костюме. Рядом, кажется, Чемезов. Сбоку кто-то ещё. Ах, это Нина. У неё такие тонкие шлейки на лифчике, что издали ее не отличишь от мальчишки.

Женя выронила туфли. Кто-то подбежал и поднял. Она даже не успела нагнуться.

— Простите, Женя. Здравствуйте.

Вашакидзе.

Он вытрусил из туфель песок и протянул их Жене.

— Мы смотрели, как вы боязливо идёте. Надо смелее.

— Отвыкла босиком.

Она испытывала и досаду, и смущение, и радость. Всё вместе. Ей было немного стыдно в купальном костюме. Она старалась не глядеть на Вашакидзе. Подошёл полуголый красный юноша с «лейкой» через плечо.

— Это Володя, — сказала Нина. — Знакомьтесь.

Володя протянул обожжённую солнцем лапу и улыбнулся, показывая крупные неровные зубы. Курносый, толстый, с какими-то вылинявшими глазами, он сказал дружелюбно:

— Я о вас слышал. Очень рад познакомиться.

Нина набросила на его плечи рубашку. Володя сбросил рубашку и осторожно прикоснулся к волосатой груди:

— Не успел ещё загореть. Но сегодня я догоню Нину.

Уселись на песке. Вашакидзе сначала стоял, а потом сел рядом с Женей. Женя встала и перешла к Мусе. Чемезов лежал на животе, зарывшись головой в Мусино платье. Спина у него была пятнистой от шрамов — следы ранений.

Виктор отошёл к грибкам, где в тени, с книжкой, сидела Тамара. Только она одна не сняла платья.

Муся спросила, закончила ли Женя стирку. Все только что выкупались и теперь обсыхали на солнце. У всех было блаженное состояние, и разговор не клеился. Из-за Мусиной спины Женя не видела Вашакидзе. Она успела только заметить, что он сидит на прежнем месте, согнув колени и обхватив их руками. Курит. Чем он провинился? Ничем. Но Женя к нему не подойдёт.

Ей захотелось как-нибудь резче проявить своё равнодушие к нему. Ничего не придумав, она повернулась к нему спиной.

Неподалёку увидела Виктора и Володю. Они сидели рядом на песке, поглядывая на реку и пересыпая в ладонях блестящие песчинки.

— Значит, ничего живёшь? — спросил Виктор. — А как стихи? Пишутся?

Володя ответил с грустью в голосе:

— Мне теперь трудно писать.

— Это хорошо, что трудно. Чем трудней, тем легче.

— Да, — протянул Володя неопределённо. — Помнишь, я сочинял поэму? — Он размахнулся и швырнул камешек в воду. Но камешек не долетел до воды, упал на мокрый песок. Володя сказал насмешливо: — Всё-таки легче написать поэму, чем стать её героем.

Мимо прошли бронзовые парни с вёслами подмышкой. Зашуршала галька. Ветер принёс запах водорослей и мокрого дерева. А Володя продолжал:

— Думаешь, мне легко? Приходится всё время держать себя в вожжах. Беда, если немного отпустишь. Вот и получается: сам у себя под кнутом.

Виктор усмехнулся:

— Ты стал жестоким человеком.

— Что ты? Наоборот.

— Жестоким к самому себе.

Виктор облокотился локтями о камни. Прищурившись, подставил лицо под солнце:

— Это мне нравится.

— Но это трудно, — сказал Володя не без самодовольства.

Виктор провёл пальцем по Володиной красной спине и спросил, следя за своим пальцем:

— А кто сказал, что жить легко? Легко жить, подчиняясь жизни. Пойди надень рубаху. А то шкура слезет.

Тамара, в развевающемся красном платье, вышла из-под грибка и подбежала к Нине.

— Как вам не надоест жариться? — спросила она, поправляя острыми пальцами жёлтую чалму, сделанную из майки Виктора. — Мне уже надоело сидеть и ничего не делать.

В её торопливом говорке, в быстром движении сияющих глаз, успевших всем улыбнуться, в резких, но естественных поворотах фигуры Женя почувствовала что-то новое, чего она раньше в Тамаре не знала. Рядом с Тамарой Нина казалась флегматичной и медлительной. Она лежала на спине, подняв глянцевого смуглые колени и раскинув руки. Она не защищалась от солнца, только зажмурила глаза. Изредка приподымаясь на локте, она молча поглядывала на Володю. Жене почувствовалась в этом взгляде успокоенность, не стыдящаяся чужих глаз: «Володя рядом, он надел рубашку и теперь не обожжётся на солнце. В воду он не лезет, в воду его одного нельзя пускать. И вообще всё очень хорошо и спокойно. Можно лежать и наслаждаться солнцем».

На пляже Нина вела себя хозяйкой, уверенной в том, что гости не скучают. А у Тамары был вид путешественницы, открывшей новую землю. Она хлопнула ладонью по книге, которую только что читала:

— Почему-то у меня всегда бывает так: когда прочтёшь хорошую книгу, хочется вскочить и что-то стремительно делать. — Она усмехнулась краями губ. — Но я, конечно, писать не умею, даже письма у меня плохо получаются. Вот я один раз подруге написала... Хорошо, потом расскажу. — Она оглянулась. — Да, хорошая книга! После хорошей книги всегда хочется горы своротить.

Влажный ветер рвал её красное платье.

— Осторожней, не улетите, — пошутил Вашакидзе.

— Она в отпуску, может и полетать, — вмешался Володя.

Отправились купаться.

Женя бросилась в воду. Виктор остался у берега с Тамарой и Володей. Поплыли Нина, Чемезов и Муся. Женя легко обогнала их и, перевернувшись на спину, с наслаждением покачивалась на волнах. Ветер дул поперёк реки, поднимая маленькие весёлые барашки. Оторвав голову от воды и шлёпая ладонями, Женя увидела Вашакидзе. Он плыл брассом, широко разводя руки и не сводя глаз с Жени. Что-то сказал, но в шуме Женя не расслышала. Она быстро перевернулась набок и поплыла на середину реки. Её согнутая в локте левая рука плавно проносила в воздухе и опускалась, сильно захватывая воду. Одна нога вперёд, другая назад. Вдох через рот. Вашакидзе догонял. Женя вырвалась дышание. Нужно разводить ноги медленно, а сжимать быстро. Стараюсь, чтобы ни одно движение не пропадало даром, она постепенно уходила вперёд. Это первое её купание в этом сезоне. Поэтому так стучит сердце и не всегда в такт работают руки и ноги. Но Вашакидзе всё равно не догонит её своим брассом. Не отрывая щёки от воды, она плыла всё дальше и дальше. Противоположный берег — далёкий и туманный, если глядеть с пляжа, — теперь казался совсем близким. Но это, конечно, зрительный обман. Женины глаза — на уровне воды. Ей видна блестящая серебряная полоска воды, мрачные быки железнодорожного моста и голубой борт буксирного пароходика, тянущего огромную баржу.

Женя оглянулась. Надувая щёки и разбрызгивая воду, Вашакидзе тяжело выбрасывал руки. Ага, не выдержал стилия!

Всё её непонятное и беспричинное раздражение против него, нараставшее с самого утра, вылилось теперь в это стремительное победное движение вперёд по вспенённой ветром воде.

Вашакидзе отставал. Сначала он ещё делал вид, что преследует Женю, но потом лёг на спину и закричал:

— Довольно, Женя! Сдаюсь!

Охваченная азартом, она продолжала плыть, чувствуя, что уже почти задыхается. Мельком она подумала о том, что, в крайнем случае, отлежится или крикнет кому-нибудь из ребят, чтобы подъехали с лодкой. Но быстрое течение отнесло её далеко от того места, где она сошла в воду. Теперь её неудержимо тянуло прямо на баржу.

Нехватало сил. Женя легла на спину, но так и не успела отдышаться. Справа, неожиданно быстро вырастая в размерах, возник чёрный, со следами ржавчины на металлических креплениях борт баржи. На узкой палубе было пусто. Дверь в рубку закрыта. На верёвке, протянутой от рубки к мачте, мирно сушилось бельё. Почему бельё? Зачем бельё?

До этого баржа медленно двигалась вдоль реки. А теперь вдруг поползла поперёк, всё приближаясь и приближаясь, обдавая Женю волнами взбудораженной воды и едким смолистым запахом. Женя растерялась.

Почему-то почти над самой головой появились тяжёлые переплёты моста. Вышка водной станции казалась игрушечной. Над вышкой по-прежнему трепетал красный лоскутик.

Схватиться руками за борт баржи? Оттолкнуться? Её больше всего пугал этот чёрный, мокрый, закрывающий солнце борт. Она сделала отчаянное усилие выбраться из водоворота, но её захлестнуло волной.

Острый, как бритва, глоток воды. Звон в ушах. Женя захлебнулась.

Вынырнула. Взмах рукой. Нет, не может. Только зачерпнула воду. Всё равно. Лишь бы дышать.

Ещё раз вынырнула и с усилием оторвалась от баржи. Но этот последний рывок исчерпал все её силы. Она уже не управляла своим телом, а только барахталась, стараясь удержаться на поверхности. Баржа уходила вперёд. Где-то вверху, стократно повторяясь эхом, прогрехотал поезд. Кричать? Звать на помощь? Нет, сама!

Она барахталась в воде, а поезд отстукивал: «Нет, сама! Нет, сама!». И вдруг ослепило солнце. Мост остался позади. Течение уносило Женю вниз, к товарной пристани, к пакгаузам. «Нет, сама!».

Что-то громко затрещало. Разрезая воду, из-под моста вынырнули огромные ножницы. Нет, это маленькая моторная лодка. На борту надпись: «Денеб». Вашакидзе протягивает руку.

Он втащил Женю в лодку, упираясь коленями в борт. Наступила тишина. Это заглох мотор. Кто-то спросил с кормы:

— Есть?

— Есть, — коротко ответил Вашакидзе. И усаживая Женю на скамейку: — Ну вот и всё. Ничего не поделаешь.

Снова затрещал мотор.

— Нет, я просто плыла, — сказала Женя, тяжело дыша. Нужно бы расстегнуть пуговку. Нехватает воздуха. Как это Нико не догадается. — Я просто плыла. Я хотела туда... — она махнула рукой, не замечая, что лодка развернулась. На корме кто-то засмеялся. Женя решительно спустила ногу в воду.

— Не надо. Я сама.

— Сама, сама. Конечно, сама, — уговаривал Вашакидзе.

Толчок. Лодка упёрлась в берег. Вашакидзе спрыгнул в воду и подал Жене руку. До пляжа не больше трехсот метров.

— Мы лучше пройдем, — сказал Нико. — Вы ведь так хотите?

Да, он угадал. Она хотела именно так. Не нужно, чтобы все видели, как её спасали.

Они медленно побрели по горячей траве. Женя тяжело опиралась на руку Вашакидзе. Остановилась, чтобы передохнуть.

— Теперь каждый день буду тренироваться. Безобразие.

Она потянула Нико за руку и прибавила сердито:

— Ну, почему вы стали? Пошли!

Вашакидзе молчал. Он глядел себе под ноги, сосредоточенно стараясь приравняться к шагу Жени. Она вдруг спросила:

— Это правда, что название лодки «Денеб»?

— Зачем «Денеб»? — удивился Вашакидзе. — Это «Ласточка» освободская. Я её давно знаю.

Навстречу бежала Нина. Она уже была в белом коротком платье. Только туфельки в руках.

— Ну, как? — закричала она издали. — Слава богу!

— При чём бог! — усмехнулся Вашакидзе. — Почему так волнуетесь?

— Там, возле вышки, ребята сказали, что девушку какую-то под парход затянуло, моторная лодка пошла... И как раз тебя нет и капитана нет.

— Мы рекорды мировые ставили, а вы волнуетесь, — Вашакидзе опустил Женину руку. — Плавать, так плавать.

Нина быстро повернулась и помахала своим.

Виктор помогал Вашакидзе натянуть сапоги, говоря:

— Сейчас пойдём пиво пить. Володя угощает.

— Да, да, — подтвердил Володя, размахивая кулаком. — Угощаю. Всех.

— Весь пляж? — спросила Тамара.

— Всех. Весь мир.

Володя взял Нину под руку и пошёл вперёд. Они одинакового роста, только Володя шире, тяжелей, и походка у него неловкая, будто он идёт по скользкому. Так и пошли парами: Муся с мужем, Виктор с Тамарой и Женя — присмирившая, молчаливая — с Вашакидзе.

В летнем ресторанчике на сваях шумно. Здесь действовали те же законы, что и на пляже. Сюда — за бутербродом или стаканом воды — прибегали прямо с вышки. Здесь тот же мир здоровых бронзовых тел, солнца и молодости.

Нина отодвинула натянутый, как парус, тент. Ветер ударил в лицо запахом смолы. По железнодорожному мосту медленным червяком полз поезд.

Чувствуя прилив какой-то нежной радости, Женя опустила на стол голые локти. Но её всё-таки немножко мутило.

— А я тоже загорела, — сказала она, рассматривая свои розовые руки.

— Но вы сегодня, Женя, совсем другая, — энергично сказал Вашакидзе и отвернулся к реке, жмурясь от солнца. — Вы каждый раз — разная.

Ей захотелось сказать ему, что она счастлива. Нет, нет, вовсе не потому, что так благополучно окончилось сегодняшнее беспокойное купанье. И не потому, что такой свежий ветер и солнце, и музыку передают по радио какую-то трогательную. Вероятно, большое счастье чувствовать

себя победителем. Победителем в споре с Яхонтовым. Победителем в споре с самой собой.

Опуская голову на сгиб локтя и пряча глаза, она сказала тихо:

— Нико, вы знаете, сердце так колотится, так колотится!

Он, видимо, испугался этих слов, осторожно дотронулся до её плеча. Сквозь платье она чувствовала, как прохладна его рука.

— Успокойтесь, Женя, — повторил он. — Выпейте пива.

Но её мутило. Она не могла даже глядеть на пиво. Володя постучал о тарелку вилкой с нанизанным на неё куском сыра и заказал минеральной воды. Теперь чувствовал себя хозяином он, а Нина — гостьей.

Развалившись на стуле и сдувая пивную пену, Володя рассказывал:

— И вот назначили показательный урок. Я подготовился, как зверь. Весь свой университетский багаж перевернул. Хвалили. Но я не этого добивался. Понимаешь, Виктор, не этого.

Он обращался к Черкашину, но его слушали все. Чемезов — с удовольствием потягивая пиво. Муся — удивлённо раскрыв глаза. Вашакидзе — с вежливой улыбкой, придерживая на коленях тугую фуражку. Тамара — серьёзно, внимательно, всё время отстукивая пальцами по скатерти. Нина — с таким выражением лица, будто спрашивала: «Он хорошо говорит? Он правильно говорит?».

— Но я не этого хотел, — повторил Володя. — Я хотел бы так: сначала сделать доклад. Подробно объяснить, что я собираюсь показать на уроке. Что я собираюсь доказать.

Он поставил кружку на стол и, любуясь своими красными, обваренными солнцем руками, продолжал:

— И только после этого дать урок. Чтобы все видели, что у меня получилось из замысла. Проверить практически. Ушинский писал, что передаётся мысль, выведенная из опыта, а не сам опыт.

— Вы, вероятно, там самый главный, в школе? — спросила Муся. Женя не поняла, всерьёз она или в шутку.

— Главный. Стараюсь итти коренником. Ещё бы там не быть главным! В самом начале явился ко мне на урок завуч. Сидел с умным видом, писал. Потом — указания. Мне это всё известно: педагогику сдавал. Тоже — Колумб, этот завуч. — Володя криво усмехнулся: — А сам говорит «обратно» вместо «опять».

Закурили. Вашакидзе пододвинул коробку папирос с золотыми буквами на крышке.

— Нет, благодарим, — сказал Володя таким тоном, будто век прожил в таёжной глуши. — У нас уважают вот это... — Он вытащил пушгый деревянный портсигар, набитый крупным табаком. — Самосад. Яростная штука. Под пиво хорошо идёт.

Чемезов от самосада отказался, а Володя свернул трубочку из газетной бумаги, долго прикуривал от папиросы Вашакидзе и, наконец, отчаянно задымил, кашляя и вытирая глаза. Запахло горелым тряпьем.

— Работаем понемножку, — сказал он, слегка покровительственно обводя товарищей взглядом.

Муся хотела что-то сказать, но её опередил Чемезов:

— Вот и в нашей работе тренёрской тоже от педагогики много... Некоторые считают, что нельзя обойтись без брака. Говорят: если ученик неспособный попался, значит обязательно брак, спортсмен не получится. — Он пил пиво мелкими глотками — А я не согласен. У нас привыкли к обезличке: занятия три раза в неделю по два часа. Для всех одинаково.

— Ну, как чувствуете себя? — шепнул Вашакидзе Жене.

Она ответила одним взглядом. И почувствовала, как ожил Нико от этого взгляда, как нервно задвигалась его рука с дымящейся папиросой в пальцах, как освобождён он вздохнул.

— Безусловно, нельзя всех на один аршин мерить, — неожиданно поддержал он Чемезова.

Тот, в лёгкой спортивной рубаше с широкими рукавами до локтя, открывающими его худые сильные руки, обрадовался поддержке У него лицо спортсмена: загорелое, крупное, с резкими, почти грубыми чертами. Затылок коротко подстрижен.

— Для каждого спортсмена нужен свой план. Индивидуальный. Не утвердят? Денег не будут платить? От себя буду заниматься. Спортсмен — это индивидуальность. Я над ним иногда двадцать часов в сутки бьюсь. Ваш спортсмен первым ленточку рвёт. Вам приятно? И мне приятно. И организации приятно. А спортсмену вредно, если он молодой и если он занимался форсированным тренажем за счёт общей физической подготовки.

А Володя продолжал рассказывать Виктору:

— Заходит разговор о пахоте. Передают, что в бригаде у такого-то на четырнадцать-пятнадцать сантиметров борозда поднята. Я рядом стою, разговор поддерживаю. А кто его знает, сколько сантиметров полагается? И говорю: мало пятнадцати сантиметров. Надо двадцать. Так и есть. Уважение. А я это — понаслышке. Нет, если уж останусь там работать, надо всё изучить досконально.

— А разве ты думаешь уходить? — спросил Виктор.

— Не знаю... — Володя ближе нагнулся к Виктору, сдвигая локтями пустые кружки. — Нужно же как-то устроиваться.

Он кивнул на Нину.

— А я решил молодёжь по-другому учить, — продолжал Чемезов. — За рекордами не гонюсь. Пускай года два ни в каких почётных списках фамилия твоя не значится. Зато на финише своим будешь человеком, а не случайным. Чтобы вырастить настоящего спортсмена, мне нужно много знать. Анатомия, физиология, психология, педагогика, гигиена, биохимия, врачебный контроль — целая наука.

— Почему ты сегодня такая тихая? — спросил Виктор, перегибаясь к Жене через столик.

— Перекупалась, — сказала Муся. — Это часто так бывает.

Женя грустно улыбнулась. Солнце лежало в садах пригорода. пляж опустел. Наступила тишина. Только слышно было, как, гремя цепями, ставят на прикол лодки.

И опять Вашакидзе сказал на прощанье:

— Простите, Женя.

И опять она сидела на подоконнике в своей комнате и смотрела, как сумерки затухивают город. И опять занималась до рассвета. Жизнь подошла к решающей минуте. И, всем сердцем почувствовав эту минуту, Женя призналась себе, что ей нравится Вашакидзе. Она с умыслом выбрала ходовое слово «нравится». Она боялась слова «люблю». В эти длинные июльские дни она много думала о любви. О любви Муси и Чемезова, Нины и Володи, Виктора и Тамары. И вспоминая о каждом из них, она удивлялась, как всё в ней самой переменялось. Раньше, глядя на них со стороны, она многому завидовала, многим восхищалась. Но теперь она не следила за ними со стороны. Она стала самой себя ставить на место каждого из них. Спорила с Чемезовым, скучала по Володе, мечтала вместе с Виктором. Она упрямо придумывала свой, един-

ственный и самый лучший вариант любви. В этом варианте участвовали и Алик, и диссертация, и звезда «Денеб», и слова «Простите, Женя», и даже незнакомая девушка Ната из далёкого Тбилиси...

Гриша прислал новое письмо: опять уголь, опять робкое приглашение вернуться. Хотелось написать ему о Вашакидзе. Хоть бы намёком. Но разве она имеет на это право? Ведь ещё ничего не определилось. Воздушные замки.

Как всегда, в эту минуту душевной растерянности её потянуло к Рима. Риму она не видела с конца июня. Последний раз встретились на улице, Рима спешила на вокзал.

— Еду на дачу. К знакомым. Ты знаешь их? Семья академика... — она назвала известную фамилию. — Вероятно, буду жить всё лето. Конечно, на птичьих правах, но всё равно. Надоело.

— Что надоело? — спросила Женя.

— Надоело вечно думать о завтрашнем дне, — сказала Рима небрежно.

Она пригласила Женю к себе.

— Когда хочешь, в любое время и без стеснений. Хозяева с первого уезжают на юг и оставляют меня в приятном одиночестве.

И вот Женя вспомнила о приглашении Рима.

На один день ехать нет смысла. Нужно хоть недельку отдохнуть. Ведь уже решено заниматься всё лето. Так лучше. Нужно всегда иметь в запасе какой-то резерв времени. Мало ли что может случиться зимой.

Женя уложила в чемоданчик несколько летних платьев, сарафан, купальный костюм и учебники по общей физике. Озабоченно оглядела комнату и завернула в газету котлетки, оставшиеся от вчерашнего обеда. На улице она купила немного конфет: Рима любит.

А Рима встретила Женю очаровательной улыбкой на веранде двухэтажной дачи под черепичной крышей. Она не то чтобы располнела, но как-то разленилась.

Несмотря на жаркое утро, на ней был длинный до пят халат из плотной материи, разрисованной фантастическими цветами и птицами. Трогая языком подкрашенные губы, она рассказала, что вот уже дней пять — совершенно одна, осталась сторожем, хозяйкой, садовником. Все обязанности сразу. Но скучать не приходится. Постепенно подбегается компания.

Рима небрежно перечислила:

— Профессор такой-то, доцент такой-то, декан исторического факультета, член-корреспондент... — Предугадывая Женину скептическую улыбку, она вдруг изменила тон и сказала с оттенком насмешки над собой: — Вращась в научном мире.

Они посидели некоторое время молча в плетёных креслах с откинутыми далеко назад спинками. Беспokoйно шумел фруктовый сад. Длинные ветви с темнозелёными глянцевыми листьями у груш и шершавыми, яркими у яблонь тяжело клонились к земле, прячась в свежей, пронизачной светом траве и густых, непроницаемо-тёмных кустах смородины. На поляне, среди острых, рогатых листьев белены желтели шапочки одуванчиков.

— Скоро поспеет белый налив, — сказала Рима, взмахивая широким пёстрым рукавом халата. — Только вот с освещением тут неудобно, напряжение какое-то неопределённое. — Она поглядела на электрическую лампочку под потолком веранды, а потом через стеклянную дверь

в комнату. — Вчера слушала музыку — приёмник пережгла. Лампы, наверное, не выдержали.

Женя отказалась от завтрака. Она задумчиво глядела в сад. Сухой и горячий ветер загибал листья, обнажая их светлую тыльную сторону. От этого деревья на минуту делались менее яркими. Казалось, по саду пробегают короткие молочно-зелёные волны.

Не зная, за что приняться, Женя обошла вместе с Римой дачу, поднималась на второй этаж, пробовала играть на рояле в пустой душной комнате с венецианскими окнами. Потом она спустилась вниз, покрутила радиоприёмник и убедилась в том, что лампы целы. Пустяки: перегорел предохранитель. Женя разыскала тонкую проволочку, вставила её вместо предохранительной колодочки — и тотчас раздался громкий голос московского диктора, передающего последние известия.

Рима обрадовалась:

— А мне лень было заглянуть. Но выключи, пожалуйста.

Ей хочется отдохнуть от шума, наполняющего весь мир. Сообщения из-за границы ей действуют на нервы. Холодная война дипломатов, горячая война в Китае, в Греции, в Индонезии... а она хочет абсолютного мира. Женя сказала, что собирается всё лето заниматься. Она увлеклась, излагая свои планы. Но Рима слушала невнимательно.

«Вот, действительно, абсолютный мир», — насмешливо подумала Женя, внезапно оборвав себя и оглядываясь.

Красные тюльпаны и мелкие голубые гиацинты в клумбах. Пёстрый сад. Пёстрая фигура Римы, как частичка этого сада. Солнечные зайчики бегают по её халату. На даче лениво поскрипывают полы. Жёлтые мохнатые осы ползают по скатерти, садятся на руки и не жалят.

— Природа здесь какая-то особенная, — сказала Рима, отгоняя ос и прикрывая салфеткой остатки завтрака. — Щедрая природа.

Они медленно прошли по саду. Посидели на заросшей бурьяном скамеечке в самом дальнем углу, возле изгороди. Здесь было прохладно и темно. Пахло сыростью. Огромные листья лопухов, крапива в половину человеческого роста, крупные и колючие фиолетовые цветки бодяка и пушистые, жёлтые — осота, кусты белой акации с большими сочными листьями, издали напоминающими ветви папоротника.

— Фантастические заросли, — сказала Рима. — Всё рвётся к солнцу.

— Кстати, — заметила Женя, — картофель у вас порядочно зарос.

— Этот картофель тоже портит мне нервы, — пожаловалась Рима. — Тут неподалёку есть знакомый, директор совхоза. Пойду к нему и скажу: «Простри крыло твоё на рабу твою, ибо ты агроном, а я ни черта в картошке не понимаю».

Они вернулись на веранду. Разговор не клеился. Рима уселась в плетёное кресло и уткнулась в книгу. Жене захотелось уйти куда-нибудь и в одиночестве ещё раз передумать обо всём, что тревожит. Обо всём, из-за чего, собственно, приехала она сюда, на дачу. Рима ничего не подозревает. Зевая, она перелистывает книгу.

Несмотря на её шумные возражения, Женя отправилась на огород, полоть. Она обвязала голову полотенцем и сняла платье. Рима пошумела и успокоилась.

— Ну иди, если тебе нравится. Только соседи очень удивляться будут, увидев такой экзотический цветок.

Женя полола часа полтора, пока не почувствовала, что ноет спина. С удовлетворённым видом она вернулась на веранду, где Рима дремала, запрокинув растрёпанную голову на спинку кресла. Она сейчас же проснулась, недовольно прищурила синие глаза и принялась ругать

книгу: от такой книги немудрено заснуть. Причёсываясь и заглядывая в зеркало, она пустилась в рассуждения:

— Есть книги, которые вызывают тревогу. Есть книги, которые успокаивают. Я предпочитаю последние.

— Успокаивают? — переспросила Женя, разглядывая мозоли, вскочившие на руках после работы.

— Вносят ясность в жизнь, — ответила Рима. — Ведь часто думаешь о себе: ты плохая, ты не такая, какой нужно быть. А прочтёшь успокоительную книгу — и на душе легче: все люди с трещинками. Такова диалектика жизни.

— А я не люблю таких книг, — сказала Женя. — Я люблю мечтать. А настоящая правда — это всегда мечта.

— Ты хочешь сказать, что её не существует?

— Она существует, но не приходит сама. К ней нужно идти.

Рима спокойно погладила свою руку, разглядывая какое-то пятнышко на коже. Недавно разбила колбу и порезалась: пришлось заливать иодом.

— Ты вечно стремишься ко всяким усложнениям, — сказала она задумчиво.

— А к чему же мы должны стремиться? — насмешливо спросила Женя.

— К чему? Пожалуйста. — Рима закинула ногу на ногу. — К тому, чтобы жилось легко, беззаботно, красиво, весело. Чтобы не было таких людей, как Яхонтов, которые постоянно подкалывают и насмеваются. Чтобы не было вечных горок, которые нужно преодолевать. Чтобы жизнь была похожа на широкую асфальтированную аллею, по которой можно идти на высоких каблуках, — так она ровна и спокойна.

Женя нетерпеливо перебила:

— Ты знаешь, как я жила во время войны? Каждый день, как экзамен И каждый вечер вопрос самой себе: «Ну как? Выдержала?»

— А могла бы и не выдержать?

— Нет, я не про то. Я про ответственность. Понимаешь, когда-то давно, когда семилетку окончила и книги забросила в шкаф, я убежала на целый день на реку, целый день валялась на песке, грелась, купалась, и у меня было такое чувство, будто я теперь совершенно одна на свете и, кроме неба, травы, солнца, ничего нет — ни учителей, ни завуча, ни домашних, тревожащихся об отметках, ни учебников — ничего! И я свободна!

Рима понимающе кивнула.

— Но потом я забыла это чувство, — сказала Женя весело. — Хотела вспомнить и не могла. Конечно, в войну — другое дело. Но вот окончилась война, а всё-таки нет того, ну как бы сказать, мимолётного чувства

— Старость, — заметила Рима иронически.

— Нет, значит я взрослая. Не девочка. И везде и всегда со мной это всеенное ощущение: каждым днём своим я ответственна перед... перед совестью.

Женя вспомнила Вашакидзе. Обо всём этом нужно было сказать именно ему, а не Риме.

— Что же, так будет всегда? — спросила Рима, высоко приподымая брови.

— Не знаю. Может, до тех пор, пока не исчезнут зло и несправедливость.

— Я не доживу до коммунизма, — вздохнула Рима. — Я не успею на один или два года. Мне всегда не везёт. — Она вдруг оживилась. — Я тебе не рассказывала о себе? Я родилась в интеллигентной семье, отец мой был профессором, девочкой я была недурна... Ты слышишь, я жду комплимента.

Женя даже не улыбнулась.

— Ну хорошо, не надо. Словом, всё было восхитительно — и школа, и летние поездки на юг. Мне говорили, что я родилась под счастливой звездой. — Рима подняла глаза к потолку. — И мне самой казалось, что я вытянула лотерейный билет в сто тысяч. И в этом билете, кроме всего, каким-то сотым пунктом написано что-то туманное, но многообещающее. Мол, можете надеяться, милая Римочка, на огромное будущее счастье. Потом умер отец, семья распалась, я вышла замуж, муж погиб — и пошло, и пошло. И этого, чего-то очень большого, предсказанного в лотерейном билете, всё нет и нет. Поэтому обидно.

— Странная обида, — сказала Женя, зябко поводя плечами.

— У всех есть дом, а у меня избушка на курьих ножках.

— Дом строят, — заметила Женя.

Рима холодно ответила:

— Я не каменщик. И потом — я устала. Страшно устала.

Она сейчас же, небрежным жестом, поправила волосы и задумчиво замурлыкала песенку:

— «Верно, быть мне вовек нелюбимой...» Да, Женя, вот так... А ты всё-таки слишком много берёшь на свои слабые плечи.

— Ровно столько, чтобы ощущать тяжесть, чтобы знать... — Женя вдруг резко перебила себя. — А ты хочешь итти рядом и только при-держиваться плечом?

— Я хочу жить!

— И я хочу жить!

Так и закончился разговор.

После обеда Женя заснула в саду, на траве. Её разбудили голоса на веранде. Уже вечерело. Под деревьями было тихо и сумрачно. Только где-то вверху трепетали узкие длинные листья ясеня, отражающие розовое зарево заката.

Пришла Рима. Она опустилась на колени рядом с Женей:

— Выспалась? Приведи себя в порядок. У меня уже гости.

На Риме было синее прозрачное платье, узкое и длинное, надетое на светлосиреневый шёлковый чехол. И, вероятно, из-за этого чехла платье как-то особенно сверкало и с каждым движением Римы меняло оттенки. Вот оно темносинее, почти фиолетовое. А вот — почти такое же, как Римины глаза. Сноп солнца — и Риме окутывает мелкая серебристая чешуя.

— Какая ты блестящая, — удивилась Женя. — Я ещё полежу.

Рима рассердилась:

— Я столько о тебе наговорила. Это свинство.

Что ж, придётся пойти. Женя оправила платье, причесалась. У неё есть другое платье, но переодеться она не будет.

По дороге на веранду Рима коротко описала каждого из гостей:

— Остроумный и весьма популярный в медицинских кругах, но грубобат... А этот скучный, но прекрасно танцует... Любит женщин... Роман со здешней учительницей... Очень интересный мужчина, но пустой, вроде этого, Вашакидзе.

— Дешёвые эпитеты, — сказала Женя раздражённо. — Нужно зарабатывать право оценивать людей с первого взгляда.

Рима удивлённо обернулась, но ничего не ответила. На веранде, в полумраке, сидели пятеро мужчин. Курили. Жене представился каждый, но она не расслышала ни одного имени. В ней поднялось глухое раздражение на Риму, и ей хотелось сделать что-нибудь такое, что могло бы вывести её из себя. Скучно. После знойного дня становилось прохладнее. Сад с темнозелёными картонными листочками казался театральной декорацией.

Женя посидела минут пять и выскользнула. Ей захотелось к Алику. Ей захотелось домой, в свою пустынную комнату, на подоконник. Она прошла по узкой тропинке, задевая платьём за кусты. На трёхугольных листочках малинника блестяли капельки влаги. Подол платья вымок.

Женя услышала, как вся компания шумно сошла с веранды. Скрипнула калитка. Рима громко пообещала:

— Да, мы сейчас придём.

Потом она некоторое время возилась с собакой, отвязывая её и ласково приговаривая:

— Ты ж смотри, сторожи дом. Я ухожу.

Женя вернулась на веранду и зажгла свет. Приподымая платье, Рима поднялась по ступенькам. Гладкая причёска и синий шёлк делали её какой-то очень узкой и лёгкой. Она прошла на высоких каблуках, поёживаясь от прохлады и снисходительно шурясь:

— Ты всегда была такая общительная... Что случилось? Тебе определённо кого-то не достаёт.

Женя сдерживалась, чтобы не ответить ей грубо. Пускай Рима идёт, куда обещала прийти. Женя посидит одна, почитает. Послушает радио. Рима пожала плечами и включила приёмник.

Музыка. Пускай играет музыка. Она нужна для того, чтобы открывать звёзды.

— Мы переменились ролями, — сказала Рима, усаживаясь в кресло. — Ты наводишь на меня хандру.

По радио передавали вальс. Остро вырисовывались узоры деревьев на тускло светящемся бесцветном небе. Деревья на фоне неба казались тщательно вычерченными карандашом.

— Хороший вальс, — проговорила Рима. — Старый. Я запомнила его ещё по тридцать третьему году. Техникум, вечеринки вскладчину, мальчики и первые романы. Ходили в Торгсин покупать пластинки. Танцевали до упаду, хотя нам тогда и не разрешали. По три часа прощались у подъезда. И потом этот вальс я слышала часто. И всегда какое-то головокружительное чувство возвращения в юность. Но вот кончился вальс — и улетело это чувство.

Рима добавила после паузы:

— Так и в жизни.

Темнота сгушалась вокруг веранды. Свет лампочки узкой полосой падал на клумбу, возле крыльца. В этом свете застыли пунцовые букеты мохнатых роз. И ещё что-то: метеолы и жасмин.

Что там говорит Рима? В юность не нужно возвращаться. Юность — это сама жизнь. Хочется спорить, лезть на рожон, убежать в сад, вообще уехать отсюда, вернуться в город, кинуться в работу, кипеть, бороться, верить в себя и жить, жить, жить. На зло Кому — Рима? Что такое Рима? На зло всем, кто ушёл в свой крохотный себялюбивый мирок и клеветает на человека.

А Рима говорит:

— Самое трудное — это жизнь. Я могу ошибиться в своей работе. Исправить. Переделать. Но жизнь не переделаешь.

— Почему?

— Она движется. Ничего не вернёшь. Даже эту секунду, когда мы сидим с тобой вдвоём.

Женя бросила локти на стол, заговорила резко.

— Трусливая и жалкая философия. Не понимаю. Не хочу понимать. Если живёшь честно по отношению к самой себе — каждая ушедшая секунда не горечь, а радость.

— Какая же это радость! — сказала Рима возмущённо. — Годы уходят.

— Мы должны стремиться к бессмертию.

— К сожалению, пока это только гипотеза.

— Нет, я не об этом, — ответила Женя с досадой. — У тебя есть расписание поездов?

— Сумасшедшая! Ты задумала ехать ночью?

Но Женю уже нельзя переубедить.

Рима проводила её до станции. Шли молча, напряжённо вглядываясь в темноту. Рима была обижена. Она сказала на прощанье:

— Не думай, что на меня действуют твои фокусы. Я сейчас пойду танцевать.

Женя вернулась домой поздно. Было такое чувство, что с чем-то покончено и это непоправимо. Покончено с Римой. Рима — заблуждение в её жизни. Рима была, вероятно, оттого, что умерла любовь к Грише, а сердце искало сочувствия. Но теперь...

Соловьи в парке, водная станция, Вашакидзе... С ясной умиротворённостью она вспоминала обо всём этом. Ничего не осталось от близости с Римой. У неё свой символ веры: у каждого человека есть предел счастья, до которого он только и может дотянуться. У каждого человека есть семья, дом, любимая книга, своя привычка. Вот о чём мечтает Рима. Она думает, что если нет мира на земле, то можно постараться создать для себя самой подобие крохотного мира. Она думает, что можно прикрыть ладонью столбцы телеграмм из-за границы и построить своё птичье счастье.

С Римой покончено.

Женю не покидало чувство неудовлетворённости собой. Скорее бы закончить монтаж установки. Форвакуумный насос уже на месте. Приходится всё делать самой: некому помочь, лаборанты в отпуску. В лабораторном корпусе пусто, на дверях замки. Когда подымаешься по лестнице, шаги гулко разносятся по коридору. В начале августа вернётся Яхонтов. К этому времени установку нужно полностью закончить.

Между тем июль на исходе. Прошли освежающие грозы. Не помешают ли они собрать урожай?

Женя тревожно просматривала газеты. Нет, всё идёт хорошо. Молотба в разгаре. Скошено колосовых... Заскирдовано и обмолочено... Вспашка под озимые... Культивация чистых паров... Краснодар, Ставрополь, Полтава, Курск...

В университете состоялось заседание партийного комитета. Обсуждались мероприятия, связанные с помощью колхозам. На уборку уехала первая бригада. К сожалению, Женя в неё не попала: Федя просил остаться в городе. Ехать с первой бригадой хотелось потому, что в ней были знакомые ребята с третьего курса и Нина. Женя должна была сменить её в начале августа.

В последнее воскресенье июля Женя весь день пролежала в постели. Не повезло: заболела.

Муся засуетилась: сходить в аптеку, достать у соседей малиновое варенье. А может быть, не дожидаясь завтрашнего утра, вызвать врача?

— Пустяки, — сказала Женя, бодрясь изо всех сил. — Это ангина. Приму стрептоцид, и всё пройдет.

К вечеру она встала. Немножко кружилась голова. Жарко. В дверь постучали. Муся побежала отворять. Нет, это не Чемезов. Чужие шаги. Женя прислушалась. Новая волна озноба прошла по спине.

Мягкий голос Вашакидзе в передней.

— Простите, я к Евгении Васильевне.

Открылась дверь. За плечом Вашакидзе мелькнуло строгое лицо Муся. Вашакидзе широко шагнул в комнату, приложив пальцы к фуражке. Уходя, Муся проворчала тоном доктора:

— Напрасно вы, Женя, встали. Вам нужен покой.

Вашакидзе обернулся:

— Простите, я на одну минутку.

На этот раз он был не в кителе, а в простой, чуть выгоревшей гимнастёрке с маленькими блестящими пуговками. Он казался мальчишкой. Но выражение лица такое, словно только что прошёл пешком десять километров. На сапогах серый слой пыли.

— Почему вы не показывались так долго? — спросила Женя в упор. Но сейчас же испугалась своих слов и спрятала лицо в ладонях. Вашакидзе ответил спокойно, будто ждал этого вопроса.

— Я сомневался. Я не знал, нужно ли это.

Женя опустила глаза, разглядывая блестящие прямоугольники паркета. Сапоги у капитана совсем не пыльные. Они серо-зелёного цвета: вероятно, из парусины.

— Разрешите сесть? — спросил Вашакидзе. — Мы с вами говорили, много говорили... Но у каждого человека есть своя глубокая жизнь. Я не знаю вашей жизни, ничего не поделаешь.

— Хорошо. Я заполню анкету, — сказала Женя язвительно. — И напишу автобиографию.

— Зачем анкету? Какая вы злая, честное слово. — Вашакидзе снял фуражку. Маленькая знакомая морщинка возле глаз. Это улыбка. — Какая вы усталая сегодня. Нездоровится? Это видно по вашим глазам.

Они сидели друг против друга, разделённые круглым столиком.

— Скажите, зачем вы приходили на семинар? — спросила Женя.

— Мне нужно.

— Что нужно?

— Было полезно послушать, Женя.

Она сказала с насмешливым восхищением:

— Я преклоняюсь перед вашим характером, капитан!

Вашакидзе с треском разорвал свежую пачку папирос. Щелчок пальцем. Папироса выскочила на стол.

— Вы не забывайте, что я офицер, Женя.

— В каком смысле? — она насмешливо прищурилась.

— Во всеобъемлющем. И если...

— Ну, ну...

— И если я не видел вас столько дней, то это потому, что боялся обидеть нас обоих, Женя.

Она пожала плечами.

— Уезжайте поскорее, — сказала она, стараясь придать голосу оттенок шутливости. — Уезжайте в Тбилиси, пока мы с вами не поссорились.

Вашакидзе попросил разрешения закурить. Прикуривал долго. Встал и отошёл к окну.

— Мы с вами не поссоримся, Женя.

— Вы так думаете?

Он в упор поглядел на Женю. Она смело выдержала его взгляд.

— Я вас долго не видел и всё время старался представить себе, какая вы. Но почему-то только одно осталось в памяти: ваши волосы, летящие назад, будто от ветра, будто от быстрой ходьбы. Свет фонарей, тонкие стволы деревьев. Ночь, улица и пятна света на вашем лице. Мелькающий свет. Что-то вроде полёта.

— О господи, как сложно! — сказала Женя принуждённо.

Вашакидзе стоял, прислонившись к подоконнику, жёсткие, слегка коробящиеся погоны делали его плечи угловатыми.

Тот вечер ей тоже казался очень значительным. Ведь она так много вспоминала о нём. Скрывала от самой себя и всё-таки вспоминала.

Она прикрыла глаза ладонью.

— Вам плохо, Женя?

— Нет, ничего. Совсем напротив — хорошо.

Жар. Вашакидзе о чём-то говорит. Пусть говорит Женю тянет прилечь, но неудобно при чужом человеке. Она чувствует себя очень слабой и беспомощной. Но Нико рядом. Это главное.

— И вот я и наш полковой инженер задумали небольшое усовершенствование... Мысль простая, но если её осуществить, много пользы будет. Честное слово. Жаль, что я не могу рассказать, Женя. Именно вам хотелось бы... Прочность металлов... Внутренняя структура металлов... Профессор Деревянко указал на семинаре... Мы с полковым инженером... Что с вами, Женя?

Она резко подняла голову.

— Нет, ничего. Я не поняла, о чём вы говорите.

— Я говорю о функциях Бесселя, Женя. Мне приходится пользоваться этими функциями при расчётах, Женя.

Функции Бесселя Женя сжала руками виски Нет, она не помнит. Забыла. Не в курсе дела.

Вашакидзе заторопился: ему пора. Но почему он спешит? Ещё нет десяти. Обидно, что он так спешит. Пусть он посидит ещё немного.

Женя всё-таки не выдержала, прилегла. Так легче. А капитан пусть сидит рядом и рассказывает. Жарко. Когда-то Женя очень любила так: мама сидит рядом и рассказывает.

Тбилиси. Отец — старый большевик. Мать... Да, о матери Женя много знает. Теперь о нём самом. Исторический факультет университета. Первый курс. Потом потянуло к технике. Нефть. Бакинский институт нефти. Предвоенные годы. Акации на Приморском бульваре. Зелёная с фиолетовыми пятнами вода у пристани. Мирная жизнь. Юношеские споры. Мечта о солдатской гимнастёрке. В кино — военный дым над Мадридом. Оборонные кружки: пулемёт Дегтярёва, разборка и сборка винтовки, ручная граната.

— Вы слушаете, Женя?

— Да. Болят виски, и я немножко закрыла глаза. Но вы не уходите. Я могу повторить: вы поехали добровольцем на финский фронт. Это зимой тридцать девятого года. Правда?

Враг. Первый раз — лицом к лицу. Стремление во что бы то ни стало быть сильнее врага. Потом училище. Новая профессия. Кубики на петлицах. Великая Отечественная... Люди, друзья. О них когда-нибудь позже. А сейчас о профессии. Снова мир. Изменил нефти? Нет, техническому направлению не изменил. Жизнь артиллерийской батареи, не-

прерывное движение вперёд, техника, требующая острого глаза и ясного ума, сила, сосредоточенная в массе людей. Бессонные ночи над картами, выбор одного единственно правильного решения. Звонки телефонов в штабе, деловитая суматоха, доклады, схемы, координаты. Всё это родное и главное в жизни: от командного пункта и до последней солдатской палатки... Теперь впереди — офицерские курсы. Нужно заняться теорией... Небольшое усовершенствование... Полковой инженер...

Когда же Женя задремала? Она сама не заметила. Открыла глаза, а Вашакидзе уже нет. Верхний свет потушен. Окно прикрыто. Это ничего, что он ушёл. Он, вероятно, ещё придёт. Но всё-таки осталось что-то неприятное. Ах, да: функции Бесселя. Как же она их забыла? Правда, учила очень давно, студенткой, на третьем курсе. А потом как-то не приходилось с ними сталкиваться.

Тихонько вошла Муся.

Функции Бесселя.

— Муся, дайте мне, пожалуйста, со стола вон ту книгу. С краю, толстую, самую нижнюю...

На другой день Женя почувствовала себя лучше. Она наотрез отказалась измерить температуру. Поездку в колхоз отложить нельзя: завтра выезжает вторая бригада. В этой бригаде в основном молодёжь — ни одного коммуниста. Женя просто необходима там, на уборочной.

— Буду я лежать, бездельничать! — сказала она возмущённо. — Нет уж!

Муся поджала губы и ничего не ответила.

Попрощавшись с ней и радуясь, что, наконец, удалось вырваться из дому, Женя вдруг почувствовала новые приступы озноба. Очень больно глотать. Но это завтра пройдёт. Солнце, горячий степной воздух, работа, университетские ребята, с которыми всегда легко и весело... Других лекарств не нужно.

Дорога на вокзал, ночной поезд, влажный рассвет, тряская полторка — всё, как в тумане. Ребята прекрасно выспались в поезде, а Женя только тревожно дремала, просыпаясь от каждого толчка. Утром, на колхозном дворе, она увидела Нину. Нина заявила, что она и несколько других девушек решили остаться ещё на один день. Работа непривычная. Нина надеется закончить её до вечера.

— Ты что-то очень бледная, — с тревогой сказала она, вглядываясь в Женино лицо. — Устала с дороги? Отдохни. Мы твою сегодняшнюю норму отработаем.

— Нет, пустяки, — ответила Женя. — Я сейчас к председателю. Распределять обязанности.

Все очень спешили. Одни — к машине, которая отправлялась на станцию. Другие — на поле, где уже слышался однообразный сухой треск молотилки.

Было ещё рано, около семи утра. Но ослепляющее солнце уже жгло плечи сквозь платье. На току горячая пыль щекотала ноздри.

В кузове грузовика, в колхозной конторе и в прохладном кабинете председателя Женя убеждала себя, что сможет работать. Но здесь — на жаре, в поле — она пожалела о том, что поехала.

— Пустяки, пустяки, — сейчас же зашептала она сухими губами. Губы были какие-то противные: твёрдые, припухшие, неповоротливые. Не хотелось ни говорить, ни думать. Хотелось спать.

Потом появилось неприятное чувство тяжести в ногах. Женя присела на колючую стерню и, потеряв равновесие, опрокинулась на спину.

Больше она ничего не помнила. Жара, солнце, треск молотилки. И вдруг голос Нины:

— Нет, зачем же её оставлять здесь! Мы заберём её в город сегодня вечером.

И другие голоса:

— Что с ней? Сердечный припадок? Может быть, солнечный удар?

Очнувшись, Женя оглядела белые стены комнаты и сказала с трудом:

— Не впадайте в панику, товарищи. Это самая обычная ангина.

Весь день она пролежала в белой комнате медпункта. Подобно тому, как накануне у неё существовало твёрдое убеждение в том, что ехать в колхоз совершенно необходимо, так сейчас ей стала ясна необходимость возвращения в город. Женя испытывала тягостное чувство от сознания, что становится обузой для окружающих. Она не привыкла к этому. А тут всякие хлопоты о ней. Собирались послать в район за доктором. Допытывались, что готовить ей на обед. Лекарства, термометр, диета — противно и унижительно!

Начиная с сорок второго года, Женя ни разу не болела. И вот пожалуйста — ангина, жар и позорное ощущение своей никчёмности и бессилия. Организм ослабел. Раньше Женя никогда не думала о пределе своих сил. Ей казалось, что она может работать за троих, не спать по ночам — и всё будет сходиться ей с рук.

Женя несколько раз засыпала и просыпалась с неприятным чувством совершённой ошибки. За окном с ленивым жестяным шелестом шевелились выцветшие сухие листья кукурузы. В комнату упрямо лез обожжённый солнцем дикий виноград. Иные листочки совсем красные, и только совсем по-летнему зеленеют тоненькие прожилки на них.

Пришло в голову, что председатель колхоза неправильно распределил обязанности в её бригаде. Женя некоторое время напряжённо обдумывала свой план и не удержалась от того, чтобы не высказать его женщине, члену правления, когда та вошла в комнату.

Но, видно, соображения её не были достаточно вескими — никто не обратил на них внимания.

«Я здесь совершенно не нужна», — решила Женя. Она настояла на том, чтобы её отправили в город вместе с Ниной.

Закат был мрачный, лилово-красный. Под окном говорили о дожде.

— Может, стороной пройдёт.

— Дай-то бог!

— А подготовиться всё одно нужно.

До ближайшего железнодорожного разъезда университетских ребят, возвращающихся в город, довезла полуторатонка. Женю поместили в кабине. В сумерках трудно было разглядеть тех, кто ехал в кузове. Слышался смех Нины, писк Майи, неторопливый и негромкий голос Бориса Ивнева и ещё чей-то — резкий, мальчишеский. Кажется, Галич.

Небо на востоке, уже тёмное и мрачное, как ночью, изредка разрезали раскалённо-белые зигзаги молнии. Пахло свежим сеном. Машина мягко шла по пушистой просёлочной дороге. Пыль оседала на зарослях лакричника.

Женя молча глядела на подпрыгивающий радиатор. Ей было грустно, что всё так неладно получилось. Она испытывала неловкость перед шофёром. Не будь её — ребята дошли бы до разъезда пешком.

Ну вот, приехали. К кабине подбежал Галич.

— Спасибо, Семён, я сама, — сказала Женя, вылезая из машины и отталкивая его руку.

Полуторка медленно развернулась и пропала в темноте. Нина пошла к будочке стрелочника узнать о поезде. Борис медленно побрёл вслед за ней, но остановился, снял пиджак и, швырнув его в траву, присел у железнодорожной насыпи.

— Ветер с востока, — сказал он, разглядывая небо. — Будет колоссальный дождь, чёрт бы его побрал.

Галич прохаживался по шпалам, стараясь ступить через одну.

— Недавно произошёл потрясающий случай, — говорил он, сосредоточенно глядя на песок между рельсами. — Шеф приехал с курорта, а Рима Георгиевна увезла на дачу ключ от лаборатории номер три...

Галич всегда старался смешить. Своими шутками он забивал даже Ивнева. Борис молча разглядывал небо. Майя сидела в сторонке, спрятав лицо в колени. Все устали.

— Риму Георгиевну разыскивали три дня, она вынырнула только на четвёртый, а наш уважаемый шеф...

Голос Галича доносился откуда-то издалека.

— Вот я ездил на уборочную, а у меня диссертация спит мёртвым сном, — переменял тему Галич, пробегая по рельсу с раскинутыми в стороны руками. — Но я молчу. Зимой вы будете с особым аппетитом есть пшеничный хлеб. Земля — это дружба, как сказал один поэт. Нашим выездом, к вашему сведению, мы принесли больше пользы, чем если бы месяц копошились в лаборатории. — Он не удержал равновесия и оступился.

— Держитесь, — сказал Борис насмешливо. — Некоторые люди видят своё призвание в том, чтобы балансировать

Галич обиделся.

— С вами нельзя разговаривать серьёзно. Несуразица. Пифагоровы штаны.

При чём здесь штаны? У Семёна такая поговорка. Женя улыбнулась. Действительно, забавно.

Голос Нины:

— Вы уже ругаетесь? Ругайтесь. Могу сообщить приятную новость. Изменилось расписание, и дачного поезда не будет. Через два часа поезд дальнего следования, но он очень редко останавливается на этом разъезде.

Ивнев встретил это сообщение весело. Майя — бесстрастно. Галич рассердился на Нию:

— Я говорил, нужно ехать утром. Вместе со всеми. А теперь что получается? Поистине: спроси совета у женщины — и сделай наоборот.

— Никто вас не агитировал оставаться, — сказал Борис закуривая. — Вы сами остались. — Он заметно оживился. — Вернёмся и переночуем в колхозе.

— Пифагоровы штаны.

— Не хотите? Пожалуйста. Пойдём пешком до станции.

— Вы не шушукайтесь за моей спиной, — сказала Женя, поглядывая на Нину и Майю. — Я вполне могу идти пешком.

В конце концов, поймали попутную подводку и, кое-как устроившись между пустыми бочками из-под керосина, двинулись на станцию — дожидаться поезда дальнего следования.

Майя сидела на самом краешке телеги, боясь испачкать платье. Галич уверял всех, что обязательно уснёт и скатится на землю. Становилось прохладно. Медленно надвигалась гроза. Разговор постепенно стихал.

— Окончательно засыпаю, — проворчал Галич. — Ужасно неудобно сидеть.

— Нет, мне хорошо, — отозвалась Майя.

Галич заёрзал, стараясь подобрать под себя ноги.

— Мы не попадём на поезд — и придётся ночевать в степи.

— И прекрасно, — ответил Борис. — В степи, так в степи.

Снова замолчали. Молния продолжала блистать. Но теперь после каждой вспышки отдалённо гремел гром. Совсем стемнело. Чёрная степь пахла остро и тревожно. Женя подняла голову. Где ты, звезда Денеб?

Через несколько минут начался дождь. Сначала упали тяжёлые первые капли, потом заморосило. Но внезапно налетел порыв ветра, в небе на секунду замерцали звёзды, а потом весь мир наполнился грохотом, свистом и потоками ледяной воды. Начался ураган с ливнем.

Ивнев стащил с себя пиджак и сунул Жене.

— Натя, укройтесь.

Ну, вот! Её уже считают сахарной. Майя завизжала. Галич дёрнул возницу за рукав:

— Куда же вы? Куда же ехать? Надо остановиться.

Борис шёл рядом с телегой, крепко держась за её край. Ветер валил с ног.

— Как-то там, в колхозе? — перекрывая шум ливня, крикнула Майя. — Вот досада, что мы уехали!

— Не слышу! — закричала Нина.

— Я говорю, нам бы сейчас там быть. Всё-таки лишние руки.

Женя молчала, сжавшись в комочек. Нестерпимо холодные струйки воды текли по спине. Пиджак Ивнева сразу промок.

Нина обняла за шею Майю и, не пряча лица и не стараясь укрыться от ливня, неожиданно запела:

— «Степь да степь кругом...». — Она не столько пела, сколько старалась, чтобы голос её был слышен в свисте бури. Песню подхватила Майя. Потом Борис.

Ударил гром. Первый настоящий удар одновременно с блеском молнии, когда кажется, что вблизи раскололось и рассыпалось многоэтажное здание.

— Осторожнее, товарищи! — закричал Галич.

Нина, Майя и Борис продолжали петь. Возница соскочил с телеги и схватил лошадь под уздцы. В голубоватом свете промелькнуло мокрое лицо Нины с прилипшими ко лбу волосами — они казались чёрными сейчас.

— Держись, Женечка!

Галич надоедливо бубнил:

— Осторожнее, товарищи...

А Борис кричал после каждого нового удара грома:

— А ну, ещё раз! Ещё!

Наконец, молния сверкнула прямо в глаза. Синей лоснящейся полосой блеснул хребет лошади, телега рванулась, с грохотом опрокинулась бочка. Галич соскочил на землю и, шлёпая по воде, побежал куда-то в сторону.

Нина всё ещё пела, дотянувшись до Жени и держа её за локоть. И от этой широкой песни, от восторженных выкриков Бориса, от беспрерывных ослепляющих вспышек молнии, то и дело озаряющих всю, от горизонта до горизонта, туманную в пене ливня степь, — Жене тоже сделалось весело. А Ивнев между тем поднимал упавшую с телеги бочку и командовал Майе:

— Помогите, придержайте лошадь. Вон уже восток светлеет. Поедем дальше.

Галич вернулся к телеге. Во время своего бегства он поскользнулся и упал в грязь, рубаха его почернела.

— А знаете, товарищи, к какому заключению я пришёл? — спросил он повеселевшим голосом. — Я пришёл к заключению, что ливень обошёл наш колхоз стороной. Вот смотрите...

Он обвёл рукой светлеющее небо. Гроза уходила на запад.

— Пожалуй, — согласился Борис, выжимая брюки. — Побегайте, согрейтесь, девушки.

— Очень тёплый дождь, — сказала Майя.

А Женю трясла противная дрожь. Ужасно холодно. Нина торопила возницу:

— Пожалуйста, поскорее. У нас девушка совсем больная.

Галич снова стал многословен.

— Я испытал неприятное ощущение, — признался он, семеня рядом с подводой, вслед за Борисом. — Страх не страх, а скорее инстинкт самосохранения. Я ведь бомбёжки никогда не испытывал, а следовательно, нервы не подготовлены к такому грохоту.

Майя повернулась к нему.

— Знаете, что самое страшное в бомбёжке? Я боялась больше всего за дом, за родных, за соседей, вообще за всё, что может рушиться и гореть. А когда под бомбёжку попала в поле, ничуть не боялась, хотя бомбы рядом падали; немцы что-то напугали, думали — военные склады. Мне казалось: я не могу рушиться и гореть и если меня придавит, то я всё-таки выпрямлюсь — такая лёгкая-лёгкая...

Борис, согревшись, прыгнул в телегу.

— Теперь, если война — дудки, в тылу не останусь, — сказал он серьёзно. — Что ни говорите, как нам ни трудно было на заводе, а на войне трудней.

— С каких это пор ты стал выбирать труднейшее? — спросила Нина.

Борис промолчал, а потом сказал тихо:

— Всегда, Нина. И с тех пор, как я себя помню, мне всегда выпадал самый трудный жребий.

— Я однажды видела, как тренировался один известный тяжелоатлет, — сказала Нина — Он с весёлой улыбкой поднимал огромные гантели, потому что привык выступать на людях и даже в одиночестве чувствовал на себе взгляды публики.

Ивнев ничего не ответил. Подъехали к станции. Семён побежал в буфет, принёс Жене полстакана водки.

— Я не пью, — объяснил он торопливо, — но однажды меня таким способом вылечили от простуды. Пейте поскорее.

— Да что вы, с ума сошли, — замахала руками Женя.

Всё-таки её заставили выпить эту гадость. До поезда оставалось минут двадцать. Майя ушла к кассе и долго изучала там расписание поездов. Галич сначала тарахтел, а потом заснул, запрокинув голову на спинку скамьи. Женю тоже клонило ко сну. Борис и Нина сидели рядом и вполголоса разговаривали.

— Значит, ты считаешь, Боря, что дождь не повредит?

— Безусловно. Во-первых, это не обложной дождь, а кратковременный. Во-вторых, хлеб, в основном, убран. В-третьих, крытые токи. В-четвёртых, дождя ждали и подготовились.

Пауза. Шум поезда. Лёгкое землетрясение. Но никто не спешит на платформу. Это проходящий.

— Всё же я доволен поездкой, — сказал Борис. — Особенно — сегодняшняя ночь. Буря, гром, степь. Я всегда хотел бы так жить, Нина.

— Кто же тебе мешает?

— Меня немного обидело твоё замечание о тяжелоатлете.

— Может быть, — сказала Нина сонным голосом. — Беру свои слова обратно.

— Не в этом дело... Ты всегда считала, что я немного позирую.

— Я всегда считала, что это очень лёгкая роль — высмеивать людей. Тебе под силу иная.

У Нины серьёзный голос, а глаза усталые и неожиданно узкие. Она щурится и натягивает на колени мокрое платье. Платье жёлтенькое, простенькое, но ей к лицу. Нине всё к лицу. Вероятно, потому, что она совсем простая, без всякой выдумки. Жене кажется, что тысячи двойников Нины уже встречались ей в жизни. И всё-таки есть в Нине что-то особенное, своё. Может быть, эта привычка приподымать брови и глядеть на мир так, будто он весь твой, без остатка.

— Ошибаешься, — сказал Борис резко. — Я не артист. Моя единственная роль — человеческое достоинство.

Он беспокойно шевелился на скамье. На полу, у ног — табачная пыль и головки сломанных спичек. Мнёт папиросу, папироса рвётся, спички гремят в коробке.

У Нины приподняты брови:

— Может быть, ошибаюсь. Но я не понимаю. У тебя какие-то вымученные слова и неестественный тон. Я этого не люблю.

— У меня закон, — сказал Борис насмешливо, — не делать и не говорить того, чего ты не любишь.

Нина наклонилась вперёд, разглядывая намокшие туфли.

— Ну вот, ты опять дуришь, — ответила она с еле заметным смешком.

Галич проснулся, вытаращил глаза и сейчас же ясно улыбнулся:

— Ах, да... Поезд ещё не подали?

Не слушая его, Нина сказала Борису:

— Ты изменился, присмирел как-то. Мне кажется, что ты задумал что-то серьёзное.

— Когда-нибудь мы поговорим, — ответил Борис, косясь на Галича.

Женя приподнялась, чтобы оправить платье, и все сразу окружили её. Да, она чувствует себя лучше, ей тепло, она благодарна Семёну за его мерзкое лекарство. Подводя итоги, она должна заверить: ангина скоро пройдёт.

Спустя неделю, Женя навестила Алика и начала подгонять свои занятия в лаборатории.

Монтаж установки приближался к концу. На столе у Жени — набор поблёскивающих медью трубок. Трубки нужны для охлаждения вакуумного колпака.

Два дня не удавалось поймать механика. Это раздражало. Но на то, чтобы попытаться самой изогнуть трубки, уйдёт слишком много времени.

Трубки должны надёжно опутать колпак. По трубкам побежит вода. До сентября можно успеть тщательно переплавить в вакууме те образцы железа, которые послужат исходными материалами для экспериментов.

Затем следует позаботиться об азоте. На сколько времени хватит одного баллона? Во всяком случае, на полгода хватит.

Женя старалась предусмотреть все мелочи, чтобы осенью со спокойной душой приступить к опытам.

Попутно она решила заняться рентгеновской трубкой. Всё равно

ведь придётся делать рентгенограммы. Галич жаловался, что их рентгеновская установка не обеспечивает точной настройки. Жаловаться — легко. Женя не будет жаловаться. Она изучит литературу и посоветуется с Яхонтовым. Может быть, удастся внести кое-какие усовершенствования.

Вернуться в колхоз так и не удалось. Виктор Черкашин отсутствовал, и Женю вызвали в райком по всяким оргделам. Нужно привести в порядок прошлогодние и позапрошлогодние протоколы, сделать описи, подшить, пронумеровать, сдать в архив. На это ушло несколько дней.

Вашакидзе уехал в лагерь. Он обещал навестить Женю в первое же воскресенье, но вместо него явился сержант и вручил коротенькую записку. Много дела, вырваться в ближайшие дни не удастся, пусть Женя обязательно придет, это недалеко, дачным поездом; согласно лагерному распорядку, часы для посетителей такие-то, свежий воздух, сосновый лес, природа. Обязательно. Слово «обязательно» дважды подчеркнуто.

Женя выбрала относительно свободный день и поехала. Она взяла с собой несколько ломтиков хлеба с маслом, два яблока и две пачки папирос, которые любил Вашакидзе. Она захватила с собой книгу по рентгенофизике и свежий номер московского журнала.

В вагоне, набитом дачниками, было душно. Женя вышла на площадку и устроилась на ступеньках, подложив книгу, чтобы не испачкать платье. Она раскрыла журнал. Так и ехала всю дорогу, часто отрываясь от чтения и задумчиво глядя на придорожные кусты, деревья, траву — на зелёную бесконечную полосу, проносящуюся мимо неё. Читать не хотелось. Думать тоже не хотелось. Просто сидеть на самом краешке ступеньки и глядеть не на горизонт, не на поля, а прямо перед собой: у её ног стремительно неслась, шумела, дышала земля. Женя испытывала наслаждение, чувствуя это непрерывное движение.

Мужчина в коверкотовом костюме и соломенной шляпе, стоявший на площадке, сказал из-за её спины:

— Девушка, вы сорвётесь.

Обидно, что её до сих пор называют девушкой. Рима была бы в восторге от этого. А Женя хочет серьёзности. Неприятно это ухаживанье незнакомых людей. Потому-то так хорошо в компании университетских ребят: у них всё безыскусственно и человечно.

Женя обернулась и равнодушно поглядела на мужчину. Гришин тон. «Девушка!» Впрочем, ерунда. Может быть, этот человек совсем не похож на Гришу.

— Да, вы правы, — ответила Женя и ушла в вагон.

От станции до лагеря недалеко. Лес, в котором терялась пыльная просёлочная дорога, казался синим от избытка света. Когда Женя подошла ближе, он стал многоцветным: рыжие стволы сосен, белые с чёрными пятнами берёзы, голубовато-зелёная хвоя, пятнистые от теней листья, яркооранжевые пластинки лишайников на коре осин, тощие, по цвету напоминающие болотную тину, ёлочки хвоща.

Лагерь раскинулся в лесу. За проволочной оградой мелькали серебристые дорожки, жёлтые домики, белые паруса палаток, деревянные столы, вкопанные в песок, и чёрные классные доски, прибитые к соснам. Шумел ветер, и падали шишки.

У ворот, у машины, стоял дежурный в пилотке, сдвинутой набекрень, и в гимнастёрке, так старательно стянутой ремнём, что она топорщилась, как накрахмаленная.

— Мне нужно видеть одного вашего капитана, — сказала Женя, стараясь придать голосу как можно больше деловитости.

— Ещё рано, гражданка, — сказал дежурный. — С одиннадцати часов.

— Хорошо. Я пойду вон туда, на лужайку. Если выйдет капитан Вашакидзе...

Дежурный одёрнул гимнастёрку и сразу оживился.

— Вы знаете капитана Вашакидзе? — спросила Женя.

— Конечно! Он в другом дивизионе, но его все знают. — Дежурный засуетился. — Где же вам подождать? Я мигом — табуретку вынесу. Младший сержант, к капитану Вашакидзе!

Из проходной будки выскочили ещё двое военных, они тоже засуетились. Женя даже почувствовала неловкость от их готовности услужить ей.

— Да вон капитан! — закричал младший сержант, указывая в глубину лагеря. — Сию минуту вызову.

Женя взгляделась. Действительно, Нико. Юркая фигурка в майке возле турника. Подпрыгнул, ухватился за перекладину, подтянулся. Резкий взмах, мелькание тела, описывающего круг. Раз, два, три, четыре... Довольно же! Что он, с ума сошёл?

Младший сержант бежал по траве. Вот он остановился шагах в трёх от турника. Вытянулся, рука у пилотки. Слов не слышно.

Вашакидзе легко спрыгнул на землю, издали поглядел на Женю, помахал рукой и поспешно натянул гимнастёрку. Дежурный уговаривал Женю присесть, развлекал как мог: погода очень хорошая, урожай предвидится отличный, сегодня утром по радио передавали выступление товарища Громыко...

Придерживая рукой пистолет, Нико бежал к воротам, лёгкий, тонкий, с сияющими глазами.

— Ну, вот... Очень хорошо, честное слово! Очень правильно! Я уже по городу соскучился. Работы сейчас много, ничего не поделаешь.

Он держал Женю за обе руки, потом оглянулся на дежурного, улыбнулся, вздохнул:

— Немножко не везёт. Чутьочку. Сегодня начальство приехало. Я-то свободен, но для ребят это день особенный. — Нико говорил с увлечением и с той энергией, какой раньше Женя в нём не замечала. — В такой день нужно быть с ними. Вы меня простите.

— Нет, пожалуйста. Я погуляю в лесу и поеду.

— Куда поеду? Столько лет не виделась! Я вас сейчас устрою, отдыхайте, читайте, а я каждую свободную минуту прибегать буду.

— Пойдите, Нико. Куда же вы? Вот вам папиросы.

— Спасибо, Женя. Нам доставляют папиросы, но этих вот — нет. — Он серьёзно поглядел ей в глаза. — И когда вы успели заметить, что это мои любимые?

Чудак, он поднял на ноги весь полк! Притащили гамак, рассказали длинную историю об этом гамаке, потом — бутылки с нарзаном, стакан, салфетка... Нет, Женя никогда больше не приедет, если это доставляет столько хлопот. Для чего гамак? Есть трава. Есть колодец — пей сколько хочешь.

Нико сам выбрал место — между трёх сосен. Его любимое место. Ну вот, отдыхайте. Короткий взгляд. Как это прекрасно, Женя, заботиться о ком-то. По-особому заботиться. Угадывая каждое желание. Учитывая всякую мелочь.

И Женя открыто ответила на этот взгляд. Да, прекрасно, когда о тебе заботятся. По-особому. Угадывая каждое желание. Учитывая всякую мелочь.

Этот немой разговор длился всего секунду. А потом Женя решила отказаться от гамака. Но подумала: Вашакидзе будет обидно. Хоть ей было и неудобно, она села в гамак.

Все ушли. Даже ветер стих. Тишина. Только издалека доносились обрывки марша. Где-то в чаще репетировал музвзвод. Попрежнему неподвижным кольцом стояли сосны вокруг лагеря. На белом песке виднелись следы тяжёлых солдатских сапог. И ещё тонкие извилистые линии — следы птиц, гусениц, насекомых.

Дивизионы ушли на завтрак. Лагерные дорожки пустовали. Длинные тени сосен лежали вдоль плаца. Из санчасти вышел какой-то лейтенант, на ходу закуривая. Дым папиросы смешивался с утренним туманом. Солнце на минуту исчезало, тени таяли, а потом снова плавила и добела раскалялась хвоя, и где-то в чаще леса жёлто-зелёным светом вспыхивали лужайки.

Опять появился дежурный, принёс пробочник. Он поразил Женю тем, что уже успел узнать её имя и отчество.

— У капитана спросил. Раз вы капитана гостя, значит и наша гостя. Наш капитан... — Женя улыбнулась, а дежурный поправился: — Товарищ капитан — известный человек. В большой дружбе живём.

— Он, наверное, сильно на устав нажимает, требует, да?

— Все требуют, не он один. На то и служба.

— Строгий?

— Строгий? — переспросил дежурный. — Вот как я скажу, Евгения Васильевна. Я сверхсрочник. На войне капитана не встречал, не пришлось, не знаю. — Он сосредоточенно сдвинул брови. — У него в орденской книжке шесть наград, это только ордена. А носит только орден Ленина, ещё в первые дни войны получил Так вот я о строгости. — Он улыбнулся. — Не замечаем. Вот поймите — не замечаем. Пусть он скажет: «Возьмите эту сосну, срубайте, и до станции — на плече». Понесём и не заметим тяжести.

Женя глядела на дежурного строго и сосредоточенно. А он не уходил.

— Возьмите, допустим, сержанта. Сержант — опора командира, известно. А для этого что нужно? Многое нужно, но главное — авторитет. Капитан Вашакидзе солдату, если сержант рядом, в жизни приказа не даст. Никогда. У него сержант хозяином себя чувствует. Извините, Евгения Васильевна, что вас разговорами задерживаю, но мы столько много хорошего меж собой про него говорим, что свежему человеку рассказать охота.

Он помолчал, вытер лоб.

— И главное: все офицеры у нас как на подбор. Самый цвет. А капитан... — Дежурный развёл ладони с растопыренными пальцами. — Капитан самый такой... широкий. Ещё и за это его любят. Всё из опыта берёт. У него всегда, как правило: «Делай, как я». Всё сам показывает, всё сам умеет.

Наконец, дежурный ушёл. Женя раскрыла журнал. И снова, как в поезде, задумалась. Ей было радостно слышать хорошее о Нико. Но и немножко завидно, что она совсем не знает капитана в его обычной и привычной обстановке. Ей хотелось бы, чтобы он был рядом с ней в лаборатории, в университете. Чтобы каждый день видеть его таким,

как сегодня: лёгким, чуть-чуть возбуждённым, энергичным, сосредоточенным — таким, как его описал дежурный.

Вашакидзе прибежал на несколько минут.

— Ну как, не скучаете? После обеда, во время мёртвого часа я буду свободен. Могу ещё книг принести. Стихами не интересуетесь?

— Тут дежурный пел вам такие дифирамбы, — сказала Женя, сладко потягиваясь.

Нико нахмурился.

— Вот не люблю Я ему всыплю. — Он закурил и швырнул спичку в зелёную мякоть мха — Раньше говорили, солдат — грубый человек. Солдат — самый нежный человек. И никто так нежности не чувствует, как солдат. — Он сдвинул брови под козырьком фуражки. — Иногда даже слишком чувствительные, честное слово.

— А вы не любите чувствительности? У нас Ивнев тоже такой. суровый мужчина.

— Цельный человек, — сказал Нико категорически.

— Немножко наигрывает.

— Никак нет. Он — цельный, — повторил капитан упрямо.

Он снова ушёл; позже Женя видела его несколько раз на дорожках лагеря. Всякий раз он казался ей совершенно новым. Как будто первое знакомство. Светлая выгоревшая гимнастёрка, туго обтянутая, ловко сидящая. Мягкий, почти женский профиль. Но если взглянуть прямо в лицо — ни следа женственности. Резкий рот и властные глаза. Скупой жест.

Женя уже давно не теряется в присутствии Вашакидзе. Вероятно, с их первого настоящего разговора в парке Трудно даётся только первое слово при встрече и, пожалуй, последнее. «Здравствуйте» и «до свиданья». А вообще... Немножко страшно: что же будет дальше? Нет, не страшно, а тревожно. Вот он уедет, и всё кончится. Странно и тревожно...

Когда Нико пришёл и они, оставив у гамака книгу, журнал, бутылки нарзана, побрели на опушку леса, Женя сказала:

— Такой весёлый день! Да, я отдохнула. Только вот что...

Он шёл рядом, делая длинные, будто отсчитывающие расстояние шаги, опустив голову и следя, как стелются под ногами жёлтые лютики и причудливые голубые цветы лугового шалфея.

— Мне кажется, что мы всё же делаем плохо, — сказала Женя.

— Плохо? — спросил он, не поднимая головы.

— Да, делаем плохо, встречаясь друг с другом. Может быть, этого не нужно.

— Хорошее не может быть плохим. — Он произнёс эти слова твёрдо и перевёл взгляд на степь.

— Это звучит несколько метафизически

— Никак нет, Женя. — Он улыбнулся. — Как же вам объяснить с точки зрения диалектики? Не знаю, честное слово.

Они выбрались на тропинку, заросшую высокими колосками подорожника с длинными, прячущимися в траве листьями. Душно запахла полынь. Далёкий гудок паровоза, серые вспыхивающие и тающие клубы дыма над холмами — и вдруг в ложбине, среди кудрявых кустов орешника, телеграфных столбов и проводов — длинное, изгибающееся тело поезда.

— Вот вы уедете, — сказала Женя.

— Так точно. Я уеду. Я уеду потому, что хочу учиться. Но почему вы об этом?

— Не нужно, — Женя вздохнула.

— Знаете, какое у меня настроение? — Он ещё ту же обтянул гимнастёрку и, зажмурившись, глотнул воздух: — «О весна, без конца и без краю — без конца и без краю мечта! Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!»

Женя перебила:

— А ведь верно: узнаю тебя, жизнь.

— Вот видите. Я сейчас отчётливо вижу всё — будущее, прошлое.

— И прошлое тоже?

— История нас учит жить. — Он тревожно поглядел на Женю, помолчал, а потом прибавил совсем другим тоном, самым обыденным: — Я всегда увлекался историей.

— А мне с ней не везло. Больше тройки не вытягивала.

Вашакидзе засмеялся.

— Никогда не поверю, честное слово. По моему представлению, вы — это пятёрки. Такие круглые-круглые. А уж если не пятёрка, так только двойка, честное слово...

Тропинка была узкая. Нико пришлось идти сбоку, в сплошных зарослях сорняка. Жёлтым цвела гусиная лапка, раскидывая ползучие перистые листья.

— Двоек не было, — сказала Женя задумчиво. — А тройки были, именно по истории. Даты, имена, события — зубрёжка.

— Зачем зубрёжка? — возмутился Вашакидзе. — Человек. История человека. История идей. Борьба идей. Торжество правды. Вот самое увлекательное в истории. Вы представляете себе, Женя, человека, который жил многие тысячи лет назад?

Теперь засмеялась Женя.

— Звериные шкуры, пещеры, каменный век.

— Жили. Дрались. Не хотели умирать. И вдруг пришёл какой-то умник и сказал: ничего, терпите, самая роскошная часть жизни — там, за гробом.

Женя смотрела на зелёные холмы, на степь, уходящую серебряными волнами к горизонту, на далёкий дымок паровоза, на красную точку светофора.

— Это самое большое предательство, какое было когда-нибудь на земле, — проговорил Нико резко.

— Предательство?

— Так точно. Надо любить жизнь. Всё настоящее, гениальное — от любви, от этой земли. — Нико ударил запыхавшимся носком сапога в сухую потрескавшуюся корочку земли. — Не появилась мысль о райских садах — человечество шагало бы порасторопней. Ничего не будет за гробом. Смерть — это ничто. Значит, надо влюбиться в существующую жизнь. А влюбиться в жизнь — это значит украшать её.

— Гении не верили ни в ад, ни в рай, — сказала Женя, снимая туфли. Ей захотелось пройтись босой по траве.

— А кто их знает! — Вашакидзе резко махнул рукой. — Вот мы, свободные от всяких иллюзий, мы в тысячу раз крепче, чем бывшие люди, любим жизнь. И в тысячу раз сильнее презираем смерть.

— Я никогда о ней не думала. — Женя, держа в руках туфли, осторожно ступала босыми ногами, чтобы не уколотся. — Не представляю себе. А вот война... Мне кажется, на войне тоже о ней мало думали.

— Сколько людей, столько умов, — ответил Вашакидзе. — Я, например, думал, Женя. И думал так: будь проклят тот, кто прячется за чужие спины! На войне, Женя, смерть в порядке вещей. Не особенно умирать хочется, но там главное — ненависть, любовь и честь. В этом жизнь, Женя.

— Честь всегда, и на войне, и в мирной жизни.

— Вот почему я сказал, что хорошее не может быть плохим.

Они улыбнулись друг другу и, словно по молчаливому уговору, больше не возвращались к этой теме. Женя рассказывала об университете, о Яхонтове, о своей работе. Но у неё было слишком мало времени. Ва-шакидзе нужно возвращаться в лагерь. Он очень просил извинить его, что не может проводить Женю до станции. Зато он «отхлопотал» машину, ту, что с утра стояла у проходной будки. Женя сделала короткий, но решительный жест рукой:

— Ни за что. Десять минут ходьбы.

— Но ведь уже скоро ночь. Тогда я пойду с вами.

Прибежал солдат:

— Товарищ капитан! Построение.

Было прохладно и темно. Лес. На дороге светлей.

— Что же вы думаете, Нико, я боюсь? — усмехнувшись спросила Женя.

Она заупрямилась: пойдёт только пешком. Попросту ей хочется пройтись. У Нико не оставалось ни минутки для спора. Снова, как утром, он пожал ей обе руки.

— Ну, вот. Спасибо, что приехали, честное слово. Праздник, честное слово.

Он говорил взволнованно и всё ещё держал Женю за руки.

— Это правда, — сказала она усмехаясь. — Хорошее не может быть плохим. — Усмешка была скрытая и счастливая.

Когда Женя вышла на дорогу, над лагерем одна за другой взвились три сигнальные ракеты. Она медленно следила за тем, как рассыпаются в чёрном небе зелёные искры. Потом прогрсхотал артиллерийский залп.

Нико предупредил её об этом. Это называется торжественной зорей.

Отшумело эхо, и Женя услышала треск автомашины. Она оглянулась. Машина медленно, без света, катилась в нескольких десятках шагов позади неё. Женя не столько узнала лагерную машину, сколько догадалась, что это именно она.

К удивлению своему она не рассердилась. Только невольно ускорила шаги. А её догоняло приглушённое жужжание мотора, звуки оркестра, а потом — пение, Гимн Советского Союза.

Ва-шакидзе не появлялся в городе до конца августа. Он снова прислал сержанта с запиской. Опять приглашение в лагерь и сотня обеснований своей занятости. Горячее зремя, инспекторские смотры, подготовка к учебным стрельбам.

— Передайте на словах, — сказала Женя сухо. — Я тоже очень занята. — Она подчеркнула слово «тоже».

Когда сержант ушёл, взяла досада. Совсем лишнее посвящать в личные дела сержанта. Надо было написать хоть несколько строк. К тому же, Нико пишет правду.

Правду, правду... А дни идут. Вечерами в городском саду назойливо играет музыка. Толпы народу. Муся увлекается симфоническими концертами. У неё с мужем уговор: один концерт, одно спортивное соревнование. Чемезов просто замучил её своими соревнованиями. При Жене смеётся. Муся ни на шаг его от себя не отпускает. Но это для виду, а на самом деле гордится женой.

С ласковой улыбкой Женя следила за жизнью своих соседей, изредка вздрагивая от неожиданно резкого голоса Чемезова. Соседи частень-

ко ссорились. В такие дни Муся приходила к Жене расстроенная, с обиженно поджатым ртом.

— Да, он острый, — жаловалась она. — Но если хорошо знать, с какого краю подойти...

Искорка в глазах. Ну, вот и прекрасно, Муся! Не ждите, пожалуйста, от меня ни советов, ни сочувствия. Я не могу думать ни о чём, кроме «него».

«Теперь ясно — я влюбилась, — сказала себе Женья. — Окончательно и бесповоротно».

Незаметно она перешла с Мусей на «ты». Им и впоследствии не удалось поговорить о своём, личном. Но было такое чувство: если будет слишком трудно — одна другой обязательно поможет.

Раза два представлялась возможность съездить к Вашакидзе. Но Жене нравилось заставляя себя находить причины, препятствующие поездке. Ревниво, с болезненной радостью следила она за тем, как убывают августовские листочки календаря. Кончается лето. В восемь темнеет. Ещё один день прошёл, а Нико не приехал. Ну и пусть! Пусть сидит там, в своём лесу!

— Я глупею, — шептала Женья, заламывая руки. Но она произносила эти слова, как что-то очень дорогое для неё и бесценное.

А в университете уже начиналась жизнь.

В аудиториях приятно пахло свежей краской и мокрыми, недавно побелёнными стенами. Декан физико-математического факультета Гольдберг трудился над расписанием занятий, стоя коленками на стуле и упираясь локтями в длинный, разлинованный тушью лист ватмана. Внизу, на первом этаже, работала приёмная комиссия. В коридорах толпились незнакомые девушки с портфелями и книжками.

— Ну да, ему хорошо, он круглый отличник, а тут такие задачки по тригонометрии...

— Как физика? Трудно принимают?

— Девочки, не ходите к лысому, он спрашивает не по программе, а на сообразительность...

Борис Ивнев придумал новинку: выпустить стенгазету к первому сентября. В небрежно накинутом на плечи выгоревшем за лето пиджаке он бродил по университету, ища, к чему бы придраться. Трогал пальцем влажную штукатурку стен, заглядывал в лаборатории, спускался вниз, в котельную. Он дружески здоровался и переговаривался со швейцаром, с уборщицами, с лаборантами, с рабочими, начавшими ремонт ещё весной. У него был невозмутимый вид хозяина, которому не всё нравится, но который пока предпочитает молчать. Мимо девушек, ожидающих очереди к экзаминатору, он проходил с независимым видом. Издалека завидя его, они прекращали своё тревожное щебетанье и поспешно прятали в портфели какие-то бумажки, сложенные в виде колоды игральных карт. Вероятно, Ивнева принимали за большое начальство. В руках он держал блокнот, в который по временам что-то записывал. Один раз, не удержавшись, Борис остановился возле девушек.

— Ну, как? Сдаём? Готовим шпаргалки? Имейте в виду...

Он ничего больше не сказал, но паника была основательная.

Женья не встречала его со времени своей неудачной поездки в колхоз. Столкнувшись с ней в коридоре, Борис прежде всего осведомился о здоровье. На вопрос, в городе ли Черкашин, ответил неопределённо:

— Да его разве поймаете? Исчез куда-то вместе с женой. Пока никого не видно. Там ваш Галич свирепствует...

Женья зашла к Галичу. Семён сиял. Ему поручили принимать вступительные экзамены по математике. Это были его первые — в новой

роли — экзамены. Несмотря на жару, на нём был тёмный, глухо застёгнутый двубортный пиджак, меж лацканами которого торчал толстый узел галстука. Круглая, с лысинкой, карикатурно большая голова Галича блистала капельками пота. Он старался держаться солидно, но с трудом сдерживал свою природную суетливость. Новенькая автоматическая ручка с золотым пером неожиданно отказала. Галич, недовольно шевеля толстыми губами, вертел её, встряхивал, развинчивал и, прикрыв один глаз, проверял на свет. есть ли чернила. Он делал вид, что его совершенно не интересуют то, о чём ему рассказывает сидящая перед ним раскрасневшаяся девушка. Когда она закончила, Семён отложил в сторону ручку, с удовольствием откинулся на спинку стула и произнёс с вкрадчивой улыбкой:

— Итак, это бред — то, что вы сказали. Будем считать, что ответ не состоялся, и начнём сначала. Пожалуйста к доске. Решим потрясающую задачу. Хорда АВ, которая одновременно является стороной вписанного треугольника, равна двадцати сантиметрам.. Девушка, что вы изобразили?

— Круг.

— Во-первых, круг бывает на ипподроме, а в математике существует окружность, а во-вторых, у вас получился самый настоящий блин. Да ещё комом. — Галич громко рассмеялся.

Он явно подражал Яхонтову.

Женя вздохнула и беспокойно огляделась: как бы помочь ребятам? Но на неё глядели недружелюбно: неизвестно, кто она и зачем здесь появилась.

В перерыве, когда Галич с видом человека, принёсшего себя в жертву во имя дела, вышел в коридор, Женя сказала ему недовольно:

— Пожалуй, круг бывает не только на ипподроме, но и в математике.

Галич махнул рукой.

Женя окончательно рассердилась:

— Ты ведёшь себя возмутительно.

Семён вытер лицо носовым платком, поморщился.

— Возмутительно? М-да...

Потом он поспешно схватил Женю за руку и заговорил тоном провинившегося мальчика:

— Скажи, почему возмутительно? Со стороны ведь видней. Может быть, увлёкся? Знаешь, я в первый раз. Я учту.

Женя смягчилась.

«Хорошо, что умеет сознавать свои ошибки», — подумала она. Семён с сомнением, но он проще Ивнева. Оба любят подсмеиваться над другими. У Галича, вероятно, это наносное, а у Бориса в характере. Рима терпеть не может Ивнева, а к Семёну относится довольно мягко.

— Он жизненный парень, — говорила она, рассеянно разглядывая свои ногти — Такой никогда не разочаруется, потому что слишком подвижен. Мы быстро привыкаем к одному месту, к одной и той же книге, к определённым формам занятий, а ему до всего дело, он ищет новизны.

О Борисе она отзывалась коротко:

— Болтун.

Ивнев отвечал ей вежливыми, но недобрыми шуточками, в упор Намякая на её любовь к мужскому вниманию, он как-то заметил:

— Все дороги ведут к Риму.

— Ведите себя прилично, — ответила Рима. — Ваше остроумие обгоняет ваш общественный вес.

Женя занята другим. Скоро вернётся Алик, нужно готовиться к экзамену по спецкурсу, с первого числа обязательно восстановить нормальный рабочий распорядок в лаборатории, вместе с Ниной немедленно спланировать комсомольскую работу, зайти к Черкашину, повидать Федю Карпенко...

Она начала с последнего. В кабинете у Феди, жмурясь от солнца, сидел Виктор в белых парусиновых брюках и белой рубашке с широко распахнутым воротом, открывающим коричневый треугольник шеи. У стола сгорбился над записной книжкой Борис Ивнев.

Федя вышел из-за стола и сел рядом с Женей.

Заговорили о делах. Черкашин вытащил блокнот и принялся подстригать карандаш перочинным ножом.

— Я думаю, начнём с первокурсников, — сказал Федя, внимательно следя за движениями Виктора. — Первейшее дело — как их принять.

— Да уж приняли, — вмешался Борис. — Приняли не ахти как. Что ж, пускай привыкают. Не на курорт приехали.

— Ты об общежитии? — поднял голову Виктор.

— С общежитием уладится, — сказал Карпенко нетерпеливо. — Да, так насчёт первокурсников. Говоришь, приняли? А я говорю, что нам в течение всего квартала принимать их придётся. Знаем, опыт есть.

— В номере газеты, который выйдет к первому, об этом будет, — вставил Борис.

Жене показалось, что Ивнев выскакивает ради неё. Он человек чуткий и чувствует с её стороны недоброжелательство.

— Вы погодите, Ивнев, — сказала она, стараясь придать своему тону побольше деловитости. — Меня первокурсники тоже интересуют: они в большинстве комсомольцы. Давайте конкретнее.

— Давайте, — согласился Федя. — Сперва надо помочь им правильно спланировать рабочий день. Что для этого надо? Открытое комсомольское собрание с соответствующей повесткой или просто встреча с профессорами, с дипломниками...

— Лучше встреча, — сказал Виктор, откладывая перочинный нож в сторону. — Встреча со старшими курсами.

Федя перегнулся через стол, бережно взял нож и, повертев его в руках, предложил:

— Давай меняться, а? У меня вот такая штука есть. — Он порылся в кармане. — С этим тесаком я немало летом побродил.

Виктор склонил голову набок.

— Да возьми, если нравится!

— Нет, нет, меняться!

Неожиданно они уклонились от темы.

— Понимаете, товарищи, — говорил Федя с увлечением, вкусно поджимая нижнюю губу, — я удивительное место для рыбалки нашёл. Берега крутые, кругом лес, и сомят множество.

Ивнев охотно поддержал разговор.

— Слышал я, сомы в нашем районе перевелись. Много их взрывчаткой глушили. А теперь раки добивают.

— А мы знаем средство против раков, — сказал Федя таинственно. — Песочком норы присыпать. Таких сомов в этом году видел, что не поверите.

— Охотники и рыболовы — самые правдивые люди, — пошутила Женя.

— Смейтесь, смейтесь, Евгения Васильевна, — добродушно отозвался Карпенко. Он называл Женю по-разному: то по имени, то по имени и отчеству, то на «вы», то на «ты». — Не меньше сорока килограммов один попался. Огромный такой, тиной оброс, как чудовище. Ему телёнка утащить — раз плюнуть.

Борис вытащил тощую пачечку папирос.

— Кури «Казбек», — предложил Федя. — Ты, вижу, перешёл на самый мелкий калибр.

— Издержался, — ответил Ивнев с достоинством, но «Казбек» взял. — А что касается сома, ты перехлестнул. Насколько мне известно, каспийский лосось, и тот до тридцати пяти килограммов тянет, не больше, а сибирский таймень и того меньше. Я вот пескарей в нашем доме отдыха уйму переловил.

— А что пескарё! — Федя презрительно махнул загорелой рукой. — Такого добра везде хватает. — Он строго поглядел на Женю и закончил тоном, каким официально разговаривал с провинившимися студентами: — Для рыбалки надо место знать, товарищи. А если так, без выбора, то и будешь сидеть без толку, кунячь..

Встречу с первокурсниками решили провести в первых числах сентября.

— Планы будем утверждать после десятого, — сказал Федя Виктору. — А пока, для руководства, кое-что запишем.

Черкашин предложил устроить несколько лекций. Ориентировочные темы: «Как работать над книгой», «Что нужно знать об университетских лабораториях».

Прощаясь, Карпенко напомнил всем троим:

— И не забывайте хозяйство. Деканат деканатом, а чтобы всё было готово и блестело, как зеркало. — Он помолчал с минуту, что-то вспоминая. — Да, выкристаллизовался у меня один план. Так сказать, в общегородском масштабе.

Он взглянул на Женю.

— Надо бы университет сделать подлинной студенческой столицей. Центр — вот как я понимаю. Чтобы к нам изо всех вузов народ шёл — и за советом, и за помощью, и на праздник.

— Это можно, — сказал Ивнев небрежно.

Виктор покосился на него, опёрся о косяк двери и заметил раздумчиво:

— Задача нелёгкая. Сумей-ка привлечь! Не на танцульки же ориентироваться.

— Можно и на танцульки для начала, — вставил Федя.

— А я думаю, не с этого начинать, — возразила Женя. — Конечно, надо прежде всего заинтересовать. А чем мы сильны?

— Напором, — улыбнулся Федя.

— Мы сильны наукой. Вот давайте и начнём с науки. Пусть, на первых порах, в общедоступной форме. Например..

Виктор перебил:

— По нашему факультету вот что можно сделать. Организуем астрономическое наблюдение. Как вы смотрите?

— Лекцию по телевидению, — добавил Борис. — С демонстрацией.

— Радиолокация, — подсказал Федя.

Пришли к заключению, что с этого и можно начать. Карпенко заверил, что и другие факультеты тоже включатся.

На другой день Женя повидалась с Ниной. Деловой разговор не клеился. Нина во всём соглашалась с Женей. Положив локти на подоконник, она мечтательно глядела через окно вниз, где у подъезда общежития нервно подрагивали глянцевые листья каштанов, освещённых изнутри жёлтым светом фонарей, спрятавшихся в зелени.

Нина возмужала и пополнила. Целыми днями она пропадала на стадионе или на водной станции, иногда тревожилась о Володе, но, кажется, была твёрдо уверена в своём счастье, в своей судьбе и в том, что ей предназначено испытать всю радость жизни. Присматриваясь к ней, Женя думала: «Да, она счастливая».

Они несколько раз встречались в конце лета, играли в теннис. Нина постепенно заменяла в жизни Жени место Римы. Но даже с Ниной Женя не решалась заговорить о Вашакидзе. Он появился в самом конце августа, когда Алик уже вернулся с дачи.

Был душный вечер. Угрожающе надвинулись тучи.

И опять самые первые слова оказались на редкость неловкими и невыразительными. Конечно же, она ничего не сказала Нико о том, как жадно ждала его. Она снова начала рассказывать о своей будущей диссертации.

Нико слушал внимательно. Может быть, ему неинтересно? Что ж, всё равно она не может не говорить об этом.

— Ну, так вот: я решила изучить узкую область. Я беру железо... Я беру азот...

Женя широко, по-мужски рассекала ладонью воздух.

— Вы берёте жидкое состояние?

— Да, я беру жидкое состояние.

Жене нравилось, что Вашакидзе переспрашивает. Она постарается объяснить попроще, и он поймёт.

— Многие занимались этой проблемой до меня, — говорила она, вспоминая Яхонтова. — Но я хочу добиться предельной чистоты опытов. Вы понимаете, что значит предельная чистота опытов?

— Да, я понимаю, Женя. Вы рассказывайте.

— Я хочу, чтобы мои опыты не были исследованием частных случаев, чтобы не оказались они простым накоплением наблюдений. — Она сердито сжала пальцы. — Я не стремлюсь к тому, чтобы демонстрировать свою эрудицию и технику...

Это прозвучало слишком нескромно. Нико ведь не знает, что она как бы отвечает Яхонтову. Но капитан понял.

— Наблюдения ради наблюдений?.. Не дай бог заниматься только этим, Женя.

— Нет, Нико. Мне хочется распахнуть окна нашей лаборатории. Мне хочется слышать гудки заводов. Мне хочется жить, а не делать вид, что я живу. Смотрите сюда...

Она набросала чертёжик на обложке тетради.

— Вот вакуумный колпак. Внизу резиновые прокладочки. Нет, зачем же, замазывать ничего не нужно. Когда воздух из-под колпака выкачан, атмосферное давление плотно прижимает клапан к резине. Вот здесь, в колпаке — смотровые окошки. Потом нужно просверлить отверстие для трубок, по которым будет подаваться азот. Придётся, конечно, повозиться со всей этой вакуумной техникой.

— Вводы трубок при помощи шлифов? — спросил Нико, наклоняясь над чертежом.

Их головы нечаянно столкнулись.

— Да, вот здесь шлифы, — сказала Женя. — А потом... — Она осторожно отстранилась, откинувшись на спинку стула. — Потом начинается самое интересное. Плавлю металл, выдерживаю при определённой температуре, даю застыть и измеряю, какое количество азота проникло в металл и какие образовались соединения.

— Как измеряете?

— Рентгенограммы. У нас есть специальная рентгеновская установка. А когда все измерения будут закончены, приступаю к обработке материалов. Вот тут-то и риск. Сумею ли я сделать обобщения? Если сумею, тогда в руках у металлургов окажется экспериментально подтверждённая теория взаимодействия азота и металла. А это значит, что люди будут делать именно такой металл, какой им нужен.

Женя положила локти на подоконник и сказала мечтательно:

— Вот мой план.

Они сидели в полутьме у открытого окна. Абажур настольной лампы отбрасывал неширокое круглое пятно света на беспорядочно разложенные книги и тетради. Неподалёку, закинув ручки за голову, спал Алик.

— Какой большой стал, — сказал Вашакидзе. — Настоящий мужчина, ничего не поделаешь.

— Вот он вырастет, — сказала Женя. — Будет такая же ночь, и он вот так же придёт к кому-нибудь. И будет строить свои планы.

— Вы только не отступайте, Женя.

— Почему вы думаете, что я могу отступить?

— Потому что вам будет трудно, Женя.

— Да, трудно.

— Зато ему будет легко.

— Да, им будет легче. Им будет гораздо легче. Ведь правда, Нико? Вашакидзе ответил уверенно:

— Так точно. Потому нам и трудно, что им будет легче. Если сделать так, чтобы нам было легко — им будет трудно, ничего не поделаешь.

Кажется, глаза мокрые. Глупо. Вытереть, вытереть незаметно. Женя резко обернулась и, столкнувшись со взглядом Вашакидзе, спросила вызывающе:

— Почему вы молчите?

Он ответил не сразу:

— Когда нужно слишком много сказать, тогда молчат, Женя.

Они глядели в окно, не говоря ни слова. Потом возник тихий и робкий разговор о прошлом. И опять Женя спросила:

— Какая она, Ната?

— Она такая.. — начал Вашакидзе. — Во-первых, она весёлая, и даже грусть у неё весёлая, и глаза весёлые. Она весёлая потому, что ничего не боится. Ни труда, ни разлуки. Она любит людей и любит жизнь. У неё ловкие руки и острый язык. Она в обиду себя не даст. И всегда ищет. Всю жизнь чего-то ищет. Ей хорошо, а она ищет лучшего. Ей трудно, а она ищет труднее. Скажешь ей, например, — вот дружба. А она не поверит на слово, она сама захочет испытать, что значит дружба. Она всё любит проверять сама и поэтому счастлива Умрёт, а другу не изменит. И сердце у неё большое. Она такая.

— Такую нужно очень любить, — сказала Женя.

— Вот такую я и люблю, — ответил Вашакидзе.

Только на следующее утро, припоминая разговор с капитаном, Женя поняла, что ничего нового они не сказали друг другу. И скажут ли? Они стали ближе, им попрежнему интересно встречаться. У них неисчерпаемые темы для разговора. Но они слишком поздно встретились в жизни. Надо бы раньше.

Логика... Какими отталкивающими бывают иногда логические умозаключения! Холодный ветер разума обрушивается на крошечный, слабенький огонёк, у которого нет ни укрытия, ни защиты. Никаких доводов, кроме единственного: «Я горю. существую». И огонёк горит.

Порою Жене казалось, что она знакома с Нико всю жизнь. Но бывали минуты странной неуверенности в себе, когда она начинала думать, что совсем не знает капитана. Она ревновала Нико к его прошлому, к войне, полковому инженеру — ко всему и ко всем, исключая Нату. Последнее ей трудно было объяснить даже себе самой, да она и не пыталась этого делать. Временами казалось, что Наты вовсе не существует, что это выдумка Нико или ещё что-нибудь, похожее на желание Нико оттолкнуть себя от Жени, даже против собственной воли.

Но огонёк горел. Как хорошо в шесть часов вечера, когда уже пора уходить из лаборатории, растворить окно, дышать глубоко-глубоко и верить в счастливую жизнь. Он скоро вернётся из лагерей. В университетском дворе — липы лимонного цвета и лиловые листья осин. Бледное небо. Вот пролетели журавли. «Унылая пора, очей очарованье...»

По асфальтовой дорожке, мелко размахивая короткими руками, прошёл Галич. Плечи у него поочередно выдвигаются вперёд, в такт шагам: левое—правое, левое—правое.

На ходу он повернул голову в сторону Жени, безмятежно улыбнулся и бросил скороговоркой:

— Пора, пора, рога трубят...

Женя отрицательно покачала головой.

— Монтаж закончила?

— Закончила Начну плавить.

— Народ безмолвствует, — выкрикнул Семён, приближаясь к воротам. — Если надо — оставайся. Желаю!

Он теперь ещё более суетлив, чем раньше. Рассказывал, что наклёвываается квартира из трёх комнат. Надо нажать.

— Я этого не умею, — говорил он жалобно. — Но что поделаешь. Семья.

После лета, не слишком праздного (порядочно всё-таки сделано), чувствовалась утеря привычного равновесия. То вдруг ничего не выходит, не ладится работа установки, опускаются руки, а потом — буквально на следующий день! — ощущение победы: ещё один — два месяца, и можно начинать измерения, обрабатывать их. писать диссертацию, защищать, печатать.

К счастью, Яхонтов умел направить на верную колею.

— А знаете ли вы, Евгения Васильевна, что ваш покорный слуга научился ставить эксперимент без грубых, более или менее, ошибок приблизительно к сорока годам?

Или в другом случае:

— Никогда не спешите с выводами. Мне нужны факты, факты, факты. Монблан фактов А там уже, на вершине, пусть засияет знамя торжества нашей идеи...

Не то чтобы Яхонтов примирился с темой диссертации, а просто делал вид, что у него никогда и не было возражений.

Но как далеко ещё вершина! Знамя даже не развёрнуто, оно ещё в чехле.

К тому же началась полоса неудач.

Вдруг в вакуумный колпак начинает проникать воздух. Значит, где-то в стекле или в местах соединений появились трещины, щели. Приходится прекращать плавку и опять — в который раз! — замазывать места предполагаемой течи, смачивать установку раствором жидкого мыла, искать предательские пузырьки воздуха.

Замажешь, и как будто всё в порядке, а через два-три часа обнаруживается новая течь. Женя до позднего вечера не выходила из лаборатории. Пока она не рассказывала о своих неудачах Яхонтову. Но он однажды застал её за поисками очередной воздушной течи.

— Вот беда, — виновато сказала Женя, вытирая руки о халат. — Нестабильный вакуум. Течёт установка.

Яхонтов оглядел колпак, потом Женин рабочий столик, на котором лежал перочинный нож, выпачканный замазкой.

— Конечно! Занимаетесь крохоборством. Кустарные способы, Евгения Васильевна...

Он подошёл к доске, выбрал мелок покрупней и начал чертить.

Женя, облокотившись о стол, подперев кулаком подбородок, напряжённо следила за мягкой рукой Яхонтова, старательно набрасывающей схему.

Нет, схема не имеет отношения к Жениной работе. Профессор обдумывает что-то своё.

Женя взяла нож и принялась набирать замазку.

Из-за доски выдвинулась грузная фигура Пересады. Он сделал неопределённое движение выбритой лезвием, а теперь смешно щетинящейся головой. Женя не поняла, что он хочет. Тогда Пересада перевёл на дверь свои прищуренные глаза.

Женя пожала плечами.

Яхонтов заметил это.

— Вы меня поняли, Евгения Васильевна?

— Не совсем, Илларион Митрофанович.

— Я говорю, бросьте латать дырки, — сказал он невозмутимо. — Штопка ни к чему не приведёт. Поверьте мне, в таких ситуациях следует действовать решительно и радикально. Переберите установку, переверните на резиновые уплотнения...

Пересада продолжал делать свои знаки. Яхонтов на секунду оторвался от доски и коротко взглянул на Пересаду.

— Что за сигнализация?

— Да вот, за напильником надо сходить. В мастерскую, — проговорил Пересада глухо. — Послушайте насос, а я пойду, — добавил он, обращаясь к Жене и снова прищуривая глаз.

Яхонтов длинно растянул губы, изображая недоумение. При этом у него резко округлились щеки и высоко вверх подскочили брови.

— Кого прикажете слушать Евгении Васильевне? Меня или ваш насос?

Пересада спрятался за доской.

— А кроме всего прочего, — Яхонтов с силой нажал на мел, словно собиравшись проткнуть им доску, — почему вы занимаетесь нововведениями? С каких это пор позволительно бросать установку на произвол судьбы?

Неторопливый голос Пересады:

— Мы всегда так делаем.

Вот уж, действительно, нашёлся!

— Нововведения! Я же говорю: нововведения! — Яхонтов пожал круглыми плечами и развёл руками, взглядом приглашая Женю к себе в союзники. — Не знаю уж, как и чему вас учат...

Скорбный вздох. Ясно. Виноват Степан Тимофеевич. У Яхонтова всегда так получается, что виноват Деревянко.

— Нет, Илларион Митрофанович, я не согласна, — сказала Женя резко... — Я всё-таки попробую найти причину течи и замазать.

Она знала, что с Яхонтовым спорить нельзя. Лучше сначала сделать самой, проверить и показать готовые результаты. Тогда он сразу согласится. Но в эту минуту ей захотелось спорить

— Потеряете в десять раз больше времени, а вакуума не добьётесь, — бросил Илларион Митрофанович сухо.

Он отложил мел, вытер пальцы пёстрым носовым платком и, аккуратно складывая его, собрался продолжать свои поучения. Но тут в лаборатории появился Галич.

Он вошёл с видом изнурённого делами человека, которому, несмотря на сентябрьский ветерок, очень жарко, и всё же он полон жизнерадостности.

— Добрый день, Илларион Митрофанович!

Галич в добротном выходном костюме с жёсткими приподнятыми плечами. Но даже эти плечи не удлинляли его фигуру.

Яхонтов молча, с достоинством ответил на поклон и, не глядя на Галича, заложив руки за спину, тяжело прошёлся по лаборатории.

— Хороший день, — проговорил он, наконец, — прекрасная погода, очень приятно пройтись, погулять, если тем более существует уверенность в том, что работа движется сама собой, диссертация пишется сама собой... — он кашлянул и искоса поглядел в сторону Переседы. — И насосы работают тоже сами по себе.

Не переставая улыбаться, Галич вытянул руки по швам, прижал круглый подбородок к груди и доложил:

— Из жилотдела меня направили к зампредседателя исполкома, от зампредседателя к председателю, от председателя...

— Позвольте, позвольте, — перебил Яхонтов, болезненно сморщившись.

— Квартира, — сказал Семён, разом выбрасывая обе руки вперёд. — Неожиданно вынырнула квартира из трёх комнат...

— Уважаемый Семён Михайлович... — Яхонтов сделал паузу, подчёркивая этим, что ещё не собрался с мыслями, но не желает слушать объяснений. — В нашем узком кругу есть люди, семейное положение которых в десять раз тяжелее вашего. — Он поглядел на Женю. — А научные успехи в десять раз лучше.

Женя сделала удивлённое лицо, но профессор уже отошёл к стене и, как перед зеркалом, застегнул на все пуговицы пиджак и погладил лысину.

Сейчас уйдёт. Но он не ушёл, а приблизился к установке Галича. Семён засуетился, порывлся в своих книгах, потом, вспомнив, что отдал рабочую тетрадь Жене, засеменял к её столику.

— Дай, пожалуйста, поскорее. — Свёртывая тетрадь в трубочку, он добавил, снова улыбаясь и на секунду пригибаясь к уху Жени: — Отелло рассвирепело.

Женя выдвинула ящик стола, порывлась в инструментах, стараясь сосредоточиться. Профессор решил её похвалить! Странно. Впрочем, он хоть с причудами, а справедлив.

Что до вакуума, он тоже, кажется, прав. Раз и навсегда нужно покончить с воздушными течами. Нужно разобрать установку.

Несколько минут раздумья. Яхонтов уже закончил свой разговор с Галичем. Снова подошёл к доске, поглядел на схему и резко обернулся.

— Вы меня, пожалуйста, поставьте в известность, ежели вам потребуется что-нибудь, — сказал он Галичу. — Что-нибудь вроде ходатайства или официальной бумаги от научной части касательно вашей будущей резиденции.

Семён растерялся.

— Спасибо, большое спасибо. — Он недоумённо поглядел на Женю, на молча работающего Пересаду. Вероятно, ему хотелось ещё что-то сказать профессору, но он стеснялся. Повторил ещё раз: — Большое спасибо. — И всё-таки не удержался: — А работу я подгоню, подгоню. Вот разделаюсь с этими житейскими заботами. Приходится нажимать. А я этого не умею. Но что поделаешь — семья. — Растерянность его исчезла, он входил, как выражался Пересада, «в форму». — Наука, разумеется, не считается с бытовыми обстоятельствами, но, Илларион Митрофанович, вы должны согласиться: если нет благоприятного быта, то наука безмолвствует...

Яхонтов равнодушно зевнул, поглядел в окно — подъехала какая-то машина — и со вздохом, который должен был показать, что он против воли продолжает дискуссию, спросил:

— А что такое, по-вашему, учёный?

Никто ему не ответил, и он, видимо, и не рассчитывал на ответ. Он продолжал:

— Учёный — это прежде всего человек. Не возражаю. Но он тем и отличается от остальных смертных, что бессмертен. — Последнее слово Илларион Митрофанович произнёс особенно звучно и даже прикрыл глаза. — Его можно перенести на необитаемый остров, но он и там соорудит себе вакуум и будет работать.

Галич сложил губы трубочкой и понимающе кивнул.

— На необитаемом трудновато, — тихо возразила Женя. — Не для кого работать. Разве что в надежде на появление Пятницы.

— Никакого Пятницы. Работать, чтобы дышать и жить. — Голос Яхонтова подтвердел. — Завтра я могу потопить в море результаты своих исследований, но сегодня я счастлив, да, счастлив.

— Счастье, — заметила Женя, вставая из-за стола. — Оно, вероятно, в том, чтобы сидеть и верить в перспективу всего этого... — она обвела рукой лабораторию. — Но быть счастливым, сознавая бессельность своего труда? Не понимаю.

Яхонтов запустил пальцы в кармашек, нащупывая часы.

— Акт. Акт творчества, — сказал он уже без пафоса. — Сознание мощи и могущества. Ты можешь! Понимаете? Итак, до свиданья. До завтра, — прибавил он, не дожидаясь ответа.

Как только Яхонтов скрылся в коридоре, Галич поспешно сложил тетрадки и, выключая рубильник, заметил недовольно:

— Не надо было тебе его затрагивать. Хорошо ещё, что он спешил, а то бы... пифагоровы штаны получились. — Он рассмеялся. — Мне ведь опять в жилотдел бежать, к четырём.

— А сильно попало, — сказал Пересада нараспев, когда Галич ушёл. Неизвестно, кому он адресовал своё замечание.

— Вы тоже хороши, — ответила Женя небрежно. — Вылезли со своим насосом.

— Да, вылез, — согласился Пересада, нагнув голову и тщательно потирая красную шею. — Ну, ничего, как-нибудь помаленьку...

Он выключил насос и, стуча сапогами, направился к дверям. Женя

вернулась к доске. У неё было тяжело на душе, очень тяжко. Несколько минут она, не отдавая себе отчёта, разглядывала чертёжики, только что набросанные рукой Иллариона Митрофановича. Что же с ней творится? Не то досада, не то обида. Но ведь Яхонтов похвалил. Неужели обида оттого, что он похвалил? Женя резко повернулась на каблуках, подошла к столу, присела. Смутное чувство обиды вдруг исчезло. Будто ясный день заглянул ей в душу. Не нужно скрывать от себя: ей с Яхонтовым не по пути. Сейчас, сегодня вера в него разбилась в черепки. Что случилось? Необитаемый остров, и Яхонтов на нём — в сознании своей «мощи и могущества». Пустяки, полемическое преувеличение? Так ли? Всё ясно. Ясно, почему Илларион Митрофанович протестовал против темы диссертации. Ему безразлично: азот, водород, кислород. Он не ждёт от диссертации непосредственной пользы для дела. Какая ошибка со стороны Жени! Нужно было итти аспиранткой к Деревянко.

Вернулся Пересада. Из кармана галифе торчит напильник. Снова застучал насос.

Женя неподвижно сидела у стола, стараясь не думать о Яхонтове. Нужно взять себя в руки. И начинать разборку установки. Для этого необходимо...

За её спиной саркастический голос Пересады:

— Акт творчества!

Женя обернулась.

— Понравилось?

— Фокусы, — сказал Пересада. — Старческая бравада или... политический маразм.

— Вот и попробуйте сработаться с таким человеком. — Женя сказала это так резко, что Пересада испуганно заморгал. — Вам хорошо, вы у Степана Тимофеевича.

Она встала, с силой отодвинув стул.

Он ушёл в переднюю к тискам. С ним не разговоришься.

А излить душу надо. Хорошо бы пойти к Степану Тимофеевичу. А от Яхонтова нужно потребовать полной ясности. Нужно сказать о его взглядах на кафедре.

Весь день Женя была настроена очень воинственно. Утомлённая бесплодной борьбой с воздушными тёчами, она, не задумываясь, принялась разбирать установку. Только бы без проволочек продолжать измерения! Ведь измерения — это первый этап диссертационной работы. Это уже настоящее дело.

Университетский механик сделал детали точно по чертежам Жени, и она заново смонтировала установку.

Оставалось включить и проверить. Яхонтов поглядел, пощупал сверкающую выпуклость вакуумного колпака и сказал безапелляционно:

— Теперь, пожалуйста: меряйте в своё удовольствие.

Действительно, установка работала нормально. Чувствуя внимательность Яхонтова, вполне бескорыстную, Женя невольно стала оправдывать его в своих глазах: «Он прекрасный экспериментатор. А идеология... Все его теории — просто оригинальничанье. Правильно определил Пересада — фокусы».

Последующие события ещё больше притушили недоверие Жени к профессору.

Эти события вовлекли её в свой круг в один из сереньких осенних дней, когда она по делам бюро зашла в деканат.

На диване, в разных углах его, сидели Гольдберг и Черкашин. По одному тому, что декан покинул своё постоянное место, Женя заключила: беседа необычная. Виктор пристукивал ботинком по паркету и говорил тоном, каким повторяют то, что сказано уже несколько раз:

— Никакого конфликта не было. Я подошёл на перемене и выложил своё мнение. Лично, с глазу на глаз.

— Хорошо, хорошо, он сейчас придёт, и вы объяснитесь. Садитесь, Евгения Васильевна.

— Женя, в понедельник мы проводим встречу с первокурсниками,— сказал Виктор тем же сердитым тоном.

— Да, знаю. Но можно мне не присутствовать?

— Как хочешь. Вести будет Нина.

— Первый учебный месяц, а у меня уже завал,— сказала Женя оправдываясь. — Всё завязалось в один узел.

Гольдберг вежливо улыбнулся.

Кто-то с силой рванул дверь кабинета, и на пороге появился Чемов со своим обычным громовым:

— Разрешите?

— Одну минутку. — Гольдберг встал, одёргивая пиджак. — Мы сейчас немножко заняты. — Он выскользнул в коридор, но тотчас же вернулся, пропуская впереди себя Бакеева. Бакеев был возбуждён. Он даже не поздоровался с Женей.

— Яков Платонович, я вас не понимаю,— проговорил Виктор, вставая и не дожидаясь, пока Бакеев начнёт разговор.

— А я вам объяснил. Что же ещё?

— Но вы поставили в известность деканат, значит — не удовлетворены моими соображениями.

Бакеев промолчал, вытащил из кармана блестящий с монограммой портсигар, щёлкнул замком и легонько подбросил, распахивая крышку. — Как же было дело? — спросил Гольдберг, выждав, когда Бакеев закурит.

— Дело было так. — Яков Платонович присел на краешек стула и сложил руки на коленях. Всем своим видом и папиросой, зажатой в углу бескровных губ, он как бы демонстрировал вернувшуюся к нему выдержку и абсолютную объективность. — Я читал лекцию на четвёртом курсе. Курс теории фазовых превращений. — Тут он вдруг заметил Женю и компенсировал своё невнимание тем, что с последней фразой обратился непосредственно к ней. — Курс, я бы сказал, конструктивный.

— Ну да это не имеет значения,— вставил Гольдберг нетерпеливо. Лицо его выражало крайнее любопытство. Черкашин, напротив, хмурился и рассеянно поглядывал по сторонам.

— И вот... — руки у Бакеева подскочили, как на пружине. Он вытащил изо рта папиросу и одним выдохом выбросил облако дыма. — И вот Черкашин позволил себе без точных аргументировок выпадать против меня. В конце концов, я излагал истину? Истину. — Бакеев попеременно обращался то к Гольдбергу, то к Жене. — Какие обвинения? Тяжёлые обвинения. Я бы сказал — полная дискредитация. Я бы сказал — дискредитация перед всем курсом. — Он с ожесточением посмотрел на кончик папиросы. Папироса докурилась.

— Яков Платонович, я вас не понимаю,— повторил Виктор тем же тоном, что и вначале.

— А суть? Суть? О чём шла речь? — заторопился Гольдберг, морщась и моргая глазами.

— Суть именно в этом,— ответил Бакеев с брезгливым жестом. — Я говорил о фазовых превращениях при закалке стали. Ну, и вот.

Виктор медленно провёл ладонью по валику дивана, разглаживая клеёнку. Рука его соскользнула, и он начал решительно, но спокойно:

— Вы говорите — дискредитация. Но я ведь подошёл во время перемены и говорил с вами с глазу на глаз. Правильно?

— Правильно.

— Я вам сказал, Яков Платонович, что наслышан о новых работах наших учёных по этому вопросу. — Виктор перевёл взгляд на Гольдберга. — То есть по вопросу о фазовых превращениях стали.

— И я вам ответил, — перебил Бакеев горячо, но с достоинством.

— И вы мне ответили, что скажете о них во второй половине лекции. Но вы не сказали. Тогда, думая, что вы — ну, просто по рассеянности — забыли, я задал вам вопрос публично...

— Справедливо, — произнёс Гольдберг с видом беспристрастного судьи. — Справедливо, если вопрос был задан в соответствующей форме.

— При чём здесь форма? — вскочил Бакеев. — Вы же знаете, что Черкашин всегда всё делает в форме, но на этот раз мне важна суть, то есть вопрос сам по себе, вопрос, который был задан с провокационной целью.

Женя старалась вникнуть в существо спора. Сейчас она почувствовала, что симпатии её на стороне Бакеева. Она позволила себе вмешаться:

— Во всяком случае, это было нетактично с твоей стороны, Виктор.

Черкашин пожал плечами.

Бакеев со всё возрастающей энергией доказывал:

— И это ещё не всё. После лекции вы подошли ко мне и начали меня обвинять...

— Постойте, — перебил Гольдберг. — А вопрос? Вы ответили на вопрос?

— Нет, я не ответил на вопрос, — сказал Бакеев преувеличенно громко.

— Почему?

— Ну, господи, неужели вы не понимаете, почему я не ответил на вопрос?!

— Это всё? — спросил Гольдберг деловито.

— Кажется, я уже сказал, что после лекции на меня обрушились обвинения.

— Потому что вы после лекции сказали мне не то, что говорили в перерыве, — заметил Виктор хмуро. Он прошёлся по кабинету и спиной загородил окно. — Сначала вы обещали познакомить нас с новейшими работами в области мартенситных превращений, а в конце заявили, что эти работы не имеют особого значения.

— Как? — взметнулся Бакеев, потрясая своей сухонькой ручкой. — Я же назвал десятки имён!

— И среди них ни одного имени советских учёных.

— Нам всем доставило бы большое удовлетворение почаще упоминать своих соотечественников. — Бакеев попытался улыбнуться. — Но я считаю долгом своим оставаться объективным.

— Вот объективности-то и не было, — ответил Виктор. — Был объективизм. В затронутом вами вопросе с исключительной силой проявили себя наши учёные. Я не читал их работ, поэтому и задал вопрос.

— Я тоже не изучал их работ, — насторожённо сказал Бакеев.

— Ну, что ж, — проговорил Гольдберг тихо. — Вопрос ясен, не правда ли?

Виктор поднялся.

— Я могу идти?

— Извольте. Я ничего не имею...

Женя тоже встала.

— А вас, Яков Платонович, я попрошу остаться.

Виктор, поспыстывая, прошёл вместе с Женей по длинному коридору до самой лестницы. Жене вспомнилась прошлогодняя осень, её отчёт на кафедре, стыд и досада, участливые слова Черкашина. Ей захотелось ответить Виктору тем же. Но она не смогла этого сделать, её удивляла его резкость. Бакеев недостаточно серьёзно подготовился к лекции. Это может случиться со всяким. Зачем же раздувать целое дело?

— Ты расстроился? — спросила она у Виктора. — Брось, уляжется.

Он вскипел:

— Нет, не должно улечься. Глупости ты говоришь... Не ждал от тебя. И уверен, что Степан Тимофеевич...

Женя перебила:

— Вмешивать Деревянко?

— Не вмешивать, а осветить обстоятельства дела. Я ему всё говорю. Есть ли у меня уверенность, что ошибка Бакеева — случайность? Хорошо — о стали я прочёл. А о том, чего не читал, как мне судить? Верить ему на слово?

— Ему можно верить, — сказала Женя мягко.

— Не верю. Теперь не верю.

— Это нетактично.

Виктор задержал шаг.

— Слушай, какой такт ты имеешь в виду? Ты повторяешь это слово второй раз.

— Просто человеческий такт, — ответила Женя неуверенно. — Обычный такт.

— Обывательский, — сказал Виктор. И спросил, заглядывая Жене в глаза: — А как же быть с партийным тактом?

— Я чувствую, что ты просто закусил удила. Понимаешь... — Женя замаялась. — Якова Платоновича нужно беречь. Он опытный лектор.. — Она искала, какими бы достоинствами ещё наделить Бакеева, и вдруг поняла, что больше ничего не может сказать. Слишком поверхностно его знает. Хороший лектор — это всё.

— А ты видела его конспекты? Они пожелтели от давности. Довоенного происхождения. И ни одного вставного листочка!

— О человеке не судят по листочкам, — недовольно сказала Женя.

— Можно и по листочкам. Ничего страшного в этом не вижу. — Виктор протянул руку, прощаясь. — А вот у Гордиевского, у этого сухаря, каким его некоторые считают, целая папка таких листочков. Вставки. Ссылки на новейшие статьи. Новые мысли. Новые методы.

— Вполне естественно. Гордиевскому нужно накапливать опыт. Он много моложе Бакеева.

— Ер-рунда! Один из них топчется на месте, а другой идёт вперёд, — сказал Виктор непримиримо.

Они расстались, так и не убедив друг друга. У Жени осталось ощущение какой-то вины перед Виктором.

«Да, пожалуй, Бакеев неправ, — думала она, одеваясь в гардеробе и стараясь в виде последнего компромисса поставить в центр всей этой истории Бакеева, а не Виктора — Но как бы не наломать дров, нужно помягче».

Как и следовало ожидать, слух о споре Черкашина с Яковом Платоновичем быстро распространился по университету. Галич, не задумываясь, поддержал Виктора:

— Он правильно поступил, молодец, здесь нужна принципиальность. А ты как думаешь? Лектор читает, а народ безмолвствует? Представляю себе, как рассвирепело Отелло! — Он поспешно прибавил: — Только ты Бакееву мои слова не передавай. Он дядя хороший, не стоит портить отношений.

— Вот этого я уж не понимаю! — вскипела Женя.

Поговаривали, что инцидент будет обсуждаться на кафедре. Гордиевский молчал с таинственным видом. Деревянко заболел и не появлялся в университете. Яхонтов же отнёсся к происшедшему с нескрываемым пренебрежением.

— Видите ли, — говорил он в деканате, — опереточный жанр — очень скользкий жанр. Пара целуется, пара ссорится, пара дрыгает ногами, комик цепляется за мебель. Заколдованный круг. — Он потёр свой глянцевого череп. — Вот Яков Платонович и поскользнулся. Мы ему говорили, предупреждали. Но у него же комедийный жанр.

— Дело не в жанре, — осторожно возразил Гольдберг.

— В жанре, дорогой, в жанре. Импровизация, понимаете? Ведь он не следит за новинками. — Яхонтов произнёс эту фразу густо, в нос. — Лекции, лекции и лекции. Но ведь вы согласитесь, что лекции — это не грамзапись, а творчество.

Гольдберг думал о чём-то другом. Складка на его переносипе вытянулась, пересекла широкий лоб.

Яхонтов спросил:

— А как смотрит на всё это Степан Тимофеевич?

— Я говорил с ним по телефону. Он высказался за обсуждение на кафедре. Полезно, не правда ли?

— Нет, — категорически отрезал Яхонтов. — Кафедра — творческая единица, а случай с Яковом Платоновичем — это не проблема, а казус. У вас, в ваших инстанциях, существует такой термин: оргвыводы. Так, кажется? — Илларион Митрофанович повернулся к Жене.

— Так, — ответила она, не отвечая на его улыбку.

— Ну, вот. Это ваша функция, — он поклонился Гольдбергу, — научной части, ректората. А кафедра? Что кафедра! Степан Тимофеевич возьмёт своего коллегу под защиту. Гордиевский поддержит. Ну, а мы, — короткий жест в сторону Жени, — мы с Евгенией Васильевной, как всегда, окажемся козлами отпущения.

В этот день на факультете произошло новое событие, которое отвлекло Женю от мыслей, связанных с Бакеевым. В университете стало известно, что на совещании агитаторов Галич неожиданно выступил с речью, направленной против Гордиевского.

В старых протоколах заседаний кафедры Семён разыскал стенограмму обсуждения его лекций. Основным докладчиком тогда был Яхонтов. Илларион Митрофанович привёл примеры, из которых следовало, что доцент Гордиевский недобросовестно относится к чтению порученного ему курса, обходит важные технические факты и, не успевая уложиться в учебный план, недопустимо снижает требования к студентам. Галич воспользовался примерами Яхонтова для того, чтобы иллюстрировать полное неблагополучие на кафедре физики твёрдого тела.

Обо всём этом Жене рассказала Нина. В перерыве между лекциями, наспех Женя кинулась в лабораторию, надеясь застать там Галича. Но Галича не было.

Пересада, уткнувшись в книгу, сидел у пульта управления. Он делал рентгеновские снимки.

Когда глаза привыкли к полутьме, Женя заметила листок, приколотый к установке Галича. На листке было косо написано красным карандашом:

«Не трогай! Точная наводка».

— Где Семён? — спросила Женя.

Пересада с трудом оторвался от книги.

— А? Что? Галич? Носится где-то.

Женя поинтересовалась, что он слышал о выступлении Семёна на совещании агитаторов.

— Он мне тут битый час рассказывал, — ответил Пересада, пристально вглядываясь в показания приборов на контрольном щите. — Говорит, потрясающе выступил. — Слово «потрясающе» Пересада произнёс нараспев, передразнивая Галича. — Я Гордиевского давно знаю. Что-то на него не похоже...

И в это время вкатился Галич.

— О чём ты говорил вчера на совещании?

— А, уже дошло, — самодовольно сказал Галич. — Я говорил много и о многом. Но подвернулся случай с Петром Филипповичем.

Он никогда и никого не называл по фамилии. Хорошая память позволяла ему знать имена всех более или менее значительных физиков и математиков.

— Такая создалась обстановка. Я решил поднять принципиальный вопрос. — Галич настойчиво искал сочувствия в глазах Жени. — Погорячился, как ты считаешь? Быть может, сначала нужно было прийти к вам в бюро?

— Но ты ведь основательно подготовился? Много цитировал?

— Немножко, — ответил Галич небрежно. — Немножко, да. Но у меня все материалы под рукой, и я охотно...

Он не договорил — вошёл Яхонтов. У него, как на шарнирах, задвигалась голова: налево — взгляд на рабочие столики; направо — взгляд на установки. Налево — чем занимается Женя? Направо — выключены ли рубильники?

На секунду его внимание привлекло объявление Галича.

— «Не трогай!» — прочёл он вслух. — Что за плакат? И почему на «ты»? Нельзя ли повежливее?

— Я сейчас, — пробормотал Галич.

Он перевернул листок бумаги и написал чернилами на обороте:

«Убедительная просьба не трогать установку, чтобы не сбить наводку. С. Г.».

Яхонтов постоял посреди лаборатории, внимательно оглядывая приборы, и вдруг преувеличенно громко и официально обратился к Галичу:

— Милостивый государь!

Семён растерялся.

Профессор неторопливо вытащил из кармана номер университетской многотиражки, тщательно его расправил и протянул Жене. В газете был напечатан отчёт о совещании агитаторов и краткое изложение речи Галича. Жене бросился в глаза абзац:

«Несмотря на сигналы отдельных членов кафедры, как, например, проф. Яхонтова, кафедра в целом до сих пор не удосужилась квалифицировать порочную деятельность т.т. Гордиевского и Бакеева».

Галич искоса взглянул на газету.

— Вы насчёт этого отчёта, Илларион Митрофанович?

— Я насчёт вашего пустого краснобайства. — Яхонтов презрительно

хмыкнул. — Обличайте. Пожалуйста! Жгите глаголом сердца, но не мешивайте в это занятие профессора Яхонтова.

— Да, но вы ведь сами выступали! Я прочёл протоколы...

— Протоколы, протоколы... Даже не желаю дискутировать по этому поводу!

И вдруг совершенно неожиданно на пороге появился Вашакидзе с шинелью, переброшенной через руку: прямо из лагерей.

Женя ползала по полу между установкой и пультом управления, среди газовых шлангов и электрических проводов.

— Ради бога, отойдите подальше! — закричала она капитану. — Напряжение сорок тысяч вольт!

Яхонтов покосился на погоны Вашакидзе.

— Вам кого, молодой человек?

Капитан стоял перед ним вытянувшись, с шинелью в одной руке и с фуражкой — в другой.

— Я зашёл к товарищу.

— Очень хорошо, — язвительно улыбнулся Яхонтов. — Для товарищеских встреч предназначены клубы, кафе и аллеи парка. — Он наступил. — А мы здесь работаем. — Поискал глазами Пересаду. — И не собираемся допускать никаких нововведений.

Профессор решил, что капитан явился к Пересаде.

Вашакидзе надел фуражку, козырнул и, ловко повернувшись, вышел. Яхонтов сейчас же занялся работой Жени.

— Простите, Илларион Митрофанович, я на минутку...

Ей не хотелось, чтобы профессор знал, что Нико — её гость.

— Сейчас мы закончим, — сказал Яхонтов строго. — Я спешу на лекцию.

Он продержал Женю минут двадцать, а когда она вышла, капитана уже не было. Может быть, он в учебном корпусе или на улице, у подъезда? Женя обегала все коридоры, заглянула в вестибюль. Досадно, если Нико ушёл.

Ведь со дня на день ожидается приказ о зачислении его на курсы. Жене трудно себе представить, как она останется без Нико. Привыкли друг к другу. Но...

«Пусть ему будет хорошо, пусть он будет счастлив, а остальное — неважно».

Теперь она думала о нём и Алике с одинаковой материнской нежностью.

Нико исчез. Возвращаться в лабораторию не хотелось.

Едва Женя вошла в учебный корпус, стало ясно, что все уже прочли многотиражку. На факультете — буря споров и рассуждений. Гордиевский с виновато-опечаленным лицом осторожно пробирался через толпу студентов, изредка бросая еле слышное:

— Простите... Простите...

А Бакеев был необычайно шумен, ещё более резок в движениях. В деканате он кричал Гольдбергу:

— Разумеется, я не буду молчать! Есть суд! За клевету судят!

И только Деревянко был внешне бесстрастен. Закинув ногу на ногу, он сидел на диване рядом с Римой и негромко излагал ей свои планы переоборудования большой физической аудитории. Рима записывала.

— подача воды, подача переменного и постоянного тока, — неспеша перечислял Деревянко, заглядывая в блокнот Римы, — оборудование препаровочной, аудиторная доска, механизм затемнения...

Гольдберг, постукивая пресс-папье по столу, внашл Бакееву:

— Вот мы и поглядим друг другу в глаза... Вот мы и выясним наши взгляды, наши ошибки, наши заблуждения...

Бакеев приподнятым тоном поздоровался с Женей.

— Приветствую вас, Евгения Васильевна! Приветствую и благодарю за маленькую поддержку, тогда, помните?

— Тогда я была неправа, — сказала Женя, протягивая руку. — К сожалению, я не сразу разобралась в этом.

Бакеев был настолько тактичен, что не переменял тона.

— Конечно, конечно. Не стану отрицать. И всё-таки...

Деревянко продолжал развивать свои планы переоборудования. Он уже завладел блокнотом Римы.

— Делать, так делать. Независимо от размеров окон. Затемнение должно производиться быстро. Десять секунд максимум. Автоматизируем, конечно.

Он с увлечением рассчитывал:

— Передача от мотора на вал червячная. При высоте рамы в четыре метра и диаметре вала в сорок миллиметров необходимо около тридцати оборотов для намотки шторы. Если электромотор делает две с половиной тысячи оборотов в минуту, отношение скоростей вращения будет равно четырнадцати, то есть при червяке с винтовой нарезкой в одну нитку шестерня должна иметь около пятнадцати зубьев...

На другой день, в ясное и яркое октябрьское утро Женя и Нико встретились в парке. Нико уже получил приказ о зачислении на курсы. О вчерашней резкости Яхонтова он вспомнил добродушно:

— Решительный мужчина. А по существу прав. Я бы тоже так сделал.

Они заговорили о факультетских событиях.

Женя не могла скрыть от Вашакидзе, что в первое время пыталась оправдать Бакеева в своих глазах и в глазах Черкашина.

— Созсем не представляю вас, Женя, такой колеблющейся. Человек нуждается в принципиальности, жалость для него оскорбительна. Не дай бог, чтобы вы меня пожалели когда-нибудь.

Нико невесело посмотрел на Женю. Последнее время он как-то осунулся.

— Помните, как нас второй раз познакомили? — спросила она. — Тогда ещё Майя выскочила со своей приметой.

— Она сказала, что если знакомят дважды, значит навсегда, Женя.

— А вы сказали, что не верите в приметы.

Женя рассмеялась. Нико не поддержал её смеха.

— Почему вы такой грустный?

— Вы же знаете, Женя. Я уезжаю.

Парк насквозь пронизан солнцем. Аллея усыпана мелкими листьями, издали похожими на блестящие новенькие пяточки. А кленовые листья, как звёздочки.

Жарко. Женя расстегнула пальто и сняла шляпу.

— Конечно, нужно, чтобы было грустно, — сказала она, разглядывая на дорожке свою смешную тень с всклокоченными волосами. — Но мне не грустно.

— Что ж, это о чём-то говорит, Женя.

— Ни о чём это не говорит, Нико. Ровно ни о чём. — Женя вздохнула — Просто мне нравится жить.

— А мне тяжело расставаться...

— Тяжело? Почему? Господи, разлука друзей... Будем писать пись-

ма. Вы снова приедете. — Женья заглянула в глаза Нико и прикусила губу — Ну, вот. Ещё немного помолчите — и я тоже начну расклеиваться.

Грусть. Женья и сама не понимала, прячет ли она её или ей действительно радостно жить.

Они молча прошли мимо пустующей танцплощадки и синих молчаливых вагончиков детской железной дороги. Впереди темнели стволы деревьев. Вначале редкие, а дальше — целая стена. Липы уже облетели, а берёзы ещё золотистые. Зелёные поредевшие кусты сирени. Светло-коричневые листья дубов. Каштаны цвета поджаренного хлеба. Даже сосны не такие, как летом. Пожелтела старая хвоя, и нижние ветки как будто опалены огнём.

В парке, видимо, недавно были художники. На траве остался листок бумаги, на котором пробовали краски. Беспорядочные мазки: жёлтое, красное, зелёное, голубое.

Нико поглядел и сказал:

— Вот точное цветковое изображение осени. Вы любите живопись, Женья? Помните: «Золотая осень» Левитана?

Женья иногда чувствовала себя девочкой рядом с Нико. Прекрасная память. Очень живая и острая. Он перечислял любимые полотна: Шишкин, Куинджи, Поленов...

Навстречу из боковой аллейки вышла парочка. Она — в берете, с портфелем. Тоже идут бесцельно, крепко прижавшись друг к другу.

Жене стало смешно.

— И мы так же.

— Неужели? — спросил Нико. — Такой же глупый вид?

Они расхохотались.

— А годы не те, — съязвила Женья.

— Да что годы... «Что полёты времён и желаний — только всплески девических рук...» Это Блок. — Нико усмехнулся. — Есть поэты, с которыми можно всю жизнь итти, Женья. Пушкин, Маяковский... А Блок нужен только в какой-то особенный вечер, «в час назначенный»...

Парк неожиданно обрывался рыжей чертой тропинки, бегущей по краю оврага. За оврагом желтели поля, расплывчатые золотые пятна рощ и картонные домики пригородных совхозов. Самого оврага не видно. С первого взгляда казалось, что весь задний план — тут же, рядом, в двадцати шагах. И только густой, с синеватым отливом воздух за краем обрыва создавал удивительно точное ощущение перспективы.

Молчание. Не то неловкое молчание, которое возникает среди людей, не знающих, о чём говорить, или не решающихся сказать то, что хочется. Молчание людей, понимающих друг друга.

Так думалось Жене. Она шла, чуть-чуть отвернувшись от Вашикидзе, и эта её непринуждённость едва ли была нарочитой, потому что она с радостью чувствовала близость Нико: можно в любую минуту повернуться, поглядеть ему прямо в глаза, сказать всё, абсолютно всё, что думаешь.

Молчание. Шелест ветра. Одни — на весь парк, на весь мир.

Они вышли на опушку, обходя вырытые в сорок первом году узкие траншеи, наполовину засыпанные теперь сухими листьями. В овраге бушуют красно-бурые заросли бурьяна.

Женья поймала косо летящий кленовый лист.

— Вот видите, какая я ловкая!

Вдруг она спросила тревожно:

— А ведь то, что вы сказали о поэтах, применимо и к людям?

— Так точно, Женья.

— Это ужасно — быть Блоком. Ужасно быть нужной только «в час назначенный».

Он сжал её пальцы.

— Вы для меня Пушкин. Честное слово.

Она улыбнулась.

— Пушкин. А я не знаю, как мне теперь жить.

— Нужно правильно жить, Женя.

— Правильно? А как же иначе. Я родилась при советской власти, я воспитывалась в советской школе, я возмужала в советском вузе. Как же иначе? Правильно жить — это вообще жить. А другой жизни я себе не представляю.

— Наверное, вы не знаете, что такое — правильно жить, Женя.

Она обиделась. Разорвала кленовый лист по жилкам. В руке остался только жёлтый стебелёк.

— Удовлетворение жизнью... Достижимо ли оно? Вы часто бываете довольны собой? Скажите, Женя.

Она покрутила стебелёк в пальцах, понюхала и, сложив вчетверо, швырнула в сухую листву.

— Нет, не часто.

— Это потому, что мы живём в такие дни, Женя... когда нельзя только вообще жить, как вы говорите... Основная линия, самая важная, вот как на тактических картах изображается жирной стрелкой, которая устремлена вперёд... Основная линия жизни. Всё для неё, все оперативные ресурсы.

— Я тоже так думаю. Я тоже представляю себе такую стрелку.

Они медленно возвращались к главной аллее. Попрежнему падали листья. Этот косой дождь не прекращался ни на минуту. Всё было засыпано листьями И только полянки зеленели по-летнему.

Вот теперь и Жене немножко грустно. Но грусть её легка: она напоминает этот пронизанный светом, шелестящий парк. Парк, который снова будет зелёным.

— Мы будем жить, — сказала Женя, вдыхая острый запах осени.

— И мы всегда будем отчитываться друг перед другом. Хорошо, Женя?

Она улыбнулась. Отчитываться — смешное слово! Они чувствовали себя так, будто только что окончили университет, и обоим предстоит что-то большое, увлекательное, ещё не известное... Будто жизнь только начинается.

Нико обещал забежать к Жене утром, до того, как она уйдёт в университет.

Женя ждала до половины десятого. Капитан не пришёл. «Вероятно, отъезд откладывается», — подумала она с облегчением.

Засидевшись в лаборатории, она едва не опоздала на обед. Университетская столовая уже опустела. Только за крайним столиком, у окна, сидел Бакеев и, сгорбившись, доедал жаркое. В одной руке он, изящно оттопырив мизинец, держал вилку, а другой перелистывал тетрадку. Пожелтевшие страницы. Жене вспомнились слова Виктора. Конспекты. Просматривает перед лекцией.

Заметив Женю, Бакеев прижал тетрадку локтем и приветственно помахал вилкой:

— Сюда, сюда! Опаздываете, Евгения Васильевна. Заработались?

— Да, заработалась, — ответила Женя и села рядом с ним.

Бакеев проявил интерес к её диссертации Потом похвалил обед. По-

том заговорил о ясных октябрьских днях. Беседа не клеилась. Женя думала о Нико.

— На днях у нас состоится кровопролитное заседание кафедры.

— Да, вероятно.

На днях. Нико на днях уже не будет в городе.

— А вы действительно изменили ко мне отношение? — неожиданно спросил Бакеев. Сухие пальцы ловко разминают папиросу. Спичку он зажигает одной рукой, прижав коробок к столу.

К чему этот разговор?

— Да,— сказала Женя. — Мне горько за вас, за вашу ошибку.

— Сейчас считается общественной модой изыскивать ошибки у тех, кто работает,— ответил Бакеев равнодушно. — Довольно часто эти ошибки не стоят выеденного яйца.

Жене подали обед. Суп дымился. Щурясь, Женя дула в тарелку. Что ещё скажет Яков Платонович? Такой ли он, каким кажется или хочет казаться? Искренний или лживый? Открытый или себе на уме? Бакеев молчал.

Женя сказала:

— Вы, Яков Платонович, старше меня почти на два десятилетия. Вы — учёный. Неужели вы не согласны с тем, что и в науке, и в общественной жизни мы обязаны биться за честность и чистоту каждого нашего слова и каждого поступка?

Бакеев слушал удивлённо. Нет, это не девочка, которая смущается, выступая на кафедре, не девочка, которой нужно легонько пожать руку, шепнуть слово ободрения, чтобы успокоить.

— Хорошо, — сказал он, барабанив пальцами по портсигару. — Я отвечаю. Если вы говорите серьёзно, Евгения Васильевна...

— Совершенно серьёзно...

— Да, я не сержусь на Черкашина и ни на кого не сержусь. Несколько дней очень сердился, а сейчас не сержусь. Они поступают так, как им предписывает партийная совесть.

— Ну, вот и хорошо. Об этом я и хотела спросить.

За тонкой фанерной стенкой стучали счёты, звенела посуда. Стёкла окон постепенно мутнели: шёл дождь.

— Мне, Евгения Васильевна, конечно, очень неприятно... Может быть, я чертовски самолюбив, не знаю. А может быть, просто привык к уверенному и спокойному положению в университете, к прочному статус-кво... И хочется быть сильным, невероятно сильным. Умным, блистательным, легко сметающим врагов своих...

Обаятельная улыбка.

— Да и врагов-то нет, одни друзья.

Он обвёл рукой столовую.

— Я искренно желаю вам самого большого успеха, Яков Платонович, — сказала Женя. — Желая, чтобы вы сделали что-нибудь очень значительное, открытие в науке...

Бакеев махнул рукой. Не то — жест досады, не то — сбросил пепел с папиросы.

— Открытие! Когда-то об этом жадно мечталось. А жизнь диктует: занимайся тем, на что способен. Мы люди маленькие, Евгения Васильевна.

— Почему же маленькие?

— Талант маленький, по таланту и успехи. А кроме всего прочего — иногда трудно пробиться... — Бакеев замаялся. — Иной раз увлечёшься, вложишь уйму труда и сил, а на поверку — всё прахом, тематика не подходит! План! Человеческую натуру, Евгения Васильевна, план ско-

ываает и сушит. А из труда кустаря-одиночки по нынешним временам — какой толк? — Он сердито ткнул папиросу в пустую тарелку. — Вот меня обвиняют, что я мало внимания нашим, русским работам уделял в лекциях. Я это понимаю. Приходится обвинять и приходится требовать. На то и политика.

Женя удивлённо вскинула глаза.

— Нет, вы послушайте. Я всё это прекрасно понимаю. — Бакеев глубоко вздохнул, аккуратно поставил локти на стол. — А всё-таки мы ещё маленькие люди. Технический Запад впереди. Какие там лаборатории! Оборудование! Вы скажете — преклонение и тому подобное, а я вас уверяю — никакого преклонения нет. Я — человек русский и знаю, что мы умеем горы vorочать.

— Что-то у вас не сходятся концы с концами, — сказала Женя.

— Домны — умеем, заводища ставить — умеем, мосты мостить — умеем. Получше и поразмашистей, чем они. А вот тонкости... Тонкости у нас пока нет. Возьмите хотя бы внедрение в промышленность электровакуумных приборов. Тут ведь лампочки электронные величиной с мизинец... — Бакеев поднял руку и задумчиво поглядел на неё. — Этого пока не умеем. Лет через пять научимся, а пока — нет, не выходит...

— Вы ничего не видели и ничего не знаете! — перебила Женя. — Вам внушили это двадцать лет назад, и у вас это записано в ваших конспектах, — она протянула руку к тетрадке. — А жизни вы не знаете, вы за глухой стеной живёте, извините меня за такие слова.

Женя встала. Бакеев так и остался сидеть в неловкой позе, локтем загораживая свою истрёпанную тетрадку.

Раздосадованная, Женя вернулась в лабораторию.

Через несколько минут Пересада, занимавшийся рентгеновскими снимками, негромко её окликнул:

— Можно вас на минутку?

Что случилось у Пересады? Хочет посоветоваться? Но ведь известно, что он всё делает молчком. Подойдёт к классной доске, возьмёт в руки мел и глядит на доску так, будто на ней уже готовый чертёж. И неприятная привычка: когда чем-нибудь занят — не слышит, что происходит вокруг. Работает с таким видом, словно один-одинёшенек в комнате.

— Есть просьба, — начал Пересада как бы нехотя.

— Ну?

— У меня выдержка четыре часа. Четыре часа — стало быть до семи.

— Ну?

— Не рассчитал малость. А тут телеграмма, — он порылся в карманах. — От родичей. Встретить надо, на вокзале. Не успею к семи вернуться.

— Попросите Галича, — сказала Женя, наклоняясь над столом.

Пересада повернулся к Галичу:

— Семён, а?

Галич бегал по лаборатории своей прыгающей походкой. Рассуждал вслух:

— Следовательно, если я возьму никель, то сопротивление увеличится... Следовательно...

Он подошёл к Пересаде и взял его за борт кителя:

— Пойми, я не могу задерживаться позже шести. Я же тебе объяснял. Только что переселились в новую квартиру, жена меня разбомбит, если во-время не приду, ремонт нужно спешно делать, посмотри — осень на дворе, зима не за горами...

— Хорошо, — сказала Женя. — Только вы мне точно объясните, что нужно делать.

С бесстрастным видом Пересада повёл её к установке. А минут через сорок, когда ушли и Пересада и Галич, прибежала Майя:

— Евгения Васильевна, только что звонил капитан Вашакидзе. Он не может заехать, потому что надо прокомпостировать билет, а поезд отходит в шесть с минутами, а поэтому просил вас быть на вокзале.

Майя выпалила эту длиннейшую фразу без передышки. Она была страшно взволнована.

— Спасибо, Майя, — сказал Женя грустно.

Она вернулась к установке Пересады, села на стул, обхватив колени руками и глядя на противоположную стену; на щите нервно вздрагивала стрелка вольтметра.

Нужно же было, чтобы всё сложилось так неудачно! Противный Пересада. Но бросить и уйти нельзя. Он столько времени возился с рентгеновской трубкой. Вероятно, сегодняшний снимок очень важен. Может быть, важен не только для Пересады, а и для Деревянко, для кафедры, для университета.

Ведь Пересада вечно молчит, а кто знает, что он задумал? Если бы пустяк, то выключил бы установку и ушёл до завтра.

И он прав, попросив Женю додержать экспозицию. Ей всё равно сидеть до семи, а поручение нетрудное: проследить за бесперебойной работой высоковольтной установки и вакуумных насосов.

Женя сидела уже довольно долго, когда ей показалось, что во дворе загудела автомашина. Она вздрогнула и выбежала в коридор. А вдруг?..

Нет, послышалось. Идёт дождь. Настоящая глухая осень. Шесть часов, а уже темно.

Ей не удалось ничем заняться. Она ходила взад и вперёд по лаборатории, изредка приподымая чёрную штору и сквозь заплывшие стёкла глядя на улицу. Блестят тротуары. У входа в университетский клуб — толпа. Вероятно, дают кинофильм.

Грустная, расстроенная, Женя ушла из лаборатории в пять минут восьмого. Машинально, по привычке, проверила, выключены ли все рубильники высокого напряжения, закручены ли краны воды и газа.

Она заперла дверь и сразу окунулась в морозящий туман, в темноту. Попадая в лужи, прошла по асфальтовой дорожке через двор к выходу. Под деревьями стояла низкая малолитражная автомашина Деревянко. На крыше кабины — ворох мокрых опавших листьев. Значит, Деревянко с утра в университете. Жене вдруг захотелось найти профессора, рассказать ему о своей обиде на Пересаду.

Она грустно улыбнулась. Кто поймёт? Всё очень странно, необычно. А может быть, и не странно. Может быть, такое у всех бывает. Такая грусть и, в то же время, такое счастье.

Неужели Нико уехал?

Женя дошла до ворот и вернулась. Всё-таки она решила зайти на факультет.

А там — пусто и тихо. Только из зала доносятся негромкие рулады рояля. Это, вероятно, Тамара. Она теперь вечерами приходит в университет, чтобы поиграть. Дома нет инструмента.

Женя неспеша прошла по коридору. В ней накопало чувство досады, и вместе с тем она ощущала почти бессознательное внутреннее сопротивление этому чувству. Мысли настойчиво цеплялись за внешние впечатления.

Рояль. Сколько стоит рояль? Надо посоветовать Виктору выхлопотать прокат. Пианино напрокат — совсем недорого.

В деканате — свет. Женя приоткрыла дверь. Гольдберга уже нет. Над бумагами трудится его помощник, старший преподаватель математического отделения.

Несколько обычных фраз. Вы ещё здесь? Да, всё ещё здесь. Работа, канцелярщина — конца-краю не видно. Всего ведь не переделаешь? Да, всего не переделаешь.

Женя присела к столу и сняла телефонную трубку. Ноль девять — справочное. Пожалуйста, вокзал. Как, как? Женя записала номер на краешке длинного листа бумаги. Помощник декана обиженно потянул к себе бумагу. Извините, Женя не знала, что это на доклад ректору...

Занято. Она позвонила ещё раз. Да, её интересует поезд номер десять. Запоздалый вопрос? Нет, она знает, что десятый отправляется в шесть пятнадцать. Но ей важно проверить, не произошло ли какой-нибудь задержки. Точно по расписанию? Женя очень благодарна за справку. Да, она обязательно учтёт в дальнейшем, что песня «Ямщик, не гони лошадей» не имеет никакого отношения к железнодорожному транспорту.

Попался остряк — на другом конце провода.

— А голос у меня всегда сердитый, — сказала Женя в трубку.

Она постояла с минуту в нерешительности.

— Степан Тимофеевич не уехал?

— Нет ещё. Он в партбюро.

Женя вышла. Снова забренчали на рояле. Но теперь — громче и легкомысленнее. Это уже не Тамара.

Из комнаты партбюро донёсся хохот. Деревянко ходил по кабинету и сочно, с влажной искринкой в глазах, бросал размеренное и неторопливое: «Ха-ха-ха-ха!»

Когда Женя вошла, он заканчивал фразу:

— У Ивнева несомненный артистический талант. Комик!

Поздоровались. Виктор сидел за столом в накинутах на плечи пальто. Ещё не начинали топить.

— Ну, вот и добре, — сказал Деревянко. — Бюро почти в сборе.

У него, видимо, хорошее настроение. Он старается смахнуть с лица улыбку. Даже движение такое: растопыренными пальцами сверху вниз — по щекам и губам. Но улыбка остаётся, хотя глаза уже деловито оглядывают Виктора. Рука тянется к самопишущей ручке. Раскрыт массивный блокнот. Просто удивительно, как он умещается в кармане.

Деревянко чертит квадратик, потом пририсовывает грани, получается куб. Плоскости куба заполняются штриховкой. Перо делает кляксу.

— Будь ты неладна, — беззлобно говорит Деревянко и откладывает ручку.

В верхнем углу блокнота — торопливые записи неразборчивым мелким почерком. Прочесть можно только цифры: первый пункт, второй, третий... А чуть ниже, в овальной рамочке, крупнее и чётче:

«Наука должна сойти с пьедестала и заговорить языком народа. К. А. Тимирязев».

Голос у Виктора задумчивый, даже мечтательный. Женя не сразу может сообразить, о чём идёт речь.

— Мы, Степан Тимофеевич, с Масловой говорили...

О Бакееве. Ну хорошо, о Бакееве, так о Бакееве.

Деревянко откинулся на спинку стула, опёрся сильными руками о стол и внимательно поглядел на Женю. Женя смутилась.

— Я был не согласен с Масловой, — сказал Виктор ровно и убеждён-

но. — Но позиция Галича — это не моя позиция. Это какая-то третья позиция.

Деревянко подметил Женино смущение, перевёл взгляд на Черкашина, хлопнул себя по коленке.

— Есть критика. Добре. Мы за критику. Есть паника. Мы против паники. — Он снова, на этот раз искоса, взглянул на Женю.

И хоть ей сразу стало ясно и то, как относится к Галичу Виктор, и то, что подразумевает Деревянко под паникой, она промолчала. Вполне довольно сознания, что она согласна со Степаном Тимофеевичем.

Черкашин перегнулся через стол и пододвинул стул:

— Садись, Женя.

Деревянко сказал досадливо:

— Да, Гордиевский... Переживает Гордиевский.

Виктор улыбнулся:

— Пересادا, а? Как защищал Гордиевского! Нет, что ни говорите, Степан Тимофеевич, а у фронтовика чутьё особое.

— Бог с ним, с чутьём, — ответил Деревянко. — У нас факты, факты и наблюдения. Упрямая вещь. — Он резко придвинул к себе объёмистую папку с бумагами. — Вот здесь собраны материалы. Они ценны тем, что накапливались на протяжении долгого времени. Записи, заметки, впечатления от лекций. В течение нескольких дней я разрыл всю эту гору.

Женя с уважением пощупала толстую папку.

— Значит, Галич... наврал? — спросила она осторожно.

— Наврал, — резко ответил Деревянко. — Галич взял протокол заседания кафедры, а не стенограмму лекции Гордиевского. Заметьте это. В протоколе было зафиксировано выступление Яхонтова. Пользуясь не стенограммой, а своими собственными записями, сделанными во время лекции Гордиевского, Яхонтов обвинил Гордиевского в некоторых смертных грехах...

— И впоследствии отказался от своих обвинений, — вставил Виктор. — Сверившись со стенограммой.

— Интересно! — удивлённо протянула Женя.

Она почувствовала себя виноватой: когда она бродила с Вашакидзе по парку, Деревянко, Черкашин и другие волновались и, может быть, даже решали судьбу людей, замешанных в конфликте, внезапно возникшем на кафедре.

— С Гордиевским и Галичем всё ясно, — сказал Степан Тимофеевич, подравнивая бумаги, выпирающие из папки. — С Бакеевым тоже ясно... в основном.

— И мне ясно! — Женя с трудом преодолела скованность, которую всегда ощущала в присутствии Деревянко. — Но я хочу сказать следующее. Я могу простить Галичу, что он кого-то обидел, в данном случае Гордиевского. Но я не могу простить себе, что до сих пор не разобралась в Галиче...

— Не в Галиче дело, — перебил Виктор.

— Да, не в Галиче. Я сегодня разговаривала с Бакеевым. Внешне он как будто признаёт ошибку, и в то же время внутренне — нет, не признаёт.

— А это и решает, — сказал Деревянко. — Нужно бороться с Бакеевым за него самого. Поворачивать, поворачивать его лицом к действительности. Он не верил, пускай поверит. В себя не верил, в нас не верил... И в себя поверит, и в нас поверит! Мы соберём кафедру — это само собой. Проведём обсуждение подготовленных к печати работ — тоже само собой. Поговорим о лекциях Бакеева — тоже само собой. Но... — Деревянко хлопнул блокнот, с шумом придвинулся к столу и

угрожающе помахал сжатым кулаком. — У меня есть одна мысль, с которой я ношусь уже давно. Не было моральных и материальных условий для её осуществления. Теперь они есть. Материальные: мы заканчиваем оборудование последней очереди лабораторного корпуса. Моральные: на наших семинарах мы нашли общий язык с технической интеллигенцией города. — Деревянко торжественно опустил кулак. — Пришло время от общего языка переходить к общему делу. Я говорю об этом в присутствии членов бюро потому, что имею в виду широкое дело. Оч-чень широкое.

Женя с волнением глядела на профессора. А он встал, широко расправил плечи. Всё разъяснилось: и хохот, и весёлая фраза об Ивневке, и улыбка, которую он пытался смирить. Всё это было предвкушением того главного, что занимало его и увлекало в последние дни. Это главное связано и с ним самим, и с ней, и с Яхонтовым, и с Бакеевым, и с Гордиевским.

Но теперь — сразу после первых горячих слов — он заговорил подчеркнуто деловито:

— Общение с людьми производства насущно необходимо даже нам — представителям физико-математической науки университетского профиля. Мы налаживаем связь с одним из заводов. Мы строим и планируем свою научную работу, учитывая интересы промышленности нашего города. Мы создаём комплексную бригаду из членов нашей кафедры и заводских инженеров. Мы ставим этой бригаде совершенно конкретную задачу. Мы разрешаем одну из самых сложных и насущных проблем, какую нам подскажет общение с заводской интеллигенцией и которую без помощи науки заводам решить не под силу. Иначе говоря, мы сходим со своего пьедестала и становимся научно-технической столицей...

Федя тоже говорил о столице. Совпадение или общность идеи, родившаяся в обмене мыслей?

Деревянко не успел закончить. В дверь постучали. Вошёл Галич в коричневом, длинном до пят пальто, розовый, будто с мороза. Ловко — в два счёта — он снял калоши у порога, стряхнул с пальто капли дождя и, двигая плечами, подошёл к столу.

Не дожидаясь приглашения, он пододвинул стул и сел.

— Вы меня вызывали, товарищ Черкашин?

— Да, я просил зайти, — сказал Виктор сухо.

Деревянко спросил тем же тоном, что и Виктор:

— Как же это вы умудрились... наломать дров?

Галич медленно отодвинулся от стола, скрипнули ножки стула. Он заботливо нагнулся, ощупывая и проверяя их, а когда поднял голову, лицо у него было серьёзное.

— Вы о чём, Степан Тимофеевич? Простите, я не слышал начала разговора.

— О вашей речи, которая успела попасть в газету.

— Я поддерживал товарища Черкашина.

— Ясно, Черкашин виноват, — буркнул Деревянко. — Выходит, это Черкашин цитаты передёргивал.

Виктор промолчал, натягивая на плечи сползающее пальто.

— Но я признаю, признаю... — заторопился Галич. — Вышло недоразумение. Протокол, понимаете, попал мне в руки, а продолжение — именно следующее заседание, на котором Илларион Митрофанович сделал разъяснение, Рима Георгиевна мне не вручила. — Его никто не перебивал, и он заметно оживился: — Вообще я должен сказать: протоколы у Рима Георгиевны в хаотическом состоянии.

Дервянко остановил его жестом.

— Выслушайте меня. Бакеев совершил ошибку. Черкашин совершенно правильно и — я считаю — этично указал ему на эту ошибку. Тем самым он поставил вопрос перед нами, перед кафедрой. А мы, и в первую очередь я, руководитель, работали плохо. Мы больше произносили слово «самокритика», чем занимались ею. Что же сделали вы, товарищ Галич? Вы обошли кафедру, обошли истину, обошли справедливость...

Галич залился краской.

— Я считал, Степан Тимофеевич, что вопрос настолько принципиальный...

— А вы знаете о том, что Гордиевский деморализован? Вы знаете, что, при его характере, он разбит и убит?

— Я не думаю, чтобы я его убил, Степан Тимофеевич. Я критиковал.

— Нет, вы били.

— Если я даже и бил, Степан Тимофеевич, то по твёрдому убеждению. Я понимал так: человек ошибся — надо его бить.

— Прежде чем бить человека, надо биться за человека, — сказал Виктор.

Сцепленные пальцы белых, будто напудренных рук Галича нервно подрагивали.

— Я думаю, Степан Тимофеевич, вы не можете меня заподозрить... — Он осёкся. — Я могу извиниться, если нужно.

— У нас университет, а не танцклассы, — грозно сказал Дервянко. — Мы боремся за чистоту идей, а не разучиваем реверансы.

— А что если применить к тебе твой собственный принцип? — спросила Женя, чувствуя, как недобро сужаются её глаза. — Человек совершил ошибку — надо его бить:

— Бейте, — сказал Галич спокойно.

Виктор, положив карандаш на вытянутый палец и покачивая, старался добиться равновесия. Но карандаш соскользнул с пальца и упал на пол. Галич быстро поднял.

— Я вижу такой выход, — сказал Черкашин. — Кафедра окончательно решит тот действительно принципиальный спор, который разгорелся вокруг Бакиева. Что же касается Галича, то он, очевидно, расскажет обо всём на заседании кафедры и этим положит конец кривотолкам.

— И учтите! — неожиданно громко, с металлическим звоном в голосе, закричал Дервянко. — Учтите... — он прервал себя так же внезапно, как начал.

Галич сидел неподвижно, с мёртвым лицом.

— Карьеризм и научная деятельность несовместимы, — закончил профессор негромко.

Через минуту собрались уходить.

— Как у вас дела? — спросил Дервянко у Жени. — Как сын? Растёт?

— Растёт, Степан Тимофеевич. А дела — потихоньку движутся.

— Я знаю, слежу. — Он внимательно поглядел на Женю. Она снова почувствовала смущение. — Мы обязательно подробно поговорим в ближайшие дни. У меня есть некоторые мысли. Правда, можно бы поставить ваш отчёт на кафедре, но я думаю — рановато.

Да, вершина ещё далека, и знамя ещё не развёрнуто, оно в чехле.

Галич надевал калоши. Черкашин, усталым жестом отбрасывая со лба волосы, говорил:

— Но если уж вы упомянули о политической стороне дела, то я должен обрисовать результаты вашего выступления. Полюбуйтесь, что получилось...

Галич никак не мог попасть ногой в калошу.

— Получилось так: Бакеева нужно критиковать, ему нужно помочь выйти из тупика. Мы обязаны это делать. Мы. И делать это широко, принципиально, понимаете? А вы вашими необоснованными обвинениями поставили нас в такое положение, что нам приходится распылять свои силы и в важный принципиальный вопрос о Бакееве вмешивать частности — защищать Гордиевского!

— Получилось так,— уныло протянул Галич,— я выступил против самого себя.

— Ну, товарищ Маслова, пойдёмте, я вас подвезу, — сказал Деревянко.

И хотя Жене было приятно, что профессор обратился с этим предложением именно к ней, она отказалась.

— Спасибо, я ещё задержусь.

— Не умею я говорить на собраниях, — уже совсем другим, беспечным тоном каялся Галич Виктору. — Хочу сказать одно, а выплывают какие-то посторонние фразы, тянут меня за собой, и получается совсем другое. Пифагоровы штаны.

— В таком случае, вам надо на некоторое время отказаться от публичных выступлений, — сказал Деревянко.

И улыбнулся Жене.

А она шла по коридору и злилась: напрасно не согласилась ехать с Деревянко. Она бы рассказала ему многое: и о себе, и о Нико, и о Яхонтове, и о Галиче. Впрочем, ерунда. Ничего бы она не рассказала.

Галич шёл вслед и бросал не то насмешливые, не то злые слова:

— Ополчились! Действительно, промазал. Выстрел не во-время. Надо было подождать. У Римы Георгиевны сам чёрт ногу сломит в её протоколах. Вот и вышло: цитаты передёргивал. Эх, неудачно! А ты, Женя, прими к сведению: когда злишься, ты теряешь шестьдесят процентов своего обаяния.

— Я тебе советую бросить этот тон, — резко сказала Женя, глядя в конец коридора. — Галич, которого я знала, остался где-то в лаборатории. А рядом со мной — незнакомый, чужой человек.

Он не обратил никакого внимания на её слова.

— Конечно, я бы мог извиниться — это было бы проще всего. Непонятно, почему Степан Тимофеевич запротестовал. Как ты думаешь?

Женя остановилась.

— Мне неприятно с тобой разговаривать, — сказала она, поджав губы. — Неужели и это непонятно?

Чтобы избавиться от него, она толкнула первую попавшуюся дверь.

Зал. В зале полутемно. Горит только одна лампочка: над небольшим дощатым возвышением, на котором прежде помещалась лекторская кафедра, а теперь стоит чёрный, с белесыми пятнами стёршегося лака рояль. Этот рояль немало попутешествовал. По каким-то приметам Гольдберг отыскал рояль среди прочего реэвакуированного университетского оборудования и водворил на старое место.

Возле рояля, одной рукой подперев голову, а другой лениво блуждая по клавишам, сидит Борис Ивнев. Майя, пристукивая каблучками, прохаживается за его спиной. Внизу, на скамье первого ряда — Нина и Тамара. Лица Тамары не видно: только крутой овал щеки и тёмные вздрагивающие ресницы. Нина, кругло выгнув спину, опирается голыми локтями о колени.

Из разговора студентов Нина выяснила, что Тамара на факультете — не для того, чтобы упражняться на рояле, а по делам. Её попросили помочь. Заболел руководитель драмкружка — актёр местного театра. Нужно готовить программу к Октябрьским праздникам.

Майя волновалась больше всех.

— Сорвётся. Я вас уверяю — сорвётся.

Она неловко соскочила со сцены, оправляя широкую юбку. Пёстрая, с напуском, шёлковая кофточка. Остро торчат плечи. Майя шьёт себе наряды сама. Её костюмы всегда очень легки, почти воздушны. Ей это нравится.

На платьях — замысловатые мерёжки, вышивки, складочки, вставочки из другой материи.

— Погляди, как я скомбинировала!

Она комбинирует неутомимо. На возню со своими нарядами у неё уходит ровно столько времени, чтобы не забывать и о подругах. Шьёт она поразительно быстро. Перекраивает чужие платья, укорачивает, удлиняет, выдумывает фасоны. Все девушки, живущие в общежитии, ходят к ней за консультацией.

Борис насмехается

— Истинное призвание! — И, озирая иголки, нитки и пестроту тканей, разбросанных по комнате: — У вас, друзья, физикой и не пахнет.

Но учится Майя добросовестно. Не так блестяще, как Ивнев или Черкашин, однако экзамены обходятся без троек. Свои успехи она обычно ставит в заслугу не себе, а тому, с кем вместе занимается. Экзамены для неё — самое страшное время. Приходится мобилизовывать решительно все возможности, вплоть до примет. Приметы — это, конечно, ерунда, предрассудки. Но к предрассудкам можно относиться спокойно и трезво в любое время, только не в период экзаменов. Лучше уж перетерпеть насмешки, чем рисковать провалиться. Приходится являться на экзамены всегда в одном и том же платье, ходить по одним и тем же улицам и, по возможности, думать и говорить об одном и том же: «Я ничего не знаю. Всё перепуталось. О, если бы тройка!»

У Майи есть «счастливые платья», «счастливая улица», «счастливая погода».

Правда, несмотря на точное соблюдение всех примет и условий, она однажды получила на экзамене посредственную оценку. Весь вечер проплакала, припоминая, не допустила ли каких-нибудь нарушений «режима».

Через неделю она пересдала предмет на отлично. Нина постаралась сделать из этого факта соответствующий вывод: вот видишь, не приметы помогают.

Но Майю не разубедить. Во всём же остальном, что не касалось экзаменов, она старалась подражать Нине. Переняла у неё упрямый жест сжатого кулачка, быструю деловитую походку во время перерывов между лекциями, страсть заполнять свой досуг множеством неотложных общественных дел, привычку принимать близко к сердцу всё, что происходит на факультете.

И теперь она волновалась больше всех.

Тамара решительно встала.

— Если вы хотите подготовить интересную программу...

Борис что-то подбирал на рояле. Мотив не получался, он снова и снова начинал его сначала.

— Прекратите, — сказала ему Тамара. У неё был воинственный и вместе с тем деловитый вид.

Борис сыграл туш. Тамара вскочила на сцену и, стащив его руки с клавиш, захлопнула крышку. Густо запела струна.

— С Ивневым хоть и не связывайся, — сказала Майя обиженно.

— А вы с ним не церемоньтесь, — у Тамары сердитые глаза. — К искусству, Борис, нельзя подходить с усмешечкой.

— Но я никак не могу сделать серьёзное лицо.

— Пойдите минут десять за дверью.

— Борис, иди сюда, — сказала Нина.

Ивнев покорно спрыгнул со сцены и сел рядом с Ниной.

Тонкая, туго перетянутая у пояса широким цветастым кушаком, Тамара стояла возле закрытого рояля и развивала свои планы.

— Самое основное, девушки, это сделать такой вечер, чтобы он был не просто вечер, а Октябрьский вечер. Самое основное — передать те чувства, которые мы все испытываем в годовщину Октября. У каждого праздника есть своё лицо. У Октября — самое мужественное, самое радостное, самое дорогое. Вот!

Открылась дверь, и вошёл Виктор. Тамара умолкла, смутилась. Со стороны довольно забавно наблюдать это смущение. Муж и жена! До сих пор они ходят по улицам с видом заговорщиков. Как будто это их первая встреча.

Все повернули головы и поглядели на Виктора. Он стоял на пороге, держась за ручку двери, с видом человека, не решившего, уходить или оставаться. У него было усталое лицо. Его насмешливые глаза окинули комнату, секунду задержались на Тамаре, потом разыскали Ивнева.

— Боря, завтра президиум научного общества. Нина... — он мотнул головой. — Впрочем, завтра скажу. Вы тут просто так или?..

Виктор присел, но ему не сиделось.

— Надо заниматься, заниматься.

Все сразу переполошились...

— Ах да, завтра два семинара!

— Теория сплошных сред мне никак в голову не лезет, — пожаловалась Нина.

— Заходи, будем вместе заниматься.

— А мне нужно на субботу договориться с филармонией, — вспомнила Майя.

Нина зажмурилась, повела плечами, плотно обтянутыми платьем. Тоже устала.

— Я думаю так, — сказала она с неожиданной энергией. — Концерты и вечера от случая к случаю — это не то.

У неё гладкое, без всяких украшений, платье. Просто и красиво.

Нина терпеть не может, как она сама выражается, всяких финтифлюшек. Её платья напоминают спортивные костюмы. И всегда такое впечатление, будто чуть-чуть узковаты. Нина чувствует себя в них очень ловко.

— Что значит — от случая к случаю? — спросила Майя. — А что же: каждый день?

— Нет, я думаю так. Установить, например, какой-нибудь определённый день для всего факультета, чтобы все знали, и не только на факультете, а и во всём университете. И в этот день, точно каждую неделю, проводить мероприятия.

— Мероприятия! — заметил Борис скептически. — Тоже — слово!

— Хорошо, не мероприятия. Комсомольские среды.

— Это звучит лучше.

— Дело не в звучании, — вмешался Виктор. — Но мысль правильная. Добиться, чтобы это были не казённые мероприятия, а праздники науки и искусства.

Тамара беспечно оглянулась на Виктора, но сейчас же вмешалась, не скрывая горячности:

— Мы можем сделать так: сегодня — лекция, через неделю — концерт, ещё через неделю — какая-нибудь встреча, диспут, обсуждение...

Она увлеклась и забыла, что не имеет прямого отношения к университету. Но так и продолжала: «Мы сделаем».

Впрочем, это у неё привычка. У Виктора с ней — одинаковый словарь. Каждый в отдельности говорит о своих личных делах: «мы», «наше».

— Итак, решили, — сказала Нина уверенно. — Будем организовывать комсомольские среды. Только ты, Борис, никому не говори. Чтобы мы в университете начали первые.

Ивнев, Майя и Нина поехали на трамвае в общежитие. Женя пошла пешком с Виктором и Тамарой. Ей не хотелось оставаться одной.

Виктор рассказывал о летних путешествиях.

— Шли через ущелье, потом вверх по тропинке... Вот, Женя, ощущение высоты, да! Всё можно отдать за высокогорный воздух.

— А мне нравилось отыскивать виды, — сказала Тамара. — Отыщешь вид — и смотришь, смотришь. Я нашла такой вид, до того красивый, что до сих пор мне хочется его сыграть. Вот! — Она взяла Виктора под руку и неожиданно предложила: — Пойдёмте в кино.

— Конечно, пойдём, — сразу согласился Виктор. — А я завтра пораньше встану и позанимаюсь.

Нет, к сожалению, Женя не может поддержать компанию. Работать? Нет, нужно к сыну. Делать она уже ничего не будет, ляжет спать. Почему? Сложное настроение.

Прощаясь, Тамара сказала грустно:

— Вы заходите к нам, Женя, заходите. Мне очень жаль, что у вас такое настроение.

Тяжёлые взмахи ресниц. В полутьме улицы лицо у неё кажется шире, чем всегда. Неожиданные повороты подбородка. Это мило, но смахивает на кокетство. А всё-таки глаза сердитые.

Попрежнему моросил дождь. Женя пошла неспеша.

Только теперь она почувствовала настоящую грусть. Острые иголочки, со всех сторон. Трамвайная остановка, здесь стояли с Нико, собираясь в парк — иголочка! Магазин, здесь в дверях уславливались о встрече — иголочка! Воспоминание: как он пришёл в лабораторию и как Яхонтов его выгнал — иголочка! Сотни иголочек.

«Вот сейчас приду домой и назло буду заниматься», — подумала Женя.

Неужели Нико уехал?

Уехал, а жизнь продолжалась. Университет, лаборатория, Яхонтов, бессонные ночи, светает всё позже и позже, глухая осень, дожди, в библиотеке в четыре зажигают свет — и можно сидеть до двенадцати, до часу, до двух — всё можно, только бы жирная стрелка на тактической карте вечно была устремлена вперёд.

Галич несколько раз заговаривал с Женей, она предпочитала воздерживаться от объяснений, но, в конце концов, он так был жалок, такое вызывал сострадание, что отношения их постепенно стали налаживаться.

Семён сделался сдержаннее, молчаливее и работал в лаборатории вдвое больше, чем раньше.

Рима демонстративно изменила к нему отношение.

— Нахал,— сказала она однажды, останавливаясь в дверях, и с расчётом, чтобы Галич слышал. — Критик нашёлся! Без году неделя на кафедре, а всюду суёт свой нос. Рима Георгиевна виновата. У неё, видите ли, протоколы не в порядке.

— Вы меня не пугайте! — неожиданно вскипел Галич. — Знаем ваши побуждения. Если бы я вас не затронул, всё было бы в порядке. А я повторяю...

Рима хлопнула дверью и вышла.

После всех событий на кафедре и в предчувствии того, что ещё должно произойти, Женя ощущала острое недовольство собой. Она сначала подумала, что причина этого недовольства кроется в её слишком мягком отношении к Бакееву, но потом поняла, что это не так. Слишком занята была своей собственной персоной — вот в чём дело. Не нашла в себе мужества — несмотря ни на что — оставаться в самой гуще событий. Уклонилась от споров, от борьбы. Нет, не потому, что считала споры пустячными. Просто понадеялась на других, всё переложила на их плечи. Есть Деревянко, есть Черкашин — они разберутся. А нужно было и на своих плечах нести общее дело. Как хорошо, когда на тебя надеются!

Стараясь искупить вину перед самой собой, Женя начала усиленно готовиться к предстоящему заседанию кафедры. На этом заседании, кроме преподавательской деятельности Бакеева, кафедра должна была обсудить итоги научной работы всех своих членов.

Пришлось просмотреть сборники учёных записок, машинописный фонд университетской библиотеки, статьи в журналах.

Женя решила особое внимание уделить работам Яхонтова. Он — её научный руководитель, и о нём она должна говорить в первую очередь.

Деревянко готовил заседание тщательно, не торопясь. Как всегда, казалось, что сам он остаётся в тени, действует незаметно, но к концу октября он уже успел подробно побеседовать с каждым членом кафедры в отдельности и составить обстоятельный план обсуждения.

Бакеев по виду оставался невозмутимым. Сухой и прямой, расхаживал он по деканату, громко рассуждая на посторонние темы: о литературе, о театре, о городских новостях. Всем поведением своим он как бы говорил: вот поглядите, меня жестоко ругали, а я нахожу в себе достаточно мужества для того, чтобы переносить это с достоинством и гордостью.

С Галичем он не здоровался. Гордиевский, напротив, не показывал вида, что сердит на Семёна. По этому поводу произошёл следующий разговор.

Бакеев Гордиевскому:

— Вы не забывайте, что за клевету судят! Оставлять без последствий — это значит поощрять. Да, да, вы поощряете, если кланяетесь ему, мальчишке!

Неужели Бакеев забыл, что примерно то же самое говорил о Викторе?

Гордиевский Бакееву:

— Оставьте, Яков Платонович! Займёмся делом. Деревянко меня прочит в руководители комплексной бригады, слышали?

— У вас необыкновенный характер. Я бы сказал — ангельский.

— А у вас неважный. Вам надо было сразу поверить Черкашину на слово.

— С какой стати я должен верить на слово?

— Хотя бы потому, что он секретарь бюро,— ответил Гордиевский, прикасаясь рукой к полям своей мягкой фетровой шляпы. Он глубже надвинул её на голову.

— Ну, знаете... — протянул Бакеев неопределённо.

— Я знаю, что меня воспитали так, — сказал Гордиевский и замолчал.

На заседание кафедры Женя пришла вооружённая подробными тезисами своего выступления. По первому вопросу — о Бакееве — она решила не говорить: от аспирантов слово взяли Галич и Пересада. Правда, Галич, главным образом, каялся в своих необоснованных обвинениях Гордиевского.

— Я совершил большую ошибку, — говорил он бойко и так поспешно, словно боялся, что ему не дадут высказаться. — Именно в тот момент, когда нам всем необходимо было заострить внимание...

Дальше Галич почти слово в слово повторил доводы Виктора — всё, что Виктор высказал ему в комнате партбюро. Риму Галич не задел ни одним словом.

Так как вопрос с Гордиевским был уже решён, Галича выслушали равнодушно. Но когда поднялся Пересада, по залу прошло движение повышенного внимания. Деревянко сказал оживлённо:

— Прошу, прошу...

Пересада был неузнаваем. И голос другой, и движения: интонации и жесты бывшего оратора. Стареется говорить чисто, без глухого «г». Манера немножко декламационная.

Яхонтов неприметно усмехнулся. Галич приоткрыл рот от удивления.

Пересада закончил свою речь так:

— Наши солдаты с гордостью необыкновенной, с глубоким сознанием своей исторической миссии несли в Европу советское знамя. Так же гордо и величественно, говорю я, должно развеяться знамя нашей науки. Везде. Это наше знамя. А кто его не уважает... — Пересада, искренно волнуясь, взглянул в сторону Бакеева. — Вам известно, какие силы советского общества оберегают это боевое знамя.

Женя никак не ожидала такой речи, эта речь глубоко взволновала её. На какую-то минуту она упустила из внимания всё, что происходит вокруг неё. Когда она сосредоточилась, взгляд Деревянко остановился на Яхонтове.

— Вы, кажется, имеете желание взять слово?

Илларион Митрофанович не пошевелился.

— Нет, не имею, — ответил он не торопясь.

— Жаль. Хотелось бы...

Яхонтов высоко поднял подбородок. Невозмутимое выражение лица.

— А почему, собственно говоря, вы отдаёте мне такое предпочтение?

Помедлив, Деревянко сказал:

— Хотелось бы, чтобы вы, профессор, квалифицировали ошибки товарища Бакеева...

Илларион Митрофанович сделал такое движение, будто собирается встать, но не встал, развёл руками:

— Квалифицировать... Что же квалифицировать? — Он помедлил обдумывая. Но, видимо, ничего не придумал. Обронил как-то походя, вскользь, и вместе с тем категорически. — Нет, нет, не знаю.

— Странно, — сказал Деревянко.

Яхонтов встал.

— Ежели вы так настаиваете... Моё мнение, да?

— Именно. Ваше мнение.

— Так вот. — Яхонтов повернулся к Бакееву. — Я вам могу повторить, Яков Платонович, то, что говорил десятки раз и много месяцев тому назад.

Деревянко перебил:

— Вы нам говорите, нам, Бакеев поймёт.

Илларион Митрофанович вышел из-за стола и, заложив руки за спину, произнёс раздражённо:

— Легкомыслие. Во всём легкомыслие. Яков Платонович — легкомысленный человек. Он полагает, что наука делается наскоком, между делом. А наука так не делается.

— В данном случае речь идёт о чтении курса, — сказал Деревянко. Жене показалось, что он старается смягчить свои реплики. — О чтении курса и о взглядах товарища Бакеева.

Все с интересом глядели на Яхонтова, предчувствуя бурю. Но буря не произошла.

— Так вот же, товарищ сказал, — Илларион Митрофанович вежливо поклонился в сторону Переседы. — Товарищ очень образно выразил общие чувства.

Степан Тимофеевичу приходилось вытягивать из Яхонтова фразу за фразой.

Он сказал, сдерживая раздражение:

— Ясно. Присоединяетесь?

Илларион Митрофанович тяжело опустил на стул, проворчал:

— Конечно, безобразие. Университетский курс, специальный. Не упомянуть о новейших исследованиях наших учёных! Безобразие!

Деревянко больше не обращался к нему. Но в своём выступлении сказал, что удивлён лаконизмом Яхонтова.

— По другим поводам вы готовы два часа говорить без передышки. Когда встаёт разговор принципиальный, сугубо важный, вы предпочитаете молча присоединяться к мнению большинства. А кафедра хочет знать ваше собственное мнение!

— Кафедра его знает, — тихо сказал Яхонтов.

— Что знает? — резко спросил Деревянко. — Товарищ Переседа вы-сказал здесь общие мысли. Мы... — Степан Тимофеевич ударил кулаком по столу. — Мы обязаны договорить сегодня до конца. В последний раз. Выяснить всё. Если хотите, выложить душу. И поглядеть далеко вперёд, уяснить перспективы. Как будем работать? Как Бакееву исправить свои ошибки?

— Позвольте, — вмешался Яхонтов. — Затронутый вами вопрос в повестке дня значится вторым пунктом.

— Да, логично, — неожиданно согласился Деревянко. — Нелогично только, что вы не желаете дать политической характеристики поступкам Бакеева.

— Это уже слишком, Степан Тимофеевич. — Яхонтов повысил голос. — Это уже слишком. Если вы меня избрали мишенью..

Деревянко поморщился.

— Закончим на этом. Слово имеет товарищ Бакеев.

Бакеев выдержал паузу, как опытный оратор, который недоволен слишком шумной аудиторией. Сосредоточенный взгляд, тесно сжатые пальцы и очень тихий, вкрадчивый голос:

— Иногда в жизни человека наступает минута, когда чувствуешь необходимость оглянуться на пройденный путь, по которому отшагал столько вёрст и который...

Он развернул такую длинную фразу, что, казалось, ему не выпутаться из её паутины, не свести концы с концами. Нет, выпутался. Голос его крепчал. Всевозможные оттенки: от задушевно-печальных до раскати-сто-гневных.

— Я сильно волновался перед сегодняшним собранием, я много думал. И всё-таки мне не удалось подготовиться так, как мне хотелось бы и как этого требует настоящий момент.

— Как всегда, — негромко сказал Яхонтов.

— Нет, Илларион Митрофанович, нет. Не как всегда. Мне помешало волнение и желание найти настоящие слова. Вот почему я вынужден излить свои чувства в этакое, в некотором смысле, импрессионистическом плане.

Да, трудно Бакееву заставить поверить в собственную искренность. Слишком гладко говорит. Настолько глубоко сидит в нём лектор, что профессиональных замашек его не вытравить никакими силами.

— Для меня время сейчас измеряется не годами и месяцами, а днями и часами. Каждый день — новый этап пути, на который подтолкнула меня справедливая критика...

Бывает же так! Существует давно знакомый человек, вызывающий общую симпатию. И вдруг — обаяние рушится. Голос, мимика, жесты — всё коробит.

— Несколько дней назад я беседовал с Евгенией Васильевной... Она — свидетель...

Вспомнил!

— А позавчера, за чтением старого комплекта учёных записок, занятый мыслями о сегодняшнем собрании, я совершенно неожиданно обратил внимание на обстоятельство, которое обычно ускользало и не бросалось в глаза...

Профессиональным жестом лектора Бакеев выдернул из кучки бумаг на столе продолговатый листок.

— Вот как раньше печатали наши статьи... — Он сложил листок вдвое. — Оглавление. Слева — по-русски. Справа — по-английски. К каждой статье — резюме, тоже по-английски. — Он повысил голос. — А журнал-то русский, русский!

— Экскурс в далёкое прошлое, — заметил Яхонтов.

— Для меня этот экскурс крайне необходим! — тонко закричал Бакеев, теряя обычную власть над собственным голосом. — Теперь упразднили эти резюме, и я считаю, что не просто так упразднили. Усматриваю в этом великолепной гордости патриотический акт: понадобятся вам наши статьи, господа иностранные учёные, — ищите переводчика или изучайте русский. Изучайте язык авангардной науки!

— Быстро вы перестраиваетесь, — снова заметил Яхонтов.

— Прекратите реплики, — сказал Степан Тимофеевич, постукивая спичечной коробкой о стол.

В перерыве, когда члены кафедры проголосовали за предложение Деревянко возбудить ходатайство перед ректором об объявлении доценту Бакееву выговора за ошибки в лекциях, к Жене подошёл Виктор.

— Ну как?

— Не верю.

— А Бакеев верит себе, — сказал Виктор. — Во всяком случае, в данный момент верит. Редкий талант самовнушения!

— Что же стоит подобная вера?

— Посмотрим, — ответил Черкашин уклончиво. — Поживём — увидим.

По второму вопросу докладывал Гордиевский. Ему предстояло рассказать о некоторых итогах научной работы кафедры и сделать краткий анализ этой работы. Такое вступление надлежало бы взять на себя Степану Тимофеевичу, но Женя поняла, что он намеренно поручил его Гордиевскому. «Втягивает, вызывает на откровенность, — подумала она. — Заставляет проявить активность».

Но вряд ли у Гордиевского выйдет достаточно остро Постарается сгладить углы.

Как только заняли свои места и Рима застыла в ожидательной позе, с карандашом в руке над чистым листом будущего протокола, Деревянко сунул недокуренную папиросу в пепельницу и спросил не вставая:

— Продолжим, товарищи?

Окурок всё ещё дымился. Придавливая его спичечной коробкой и придерживая другой рукой пепельницу, Деревянко начал:

— Мне хотелось бы, чтобы мы сегодня выяснили следующее. Первое: что сделано и как сделано Конкретно каждым из нас. — Упрямый дымок тянулся из пепельницы. Не отрываясь от протокола, Рима отмахнулась от него рукой. Деревянко прервал себя, сказав всерьёз: «Будь ты неладен!», и крепче прижал окурок. — Пункт «а»: методология. Пункт «б»: соответствие индивидуальным планам. Пункт «в»: тематика и проблематика. — Деревянко вытянул указательный палец в сторону Гордиевского. — Я бы хотел, чтобы вы сообщили нам ваше личное мнение о том, в какой степени тематика наших работ соответствует задачам сегодняшних дней.

Гордиевский немедленно записал что-то на листке бумаги.

— Второе: что нужно сделать и как сделать. В масштабе кафедры и каждым в отдельности. — Деревянко снова повернулся к Гордиевскому. — Здесь важно подумать о формах, которые бы обеспечили правильный выбор курса. Вариться в собственном соку или что-нибудь предпринять пошире? Вы понимаете меня?

— Не совсем, Степан Тимофеевич, — ответил Гордиевский записывая.

— Добре. Я скажу потом.

Вобрав голову в плечи, облокотившись локтями о стол, Бакеев слушал Гордиевского, который монотонно читал по своим бумажкам:

— Итак, по нашему мнению... Мы склонны считать... Нам кажется...

У Якова Платоновича был такой вид, словно он в первый раз слышит о том, что доцент Бакеев последнее время почти не занимается научной работой и что его индивидуальный план выполнен всего на тридцать процентов. Он не удивлялся и не возмущался, но с несвойственной для него неподвижной сосредоточенностью ловил каждое слово о себе.

Гордиевский не отрывал глаз от бумажек, а самые критические абзацы своего сочинения читал с трудом, будто заметки писались не его рукой и ему трудно разбирать чужой почерк.

— Следует отметить также, что научная инертность доцента Бакеева органически связана с принципиальными ошибками в его педагогической практике... Следует отметить также, что работы Яхонтова, ценные в плане поисков новой методологии, оставляют впечатление незаконченности, незавершённости. Не подведена общая черта... Разбросанность. Отсутствие выводов...

Бакеев чувствовал себя виноватым, а Яхонтов преобразился: замечания он выслушал спокойно, изредка даже одобрительно покачивая го-

ловой. Гордиевский привёл перечень его последних работ — список довольно длинный. Илларион Митрофанович вытащил из кармана автоматическую ручку и после каждого названия ставил палочку на листе бумаги. Когда Гордиевский кончил, он подсчитал палочки и заметил небрежно:

— Одну работу по дороге потеряли.

Гордиевский запнулся, повёл пальцем по своему листочку.

— Очень может быть... Пропустил... Но... — Он отыскал начало следующей фразы. — Но работы профессора Яхонтова поражают своей оторванностью от главного направления, в котором развивается наша сегодняшняя наука.

— А именно? — в первый раз подал голос Яхонтов.

— Что — именно? — спросил Гордиевский мрачно. — Я же сказал. Оторваны... Разве непонятно?

Яхонтов промолчал. Он был настроен исключительно миролюбиво.

А Гордиевский, словно компенсируя себя за ту откровенность, которую допустил по отношению к другим членам кафедры, с ожесточением заговорил о себе. Он отметил и свою молодость, и свою неопытность, и пробелы в теоретических знаниях, и те мелкие погрешности, которые встречались в его экспериментах за последние два года. Перечня своих работ Гордиевский не читал, но Женя знала, что этот перечень тоже довольно длинен.

— Единственно, о чём я могу сказать без внутреннего неудовольствия и досады, так это о том, что стараюсь учиться у профессора Дервянко трём вещам: актуальности, актуальности и ещё раз актуальности

Гордиевский покраснел, сбил свои листочки в ровную стопку и, складывая в пачки, принялся врать их на мелкие кусочки.

— Сообщение товарища Гордиевского мне не совсем по душе, — сказал Дервянко. — Он больше занимался самобичеванием, чем говорил об ошибках кафедры в целом и о перспективах. Впрочем, очень многое намечено правильно...

Так как о Бакееве уже много говорили в начале заседания, в центре обсуждения оказалась деятельность Яхонтова.

Женя волновалась. Она так волновалась, что решила взять слово первой. Просто не было сил сидеть и ждать своей очереди!

Она начала, как ей самой показалось, серьёзно и уравновешенно:

— Изучая многочисленные работы Иллариона Митрофановича, пользуясь в отдельных случаях его методикой и общаясь с ним как со своим научным руководителем, я пришла к следующим выводам..

План выступления был намечен очень чётко 1. Общая часть, критика научных устремлений. На полях отмечено: «Вскользь. Так, чтобы это было переходом к следующему пункту». В скобках: «Завод — разве это плохо?» «Научная цель» — «Необитаемый остров» 2. Критический разбор работ. В скобках: «Смотри отдельный лист». 3. Положительные качества. В скобках: «Методика и техника». «Например, случай у меня с вакуумными тэчами».

— Мне кажется, Илларион Митрофанович стоит не всегда на правильных позициях. В данном случае, я имею в виду пока только его общие взгляды...

Женя не глядела на Яхонтова, но ясно представляла себе, что взгляд профессора устремлён в потолок. Холодные глаза, откиннутая назад голова и выражение полнейшего равнодушия.

— Я не могу мириться даже с самыми абстрактными рассуждениями Иллариона Митрофановича... Помните разговор в лаборатории? О целях,

к которым должен стремиться учёный — Женя, наконец, взглянула на Яхонтова. — Если честно разобраться, ведь вы считаете, что можно заниматься наукой ради самой науки...

Яхонтов спокоен. И вдруг совершенно неожиданно — взмах рукой, мягкий белый кулак не слишком стремительно опускается на стол. Всё-таки это похоже на вспышку гнева.

— Я попрошу прекратить комедию! Я ничего не писал и нигде публично не выступал. Я экспериментатор, и если не могу быть вам полезен в этой области...

Женя растерялась.

— Нет, я скажу, скажу... Я и о помощи скажу...

Она быстро пробежала глазами листок своих тезисов, нашла последний пункт, отчеркнула его ногтем.

Но тут вмешался Деревянко.

— А я могу напомнить вам ваши собственные слова, товарищ Яхонтов. Вы высказались примерно так: «Я совсем не младенец в философии и нахожу, что теория диалектического материализма не может заменить моих гносеологических взглядов».

— Да, примерно так,— резко ответил Яхонтов. — Но дело было в тридцать четвёртом году, четырнадцать лет назад.

— И с этим покончено?

— Да, с этим покончено.

Итак, последний пункт тезисов. Если заговорила — нужно продолжать. Об остальном потом, иначе получится сумятица, бестолочь.

— Конечно, необходимо отметить ценность исследований Иллариона Митрофановича... Я представляю их себе, как вехи, по которым будут идти другие.

Почему-то стало трудно говорить, нехватало слов. Хуже всего эти реплики, да ещё из уст Яхонтова. Порвалась логическая мысль, и теперь очень трудно восстановить последовательность изложения.

— Блестящая техника... Вкус к тонким методам эксперимента... Точные результаты...

Когда Женя вернулась ко второму пункту своего плана, она почувствовала, что слишком затянула выступление. Словом, всё получилось не так, как она задумала. Сначала ощущение неудовлетворённости было очень смутным, неопределённым. Но когда заговорил Деревянко, Женя поняла, что выступила неудачно.

— Товарищ Маслова отчасти права,— сказал Степан Тимофеевич. — Но к чему реверансы? Вы пытаетесь взять под защиту самую слабую сторону деятельности Яхонтова...

Взять под защиту! Вот что у неё получилось!

— ...ту сторону, которая при других условиях могла бы стать настоящей силой. Если рассматривать работы изолированно, а именно так и поступает товарищ Маслова, то...

Женя непроизвольно для себя самой пожалала плечами. Но Деревянко увидел.

— Вы не удивляйтесь. Вы берёте каждую статью в отдельности, и получается действительно красиво, сильно, точно. Но ведь это первый этап работы, товарищ Яхонтов. Мерить — очень нужное дело. Но изменения делаем для каких-то выводов. Прав я или нет?

— Ежели вы когда-нибудь примечали, Степан Тимофеевич, на старинных креслах имеются вензеля мастеров,— деликатно проговорил Яхонтов. — Я тоже хочу оставить свой вензель. Даже на самых простых вещах.

— Не совсем понятно,— сказал Гордиевский.

— Вам всегда непонятно, — не сдержался Яхонтов, но сейчас же перешёл на прежний сдержанный тон. — Я получаю точную цифру. Одну, другую, третью. Это табличные данные. И мне крайне лестно, если на таблице появляется мой вензель.

Деревянко мягко ударил ладонью по столу.

— Добре. Табличные данные — нужная вещь. Никто не говорит, что заниматься ими — порок. Но мы собрались не для констатации всем известных обстоятельств, а с целью наметить перспективы. В смысле перспектив ваше увлечение фактами и только фактами таит в себе серьёзную опасность. Вы не новичок в науке. Если проведено такое множество измерений, скажите вашу точку зрения. Обдумывая вашу деятельность, я испытываю впечатление вашей научной неискренности. Вы можете сказать что-то важное и полезное, но не говорите этого, скрываете, молчите, прячетесь за фактами...

На этот раз Яхонтов был удивительно не расположен к спору.

— Я признаю справедливость предъявленных мне претензий, — сказал он спокойно. — Было бы по меньшей мере смешно, если бы мы в данной высококвалифицированной аудитории принялись спорить о том, нужны в науке обобщения или не нужны. — Он вздохнул. — Я попытаюсь воспользоваться замечаниями... Но я позволю сказать несколько слов в своё оправдание. Выводы, о которых здесь так много говорили, весьма нелёгкая вещь. — Взгляд в сторону Жени. — Ежели, разумеется, относиться к выводам сугубо научно. Я работаю. Я постараюсь прийти к выводам, но не раньше того момента, когда почувствую, что мне не придётся за них краснеть.

— Вы подумайте, товарищ Яхонтов, — заметил Деревянко. — Серьёзно подумайте.

Илларион Митрофанович нахмурился и промолчал.

С резолюцией покончили довольно быстро. Деревянко настоял на том, чтобы наряду с указанием недостатков, отметить конкретные пути их преодоления. В качестве одного из таких путей он видел более тесное сотрудничество с технической интеллигенцией города.

— Связаться с институтом металлов, — сказал Деревянко. — Так и запишите, Рима Георгиевна: связаться с институтом и координировать работу. Друг другу мы сможем многое подсказать.

Женя не набралась духу расспросить о впечатлении, которое произвело её выступление. У неё самой остался неприятный осадок. И дело не в том, что Яхонтов, быть может, обиделся. Дело совсем не в том. Деревянко... В глазах Деревянко ей хотелось бы остаться решительной и принципиальной, принципиальной прежде всего...

Единственно, что успокаивало, это настроение Степана Тимофеевича. Он был удовлетворён ходом заседания. И снова — тотчас же после споров, резких слов, острых реплик — планы. Планы на завтра и на послезавтра. На год, на два, на пятилетку. Деревянко так и сказал Жене:

— Вы, как человек рабочий, должны в первую голову помочь кафедре. Будете нашим полпредом там, на заводах...

Последующие дни были заняты организацией комплексной бригады. Эту бригаду возглавил Гордиевский. В неё должны были войти университетские научные работники, специалисты из института металлов и производственные инженеры. Женя несколько раз ездила на завод договариваться и на месте уточнить планы бригады.

Так прошёл октябрь. На факультете провели лекции для первокурсников, встречу с выпускниками, астрономическое наблюдение, общегород-

ской студенческий вечер. В городе заговорили об университете. Спрашивали: «Что сегодня в университете?» Историки, филологи, химики, географы интересовались: «Что сегодня на физмате?»

— Всё идёт правильно, — радовался Виктор.

Нина пропустила несколько лекций по теории сплошных сред и попросила Женю помочь ей.

О Нико Нина сказала:

— Это хорошо, что такие люди в армии. Я даже как-то увереннее себя чувствую. Увереннее в международном масштабе.

Женя рылась среди книг, отыскивая програмку по курсу сплошных сред. Она ещё не начинала своих объяснений, но уже увлеклась и мысленно набрасывала план: как рассказать проще, короче, яснее.

Нина возилась с Аликом.

— Ивнев советует мне специализироваться по теоретической физике, — сказала она, размышляя вслух. — А я, оказывается, не умею абстрактно мыслить. Я читала по учебнику и плохо поняла. Завидую людям, которые никогда в себе не сомневаются.

Женя продолжала перелистывать книги.

— Вот, например, Борису, — заметила Нина. — А я не знаю, выйдет ли из меня толк.

— Почему же?

— Да так. Всякие мысли. Гляжу на наших девочек. Спрашиваю: «Зачем пошли в университет?» — «Чтобы получить высшее образование». Но это ведь очень общая фраза. За каждой такой фразой — живой человек со своими интересами. Свои стремления, свои планы, своя жизненная философия. Мне Ивнев в шутку предсказал мою судьбу. Он сказал, что я выйду замуж, у меня будет трое детей, не больше не меньше, и физика забудется, как сон.

— И ты ему веришь?

Нина погладила Алика по головке, привлекла к себе, спрятала лицо за его фигуркой.

— Насчёт физики? Никогда. Но мне порой снится, что у меня сын. Точь-в-точь как Алик. — Она осторожно разжала ручки мальчика, высвободила растрёпанную голову и отбросила назад волосы. — Нет, я буду работать так, как ты. И вообще — я уже всё решила. То есть, мы решили. Володя, наверное, поступит в аспирантуру. Я окончу университет. Мы уедем в такое место, где и он и я сможем работать вместе.

Спохватилась:

— Мы болтаем, а время идёт. Я тебя задерживаю. Можно бы Виктора попросить, но он занят, по вечерам зарабатывает чертежами. А с Борисом заниматься не хочу...

— Почему? — спросила Женя настораживаясь.

— Он стал какой-то странный. Что-то хочет сказать мне, и не может.

Нина решительно встала, подчёркивая этим, что ей не хочется продолжать разговор.

— Давай, Женя, перейдём к делу.

— Ну что ж, перейдём к делу.

Поздно вечером, взявшись за свои учебные папки с материалами диссертационной работы, Женя наткнулась на книги Нины. Экая рассеянность! Забыла, а завтра будет бегать по общежитию, искать.

Среди книг оказалась толстая, с твёрдым картонным переплётом тетрадка, исписанная круглым почерком. Женя перелистала её. Почерк Володи. Вероятно, дневник.

Она отложила было тетрадь в сторону, но её заинтересовал заголовок: «Записки учителя». Не похоже на дневник, скорее беллетристическое произведение. Поэтому она с лёгкой душой перелистала тетрадку.

«От железнодорожной станции — этого тополиного оазиса посреди широкой и скучной степи — тянется дорога в районный центр К. Эта широкая пыльная дорога напоминает гибкое тело огромной змеи, особенно, когда сидишь в кабине тряского грузовика и перед тобой за стеклом, покрытым мутными следами вчерашнего дождя, быстро и неожиданно распрямляются крутые повороты и блестят на солнце мелкие утрамбованные камешки. По небу плывут осенние облака, похожие на гигантские корабли, а степь напоминает море, волнуемое...»

Женя пропустила страницу.

«...Эта широкая степная дорога уносит меня так далеко, что невольно сжимается сердце и кажется, будто нет уже ничего позади — ни станции, ни поезда, ни города, ни университета, а только эта дорога и то, что там, впереди, за голубой чертой туманного горизонта, в незнакомом месте, где придётся жить очень долго, может быть, всю жизнь. Меня уносит вперёд дорога жизни...»

Бедный мальчик, — улыбнулась Женя — В первый раз уезжает так далеко из дому.

«...Я вспоминаю дом, наши большие прохладные комнаты, кабинет отца, картину Шишкина над письменным столом, плюшевого зайчика, который хранится, как реликвия, потому что этим зайчиком я играл, когда мне было три года...»

Когда-нибудь Алик уедет очень далеко, и у Жени останется его зайчик. Нет, Алик не будет таким, как Володя. Ему будут безразличны плюшевые зайчики. Он — в Женю. А Женя всегда и везде чувствовала себя как дома.

«Дорога огибаёт заросшую ряской речушку, перебегает через мост и врывается на окраину зелёного городка с беленькими одноэтажными домиками и кудрявыми фруктовыми садами, в которых всё ещё молодое и зелено, несмотря на то, что уже сентябрь. Но голубое небо и яркая зелень не могут обмануть, и чувствуется что-то фальшивое в этом нарочитом блеске природы, какой-то обман, игра в лето. Сентябрь — самый грустный месяц, потому что ещё очень жалко лета, тем более, что следы его легко ощутимы. А когда наступит октябрь, люди свыкнутся с мыслью о зиме и забудут о горячем солнце. Сентябрь, как женщина в тридцать пять лет».

Женя насмешливо поджала губы. Нашёлся знаток женской психологии! Но вероятно, Володя всё-таки знаток женской психологии — Женя подсчитала, сколько лет ей осталось до тридцати пяти. Улыбнулась. Какие глупости!

Есть люди, для которых не существует старости. Люди, которым некогда даже подумать о старости. Анна Ивановна с её широким кругом интересов, Деревянко...

Женя перелистала ещё несколько страничек. Мысль у Володи развивается очень медленно, на каждом шагу срываясь в какое-нибудь новое воспоминание. Эти воспоминания уводят повествование далеко в сторону. Никак не доберёшься до места, где пойдёт рассказ об учителе.

На шестой странице «Записки» обрывались. Следовали три звёздочки, потом фраза, написанная крупно и косо и тщательно зачёркнутая. Внизу приписка: «Не получается!» и цитата из Пушкина: «И в поэтический бокал воды я много подмешал».

Остальные страницы тетради заполнены обрывочными записями, сделанными, повидимому, в разное время.

«Сегодня у нас состоялось комсомольское собрание совместно с преподавателями. Решили просить правление артели выделить нам, школе, два опытных участка. Будем привлекать учеников к сельскохозяйственным работам. Начиная с четвёртого класса. Не знаю, что из этого выйдет».

«Получил письмо от Черкашина. Грустно. Там жизнь идёт своим чередом. Какой я дурак: ревновал Витьку к Нине. Да и сейчас ревную. Вот когда стану похожим на него, тогда и прекратится ревность».

«Меня учили строить урок так: опрос — потом изложение, или наоборот: изложение — опрос. Но я сейчас буквально задыхаюсь в этой схеме. Вернее, задыхался. Я решил попробовать по-другому. Урок — это творчество. Помнишь, Ниночка, мы говорили с тобой о творчестве? Я надеюсь, что мне удастся применить стройную систему методических приёмов. Уже поздно, хочется спать, но я попробую набросать то, что приходит в голову. Во-первых, урок-изложение. Это основное. Затем урок-упражнение, урок-экскурсия, урок—лабораторное занятие, повторительно-обобщающий урок. Ей-богу, будет интересно. Нужно организовать работу мысли ученика так, чтобы было постоянное восхождение вверх».

«Оказывается, жито — то же самое, что рожь».

Володя начинает делать научные открытия!

«Сегодня состоялся вечер в школе. Я сидел в президиуме и вспоминал университет. Потом немного выпили, и я даже танцевал. Но я ни на кого не могу смотреть, кроме Нины. Вернулся домой поздно, вероятно, около двух ночи. Вышел в коридор, а в соседней комнате у Г. забыли выключить радио. Какая-то музыка, звуки рояля. Кажется, Лист. Я постоял несколько минут, хотя мне было холодно. В конце коридора серебряным блеском светилось окно. С вечера оно замёрзло, а теперь медленно оттаивало. Вероятно, будет оттепель. Волнистой линией обозначились границы льда на стекле. А там, где оттаяло, видно светлое небо, белые крыши, огоньки.

Мне не хотелось уходить из тёмного холодного коридора. Лист. Что-то очень знакомое. По-моему, это самое играла однажды Тамара. Далёкий город, далёкая юность, далёкая Нина возле блестящего рояля. Туда уже не вернёшься: рубикон перейдён. Остаётся дронуть в темноте и слушать музыку. Да, будет оттепель, утром не пройдёшь в валенках. Когда-то очень давно тоже была оттепель, мокрый снег, туман. И девушка, которая теперь так далеко. Впрочем, может быть, лучше, что она далеко. Любви пристало быть грустной».

Ну, это положим! Любовь! Женя заломила руки за голову.

«Друга можно встретить только раз в жизни. Сегодня написал об этом письмо Нине на пяти листах. Я больше не могу без неё. Мне хочется, чтобы она слышала каждую мою мысль».

«В сорок первом году все ушли на войну, а я эвакуировался и учился. Мне кажется, что в те годы я ничего не узнал нового, будто остался в том же классе на второй год. Да, я — второгодник. Значит, нужно наверстать. Мне постоянно вспоминаются слова Черкашина, сказанные той весной, когда я кончал университет: «Судьба тебя хранила и не сталкивала с трудностями». Что это значит? Это значит: не думай успокаиваться, не воображай, что ты очень хороший и умнее всех. В горе, в несчастье, в крови и в огне познаётся и обнаруживается красота. А если ты не прошёл этого огня и не испытал этого горя, то какое же ты имеешь право говорить о красоте? Ты просто-напросто десятиклассник, случайно проскочивший на испытаниях, отделившийся

лёгким испугом во время экзамена на аттестат зрелости. Я верю, что мне удастся испытать себя. Я верю в подвиг».

Внизу приписка:

«Если ты, Ниночка, когда-нибудь сие прочтёшь, то знай, что вышеизложенное есть плод недоразумения. Противно читать. Болезненное самолюбие — не более. Здесь пахнет проповедью какого-то толстовского самоусовершенствования. Я ленив, но всё-таки выписываю точные слова Макаренко: «Чем ближе мы будем к простой прозаической работе, тем естественнее и совершеннее будут и наши поступки». Вот, по-моему, и вся мораль».

«Итак, у нас организовано звено высокого урожая. 23 человека — 10 гектаров. В районе сказали: не своим делом занялись, посмотрим, что на экзаменах будет. Но И. Н. — преподаватель естествознания и страстный поклонник академика Лысенко — произнёс длинную речь о хлебе и как будто успокоил районовцев. Во всяком случае, всё теперь повисло на нашей шее».

«Я когда-то думал, что уехать навсегда из города с его театрами, библиотеками, музеями — для меня вариант невозможный, подобный духовной смерти. С детства меня считали натурой разносторонней — вот таким, какой является Нина. С течением времени я постепенно убеждался в этой порочной мысли, скользя, как выражается наш завуч, «по верхам» и оставаясь, в сущности, равнодушным ко всему. С тех пор, как я приехал сюда, многое во мне изменилось, а самое главное — это то, что я понял некую — пускай абстрактную — сущность своего характера. Я понял, что должен уйти с головой в своё, невыдуманное, настоящее дело. И что при этом я многое потеряю в глазах посторонних людей и даже с их точки зрения отстану от жизни (так бы мог сказать Б. Ивнев), но зато выиграю целую жизнь».

Неплохо сказано, отметила Женя. А что же дальше?

«С Ниной у нас было множество споров на этот счёт, потому что она всё время старается толкать меня в разные стороны. Она непременно хочет, чтобы я чувствовал то же, что чувствует она. Если ей нравится пёска, то эта пёска обязательно должна нравиться и мне. Если ей нравится закат, то и я должен восторгаться этим закатом. Она забывает, что именно ей на 80 процентов принадлежит идея толкнуть меня сюда, в эту глушь. Сперва, конечно, Нина не думала ни о чём, кроме простого и обязательного для всякого — в том числе для меня — гражданского долга. Я уехал из города, тоже исходя из этого, тогда ещё не совсем осознанного чувства. Нина однажды сказала мне, что в наше время человеку даны права на всё и что только тогда можно почувствовать настоящее удовлетворение, когда, памятуя о своём долге, приложишь ко всему свой ум и свои руки. Она упорно хочет ехать куда-то после университета на том основании, что её грызёт мысль об узости горизонта. Она прямо так и сказала:

— Я не успокоюсь, пока своими глазами не увижу озеро Байкал!

— Почему именно Байкал? — спросил я.

Оказывается, Байкал — это символ, а в сущности её тянет на новые места, к новым людям...

Я ей посоветовал перейти на географический или же геологический факультет (в шутку, конечно!).

Иногда боюсь, что по милости её характера ничего не выйдет из увлечения теоретической физикой. Хотя я и не компетентен, но представляю эту область сплошной, скучной, раскалённой пустыней Сахарой, в которой, кроме верблюдов и миражей, не встретишь ничего: одни облечённые в воздушные одежды абстракции, понятия, расчёты.

Пускай идёт в школу, ибо общение с людьми, особенно совсем молодыми, непосредственными, поддающимися влиянию, — это и есть тот Байкал, о котором она мечтает».

«За последнее время несколько раз меня ужасно тянуло к стихам. Я сажился за стол, раскрывал тетрадь, но убеждался в том, что не могу написать ни строчки. Тогда я спрашивал себя: о чём же я собираюсь писать? О любви. И я начинал очередное письмо Нине. И так, стихи о любви не получаются. Я понял, что они не получаются по той причине, что я счастлив. Поэзия достигнутой счастливой любви — удел гениев. Но так как я не гений, у меня может получиться только что-то грустное, потому что миллионы посредственных поэтов всегда говорят о любви с грустью».

Приписка:

«А вообще — я бы написал не хуже, чем сейчас пишут, но не везёт».

«В наших краях осень тянется долго. Я как-то бродил с И. Н. после уроков. Он мне не товарищ, ему уже лет пятьдесят. Но интересный человек. Проходили по жнивью. И. Н. сказал, что если жнивье так и оставить всю осень нетронутым, то оно может превратиться в главный источник засорения полей. Осыпавшиеся до уборки или после уборки семена сорняков остаются на поле. Поздней осенью или весной они запахиваются в почву. Это первое. А второе — так называемые пожнив-ные сорняки: куриное просо, курай. В течение осени они буйно развиваются и успевают обсемениться. И. Н. сказал, что весной нужно брать хорошо перепревший, а не свежий навоз для удобрения. Иначе вместе с навозом в почву попадёт много сорных семян».

Ниже нотабене:

«Бактериальное удобрение — азотоген».

«Предпосевная культивация зяби». «Кулисные пары — это такие, стебли которых на зиму не убираются и служат для задержания снега». «Повилка — сорняк, занесена к нам из Америки».

Женя, заскучав, перелистала несколько страничек.

«В университете меня могли обвинять в чём угодно, только не в отсутствии литературного вкуса. Я в этом был уверен. А сейчас задумываюсь: что значит иметь хороший вкус? Для меня это важно, ибо ребятам приходится советовать, рекомендовать то или иное произведение. Я, конечно, слежу за газетами и в курсе общественного вкуса. Но почему мой собственный вкус иногда расходится с общественным? Не люблю, например, книг, в которых всё просто. Человек тогда интересен, когда в нём происходит внутренняя борьба и всякие психологические тонкости. «Быть или не быть» — вот титульный лист всех «ста томов» человеческой литературы».

«Сегодня первый хрустальный весенний день. Когда-то в такой день мы ездили с Ниной в парк...»

Женя вздохнула.

«...Помнишь? Какой был бурный разговор. Ты сказала: «Помни одно, Володя в какое мы живём время. Нельзя думать только о своём счастье». Ты придумала обидное слово: «Философия улитки». Сегодня твоя улитка вместе с учениками обходила квартиры, ведрами носила золу на свой участок. И. Н. притащил санки, но уже тяжело на санках. Таёт».

Завели тетрадь, регистрацию, сколько кто внёс золы для удобрения пшеничного поля. Будем начислять трудодни. Надеюсь, что экзамены пройдут хорошо. Вчера на уроке М. задал мне вопрос: почему у Толстого и Тургенева всё так хорошо сказано о природе, об охоте, о том,

как герои играют в карты и проигрываются, влюбляются и стреляются на дуэли, а вот о том, как они работают, служат — почти ни слова. Я ответил, что об этом буду говорить в следующий раз. Я ответил так не потому, что не знал, как объяснить. Нет, я решил, что это очень важный вопрос, и я должен посвятить ему целый урок. А пока — разговоры о хлебе, об урожае. Да, хлеб — это сила. Хлеб — это одна из лучших целей жизни».

«Разлука существует на свете для того, чтобы дать возможность людям осознать, что такое любовь».

Неправильно! — почти вслух возмутилась Женя

«Был в городе, в университете. У них всё то же: матчи на первенство вузов, экзамены, библиотеки, помощь отстающим. Чувствовал себя старше всех остальных. А потом — грусть. Чёрт возьми: никогда уже детство не вернётся. Полчаса походил с гордо поднятой головой и повесил нос. Завидую Майе, которая всё время вместе с Ниной. Майя попрежнему блистает, но с ней неинтересно, она слишком простая. Какой-то упрощённый, слишком элементарный вариант девушки. С Тамарой поздоровался, как старый знакомый. Но довольно странное ощущение: в её присутствии почему-то теряюсь».

Она как-то приезжала к нам, в район, с концертной бригадой. Я в музыке не особенно разбираюсь, но одно могу сказать: играет не плохо. Женщины любят журчание ручейков, а у неё — гроза, молния, ливень, битва, война, победа. Сначала мне показалось, что она с претензиями, а теперь вижу: она с чувством. Хотел с ней поговорить вообще об искусстве, но не решился: она необычная, если ей будет не интересно — может встать и уйти.

Чемезов молодец, герой. Ордена — за войну, и счастье — за мир. Два часа разговаривали о спорте. А Муся сладенькая, всем улыбается одинаково. Правда, она посмелела, научилась болтать. Но она не сама по себе. Тамара — сама по себе, а она нет. Её теперь трудно представить без Чемезова. Невольно задумываешься: где тайные пружины, которые толкают людей друг к другу? Как бы она, Муся, жила без Чемезова? Не представляю себе. А как бы я жил без Нины? Впрочем, это представляю. Я был бы в тысячу раз хуже, чем есть сейчас, но жил бы.

Что для меня Нина? Это всё: и женщина, и невеста, и жена, и мать, и сестра, и совесть — всё. У Виктора с Тамарой не так. То есть не то, что не так, а то, что — наоборот.

Нина говорит, что дружит с Масловой. При моём характере я её просто боюсь: влюбишься, а потом будешь стишки писать, а она даже и не поглядит в мою сторону, предпочтение военным».

Женя недоверчиво перечла последние строчки. О ком это он? Неужели о ней? Она расхохоталась.

Ничего себе мнение: «Предпочтение военным»!

«Вчера весь выходной день провели на снегозадержании. Ребята со мной откровенны и рассказали, что заготовили для экзаменов шпаргалки. Я передал это преподавателям: мол, смотрите в оба. Правильно ли я сделал? Нет, не правильно. Мне нужно было поставить об этом вопрос на комсомольском собрании. Вообще я как-то смущаюсь или боюсь этих собраний. Коля П. из 9-го «а» снова перестал учиться. Я должен заняться Колей. Иногда я теряюсь: не слишком ли много внимания уделяю отдельным ребятам?»

Я думаю, что моя главная задача — воспитывать всех, а не приводить в порядок отдельные личности. Но как я могу воспитывать, если я сам ещё не такой, каким должен стать?»

«К заведующему больницей приехала племянница из Москвы. Очень интересная, даже слишком. Я ещё никогда не встречал таких... Кончат юридический институт. Зина».

«Мы делаем новое дело. Это очень весело и даёт огромное моральное удовлетворение. Пришкольные участки существовали и раньше. Но как велась на них работа? Несколько жалких грядок, мнение вокруг всего этого не организовано, никто особенно не интересуется, возделываются такие культуры, которые школьник в своём районе и не увидит. Никакой связи с колхозной практикой».

Мы делаем иначе. Мы стремимся привить навыки местных культур. Науке стыдно плестись в хвосте. Наука должна шагать в первых рядах и, прежде всего, помогать людям жить».

Правильно, — одобрила Женя и пропустила страницу.

«Этот вечер я запомню на всю жизнь. Тридцатое мая. З. уезжала поздно ночью. До двенадцати — блуждание в темноте, запах акации и разговоры, разговоры, разговоры. Что касается...»

Дальше полстраницы зачёркнуто, а потом — переписанное уже, видимо, набело — стихотворение. Даже есть название: «Прощанье». Интересно!

Ещё одно прощанье. Сколько их
мне суждено под этим небом встретить—
печальных, неожиданных, таких,
которых знать не хочет кто-то третий?
Нам холодно. Мы вышли налегке.
Чего же медлить? Ждут уже колёса.
Уже на папиросном коробке
московский телефон записан косо.
Уж полночь, если верить небесам.
Как беспощадно быстро вечер прожит!
Я позвоню. Когда? Не знаю сам.
Быть может, через год, а то и позже.
Темнеет небо — тусклое стекло.
Акацией цветущей мир завален.
Езжайте. С богом. Время истекло.
Я буду вечно мчаться вслед за вами.

Женя перечла ещё раз. Что-то знакомое, где-то она уже слышала подобное. «Ещё одно прощанье» — это, конечно, поза. «Кто-то третий» — плохо, оскорбительно. «Мы вышли налегке» — это похоже на правду, такое не выдумаешь. Папиросный коробок, московский телефон — тоже правда. Жене стало жаль Нину. Ведь она читала эти стихи. А впрочем... Выдумка, выдумка, выдумка. Любви идёт быть грустной! Ерунда

Несколько секунд задумчивости. «Езжайте.. Время истекло». Всё-таки: как похоже на правду!

Женя прошептала: «Я буду вечно мчаться вслед за вами». А вдруг Володя действительно поэт? Иначе каким же образом так ясно и ощутимо передалось его настроение Жене? Нет, совпадение, совпадение — и всё. Она вздохнула. «Я буду вечно мчаться вслед за вами».

Машинально перелистала несколько страничек.

«И. Н. сказал: «Будем завтра пахать. Большое дело — ранние пары». Он ожидает прибавки урожая на 40 процентов».

Нотабене:

«Прочесть о ранних парах».

«Уже начинают думать об урожае будущего года. И так везде и во всём люди вглядываются в завтрашнее утро. А я когда-то почти верил в *saure diem!*»

«Третьего дня я поймал себя на важном. Неделю назад дал Г. почитать одну книжку, которую сам читал давно и которая тогда произвела на меня большое впечатление. Г. книжка не понравилась, не дошла. А это ведь самый начитанный и умный мальчик во всём 10-м классе «а». Я задумался над этим случаем и пришёл к выводу, что мне самому нужно пересмотреть свои вкусы:

а) с точки зрения воспитательной,

б) с точки зрения установления истины для себя.

Первым делом я перестал доверять своему вкусу и решил до поры до времени помолчать. А сам между тем погрузился в дебри эстетики. К сожалению, нас учили этому мало. По межбиблиотечному абонементу я выписал Чернышевского (тратить время на Гегеля, Канта и пр. не имею возможности). Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин у нас есть.

В итоге две толстые тетради конспектов, лекция в районном клубе (вбил всех наповал!) и несколько докладов в школе.

Теоретический геперь дело обстоит лучше, многое прояснилось, хотя и не до конца.

Хороший литературный вкус, по-моему — это синоним хорошего знания того, что тебя окружает. Буду в городе — поговорю с Ниной. Раньше мы очень много спорили на эту тему, а теперь я предвкушаю удовольствие видеть круглые от изумления глаза Нины, когда я выложу своё новое мнение.

Во-первых, мне стали неприятны всякие стихотворные выкрутасы, рассчитанные на таких, как я (в прошлом). А таких можно перечесть по пальцам.

Во-вторых (это сложнее), главная черта наших сегодняшних людей — это героизм (чего нет во мне), а не «быть или не быть» (что было во мне).

И вот я — некая белая ворона, — исходя из своих субъективных качеств, опираясь только на свой жизненный опыт, считаясь только со своим складом ума, отгораживаясь от всего, что есть не «я», — решил (возомнил), будто мой вкус — это и есть образцовый литературный вкус. А на самом деле это не вкус, а составленная по западным рецептам кисло-сладкая жвачка, которая прилипает к зубам, и её не удаётся выплюнуть.

Горжусь смелостью, с какой расправился со своим собственным вкусом. Завуч нашёл, что у меня ораторские способности.

Женя пробежала глазами ещё несколько записей. Какие-то цифры, подсчёты, заметки, сделанные явно на ходу:

«Доклады для педагогических четвергов: 1) определение и задачи логики, 2) воспитание внимания, 3) мораль коммунистическая и мораль буржуазная».

Опять патетические вздохи:

«Как я мало знаю!» «Я — второгодник». «Что же такое подвиг?».

Женя поймала себя на том, что ищет стихи. Но стихов больше не было. Только в самом конце тетради, среди бесчисленных нотабене — неразборчивое, с перечёркнутыми словами четверостишие. Женя разобрала его не без труда.

С обнажённым оружием посты
у Октябрьского знамени замерли.
Я хочу быть солдатом простым
в карауле у этого знамени.

Больше ничего она не читала.

Возвращая тетрадь, Женя призналась Нине:

— Я кое что прочла, ты не сердишься?

Нина ничуть не смутилась:

— Хорошо, что я у тебя её оставила, а не на факультете.

Вот и наступила зима. В начале декабря закрутили метели. На крышах домов выросли обгоченные ветром белые глыбы снега. Ветер то стихает, то усиливается. Снежная пыль крутится у карнизов зданий. Поглядишь в окно, и кажется, будто город дымится.

Алик потребовал, чтобы Женя научила его ходить на лыжах. Лыжи! Экзамен по спецкурсу неумолимо приближается. Хорошо, завтра схожу в магазин, куплю лыжи, выйдем во двор.. Что? Почему же не во двор? А куда ты хочешь?

Алик слышал: Чемезов обещал взять Мишку в парк. На лыжную базу. Подходящее слово для такого карапуза, как Алик!

Женя на всё согласна. В воскресенье поедem за город.

Но тут вмешивается Чемезов.

— Что-что, а физическое воспитание можете мне сполна доверить. Мальчишек прихвачу с собой.

Жене не понравилось это «прихвачу».

— Значит, вы будете заниматься там, в парке, своим серьёзным делом, а ребята — болтаться?

Чемезов обиделся не на шутку.

— Уж если я их беру, Евгения Васильевна, то можете быть уверены... Мы с Мусей физическому воспитанию придаём большое значение.

Действительно, в воскресенье Чемезов поехал с малышами в парк, на лыжную базу. А работы у него много. Женя присутствовала при его разговоре с Фёдей Карпенко. Ушёл из университета заведующий кафедрой физической культуры и спорта — послали в Москву учиться.

Федя предложил Чемезову взять на себя руководство этой кафедрой.

В синем лыжном костюме с эмблемой спортобщества «Наука», Чемезов мягко, слегка раскачиваясь, прошёлся по кабинету. Но голос резкий:

— Нет, не выйдет. Рано. Я уж как-нибудь, на рядовой должности.

Федя, следя за Чемезовым своим пристальным, сверлящим взглядом, неспеша втолковывал:

— Советовались мы, обсуждали. Пока, кроме тебя, никого на горизонте не видно. Девушка эта... как её фамилия? Забыл! Та, что на историческом орудует. Не потянет. Как думаешь, не потянет?

— Нет, не потянет,— ответил Чемезов, останавливаясь у окна и глядя во двор.

— Теперь дальше. Возьмём другую кандидатуру...

Перебрали всех. Федя терпеливо подводил Чемезова к мысли, что выбор сделан правильно.

— Нет, не выйдет.

— Выйдет.

Они несколько секунд глядели в упор друг на друга. У Чемезова упрямые, карие с желтизной глаза. А у Карпенко светящиеся умной силой зрачки. Рот он приоткрыл, видны крепкие, чересчур крупные зубы.

— Ты за меня расписываешься или я за тебя? — спросил Чемезов, не выдержав поединка взглядами.

Федя сжал губы. Жёсткие, с медным отливом щёки напряжённо

округлились — как всегда, когда он принимал решение наперекор своему собеседнику.

— Не хочешь понять необходимости — заставим.

— Что значит заставим? — повысил голос Чемезов. — Кто меня может заставить? Хотя и временно — не пойду. — Оглянувшись, он встретился взглядом с Женей и добавил тише. — Каких-нибудь триста рублей лишних, а неприятностей не оберёшься.

— Ты мне о рублях не говори, — сказал Федя спокойно. — Я твою натуру знаю. Какой из тебя рублегон?

— Это верно. Ты вон «Казбек» куришь, а я могу и попроще. Мне табак — не отрада. Но я люблю так: если уж прыгать, то с надёжного трамплина. А мешком в воду — поищи другого. Ты у меня сперва о моих личных планах спроси, а потом уж и сватай. А то из тебя сват плохой.

Федя поморщился.

— Эти личные планы где? Тут? — он обвёл рукой кабинет. — Или там, на стороне? — взмах в сторону окна.

— Ясно, тут, — ответил Чемезов.

— Ректор с тобой будет говорить — на дыбы не становись. Он, знаешь, этого не любит. Строгий.

— Знаю, — сказал Чемезов иронически. — С ним в десять раз скорее сговоришься, чем с тобой. Нет — так нет. Другого найдёт.

Федя поднялся из-за стола, потопал сапогами об пол: засиделся. С наслаждением, зажмурившись, потянулся, разгладил складки гимнастёрки у пояса, проверил пальцами, застёгнуты ли пуговицы на карманах.

— Ну, к чему же пришли? — спросил он, тяжело ступая вслед за мягко покачивающейся фигурой Чемезова. — Решили?

Тот с размаху шлёпнул ладонью о его ладонь, тряхнул руку и, взявшись за дверь, ответил, кивком головы прощаясь с Женей:

— Тебе так сразу, да? Дай подумать. С Мусей надо потолковать.

— Вот муж примерный, — усмехнулся ему вслед Федя. — Вот постановка вопроса, это я понимаю! Видишь, Женя, каких мужей жёны любят. — Он приоткрыл дверь и крикнул в коридор: — Привет Мусе, слышишь?

Вечером Чемезов рассказал Мусе об этом своём разговоре с Карпенко. Шёл семейный совет, и Жене захотелось вмешаться в него, но она не успела. Прибежала Муся. Но совсем не по этому поводу. Она крикнула с порога:

— Женечка, заходил Саша, спрашивал, нет ли у тебя книжки по физике? Забыла, как называется... я сейчас, у меня записано...

Муся поднесла к глазам полустершуюся записку, сделанную на оборотной стороне програмки какого-то спортивного соревнования.

— А самому ему трудно зайти?

— Да, знаешь, стесняется.

Книга у Жени нашлась. Но слово «стесняется» всерьёз обидело. Почему стесняется? Вероятно, в ней есть что-то, что лишает людей доверия к ней. А ей хотелось поближе познакомиться с Сашей, сблизиться с ним — теперь он становился олицетворением той конечной, далёкой, но вполне реальной цели, к которой она стремилась в своей диссертационной работе.

Саша появлялся у Чемезовых часто — круглолицый, румяный, почти безбровый, торчат вихры, воротник голубой трикотажной рубахи выложен поверх пиджака. Галстуков он не любил.

Анна Ивановна сердилась:

— Вот герой! Вечно душа нараспашку.

— А мне от людей нечего таить.

— Осень, гниль. Немудрено простудиться.

— Простужаются холодные люди. А я горячий, с огнём дело имею.

У Саши руки в мозолях и ссадинах. Но вещи он берёт необыкновенно ловко и любовно. Не как человек, для которого эти вещи предназначены, а как их создатель и мастер. Возьмёт какой-нибудь замочек, шкатулку, будильник — и долго изучает, оценивает, любит или осуждает.

Чемезов купил трансформатор для радиоприёмника.

— Вот теперь заговорит! — гремел его весёлый голос. — Теперь любую волну поймаем, как птицу в силоч.

Ему не терпелось испробовать радиоприёмник.

А Саша завладел трансформатором и любознательно вертел его в своих ловких руках:

— Повремени, успеешь. Новая модель. Интересно познакомиться.

Жене приятно было глядеть на Сашу. Её сердце теплело. Он напоминал ей завод, трудные и не совсем счастливые, но всё-таки навечно памятные годы труда, настоящего взволнованного труда, первый самостоятельный выход в жизнь.

Она допытывалась у Саши:

— Как у вас? Большие перемены после войны? Шагнула техника? На автоматическое управление переходите?

— Ясно, новая техника не спит, — отвечал Саша, почему-то напуская на себя равнодушный вид — Завалочные машины теперь попарно на каждую печь работают. Ну, потом — машина для заправки. В разливочном пролёте тоже кой-какие завелись новости.

— Нелёгкая у вас работа, — продолжала Женя, пытаясь нащупать такую тему, которая заставила бы Сашу преодолеть стеснение. В мартеновском производстве её больше всего интересовала шихтовка, раскисление.

Но Саша неохотно поддерживал разговор.

— А я раскислением не ведаю. Мне готовый расчёт дают, и всё. Там у нас сменный инженер есть, обермастер...

Муся похвасталась, что у неё в этом месяце процент выполнения плана выше, чем у брата. Жене показалось, что она тоже хочет расшевелить Сашу.

Но Саша сказал снисходительно:

— Нам почему трудно? Мы к нормам уже привыкли. А она, — он кивнул на Мусю, — она свеженькая. Её запри куда-нибудь отдельно ото всех, да прикажи: вот столько-то оборотов дай, такую-то норму. Бывалый человек, может, и ахнет. А она нормы не знает, ей всё одно. Приладится, и пойдёт себе план выполнять!

— Ага, — обиженно сказала Муся. — Вы, значит, теоретики. На пределах бороды себе отрастили.

Саша робко поднял на Женю свои бирюзовые и даже в эту минуту застенчивости весёлые глаза:

— Другой человек не осознаёт, к чему способен. И поначалу трудно ему осознать. А основное в работе — это уверовать в свои возможности. Уверуешь — и стоишь на том, не сдвигаешься ни в какую. Назад — нет ходу. Вперёд — пожалуйста.

Быстрый и ловкий в работе, Саша говорил неспеша, с прохладцей. Только глаза смеялись, а лицо оставалось неподвижным. Большие тяжёлые руки со сжатыми пальцами мирно лежали на столе.

— Да, — сказала Женя. — Верить в себя — это очень важно.

Саша вежливо помолчал. В присутствии Жени он старался оставаться в тени.

Верить! Тем и неприятен был Жене Галич, что вдруг разуверился во всём: в своих способностях, в своей работе, в самом себе. Он как бы обменялся с Пересадой ролями. Когда дела шли успешно, радостно возвещал о каждой мелочи. Теперь не ладится — и он молчит.

Диссертация у него не получалась. Ему давно бы защищать пора, а результатов всё нет и нет.

Яхонтов волновался. Именно волновался, а не сердился. Даже на время оставил свои обычные насмешки. Сугубо официальный тон. Прямо с порога — к установке Галича:

— Что слышно?

Может быть, Яхонтов затаил обиду на Женю? Вероятно, затаил. Но он слишком высокомерен, чтобы высказаться. С Галичем он тоже не говорил о недавних факультетских событиях. Теперь уже ни для кого не секрет, каких взглядов придерживается Илларион Митрофанович. Его крепкое убеждение: аспирант обязан заниматься экспериментами, а не ораторствовать и блистать на дискуссиях. Здесь ваше место — в лаборатории. Здесь и блистайте.

Именно потому, что Галича постигли неудачи в работе, Жене снова стало его жаль. Спецкурс она уже подготовила. Конспекты не нужны. Но когда Галич предложил ей свои старые тетради, она не отказалась, чтобы не обидеть его. Пусть полежат в ящике стола.

Ежедневно Галич интересовался:

— Ну как? Когда пойдёшь на исповедь?

Осторожненько, с опаской поглядывая на неё, он пытался сказать ей приятное:

— А по тебе не видно, что экзамен у порога.

Женя сказала ему однажды:

— Семён, почему ты ходишь такой опущенный? Это совсем не по-мужски.

Он покраснел, вздёрнул плечами и, пряча от неё лицо, отошёл своей подпрыгивающей походкой.

Через минуту он вернулся с сияющим лицом.

— Это правильно, Женя. Это справедливо — то, что ты сказала. Спасибо за прямоту. Другие отворачиваются. Шадят. А что толку? Безмолвствовать не трудно. Лучше сказать. И мне легче.

Женя поглядела на него удивлённо.

Глаза совсем маленькие, глубоко спрятались под бровями. А лицо такое энергичное, что даже немножко вытянулось и удлинилось. Победоносная улыбка. Что с ним? Только сейчас понял самого себя?

— Всю жизнь всё у меня катилось гладко,— продолжал Галич. — В первый раз свалился в яму. Сам виноват, знаю. Но не привык к падениям. Растерялся. Где искать, как искать?

Последних слов его Женя не поняла. Он прижал к груди стиснутые кулачки, добавил не без торжественности:

— Дал себе слово. Никогда в огонь без надобности не лезть. Обжётся, и хватит.

— Плохой из тебя солдат,— неожиданно сказал Пересада.

— А я не солдат,— с раздражением ответил Галич.

— Ну, всякое может случиться.

Семён поспешил перевести разговор:

— Я всё-таки извинюсь перед ним, перед Гордиевским.

Он, вероятно, и в самом деле извинился. Его отношения с Гордиевским стали постепенно налаживаться. Через несколько дней Женя

увидела в коридоре Бакеева, который тоже довольно мирно беседовал с Галичем.

Яков Платонович шагал широко, не сгибаясь. В одной руке — очки, другая — словно пришита к длинному туловищу. Очки он держит двумя пальцами, на уровне плеча. Глаза улыбаются, а умное тонкое лицо бесстрастно. Узкий короткий пиджак, узкий галстук, узкие полосатые брюки.

Весь он какой-то узкий, особенно рядом с круглым, запыхавшимся, мелко шагающим Галичем.

У них безобидный разговор.

— Сердце надобно лечить. Нарзанные ванны, например. Для начала можно местный д'арсонваль, хорошо успокаивает.

— Взойду на второй этаж, а оно гудит-гудит, — говорит Галич, глядя на Бакеева снизу вверх.

Бакеев улыбнулся Жене всем лицом.

— Как ваши успехи, Евгения Васильевна?

Женя не ответила на улыбку. Любезности. Кому они нужны, эти бездушные любезности?

— Медленно, но продвигаюсь, — ответила она неохотно.

— Медленно, но верно, — заторопился Бакеев. — Вот и правильно. медленно, но верно. Ваш патрон, кажется, доволен.

Да, Яхонтов доволен. Несмотря на ссору во время заседания кафедры — доволен. Сначала он боялся, что Женя запутается в наблюдениях, погубит тему диссертации. А теперь, когда она уже приступила к экспериментам и даже начала делать рентгеновские снимки первых результативных образцов металла, он заметно оживился

— Красиво, — говорил он, разглаживая толстым пальцем плёнку рентгенограммы. — Это уже большой плюс, если получается красиво.

Никто на кафедре не умел так оценить изящество эксперимента, как Яхонтов. У него была страсть к технически-тонко проведённым работам. Хвалил он редко, но всё-таки иногда ободрял:

— У вас, Евгения Васильевна, вырабатывается твёрдый почерк.

Да, нужно спокойно продолжать опыты.

Установка работает нормально. Под колпаком плавится очередной образец металла. Очищенное железо. Теперь введём азот. На столе лабораторный журнал. Женя отмечает в журнале температуру и продолжительность эксперимента.

Уже исписаны четыре страницы. Две из них испещрены красными птчками. Это значит, что к данным записям условий прилагаются соответствующие измерения, рентгенограммы.

Материалов всё больше и больше. Каждое утро Женя с гордостью их просматривает. У неё появилась жадность: побольше и поскорее!

Слишком мало времени. Слишком много собралось дел. А самое значительное из них — экзамен по спецкурсу. Нужно сдать его в начале января. Никаких отсрочек! И хоть диссертация движется вперёд, никак не сделаться от постоянного беспокойства.

Беспокойство делало Женю сосредоточенной и вместе с тем несколько рассеянной. Она старалась замкнуться в себе, использовать каждую минутку для того, чтобы обдумывать диссертацию, а по дороге домой из университета избегать случайных спутников.

То единственно правильное, радостное и счастливое будущее — в личном плане, — которое представляла себе Женя совсем недавно, превращалось в грустное воспоминание, в несбыщуюся мечту

Опять в мире существовало множество вариантов любви и счастья.

Опять можно было восхищаться судьбой Муси и Чемезова, завидовать Виктору и Тамаре, верить в Володю и Нину.

У Виктора Женя бывала не часто, но в его узкой комнатке всегда обдавала её приятная волна грусти. Всего один раз Женя встретила Нико в этой комнатке, но память навсегда сохранила каждую мелочь, каждую минуту того яркого июньского полдня.

Однажды в декабре, дожидаясь вместе с Женей трамвая, Виктор мимоходом сказал Жене:

— Да, пришло письмо от Вашакидзе. Тебе привет.

Женя почувствовала, как постепенно и обречённо краснеет. Всё гуще и гуще.

Она отвернулась, подставляя влажному ветру своё разгорячённое лицо. Почему так долго нет трамвая? Мокрый снег и серые ухабы. Маленькие малолитражные автомашины смежно зарываются в снег своими острыми радиаторами.

Виктор, конечно, заметил её смущение. Но он промолчал. Он — тактичный. А может быть, недостаточно внимательный? Может быть, разговор о Нико необходим Жене? Слишком долго она молчала. Даже наедине с собой.

Но Виктор молчит. И Вашакидзе молчит, не пишет. И Женя молчит, стиснув зубы. У неё есть сын и есть любимая работа. Вероятно, этого вполне достаточно для того, чтобы жить.

С неожиданным воодушевлением она занялась чужими делами. Да, именно теперь, когда дорога каждая минута и когда нужны сверхъестественные усилия для того, чтобы успеть сделать всё намеченное!

Она участвовала в семейном совете и проголосовала за Чемезова в роли заведующего кафедрой физкультуры и спорта. Она возилась с Мусиным сыном. Она объявила профессору Деревянко, что охотно возьмёт на себя миссию посредника между университетом и заводом.

Совсем недавно Тамара сказала: «Вы заходите к нам, Женя, заходите. Мне очень жаль, что у вас такое настроение».

Теперь Женя имела право спросить удивлённо: «Какое там настроение? Я живу. Понимаете, живу!»

Она жила в бешеном темпе — вовлечённая не без собственных усилий в головокружительно быстрый ход университетских будней. Её немножко обескураживала Муся. Она обливала её холодной водой. В голосе Муси появилась властная нотка:

— Женя, прекрати такой образ жизни.

— Но мне так нравится.

Да, ей так нравилось. Ей нравилась жизнь Виктора и Тамары. Знакомый ритм.

Муся всё обдумывает заранее: в воскресенье пойдём в театр, в среду — к маме, в субботу — учиться, надо сдать техминимум. Не то что план, а какой-то успокоительный распорядок. жизнь течёт нормально.

А у Тамары всегда неожиданные решения. Витя, пойдём в кино! Когда? На какой сеанс? Они начинают сговариваться. Оказывается, в шесть нельзя, в семь тоже нельзя, в восемь у Виктора бюро, в девять у Тамары выступление на радио, в десять что-то ещё. Но ведь существуют ночные сеансы? Существуют. В одном из кинотеатров самый последний сеанс в половине двенадцатого. Говорят, зал пустой, никто не ходит. А мы пойдём!

Они уславливаются встретиться возле кинотеатра. Не жизнь, а сплошные свидания.

В комнатке у них беспорядок. Книги лежат на полу и на под-

оконнике. Тамара шутливо обвиняет во всём Виктора. Он отвечает ей тем же.

— Пора заводить уют, — говорит Ивнев басом.

Но у Жени такое впечатление, что Черкашины спешат жить. Книги прибывают — это тоже жизнь. А шкафа нет, шкаф — это уже уют, а уют — потом, позже, после университета.

Об этом будущем уюте они говорят шутя:

— Купим буфет, потом купим ковёр, потом купим письменный стол.

— Нет, сначала письменный стол!

В прошлом году они несколько месяцев откладывали деньги на сберегательную книжку. А весной Виктор робко предложил:

— Поедем, попутешествуем?

Поехали на Кавказ. Шли по Военно-Осетинской дороге. Ночевали на турбазах. Тамара впервые увидела море. Теперь она бредит морем.

Как-то в выходной день Виктор купил на рынке позолоченный багет. Было, конечно, немало шуток: начинаем приобретать обстановку, не дожидаясь окончания университета. Долго спорили, как и куда его повесить. Что-то помешало: Виктор поставил багет в угол. Потом о багете забыли.

Пересада однажды спросил у Жени:

— Тамара — это кто такая?

— Жена Черкашина.

— Жена? — удивился Пересада. — А я думал так, барышня. Думал, что Виктор ухаживает.

— У вас ветхозаветное представление о супружеской жизни.

— У меня была жена, — сказал Пересада, наклоняясь над установкой. — На фронте погибла.

Он произнёс эту простую фразу твёрдо и спокойно. И Женья поняла, что он прячет в себе неутраченное страдание.

Выходя из университета, она столкнулась с Тamarой.

— Где Витя? Мне нужно с ним срочно поговорить.

Голос у Тамары взволнованный, а глаза очень тёмные — тоже от волнения. На шляпке — следы снега, из филармонии шла пешком и всё думала, думала, думала. О чём? Поблескивают серьги в ушах. Шляпка на тесёмочке, тесёмочка под подбородком, очень тугая, режет, и Тамара время от времени сердито дёргает за тесёмочку.

— Меня хотят включить в список... В мае будет всесоюзный конкурс молодых исполнителей. Я не знаю, почему именно меня! Но это хорошо, правда? Или я не смогу? Нужно готовиться, готовиться... Вот!

— Это очень хорошо, — сказала Женья убеждённо. — Мне кажется, что это очень хорошо.

— Но от нашего города я одна, понимаете?

Снова нетерпеливо дёрнула за тесёмочку, потом вдруг сняла шляпу, и ветер немедленно обсыпал её тёмные волосы сверкающей снежной пылью.

— Вот! Иду говорить с Виктором. Сейчас решим.

Быстрым движением она провела рукой по голове, словно отжимая волосы.

Отныне жизнь Черкашиных потекла ещё быстрее. Готовиться к все-союзному конкурсу, готовиться, готовиться!

Да, Женья прекрасно понимает, что значит готовиться. Теперь с Тамарой она виделась совсем редко; при встречах они улыбались друг другу. Улыбались, как два несущихся с горы лыжника, которые на бегу встретились взглядами:

— Хорошо?

— Ещё бы!

Тамара реже заходила в университет. К конкурсу она готовилась в консерватории. Ей пришлось отказаться от большинства концертов и гастрольных поездок. Виктор, наоборот, набрал массу чертежей. Это отчасти нарушало его деловые планы. Он никогда не жаловался Жене на это, но она прекрасно понимала и без слов. Она видела: Виктору всё труднее и труднее сохранять в себе ту сосредоточенность, с какой он и учился, и руководил бюро, и готовил работу для студенческой научной конференции. Пытаясь изображать наивную непосредственность, Женья старалась везде, где можно, заменять Виктора. Естественнее всего было это делать в бюро. Женья прощала себе свою вынужденную хитрость. Но всё же ей не удалось обмануть Виктора.

Он сказал ей в коридоре факультета:

— Я всё понимаю, Женья. И... спасибо. Только одно нужно установить. — На лице его появилось выражение решимости, он весело поглядел на Женю и быстро взял её за руку. — Давай уж в открытую! Делить всё поровну, чтобы тебе одной не тянуть весь воз.

Она, конечно, согласилась.

— Давай в открытую. Я согласна.

Виктор заговорил о физкультуре. Нужно, чтобы по спорту факультет стоял на первом месте. Возможности для этого есть. Вкус к спорту привит. Завтра заседание кафедры Чемезова. Хорошо бы войти в курс дела. Виктор непременно будет на этом заседании.

— Значит, в открытую? — повторила Женья. — Так вот: к Чемезову на кафедру пойду я.

Она пришла минут за десять до заседания. В мрачном коридоре старого университетского корпуса, рядом со спортзалом, стенка из коробящейся жёлтой фанеры отгораживала небольшую комнату физкультурной кафедры. В комнате уже сидели преподаватели, а Женья задержалась у двери, разговаривая с Ниной, случайно сюда пришедшей. В спортзале — занятия по гимнастике. Слышны монотонные отсчёты инструктора:

— Раз, два, три, четыре...

Конец учебного полугодия. К Чемезову бегают студентки с зачётными книжками. В раздевалке, тоже сколоченной из фанеры, девичьи голоса:

— Всего пять баллов нехватает, а он не хочет зачесть...

— Турник высокий, если бы ниже...

— Вы сдали бум?

— Чемезов, противный, новые порядки завёл...

— Безобразие! У меня без физкультуры практических по химии не принимают.

Нина оглянулась:

— Девочки! К чему эти разговоры? Как не стыдно... — Она поглядела на Женю озорными глазами. — Самый красивый предмет, а они не понимают.

Из-за фанерной перегородки — громкий голос Чемезова:

— Вы что, справку принесли? Освобождены? Во-время, во-время. — Пауза. Из спортзала: «Раз, два, три, четыре...» И снова Чемезов, только ещё громче: — А в начале учебного года о чём думали? А лечебная физкультура для кого — для меня? Вы на себя посмотрите!

Женья заглянула за перегородку. Перед Чемезовым — худенькая девушка с косичками. Коротенькое платьице, шёлковые чулочки, ножки тесно сдвинуты носок к носку.

— Посмотрите на себя. Что вы собой представляете? Одно дуновение. Почему? Потому что у вас на уме справки об освобождении, а о тренировке, о закалке тела у вас заботы нет.

Чемезов заметил Женю.

— Заходи, заходи, сейчас начнём.

Как-то сразу, неожиданно он стал называть Женю по имени и на «ты». Это ей нравилось. Она терпеть не могла, когда к ней обращались «Евгения Васильевна». Лучше уж, как Деревянко: «товарищ Маслова».

Чемезов пододвинул стул. Девушка, которую он только что отчитывал, с облегчением кинулась к двери. Но он вернул её с порога.

— Кто вам разрешил итти? Вы спрашивали разрешения?

Девушка потопталась на месте, потом тихо спросила:

— Можно, я пойду?

— Со второго полугодия — лечебная гимнастика. Поняли? Идите.

Чемезов возмущённо поглядел вслед девушке и произнёс с угрозой, ни к кому не обращаясь:

— Справки приносят, освобождения! Ничего, я ещё и до врачей доберусь. А вы, товарищи, повнимательнее присматривайтесь к этим... справочницам.

Чемезов всю женскую студенческую массу делил на две неравные части: хорошие девушки — и справочницы. Хорошие девушки добросовестно сдавали зачёты по физкультуре и посещали спортивные секции. Справочницы отлынивали от спорта. К хорошим девушкам он относился дружески, справочниц же презирал. Его отношение к студентам не зависело от того, в какое время он встречался с ними: в служебное или в свободное от занятий. Когда дело касалось спорта, он не признавал компромиссов.

— Товарищи, прошу внимания, — сказал Чемезов, мягко пройдясь по комнате и прикрывая дверь. Казалось, он объявил войну всякому шуму:

Начали обсуждать план работы спортивных секций на второе полугодие. Чемезов сидел у стола и считывал с тетради:

— По химическому факультету. Баскет: подготовить двадцать человек, из них два разрядника. Волейбол: тридцать человек, из них три разрядника...

Тут же, по ходу информации, разгорались споры.

— Два разрядника? А где их взять?

— В игре, — отвечал Чемезов спокойно. — Надо людей тренировать, готовить. Разбиться в черепки, а разрядников дать.

Молоденькая преподавательница физкультуры исторического факультета быстро вскочила на ноги.

— Ты говоришь, велосекция! А какая может быть велосекция, когда машин ещё не достали. — Она обернулась к присутствующим. — Где у нас машины? Нет их.

— Будут, — ответил Чемезов.

Женю сначала покоробил его тон — тон начальника, дело которого отдать приказание, а о выполнении пусть уж подчинённые побеспокоятся. Но это было обманчиво. Чемезов знал все самые мельчайшие нужды кафедры.

— Что это вы сразу деморализуете товарищей? — спросил он насмешливо. — График работы секций неудачный? Знаю. Пересмотрим. О плавании я договорился. Бассейн будет за нами по вторникам и пятницам. Запишите. — Он поглядел на молоденькую преподавательницу и повторил строго: — Запишите.

— Я сейчас, сейчас.

Ещё месяц назад все они, собравшиеся здесь, держались на равных правах. А сегодня Чемезов — руководитель кафедры. «Трудновато, — думала Женья. — Нужно найти единственно правильный тон в обращении со вчерашними сослуживцами, сегодняшними подчинёнными». Жене казалось, что Чемезов находит этот тон без особого труда. В его поведении многое от армии: чуть-чуть резковатый, не терпящий возражений голос, манеры человека, уверенного в себе и вместе с тем внимательно приглядывающегося и прислушивающегося к окружающим.

Небольшой спор возник из-за того, что, по предварительному плану, на физико-математический факультет приходилось меньше разрядников, чем на остальные факультеты. На физмате преподавал Чемезов, и могло сложиться впечатление, что он умышленно занизил цифру плана, чтобы легче добиться выполнения. Но это обстоятельство его отнюдь не смутило.

— Почему мы на физмате меньше разрядников планируем? Потому, что они в первом полугодии свою развёрстку реализовали. Что же я, из-за какой-то там ложной скромности или ещё чего-нибудь — возьму, да новую тяготу на них навалю?

— Они выдержат.

— На одном физмате весь университет не вывезешь. Не такая задача. Цифры цифрами, а мы бьёмся за крепкие мышцы и сильную волю. Чемезов по фамилиям перечислил тех студентов физмата, которые, по его мнению, уже в следующем полугодии могут стать разрядниками.

— А Черкашин? — спросила Женья. — Черкашина забыли.

Преподавательница истфака обрадовалась:

— Видите? Видите? Как же это так? Черкашина забыли. Ты с меня двух—трёх человечковними, — попросила она Чемезова.

— Черкашин давным-давно имеет первый разряд, — объявил Чемезов.

— Ну и что же? А ты его включи в отчёт, он и пройдёт. Лишний человечек.

Чемезов закинул руки за спинку стула, склонил стриженую, с широким прямым затылком голову и уничтожающе поглядел на молоденькую преподавательницу. Она, скрывая замешательство, деловито подтянула резинку синих лыжных брюк и пробормотала в своё оправдание:

— Все так делают.

— А мы не станем. Думаете, игрушки? Не игрушки, а государственное дело. Можно ли в государственном деле идти на обман?

Утвердили расписание факультативных занятий. Пока Чемезов перелистывал свою тетрадь, негромко переговаривались:

— На физмате, конечно, легко. Там подбор какой! Там осенью один студент стометровку за десять и восемь прошёл.

— Кто говорил, что лыжной мази нет? Пожалуйста, в магазине «Динамо». Восемнадцатый номер.

— А у нас уже есть люди, которые ходят на штангу.

Кто-то спросил у Чемезова:

— А футбол не планируем?

Он ответил, не отрываясь от записей:

— Футбол пока не планируем.

— Ну и неправильно.

Чемезов поднял голову.

— Знаю, что неправильно. Докладную записку в министерство послал. — Помолчал и сказал резко: — Я попрошу с этими настроениями покончить: на физмате подбор хороший! На физмате все этим болеют, потому хорошо и получается. Только бы не перехвалить.

Женя взяла слово и выступила, развивая мысль, намеченную последней фразой Чемезова. Действительно, не следует перехваливать. Недостатков ещё много. Комсомольская и профсоюзная организации сделали далеко не всё для того, чтобы спорт вошёл в быт студентов.

Женя предложила по возможности разнообразить работу секций. Вот, скажем, гребля. Почему бы не включить в план? Или шахматы и шашки..

Чемезов обрадовался:

— Правильно. Моё упущение.

План утвердили. Преподаватели тотчас же собрались расходиться. Чемезов поглядел на них грозно:

— Нетерпение, да? Ещё один вопрос, разрешите.

Этот вопрос Женю мало интересовал. Она вышла в коридор, где уже было пусто. Голос Чемезова гулко отдавался в высоких сводах старинного здания:

— Задача такая: всем преподавателям овладеть третьим разрядом. По всем видам. Командирскую учёбу будем проводить два раза в неделю.

Шум:

— Слишком часто!

— А что это за командирская учёба?

Чемезов спокойно ответил:

— Придём, соберёмся, разденемся, как полагается, и потренируемся.

Когда Женя спускалась с лестницы, он уже говорил об учебно-показательном уроке. Каждый член кафедры должен дать такой урок во время командирских занятий.

Домой возвращались вчетвером: Женя, Нина, Виктор, Борис.

Уже темнело. Утопанный и смешанный с грязью бугристый снег на тротуарах казался мраморным.

Прошли мимо сожжённого во время войны здания Дворца промышленности.

— Почему не восстанавливают? — спросила Нина, разглядывая смутные силуэты огромных двенадцатиэтажных корпусов.

— По плану начнут с весны, — откликнулся Виктор. — Мне пришла в голову одна мысль.. — Он остановился. — Давайте вернёмся.

Виктор потянул всех к полуразрушенному зданию. На стене крупными буквами полустёршаяся надпись: «Мин не обнаружено». Рядом аккуратная табличка: «Ход запрещён. Опасно».

— Удачное местоположение, — сказал он задумчиво. — Рядом ботанический сад, обсерватория, а домище какой! Все факультеты разместить можно.

Нина удивлённо поглядела на него:

— Что ты задумал?

— Всё вместе, понимаешь? Никакой тесноты. Целый комбинат науки. То, о чём мечтаем.

— Хозяин нашёлся! — улыбнулся Борис. — Кто же тебе даст? — Он презрительно фыркнул. — Крупнейшее в Союзе здание.

Женя схватила Виктора за рукав.

— А что — если? Это мысль!

Черкашин полез в пролом стены.

— Витя, опасно, — закричала Нина.

Виктор ничего не ответил. Борис решительно последовал за ним.

— Ну, и я тогда! — упрямо сказала Нина.

Вчетвером с полчаса бродили по заваленным кирпичом и гнутым железом этажам. На уровне третьего этажа лестница обрывалась. Держась за стены, Виктор заглядывал в тёмный провал и рассчитывал:

— Здесь нужно только расчистить, здесь — строить заново. А вот, товарищи, пожалуйста, — актовый зал. Отсюда — переход в корпус управления. Эту стену убрать. Эту площадку расширить...

В начале января он развил свою мысль перед Фёдей. Карпенко слушал его молча и даже как будто рассеянно. Сидя за столом у себя в кабинете, он задумчиво чертил карандашом на листе бумаги. Только что у него произошёл неприятный разговор с секретарём бюро исторического факультета. Плохо готовятся к научной конференции. Самоустраанились.

— Смотри, — сказал Виктор, выхватив из-под рук Феди бумагу. — Это можно представить себе примерно так. — Он принялся набрасывать план здания.

— Постой, — Федя неторопливо протянул руку и, сложив лист бумаги вдвое, разорвал его пополам. Он спрятал в ящик стола ту половину, которая была исчеркана беглыми записями. — Теперь давай рисуй.

Женя сидела за длинным узким столом, приставленным вплотную к Фединому, письменному. Она просматривала новогодний номер многотиражки.

На второй странице нарисована огромная ёлка, а вокруг неё смешные фигурки людей. Деревянка поддерживает лестницу, на верхушке которой — Нина. Она развешивает пятёрки. Черкашин — с огромной авторучкой, держит её, как автомат. У Бориса Ивнева длинные тощие ноги. Одна нога где-то за горизонтом, другая — у стенгазеты «Молния». Подпись: «Физматовский громовержец». У Майи — смеющееся круглое личико: «После успешной сдачи первого экзамена она снова восходит на нашем комсомольском небосклоне». Чемезов мчится на лыжах, а за ним целая толпа девушек. «Ну что вам стоит зачесть прыжки в высоту!» Внизу, на уровне лыж Чемезова, надпись: «Таланты и поклонники».

Женя перевернула газету и увидела свою фотографию. Вспомнила: ещё в середине декабря в лабораторию прибежал фотограф. Спешил: «Срочно. Задание». Так и пришлось сфотографироваться в синем рабочем халатике на фоне своей установки.

Тяжёлая светлая прядь волос падает на лоб. Не успела как следует причесаться. Уши открыты. Тонкие крутые брови. Немножко длинноватое лицо. Взгляд — куда-то в сторону. Глаза задумчивые, большие. А в общем — красивая.

«Приукрасили, подретушировали без всякого зазрения совести», — подумала Женя, прислушиваясь к голосу Виктора.

По выражению сердитого лица Феди трудно понять, одобряет ли он план Черкашина.

— Хорошо. Посмотрим и взвесим, — сказал он, когда Виктор закончил. — А сейчас мне — к ректору...

Виктор и Женя вышли. В коридоре у самых дверей они столкнулись с Майей.

В лёгоньком пальто и сером шерстяном платке поверх шляпки, она стягивала с руки тонкую чёрную перчатку и снова натягивала её.

— Скажите, у него никого нет?

Виктор подозрительно оглядел Майю. Он не любил, когда его в чём-нибудь обходили, особенно, если дело касалось помощи.

— По какому вопросу?

— Нет, Витя... — Майя глубоко вздохнула и сунула перчатку в карман. — Я по личному вопросу.

Она тихонько постучала в дверь кабинета.

— Я, наверно, плохо рассказал Феде, — недовольно заметил Черкашин, когда они с Женей спускались по лестнице, — про этот Дворец

промышленности. А сам, знаешь ли, вижу всю перспективу очень ясно, в малейших деталях.

В ближайшие дни и недели о Дворце промышленности разговоры больше не было. Начались экзамены.

Замечательно быть студенткой: все готовятся вместе, всем страшно, но все друг друга подбадривают. А Жене приходится работать одной.

Ещё хорошо, что спецкурс она сдаёт в такое время, когда у всех на уме зачёты, отметки, конспекты, книги. Маленькое возвращение в юность!

Экзамен прошёл хорошо. В комиссии: Деревянко, Гольдберг и проректор по научной части. Проректор — филолог, его нечего опасаться. Гольдберг помалкивал. Страшнее всех Деревянко.

Яхонтов держал себя очень корректно, не перебивал и всё время осведомлялся у Степана Тимофеевича:

— Вы удовлетворены?

Деревянко молча кивал головой.

— Отлично. Пойдём дальше.

Под конец Степан Тимофеевич задал два лёгоньких вопроса.

Женя разошлась: ни волнения, ни смущения! Ей стало обидно за такую снисходительность. Что же Деревянко: шадит? Умышленно?

Она вопросительно и вместе с тем недобрыми глазами поглядела на него. Он, кажется, понял. Но других вопросов не задал.

После экзамена захотелось развлечься, хоть один вечер позволить себе ничего не делать.

Это была ошибка. Снова появились грустные мысли. Конечно, в связи с Нико.

Всё оставалось, как прежде, а расстояние между ними росло и росло. Женя уплывала куда-то далеко от Вашакидзе, на край света.

Осенью они обменялись двумя-тремя письмами, заполненными перечислением обыденных событий их жизни. Потом, кажется, в декабре, Женя не ответила на последнее письмо, и переписка прекратилась.

Женя попрежнему занималась очень много. У неё вошло в привычку ложиться в пять утра, а в начале девятого тревожно вскакивать: если Алик проснулся, нужно приготовить завтрак, вести мальчика в детский сад...

Анна Ивановна несколько раз сердито заговаривала с Женей:

— Нельзя же себя так в отдыхе ограничивать. Куда это годится — молодая женщина, а круглые сутки работает, на себя со стороны взглянуть не хочет...

— А помните, я вам говорила, что сумею и заниматься, и воспитывать сына? Помните?

Женя испытывала гордость. Смогла? Смогла.

Но не всё так легко, как кажется. Женя не ощущала усталости, но ей всё трудней и трудней становилось засыпать на рассвете. Бессонница? Нет, не бессонница. По утрам снился один и тот же сон. И хоть сон повторялся, Женя не смогла бы его описать. Начиналось с того, что Алику угрожала какая-то ужасная опасность. Его нужно было спастись в секунду. Женя понимала, что спит. Она старалась проснуться, чтобы спасти Алика. Было такое ощущение, что короткие часы сна — каких-нибудь три-четыре часа — полностью заполнены мучительными попытками проснуться. Наконец, Жене удавалось сделать какое-то напряжённое движение всем телом, и она, вздрагивая, вскакивала с постели.

Всё хорошо. Шесть утра. Алик спит. У Чемезовых в комнате слышен голос московского диктора.

Женя снова ложилась, и снова повторялась изнурительная борьба

с самой собой. Проснуться! Зачем? Проснуться, иначе произойдёт чудовищная катастрофа, иначе разорвётся сердце.

Женя рассказала о своём состоянии в университете.

— Симптомы нервного переутомления, — авторитетно определил Борис Ивнев. — Побольше воздуха.

Его слова показались Жене очередной шуткой.

Но через несколько дней удивил Яхонтов. После семинара он сказал ей с выражением крайней обеспокоенности на своём полном массивном лице:

— Судя по некоторым признакам, я пришёл к заключению, что вы, Евгения Васильевна, нуждаетесь в срочной передышке. Учитывая вашу успешную работу и то обстоятельство, что в течение нескольких последующих недель в лаборатории будут происходить всякие пертурбации, связанные с нововведениями, комплексными бригадами и прочим, я предлагаю вам отдохнуть. Ну, скажем, полмесяца.

Отдохнуть? В разгар учебного года?

Об отдыхе заговорили все сразу. Женя сначала встревожилась. Но её успокоила Муся:

— Ничего особенного. Летом ты немного поправились, а теперь неважно выглядишь. Возьми путёвку и поезжай.

Женя написала заявление на имя ректора, так и не представляя себе, куда поедет. Она не была убеждена до конца, что это целесообразно — прервать занятия.

И вдруг ей пришла в голову мысль съездить в Тбилиси. Эта мысль появилась внезапно. Но в ту же секунду, как она появилась, Женя почувствовала твёрдую уверенность в том, что это сбудется. И никто её в этом не смог бы переубедить.

Нет, кроме всяких шуток и помимо тайных побуждений — в Тбилиси живёт старинная приятельница. Они иногда переписываются. Да, очень редко. Но дело не в этом. С приятельницей Женя познакомилась во время войны, когда приезжала в Тбилиси в командировку. А такие знакомства — Женя имела в виду знакомства военных лет — особенно крепко врезаются в память.

Никто из друзей не протестовал против решения Жени. Но когда профком выхлопотал путёвку в санаторий научных работников в Ливадию, все принялись ужасно ругать Женю за то, что она отказалась от этой путёвки. Женя слышала, как возмущалась Рима в группке студентов:

— Только подумайте: апрель на носу, крымская весна, интересное общество и возможность целый месяц не видеть Яхонтова!

Рима была сердита на Яхонтова. Гордиевский передал ей, что во время разговоров о ближайших претендентах на кандидатское звание профессор весьма неодобрительно отозвался о ней:

— Мне кажется, изо всех искусств она только этим овладела основательно... как французы говорят: «l'art de plaire...»

Выяснилось, что путёвка попала в профком не случайно. Достали её не без труда. Кажется, Федя Карпенко приложил здесь свою руку.

Вот скольких людей затруднила Женя, и всё понапрасну. Но от своей затеи не отказалась.

В конце марта, получив разрешение ректора, она уехала в Тбилиси.

Город встретил её серым туманом. Дождя не было, но всё вокруг влажно блестяло: вокзальный перрон, стены зданий, разноцветные плащи женщин, асфальт на привокзальной площади, длинные низкие кузова автомобилей. Окрестных гор почти не было видно. Они сливались с не-

бом. Казалось, кто-то растолок графит карандаша, размазал пальцем, и получился этот серо-синий фон.

Вот и приехала. А что же дальше? Дома и даже ещё в вагоне поездка представлялась очень нужной, почти необходимой. А теперь, когда Женя осталась одна посреди мокрой площади, немножко оглушённая шумом толпы, звоном трамваев, гудками автомашин, — ей показалось, что она сделала глупость.

Куда же итти? Чужой, незнакомый город. Глупости! Женя знает Тбилиси. И прекрасно ориентируется. Она вытащила из сумочки адрес приятельницы. Если после войны маршруты трамваев не изменились, нужно сесть на первый номер. Впрочем, лучше пешком.

Какой-то мальчишка в круглой кепочке остановился и разинул рот. Вероятно, у Жени смешной вид в зимнем пальто. Хорошо, что чемодан не тяжёлый.

Мальчик спрашивает, не в первый ли раз она в Тбилиси? Город очень большой. Лучшие гостиницы на проспекте Шота Руставели.

Нет, Женя не пойдёт на проспект Руставели. Спасибо за готовность помочь. Она свернёт сейчас в переулок, в тишину, в мокрый сумрак, скутывающий строгие каменные дома с деревянными верандочками, с узкими решётчатыми окнами, с тесными двориками, вымощенными мелким круглым булыжником. А потом выйдет на П्लехановскую, пройдёт мимо почтамта, к Воронцовскому мосту, увидит мутную Куру, услышит, как шумит вода у гранитных откосов набережной. А там уже близко.

Милый, родной город! Даже странно, почему он так дорог. Конечно, всё дело в том, что с этим городом связаны прочные воспоминания. Может быть, не так уж много воспоминаний. Всего несколько недель, и почти безвыходно, она прожила на заводе. Кроме того — неприятности. Никак не удавалось получить детали, из-за которых, собственно, Женя и приехала тогда, в самый разгар войны, в служебную командировку. Да, воспоминания не особенно радужные. И приятельница, у которой собиралась остановиться Женя, не такая уж близкая. Просто знакомая.

Какими лёгкими казались теперь Жене её университетские заботы — всё то, что каких-нибудь три дня назад составляло трудную и нерешённую проблему. Диссертация, Яхонтов, кафедра, очередной экзамен. Это всё разрешимо и легко по сравнению с той встречей, которая вот-вот должна произойти. У Жени записан номер почтового ящика военных курсов. Есть домашний адрес Нико: Дигоми. Где это — Дигоми?

Без помощи не обойтись. Женя остановила встречного прохожего, спросила. Далекое? Очень далеко? Ах, Сабуртало! Этот район Женя знает. Значит, за Сабуртало? Несколько километров по Военно-Грузинской дороге? Точнее, сколько километров? Километров восемь? Вот теперь она имеет ясное представление.

Она поблагодарила. Прохожий радушно приподнял шляпу и, размахивая порфирелем, побежал к трамвайной остановке. Через минуту он снова догнал Женю. Дело в том, что есть ещё один путь в Дигоми.

— Дидубе, знаете? Совсем близко, дорогая, придётся немного вернуться. А оттуда есть переправа через Куру. А потом немножко вверх взять. Прямо в Дигоми попадаете.

Он говорил быстро и с тем характерным грузинским акцентом, который так полюбила Женя со времени знакомства с Вашакидзе.

— Да, и ещё одну минутку, дорогая. Немножко сомневаюсь, март месяц. Переправа обычно не работает в марте месяце. Но это узнать можно. По телефону позвонить можно.

Он предложил Жене зайти в магазин, он позвонит из автомата. Уже

смеркалось. Женя ещё раз поблагодарила. Слишком поздно, в Дигоми она не поедет. Да, у неё есть где остановиться.

— На всякий случай! — крикнул прохожий уже издалека. — Гостиница «Тбилиси», проспект Руставели. Если там мест нет, в «Ориент» пройдите, пожалуйста. Это рядом с «Тбилиси».

Он ещё раз обернулся:

— И имейте в виду, дорогая, что проспект Шота Руставели — это по-старому Головинский проспект. Вот сюда, в переулок, Михайловскую пересечёте, и всё время прямо. А потом немножко налево.

Только подумать: Нико живёт в этом городе, где-то совсем близко!

Женя должна увидеть его не завтра, а сейчас, не откладывая ни минуты. Это чувство было так сильно в ней, что она даже не пыталась с ним бороться. Она шла, не слыша под собою ног.

Приятельницы не было дома. Учится в вечернем институте, сказала соседка. Домой вернётся не раньше двенадцати. Если Женя устала с дороги, то можно зайти в комнату, переодеться, отдохнуть.

Нет, Женя не хочет отдыхать. Женя хочет видеть Нико. Шестизначное число — номер почтового ящика. Ничего не объясняет это шестизначное число.

Может быть, оставить чемодан? Нет, и чемодан Женя не оставит. Он лёгкий: платье, бельё, чулки, несколько пачек папирос, которые так нравятся Нико. Она поедет в Дигоми.

Сумерки. Тускло блестит асфальт. Машины идут с зажжёнными фарами. На вершине фуникулёра светятся расплывчатые огоньки.

Прошёл троллейбус. Жаль, что чемодан большой. Неудобно с ним в троллейбус.

Женя поднялась на площадь Берия и, взглядевшись в мутную, молочко-белую от бесконечной цепочки фонарей перспективу проспекта Руставели, свернула на Пушкинскую.

Она решила доехать до Сабуртало трамваем, а там подождать попутную машину.

Шофёр оказался очень весёлым и разговорчивым человеком. Притормозив, он сказал:

— Вот здесь сойдёте, генацвале, у Белого Духана. Я бы довёз до места, но, извините, целый месяц дожди. Не проедешь.

Он сверкнул зубами:

— Такую девушку до самого Мцхети домчать не жалко.

Дешёвая любезность. И всё-таки приятно. Похоже на то, что в этом красочном городе все рады ей, все спешат на помощь. Будто её здесь ждали. А там, в Дигоми — ждут ли?

Она подняла чемодан и храбро шагнула в темноту. Шофёр рассказал, как дойти. Совсем близко. Впрочем... Нужно зорче глядеть, чтобы не сбиться с тропинки. Тишина. Где-то позади, за холмами, светлое зарево города. В овраге, в сплошной темноте, негромко журчит вода. И вдруг — смех, какой-то сумасшедший смех там, внизу, во мраке. Женя вздрогнула и прислушалась. Нет, это кто-то плачет. Нельзя понять: плач или смех.

Она снова двинулась вперёд, и снова — странный, неприятный звук. Конечно, плачет ребёнок. Внизу, в овраге.

Плач. Дикий, и вместе с тем жалобный. Женя решительно шагнула под откос, но поскользнулась и упала, оцарапав руки о колючие кусты. Что-то зашуршало совсем близко, почти у ног. Метнулась длинная тень. Теперь глаза привыкли к темноте. Тишина, нарушаемая только плеском воды. На склонах оврага кое-где белесет снег.

Женя поднялась и ощупала пальто. Мокрое. Вот не было печали! Совершенно невозможно появиться в Дигоми в таком виде. Но не ийти же назад!

В деревушке лаяли собаки. Женя подошла к крайнему домику и, стараясь не попадать в полосы света, громко назвала фамилию Нико. Ей объяснили, где живёт Вашакидзе. Когда-то мама любила повторять: «Только ты способна на такие глупости».

Дверь открыл грозного вида широкоплечий мужчина в защитной гимнастёрке, подпоясанный узким кавказским пояском.

— Скажите пожалуйста, здесь живёт товарищ Вашакидзе?

Уф, как официально.

— Заходите.

Голос густой, низкий, властный. На гимнастёрке позванивают медали.

Женя вошла и не столько увидела, сколько представила себе мысленно, как безобразно испачкано её пальто. Глина или краснозём, бог его знает, как это называется...

Мужчина поглядел на её пальто, на чемодан, потом опять на пальто.

— Вы понимаете? — сказала Женя, ощущая прилив энергии и возбуждения. — Иду по тропинке, а в овраге кричит ребёнок. Вот я и...

— Шакал, — спокойно сказал мужчина, запирая дверь.

— Что? — переспросила Женя.

— Говорю: это не ребёнок кричал, это шакал кричал.

Они расхохотались. Мужчина помог ей снять пальто. Он ни о чём не спрашивал, предоставляя Жене самой сказать, зачем она пришла в такой поздний час, — сказать, если она этого хочет.

— Вы Вашакидзе? — спросила Женя неуверенно.

— Да, я Вашакидзе. А вы — Женя? Извините, что я так, по имени. — Он протянул ей руку: — Георгий Мартынович.

Вот как: и здесь её ждут!

— Как же вы меня узнали? — спросила она, проходя в комнату.

— Сын рассказывал. Говорил, что вы очень красивы.

Георгий Мартынович не улыбался больше. Слова он произносил неторопливо, с немного угрюмым выражением лица. И оттого, что он ни о чём не расспрашивал, она смутилась, стоя посреди комнаты и крепко держась за спинку стула. Наконец она спросила о Нико. Его нельзя сегодня увидеть? Нет? Очень жаль. Женя заехала проездом, всего на один день. Завтра? Можно, конечно, подождать до завтра.

— Сын всегда приезжает в выходной день, с утра, — объяснил Георгий Мартынович неторопливо. Раскрыл дверь соседней комнаты и жестом пригласил Женю войти.

— Пожалуйста. А я жду вас к столу.

Через минуту он постучался. В руках у него был чемодан, тщательно очищенный от грязи.

Оставшись одна, Женя бросилась в кресло, запрокинула голову и зажмурила глаза. Ей показалось, что всё трудное — позади. Она дома.

Это комната Нико. Нетрудно догадаться. Этажерка с книгами. Стрельба с закрытых позиций. Основы баллистики. Устав внутренней службы. Курс высшей математики. Снова математика, конспекты, записки.

На столе квадратное стекло, а под стеклом — фотографии. Военные. Это всё, вероятно, друзья Нико. Мужчины. Только над узкой солдатской кроватью — портрет женщины с тонким лицом. Чёрные косы. Ласковые глаза.

Это, конечно, мать. Нико немного похож на неё. А с отцом никакого нет сходства.

Переменив платье, Женя вернулась в большую комнату, где за накрытым столом в одиночестве курил Георгий Мартынович. Только теперь Женя увидела, как он стар. Тяжёлые мешки под глазами, лицо рыхлое, всё в складках. Глубокие глаза и удлинённый нос, почти касающийся губ. Но в коротко подстриженных курчавых волосах нет седины.

На столе тарелки с сыром и мясом, бутылка с желтоватой прозрачной жидкостью и глиняный кувшин, покрытый куском шёлковой материи.

Георгий Мартынович молча пододвинул Жене еду и наполнил бокалы вином из кувшина.

Нужно было начинать разговор, и Женя принялась рассказывать о том, как она во время войны приезжала в Тбилиси и как ей захотелось снова увидеть этот город, а кстати повидаться с Нико, с которым она очень сдружилась. Она так и сказала: «сдружилась». А чтобы не было недомолвок, она сообщила, что у неё есть сын, Алик, и муж, который временно живёт в Сибири.

Георгий Мартынович нарушил своё молчание лишь при упоминании о сыновьях, и Женя поняла, что он души не чаёт в своём сыне.

— Сын... Надежда... Гордость... Пусть будет он счастлив, пусть будет он всегда отважен... Извините, за его здоровье!

Они подняли бокалы за высокие тонкие ножки, чокнулись и поглядели друг другу в глаза. И Женя сказала себе, что Георгий Мартынович знает всё.

— Это наше вино, колхозное, — проговорил он, не опуская бокала. — А чача для соседа, — он кивнул на бутылку. — Сосед у меня есть, молодой ещё, ему можно крепкое.

— Я люблю Грузию, — сказала Женя.

— Да, русские любят Грузию. Солнечный край. Вино хорошее. Заодно вино можно Грузию полюбить.

Он в первый раз лукаво прищурился.

— Нет, не за это... За всё, понимаете? Люди хорошие. — Женя смутилась и опустила глаза. — У нас тоже солнца много. Теперь везде солнце. И природа в наших местах красива по-своему.

— И люди красивые, — дополнил Георгий Мартынович.

— Я вот что хочу сказать, самое важное... Вот за что мы особенно Грузию любим... За то, что есть у вас такой город — Гори.

— Да, Гори... — Георгий Мартынович опустил бокал, задумался. — В этом слове — красота, сила, любовь. — Он шумно отодвинулся от стола и указал на этажерку, такую же, как и в комнате Нико. — Я прочитал много книг. И я много думал. В Гори родился человек, утвердивший дружбу между народами. Отцовскими руками взлелеяна эта дружба, и жить ей вечно, Женя.

— Дружба, — повторила Женя, поднимая бокал.

Но Георгий Мартынович, забыв о вине, невольно отодвинул от себя бокал.

— И не только тут, за столом, цветёт дружба. Гость есть гость. Вино — не кровь. А кровь наша там, — он махнул рукой, — за перевалом смешалась наша кровь, на поле славы. Мы побратались кровью.

В дверь постучали.

— Это мой сосед, — сказал Георгий Мартынович.

Но вошёл не сосед, а его дочь.

— Заходи, Ната, садись. Познакомьтесь, пожалуйста.

Женя протянула руку длинноногой девушке в коротком жёлтом платье. У девушки были грустные глаза и тонкий ровный нос со слегка вздёрнутыми ноздрями.

— Папа не сможет прийти, — сказала она, равнодушно отворачиваясь от Жени. — Его вызвали в совхоз.

— Что-нибудь случилось? — спросил Георгий Мартынович.

— Нет, ничего. Привезли мотор, но машина застряла, никак не могут вытащить, людей нет.

Ната по-русски говорила очень чисто, и голос у неё был чистый и звонкий.

Обеспокоенный, Георгий Мартынович встал.

— Будь здесь хозяйкой, Ната. А я пойду. Помочь надо.

Он извинился и вышел. Ната выбежала вслед за ним, и Женья слышала, как она уговаривает его одеться потеплей.

В комнате было прохладно. Только теперь Женья почувствовала это. Она подняла свой бокал и одним коротким глотком допила вино. За Нико. Больше она не выпьет ни капли. Вино было такое густое, что долго ещё стенки бокала сохраняли вишнёвый цвет.

Ната вернулась и сказала, присаживаясь к столу:

— Кушайте, пожалуйста.

Бедная девочка! Оставили её наедине с незнакомой женщиной, а женщина тоже не знает, о чём говорить. Неловкое положение.

Несколько минут они молчали. Очень громко стучали часы-ходики. Слишком громко.

— А я думала, что вы старше, — сказала, наконец, Женья.

— Я старше, — ответила Ната. кроша ломоть низкого грузинского хлеба. — То есть, я хочу сказать, что у меня такой невзрослый вид из-за этого платья. Это старое платье. — Она дотронулась рукой до груди. — Видите, узко.

У неё длинные смуглые пальцы с малиновыми ногтями. Лёгкая паутина ресниц. В глазах — недоверие, даже тревога.

— Я в двадцать шестом году родилась, — добавила она и вдруг вспыхнула. Женья прочла на её лице: «А вы кто такая? С какой стати вы меня допрашиваете?»

«А я всё-таки буду допрашивать», — сказала себе Женья.

— Вы учитесь, или работаете?

— Учусь, — ответила Ната, глядя исподлобья. — В техникуме.

— А по какой специальности?

— Транспортная специальность, паровозы.

Женья подняла пустой бокал на уровень глаз и сквозь его розоватые стенки поглядела на Натю.

— Это не совсем подходит для девушки.

— Почему не подходит?

Быстрым, едва заметным движением языка Ната облизала губы, сдвинула острые брови и беспокойно оглядела стол, как бы ища, к чему применить руки. Наконец, в пальцах её появился стакан, и она отошла с ним к дверям, где на низкой скамеечке стоял чайник. Не выпуская из рук бокала, Женья следила за Натой. Ната налила в стакан воды и долго пила мелкими глотками, как вино.

— Всё-таки вы плохая хозяйка, — насмешливо сказала Женья. — Я тоже хочу чаю.

Ната вернулась к столу, села и спросила, упиравшись подбородком в кулачки:

— Скажите, зачем вы приехали?

— Я приехала, чтобы повидаться с Нико, — ответила Женья тихо.

Теперь они как бы поменялись ролями. Но Ната ни о чём больше не спросила, только вздохнула. Потом она сделала быстрое движение всем телом, словно собираясь бежать.

«Вот она встанет и уйдёт, — подумала Женя. — И хлопнет дверью». Но Ната не двигалась. Её пальцы скользнули по лбу и прикрыли глаза. Длинное-длинное молчанье. Женя почувствовала, что Ната плачет. Да. Вот и лицо у неё уже мокрое.

Женя подошла к ней сзади и обняла за плечи. Не отнимая рук от лица, Ната прижалась к ней. Снова очень громко застучали часы. За окном, где-то далеко, долго сигнализала автомашина.

— Видите, как получается, — сказала Женя нежно. — Жизнь — это не так просто.

— Я не знаю, — ответила Ната. — Я ничего не знаю.

Скрипнули входные двери. Вернулся Георгий Мартынович. Женя попросила извинить: длинная дорога, усталость, да и время не раннее. Ната ушла, а Георгий Мартынович, уступив Жене диванчик, отправился спать в комнату сына.

«Только лечь — и чтобы сразу же было завтрашнее утро!» — сказала себе Женя, как в детстве. Она боялась, что совсем не уснёт. И приготовилась к тому, чтобы долго-долго думать обо всём, что случилось...

Но едва легла — и сразу же наступило утро. Тревожное, ветреное утро. Кусочки голубого и белого в окнах. Осторожное шарканье Георгия Мартыновича.

И всё-таки: что произошло вчера? На столе ещё стоят пустые бокалы, немые свидетели безрассудного поединка двух таких разных женщин, глупого озорства, слёз, нежности. Всё получилось не так, как нужно. А может быть, именно так?

Но Женя решительно не могла думать ни о ком, кроме Нико. Сейчас произойдёт их встреча. А вдруг он не придет?

Он приехал. Открылась дверь, Женя увидела его раскрасневшееся лицо, фуражку, сдвинутую на затылок, и шинель нараспашку. Нико остановился в дверях, поднял обе руки вверх и закричал:

— Женя! Ну и молодец, честное слово!

— Приведите себя в порядок, товарищ капитан, — сказала Женя строго. И сейчас же бросилась к дверям, потом остановилась, но Нико был уже возле неё. Они очень долго трясли друг другу руки. Георгий Мартынович незаметно вышел.

«Если он меня поцелует...» — загадала Женя. Но он этого не сделал. Он выпустил её руку из своей, оглядел шинель и сказал:

— Действительно, распустился. Но это потому, что от самого шоссе бежал. Ничего не знал о вашем приезде, а бежал. Вы верите, Женя?

— Ну, раздевайтесь, — сказала она. — И вообще, будьте как дома.

— Как Алик?

— Ничего, растёт.

— Нет, расскажите подробно, Женя. Очень подробно. У нас здесь игрушки замечательные делают. У меня уже целый арсенал для него готов.

Нико выбежал в соседнюю комнату и вернулся с большим фанерным ящиком в руках.

— Вот, пожалуйста, автомобиль «Победа», автомобиль с прицепом, просто автомобиль...

— А это что за чучело?

— Зачем чучело? Самый настоящий зайчик, Женя. Усы, видите? Ушки, видите? Выражение мордочки, видите? На вас очень похож, Женя.

— Спасибо, товарищ капитан. Для начала неплохой комплимент.

Вашакидзе вытащил из ящика деревянную пушку на двух колёсах, заложил в дуло хлебный шарик и оттянул пружинку. Шарик полетел вверх и упал в бокал с недопитым вином.

— Замечательно умное орудие, — обрадовался Нико. — Накрывает нужную цель. Самая настоящая навесная траектория.

Он сдвинул в сторону игрушки и снова спросил:

— Как же Алик? Вырос? Уже азбуку знает, вероятно?

— Я сейчас расскажу, — заторопилась Женя со счастливой улыбкой. — Я — по порядку.

Они завтракали и вспоминали Алика. Ната не появлялась, и о ней не заговаривали. Но зато приходило много незнакомых людей, сослуживцев Георгия Мартыновича. Он работал агрономом в одном из окрестных районов. Люди пили вино и громко спорили на грузинском языке, размахивая руками. Женя сидела на диванчике, кутаясь в шерстяную шаль, где-то раздобытую Нико. Попрежнему было прохладно.

— Подождите ещё два-три денька, и начнётся весна, — сказал капитан. Женя поглядела в окошко, где за каменистым обрывом серо-зелёным морем лежали сады.

— Нет, весна уже началась, — ответила она, устало улыбаясь.

Весна! Прислушайся к сердцу. Бьётся, очень сильно бьётся. Выдержит ли оно груз этого странного горького счастья, эту неизвестность, эту близкую разлуку, уже трубящую низким голосом электровозов — там, за Курой, над Авчалами?

Уже весна. Дождей больше не будет. Так сказал Георгий Мартынович. Вот-вот зацветут сады.

И это счастье — сидеть в низкой прохладной комнатке, слушать незнакомую речь и ощущать, что Нико рядом. И ни о чём не думать.

Нико сказал, что в три часа будет попутная машина в город. Женя должна посмотреть город. Женя — гостья, и её нужно развлекать. Что она любит: оперу, драму, цирк?

— Нико, вы же прекрасно знаете, что я люблю.

Это было сказано тихо, почти шёпотом. Нико ответил ясной улыбкой. Всё утро им не удавалось по-настоящему поговорить. И даже о цели Женяного внезапного приезда не было сказано ни слова. Как будто так и предполагалось или было давно условлено. Но вот сейчас они вдвоём уедут в город и останутся наедине. И может быть, Нико спросит тем же тоном, что и Ната: «Скажите, зачем вы приехали?».

Машина запаздывала. Нико предложил дойти до шоссе пешком. Они пошли не по тропинке, а напрямик, мимо виноградников и абрикосовых садов, по свежей синева-зелёной траве, обходя жирно чернеющие вспаханные участки, с холмика на холмик, с горки на горку.

Женя тяжело дышала. Попробуйте-ка совершить такую туристскую прогулку в зимнем пальто!

— А я люблю итти в гору, — сказал Нико, легко взбегаая вверх и протягивая Жене руки.

Отсюда уже был виден город, раскинувшийся между темнобурными горами. Золотая пыль в долине Куры, конусообразные купола храмов и режущие глаз блёстки серебра в стёклах многоэтажных зданий. Слева ослепительно сверкала стрела Военно-Грузинской дороги.

Она вдруг с ужасом почувствовала, что Нико как-то отдаляется от неё. Не было никаких признаков, подтверждающих это. Но она так почувствовала, и этого было достаточно.

Они спустились к шоссе. Машин было много, они шли почти вереницей. Вацакидзе наметил лимузин и поднял руку. Он вежливо поддерживал Женю за локоть, пока она протискивалась в кабину. Через десять минут они были в центре города. За эти десять минут Женя успела обдумать своё поведение. Нет, она не будет заводить серьёзного разговора. Ни о чём: ни о своих чувствах, ни о Нате, ни о себе. Она сде-

лала ошибку, приехав в Тбилиси. Нужно исправлять эту ошибку. И ничего не нужно объяснять. Просто взяла и приехала. Понадобилась разрядка нервного напряжения — вот и приехала.

Они вышли у цирка. На тротуарах толпились мальчишки. Город был уже совсем другой, не такой, как вчера. Пахло травой. На набережной зеленели деревья.

— Куда же мы пойдём? — спросил Нико. — Мне так много хочется вам сказать. Мне очень трудно было без вас. Письма — не для меня! Я не писатель, Женя. Много друзей, очень много. А душу излить только перед вами могу.

Женя шла молча. Ей вспомнилась весна в её городе, стадион, парк, соловьи. И потом такой длинный, и такой короткий, и такой счастливый кусок её жизни, когда она могла, если бы захотела, каждый вечер встречаться с Нико, ходить с ним на водную станцию, в театр и говорить, говорить, говорить. А потом — разлука. Ей бывало грустно, но она, слава богу, не умерла от грусти. Жила, училась, работала. И в конце концов, она не девочка, она знает, что такое любовь. Разве может любовь столько ждать? Вот она идёт сейчас рядом с Нико, высоким, ловко затянутым в ремни, и слушает, как он с увлечением говорит об артиллерии и математике. Да, ей интересно слушать. Но может быть, это просто профессиональный интерес? У неё с Нико много общих мыслей, симпатий, интересов. Но при чём любовь? Просто взаимное понимание, если хотите — дружба. И, может быть, всего только раз за весь истёкший день она почувствовала, что по-настоящему нужна Нико. Всего один раз, когда он — разгорячённый от быстрой ходьбы, в расстёгнутой, а не затянутой шинели, в сдвинутой набекрень фуражке ворвался в комнату. «От самого шоссе бежал. Ничего не знал о вашем приезде, а бежал». Предчувствие? И, надо сказать, предчувствие не из приятных. Я интересуюсь, товарищ капитан, как вы выйдете из своего крайне затруднительного положения.

— И я думаю, Женя, что мои расчёты окажутся верными, — говорил Нико. — Я вам потом покажу, на бумаге. Как я вас ждал, чтобы всё это показать!

— Да ведь и я ждала, — отозвалась Женя. — У меня тоже есть, что показать.

Они прошли набережную, поднялись на проспект.

Женя устала. Нико предложил зайти куда-нибудь, посидеть. Она отказалась от ресторана. Наотрез. Она терпеть не может ресторанной обстановки и, кроме того, одета по-домашнему. Они снова спустились вниз и зашли в какой-то винный подвальчик на Плехановской.

Здесь было мрачно и сыро. Горели свечи. Пахло плесенью и яблоками. Главное же, совершенно пусто. Толстый буфетчик в белом переднике подал бутылку вина и влажный овечий сыр.

— Нет, я не буду пить, — сказал Нико. — Я не буду пить, иначе вы подумаете, что я опьянел и поэтому заговорил. — Он отодвинул бутылку. — Мы потом выпьем.

— Я надеюсь, что трактовка избранной вами темы не даст мне повода заподозрить вас в этом, — ответила Женя.

Она почувствовала себя удивительно спокойной в эту минуту. Страшно решительной и готовой хоть целый час язвить Вашакидзе. Слова ложились послушно, одно к одному. Жене даже показалось, что она, сама о том не думая, подражает Яхонтову.

Но Нико вдруг резко перегнулся через столик и сказал отрывисто, глядя на неё в упор:

— Перестаньте шутить, Женя.

И она сразу как-то сжалась, будто от стыда.

— Я не буду, Нико. Простите.

Он хотел было говорить, но теперь она перебила его:

— Вы её любите?

— Не знаю.

— А меня?

— Люблю.

Не то чтобы она ему не поверила, а по тону почувствовала, что всё это не просто.

Нико откинулся на спинку стула. Теперь лица его не было видно. Затрещала свеча. Буфетчик подошёл и снял ножницами обгоревший фитиль. Капитан вытащил папиросу, сломал подряд несколько спичек и прикурил от свечи. Женя облокотилась локтями о стол.

— Я вам сейчас расскажу, Женя.

Коротенькая, бесхитростная повесть, к которой Женя не имеет никакого отношения. Юность Нико. Тбилиси. Две семьи. Они дружны. В одной семье мальчик, в другой девочка. Нико не замечает Наты. Она для него попросту не существует: в детском возрасте восемь лет разницы — пропасть. У Наты ещё куклы, песочницы, первый букварь. А Нико уже ходит в кино без взрослых, увлекается геометрией, мечтает о героических подвигах, мастерит модели самолётов, читает Толстого.

Поглядывая на Нату, в семье шутят: «Растёт для Нико невеста»:

Невеста! Это слово знакомо по книгам. Но разве невесты такие? Невесты — красивые, с длинными косами, с необыкновенными глазами. Невест полагаются спасать, мчаться с ними на диком коне, на ходу отстреливаясь от врагов. А Ната маленькая, подстрижена, как мальчик, худенькие ручки, глаза всегда немножко испуганные: Нико не особенно церемонится с девочками. К шуткам взрослых он относится презрительно. Невеста!

А впереди — жизнь, мужская, увлекательная. Вот уже окончена школа: прощай, родной город... Новые люди — институт, военное училище. В разгар войны Нико снова встретился с Натой. Сорок третий год. Первое ранение под Армавиром. Санитарный поезд идёт в Тбилиси. Госпиталь. За решёткой сада звенят трамваи. По ночам мирно блещут огни в городе уже отменена светомаскировка.

Скорее бы снова на фронт. В кладовой госпиталя хранится гимнастёрка Нико. Как и положено офицеру — погоны со звёздочками, твёрдый целлулоидный подворотничёк, ордена, значок гвардейца.

Только нет в кармане фотокарточки, которая должна быть у каждого солдата. Нет фотокарточки любимой.

А с ней легче воевать.

По воскресеньям в госпиталь пускают посетителей. И вдруг Нико видит перед собой незнакомую девушку.

— Неужели это ты, Ната?

Они заразительно смеются. Не узнали бы друг друга, если бы встретились на улице.

Соседи по палате спрашивают:

— Твоя сестра?

— Да, сестра, — улыбается Нико.

Он ещё не знает о гибели матери. Отец тоже на фронте, где-то далеко, под Смоленском. Ната — единственная, кто связывает Нико с родным домом, с детством. Теперь уже никто не шутит: «невеста». Родная сестра — и всё.

Так проходит лето. Раны заживают. Ната появляется в госпитале раз в неделю. Потом — чаще. Потом — каждый день.

Поздней осенью Нико уезжает на фронт. Вокзал, поезд; соседи по палате, выздоравливающие, хотели провожать. Главврач запретил.

Это к лучшему. Пусть одна Ната. Её фотокарточка — в кармане гимнастёрки.

— А что же дальше? — спросила Женя.

— Дальше? Дальше вы знаете. Дальше я встретился с вами.

Молчание.

— И мне кажется, всю жизнь с вами прожил.

Он вздохнул так сильно, что заколебалось пламя свечи, и поднял бутылку.

— Мне совсем немножко, — сказала Женя просто. — А то голова будет болеть.

Он посмотрел на неё пытливо. Может быть, ждал не этого?

— За нашу встречу.

— И за ваше счастье, Нико.

— За наше счастье.

— Нет, за нашу дружбу.

— Ну, хорошо, Женя, за нашу дружбу.

Они чокнулись. Бокалов в подвальчике не нашлось, стаканы — звона не получилось. И вино было хуже вчерашнего.

— Ешьте сыр, Женя. Очень хороший сыр.

— Я ем, и вы ешьте. Вы же почти ничего сегодня не ели.

— Почему не ел? Ел. На курсах завтракал.

— Ну, ешьте ещё. И вино пейте. Я больше не хочу.

Он пил жадно, не отрываясь от стакана. Как он сказал? «Самая родная»? «Люблю»? Так прямо и сказал: люблю. Как знать, может быть, действительно стоило мчаться за тысячу километров, волноваться, смущаться, карабкаться ночью по узкой и скользкой тропинке только ради этого одного слова «люблю». И потом уехать. Уехать с этим словом в душе.

Нет, Женя совершенно спокойна. Она ничего не требует. Только видеть Нико. Ещё полчаса, ещё час, ещё один день. Всего один день. Послезавтра она уедет.

— Ну, вот и хорошо, что вы мне всё рассказали. Так легче. Я всё понимаю.

— Всё, Женя?

Она сняла шапочку и, закинув руки за голову, поправила причёску. Щёлкнул замок сумочки. Зеркальце. Шпильки в зубах. И быстрый, насмешливый вопрос сквозь зубы:

— Я немножко не понимаю, Нико. Как это получается, что вы любите сразу двух?

— Значит, вы ничего не понимаете, Женя! — Он сделал ещё один торопливый глоток. — Любовь может быть только единственной. А если их две, то, значит, какая-то из них не настоящая.

— Уравнение с двумя неизвестными, — сказала Женя. — Я женщина. И у меня всё в душе ясно.

Нико не ответил. С мрачным видом он закурил, взял со стола бутылку и поглядел на свет. Пустая.

Стуча по деревянной лестнице, в подвальчик спустились какие-то люди. Они заказали вина и громко заговорили, стоя у прилавка, спиной к Нико и Жене. Потом один из них повернулся.

— Извините, дорогой. — И, заметив погоны, прибавил: — ...товарищ капитан.

Женя шевельнулась на стуле.

— Может быть, пойдём?

Нико взял руку Жени, нагнулся и быстро поцеловал её холодные пальцы.

— Ну вот, вы уже опьянели... Пойдёмте, — сказала она, не отнимая руки.

Они вышли на освещённую огнями улицу. Толпы гуляющих двигались и по тротуарам, и по мостовой. Слышалась музыка. Смех.

— Да, — сказала Женя, — пусть будет так, как есть.

За крышами зданий начиналась ночь. Горы сливались с небом. Темнота. И только где-то далеко вверху медленно движется огонёк. Вероятно, автомашина на горном шоссе.

Нико обязан сегодня же возвратиться на курсы. Он взял такси и проводил Женю в Дигоми. Уже подсохло, но шофёр остановил машину у крайнего домика. Нельзя развернуться в узкой улочке. Это к лучшему. Можно ещё несколько шагов пройти рядом с Нико. Нет, он не будет заходить домой. Он может опоздать на курсы.

В темноте они дошли до угла. Остановились.

— Завтра вечером я приеду, — сказал Нико. — До свидания, Женя.

— А теперь я вас провожу.

Они несколько раз прошли от угла до машины и обратно. Наконец, шофёр нетерпеливо засигналил. В последний раз — крепкое пожатие двух тёплых рук, уже успевших привыкнуть одна к другой. Вспыхнули фары, обнажая коричневую, в кочках, дорогу. С металлическим отзвуком хлопнула дверца кабины. Завыл мотор, овальное пятно раскалённого белого света сдвинулось с места и нырнуло в обрыв. Шурша шинами о сухую неровную землю, машина ушла по дороге. Через минуту мерцающий огонёк блеснул далеко впереди, на шоссе.

И всё это — в последний раз. Завтра утром Женя уедет. Это решено сейчас, сию минуту, на узкой улочке засыпающего посёлка.

Но Женя не уехала. Просто нехватило силы спорить с Георгием Мартыновичем.

— Никуда я вас не отпускаю, дорогая, — сказал он утром, отправляясь в совхоз. Та же защитная гимнастёрка на нём, тот же узкий пояс. И грозный вид. Только глаза молодые и ласковые. Конечно, он выполняет долг гостеприимства. Но Жене хочется верить, что это не только гостеприимство.

Георгий Мартынович открыл дверь.

— Поглядите, Женя, какая весна началась. Нельзя уезжать, не подышав этим воздухом.

Был солнечный апрельский день. Бирюзовое небо и благоуханье цветов.

— Это вы нам весну привезли, Женя.

— Но я ведь спешу, Георгий Мартынович. Меня работа ждёт, занятия.

— А если честно, Женя? Не так уж вы спешите, как говорите. Честно, Женя?

— Честно?

Она прислонилась к двери, неловко опустив руки, но не пряча глаз.

— Честно... Уж если говорить... Я, конечно, напрасно приехала. Вы понимаете, Георгий Мартынович? Мы много с Нико говорили раньше. Но всё не об этом. А ведь есть Ната. А я... Получается так, будто ворвалась в дверь, не постучав.

Георгий Мартынович промолчал, глядя своими глубокими глазами на залитую розовым светом долину.

— Вы только не судите меня строго, Георгий Мартынович. Ну, сделала глупость. Можно поправить.

— Зачем глупость? Вы в дом мой вошли с чистым сердцем. А больше я ничего не знаю, и, наверное, не нужно мне знать, старику. В наше время всё это труднее было, Женья. Всякое примешивалось — и золото, и родовая спесь, и невежественные обычаи, и кинжал. Вы говорите: не судите строго. В любви теперь один верховный судия — сердце.

Прислушайся: выдержит? Прислушалась: выдержит. Но Георгий Мартынович настоял на том, чтобы она осталась.

В полдень из города приехала Ната. Заболел преподаватель, в техникуме не было двух последних уроков.

— Весна, — сказала Ната, появляясь на пороге домика Вашакидзе. — Пойдёмте, я покажу вам наши сады.

В розовом прозрачном платье и светлых, лимонного цвета чулках, она была очень хороша. Она повела Женю, эта нарядная худенькая девочка, далеко за посёлок, к зелёному обрыву, за которым застыла как бы нарисованная нежной акварелью долина. Внизу было ещё сыро. Шумели невидимые ручьи. Женья сказала:

— Когда я позавчера вошла в дом, мне показалось, что меня ждали.

Ната бросила пёстрый шарф в траву на краю обрыва. Безмолвно пригласив Женю, она села на шарф, обхватила руками колени и сказала:

— Нико про вас говорил. Очень много говорил. Что ни слово, то про вас.

Женья вздохнула, перебирая траву пальцами. Свежая зелёная трава. В ней — жёлтые пушинки цветов и ещё какие-то фиолетовые и красные растеньица. Юрко шмыгнула ящерица и застыла на месте, вытянув длинную узкую головку.

— Вон, глядите, — прошептала Ната. — Смешная какая!

Женья перевела взгляд на каменистый уступ обрыва. Тяжело переваливаясь, ползла черепаха. Ната пошевелилась, и черепаха спряталась под панцирь.

— Вот как она... слышит. — Ната вытянула ноги и разгладила складочку на чулке. — Я бы хотела тоже так. Спрятаться, и всё.

— Но ведь это же трусливо! — сказала Женья резко.

— А вы смелая, да?

— Не знаю.

Становилось прохладно. Солнце ещё не грело. Дул сильный ветер.

— Я сначала ужасно вас приревновала, — сказала Ната с оживлением. — А потом подумала, что всё равно: судьба. Ведь Нико каждая полюбит, его нельзя не полюбить, если узнать хоть немножко.

— Вы так думаете?

— А вы как думаете?

Ната сегодня совсем иная. У неё независимый вид озорной девчонки, которая уверена в том, что выходки её нравятся.

— Почему вы пошли в транспортный техникум?

— А так... — Ната наморщила лоб. — Маро туда пошла. Это подруга моя. Ну, и я с ней. Вместе семилетку кончали. В войну вместе работали. — Она некоторое время внимательно разглядывала свои чулки. — Недели через две отойдёт миндаль и пойдут вишни, а потом персики. И всё будет белое, и розовое, и фиолетовое.

— В хорошем краю вы живёте.

— Да, хорошо. Только скучно. До города далеко. Я под воскресенье всегда в город на танцы езжу. — Она счастливо улыбнулась и сейчас же спросила, глядя на Женю исподлобья: — Вы вчера ездили с Нико на танцы?

— Разве он любит танцевать?

— Нет. Не знаю. Я вообще не знаю, чем он увлекается. — В голосе Наты зазвучала сердитая нотка. — Он всегда занят. Другие находят время...

Она зябко поёжилась. Холодно. Разве Жене не холодно? Ната сбегает домой за жакетом и платком.

Она стремительно вскочила на ноги и убежала. Было ещё далеко до вечера, но солнце уже зашло за горы, и тотчас же вспыхнули их резкие синие контуры. В долине квакали лягушки. Сладко пахли сады.

Ната вернулась вприпрыжку, в жакете, с тёплым платком в руках и альбомом подмышкой.

— Посмотрите, — сказала она, прыгая на траву. — Я всё боюсь, что вам у нас скучно. Вы, конечно, не к нам приехали, но ведь Нико всегда занят. Хотите, мы поедem в город?

Перелистывая альбом, Женя отвстила:

— Я хотела сегодня уехать домой. Да и вам заниматься надо.

— До сессии далеко, — сказала Ната. — Вы знаете, у меня все пятерки.

Ната нахмурилась, потом улыбнулась.

— Я сейчас нехорошо подумала.

— Нехорошо?

— Да, нехорошо. Но я вам не скажу, о чём.

— Почему? Ведь мы... — Женя замаялась. — Ведь мы уже познакомились. Близко познакомились.

— Я бы хотела с вами подружиться, — сказала Ната восторженно. — Вы.. вы — настоящая.

Женя улыбнулась. Ната положила подбородок на плечо Жени и прошептала, покраснев:

— Я вам скажу, что я подумала. Я подумала: как хорошо, что вы уезжаете.

— Вы мне верите?

Ната судорожно глотнула воздух.

— Так вот: я совсем не виновата перед вами, — продолжала Женя. — И Нико не виноват. У нас с ним просто дружба. И вы не рассердитесь, правда? Он любит шагать широко. А вы постарайтесь поспеть за ним. Это ему необходимо. Вы обязательно шагайте с ним в ногу. Пожалуйста.

— По-военному, — сказала Ната задумчиво. И вдруг оживилась, схватила Женю за руки и заговорила быстро и взволнованно: — Я понимаю. Я смогу. Ведь это моя жизнь. Я сейчас не такая. Мало знаю и мало видела. Девочка, правда? Но не всегда же оставаться такой. Я ведь учусь. Вот окончу, приезжайте, поглядите, какой я стану.

Она спрятала лицо в складках платка, накинутого на Женины плечи.

Женя сказала растерянно:

— Ну, не волнуйтесь. Не волнуйтесь, пожалуйста.

Ната резко подняла голову.

— Нет, я совсем спокойна. Вы ничего мне не сказали, но я всё понимаю и совсем спокойна. — Она добавила как-то совсем по-детски: — Только вы уезжайте, Женя.

Они не возвращались больше к этой теме, а просто сидели на краю обрыва и болтали о пустяках. Женя рассматривала фотографии. В альбоме было несколько портретов Нико.

Когда уходили, Ната сказала, вставая и потягиваясь:

— Как хорошо, что мы с вами — свои люди.

Женя потом несколько раз повторяла мысленно: свои люди. Она ощущала где-то глубоко в себе леденящую пустоту. И это было приятно. Всё очень просто. Неудачный роман, — сказала бы Рима. Ошибка. Женя не сделает зла этой черноглазой девочке.

Ничего значительного не произошло в этот яркий весенний день, но девочка вдруг заслонила собой Нико. Заслонила — и Нико начал удаляться, удаляться, как бы таять в пространстве. Совсем маленькая фигурка. Только та, самая первая встреча, всё ещё вспоминается ярко. Но и она растает. Всё очень просто.

Вечером приехал Нико. Он был сдержан, даже чуть-чуть холодноват. Женя настояла, чтобы к ужину пригласили Натю. Девушка явилась в том же простеньком и узком платье, что и в день приезда Жени. Сев за стол, она тщательно вытирала кусочком промакательной бумаги перепачканные в чернилах пальцы. Да, занималась. Тригонометрия—это не легко. Косинусы, тангенсы. Нико, конечно, мог бы помочь, но он не хочет. Очень принципиальный человек. Говорит, нужно добиваться самостоятельно. А в общем, ни погулять, ни потанцевать некогда.

Георгий Мартынович ушёл в совхоз, и они остались втроём: три самостоятельных человека, и каждый уверен в своей правоте.

— Я вижу, что вы уже успели хорошо поговорить, — сказал Нико.

— Да, мы поговорили, — ответила Ната и положила смятую в комочек промакашку в пепельницу.

— Я не знаю, о чём вы говорили, но это хорошо, что вы говорили. — Нико закурил. — Не надо, чтобы у нас получался водевиль.

— Что такое водевиль? — спросила Ната. — Как это по-грузински?

— Не умею перевести. Только моя роль в этом водевиле может показаться неблагородной. Можно подумать: темнит Вашакидзе, и сам не знает, зачем темнит. Обманывает Вашакидзе, и сам не знает, зачем обманывает.

— Ты не умеешь обманывать! — вмешалась Ната горячо. — Женя не знает, а я знаю. Я очень много знаю.

— Я тоже знаю, — сказала Женя.

— Я теперь с Женей очень дружна, — всё так же горячо продолжала Ната. — Когда вы теперь опять приедете? В отпуск приедете, правда? Приезжайте осенью на сбор винограда.

— Я теперь к вам на свадьбу приеду, — ответила Женя, глядя на Вашакидзе.

Ната перебила её:

— Нет, долго ждать придётся. Пока техникум не окончу, я замуж не выйду.

Она сжала виски ладонями и заговорила тревожно:

— Как всё будет? Если бы знать, как всё будет. Если бы видеть всю свою дорогу, как это шоссе, которое далеко-далеко видно. Это нужно, чтобы с дороги не сбиться.

— Она светлая, ваша дорога, Ната, — сказала Женя. — Вы не собьётесь.

В ожидании Георгия Мартыновича ужинали неспеша. Войдя, Георгий Мартынович долго вытирал сапоги в передней и громко кричал оттуда:

— Ветер прекратился, друзья! Сады стоят, как в снегу. Осень будет богатая по урожаю.

Он вошёл в комнату, приветственно поднимая руки.

— Ну, сын, как дела? Как науки? Вы, Женя, извините, что я поздно. Для грузина гость — святой человек. Но теперь горячее время для нас, садоводов.

— Гость тоже из породы садоводов, хоть и другого профиля, — улынулся Нико. — Поймёт.

Георгий Мартынович дышал тяжело и прерывисто.

— Вы опять шли пешком, — упрекнула Ната.

— Да, отец, это никуда не годится, честное слово.

Георгий Мартынович рассердился:

— Разве я министр, дорогие? Своими ногами пройтись по земле — это ли не приятно? А машина не застоится. Машине, дорогие, дела много.

Нико заговорил об отце. Несвойственным ему тоном, очень нежно. Женя ещё не знает отца. Что она о нём знает? Он когда-то стихи писал — на грузинском, конечно. А какой был голос: широкий, бархатный, специально для оперы.

— Замолчи, — сказал Георгий Мартынович. — Женя подумает: вот какой неудачник, столько талантов, и все в землю зарыл. А я горя много перенёс, и всё-таки счастлив. — Он положил свою тяжёлую грубую руку на плечо сына. — Тот, кто для революции отдал хоть капельку крови, на веки веков счастлив. Кушайте, Женя.

— Вы бы могли давно в министерстве устроиться, — сказала Ната. — И в город переехали бы.

— Что такое «устроиться»? Не понимаю, что значит это слово. По-грузински как будет «устроиться»?

Георгий Мартынович смешливо прищурился на Женю, потом, позвавшая медалями, перегнулся через стол к Ната.

— Русский поэт сказал примерно так: «Чинов я пышных не искал и счастья в том не полагал, мне чин один лишь лестен был, который я ношу в природе, — чин человека...»

— Пушкин? — спросила Ната.

— Зачем Пушкин? Пушкин ещё не родился на свет, когда это было сказано. — Георгий Мартынович помолчал, пережёвывая мясо. — А Пушкина я очень уважаю, Женя. А ещё больше Лермонтова. А ещё больше, Женя, величайшего русского поэта по имени Мичурин.

Ната засмеялась.

— Мы его в школе проходили. По естествознанию.

Георгий Мартынович глянул на неё грозно.

— Плохо проходили, дорогая. Почему смеёшься?

С невозмутимым видом Ната прошла по комнате. Играет ли Женя в домино? А в карты? Карт нет, но можно сбежать к соседям. Ната была воплощением энергии. Чем развлечь гостью? Из комнаты капитана она принесла томик стихов.

-- Давайте загадывать. Очень смешно получается. Назовите страницу и какая по счёту строчка сверху. А я буду читать.

Женя назвала страницу. Ната раскрыла её и прочла четверостишие, в котором описывалась природа: заход солнца, лодка, золотой отблеск воды. Совсем не смешно.

— Не умеешь стихи читать, — сказал Нико, отнимая у неё книгу. — Нужно просто читать, и с душой. Ну, загадывай.

Опять ничего не получилось интересного.

— Вот я тебе загадаю, — предложила Ната. — Страница сороковая, десятая строчка. Что же ты? Читай. — Она повернулась к Жене. — Не хочет читать, ему что-то вышло.

Нико прочёл:

Но, отняв свои руки и губы,
ты уходишь — ты вечно в пути,
а ведь сердце не может на убыль,
как полночная встреча, итти.

Он произнёс эти строчки вполголоса и почти скороговоркой. Женя опустила глаза.

— Не получается, — сказала Ната разочарованно.

А встреча идёт на убыль. Уже начало десятого, и Нико встаёт. Очень прямой — ни одной складочки на кителе и брюках, ни одной неровной линии. Погоны ловко пригнаны к плечам. Красивый. Может быть, только сейчас Женя по-настоящему увидела, какой он красивый. И не мальчишка, каким показался при первой встрече. Усталое энергичное лицо думающего человека. Он очень далёкий теперь, хоть и стоит рядом. Не тысячи километров лежат между ними, а целая жизнь. Завтра Женя уедет. И Георгий Мартынович уже не сумеет помешать. «Ты уходишь, ты вечно в пути». Так и нужно — быть вечно в пути.

На вокзал её провожала Ната. Женя ничего не сказала Нико об отъезде. Сначала хотела оставить записку, но и этого не сделала. Решила написать из дому.

Когда поезд подали к перрону, Жене стало грустно. Разве Нико виноват в чём-нибудь? Пусть не виноват. Но Женя слишком долго сдерживалась и делала вид, что ей совсем не больно. И теперь она почувствовала нестерпимое желание хоть чем-нибудь, хоть какой-нибудь незначительной мелочью отплатить Нико, сделать и ему немножко больно. Это маленькая жестокость. Но жизнь с ней, с Женей, тоже жестока: приоткрыла краешек счастья и сейчас же спрятала опять: «Нет, это не твоё. Это чужое».

В руках у Наты букет. Весенние красные цветы. Красные цветы на фоне коричневого пальто с красноватым оттенком, узкого у вздёрнутых плеч и широкого низу. В этом пальто Ната кажется старше. Ничем не прикрытые волосы шевелит лёгкий ветер. Блестят рельсы у дальней платформы. Над головой, по переходному мостику, стучат шаги проходящих. Прощайте, дорогие.

— И всё-таки мне легко и радостно, — сказала Ната, опуская ресницы. — Но не забывайте нас.

— Я желаю вам... желаю вам... — Женя обняла Нату, и они поцеловались.

И опять: вагон, станции, кипятки, бутерброды; немного приторная любезность случайных спутников, разговоры о весеннем севе и о том, будет ли играть Федотов в наступающем футбольном сезоне.

А как всё-таки замечательно знать, быть уверенной в том, что её ждут университет, кафедра, диссертация — даже Яхонтов. Женя уже соскучилась по Яхонтову. Есть люди, с которыми всегда легко и весело — ни споров, ни ссор. Уедешь от таких людей — сначала как будто грустно, а потом и грусть проходит, и память о таких людях проходит. Без следа. И есть люди, с которыми всю жизнь споришь и ссоришься. А когда уедешь...

Яхонтов удивится, что Женя так скоро возвратилась. Удивится и, конечно, обрадуется.

Яхонтов, Дервянко, Муся, Нина. Шум в коридорах физмата. Вечная толкотня в деканате. Светлая улыбка Черкашина. Как это далеко! Но как хорошо, что всё это есть. Иначе было бы непосильно трудно. Это самое основное в жизни.

И Алик. Женя подумала о нём в последнюю очередь. Но, конечно, не потому, что он на втором плане. Нет, она намеренно как бы отложила мысли о нём, чтобы вот сейчас, когда растянется на своей полке и зажмурит глаза — долго, очень долго, вплоть до минуты, пока не заснёт — вспоминать его ручки, его голос, его личико, его шалости. Как он её встретит? Здоров ли? В чемодане лежит подарок для него. Рядом с папиросами, которые Женя так и не отдала Нико. Везла за тысячу километров — и не отдала. Пусть они лежат в чемодане — безмолвные свидетели того, что всё получилось немножко не так, как об этом мечтала Женя.

Она приехала домой на рассвете. Видимо, только что выпал снег. Он и теперь продолжал итти, но уже редкий, мокрый — сразу таял на воротнике пальто. То ли от снега, то ли от того, что ещё не совсем рассвело, город казался голубоватым. Мягко проходили одинокие машины с залепленными снегом бортами.

Дверь отперла Муся, сонная, в длинном халате и ночных туфлях.
— Как у нас, всё благополучно? — спросила Женя отряхиваясь.

— Всё хорошо.

Алик спал в комнате Муси. Женя побежала к нему. Не зажигая света низко нагнулась над кроваткой. Здравствуй, родной! Ей показалось, будто он прошептал что-то в ответ. Нет, не проснулся.

Она наскоро умылась и прошла к себе.

Постель раскрыта, даже тапочки стоят на коврик, возле туалетного столика. Муся — у окна, задёргивает занавеску. Выражение лица сердитое.

— Я тебе не хотела сразу говорить...

— Что случилось? — испуганно спросила Женя.

— Умер Володя.

— Умер?

— Несчастный случай. Как только ты уехала, у нас началась оттепель, вскрылась река. Он упал в воду во время ледохода. Вытащили, но поздно. Его привезли сюда, и сегодня похороны.

— Ниночка бедная!

Женя так и не заснула. Муся тоже. В семь утра она ушла на завод. В восемь проснулся Алик. Пили чай втроём. Третий — Чемезов. Он всё время молчал, а потом сказал резким голосом:

— Чёртова смерть! Бьёшь её на всех фронтах, а она огрызается, отстреливается. И вот — шальная пуля. — Он завертел ложечкой в стакане. — А сколько полезного может сделать человек за свою жизнь!

Чемезов мягко поглядел на Алику.

— Ешь, ешь. Набирайся силёнок. Нам с тобой ещё дела уйма. Эх, Володя!

После чая Женя ушла в университет. Позвонили из райкома партии: нужно срочно зайти ко второму секретарю. Черкашина не могут разыскать, пусть явится член бюро.

В райкоме Женя пробыла часов до четырёх. Когда она возвращалась, снег уже не падал. Потеплело. Возле главного университетского корпуса стояли легковые машины и грузовик. Задний борт грузовика был откинут. В кузове расстелен темнокрасный ковёр. Возле машины, покуривая, топтались незнакомые люди.

Женя вошла в подъезд и, мельком взглянув на большое объявление в чёрной рамке, поднялась по лестнице. На площадке она столкнулась с Галичем. Он курил, неумело держа папиросу между пальцами.

— Ах, Женя! Я очень рад тебя видеть. Ты знаешь, на филфаке несчастье. Сейчас все там, в актовом зале.

Галич зачем-то вытер лицо носовым платком, застегнул воротник шубы и снова повторил:

— Я очень рад тебя видеть. Там... — он поднял палец, — все очень издёргались. Трагично. Я его мало знал, но страшно об этом подумать. Ты понимаешь, очень тяжело.

— Как Нина? — спросила Женя.

— Держится. Она ездила туда, в деревню.

Галич рассказал подробности. Весна ранняя, и нагрянула как-то внезапно. Десять градусов тепла, дождь, река вышла из берегов. В том районе, где работал Володя, ледоход. Паводком снесло дома, могло быть много жертв, но жители не растерялись. Сразу же — лодки, багры, спасательные бригады. Все кинулись к реке — и колхозники, и учителя. Володя тоже. Людей спасли, только трое погибло: льдиной ударило лодку, перевернуло. Володя был в этой лодке.

— Ты его видел? — спросила Женя.

— Лежит, как живой. Ему бы орден нужно. Я считаю, это героизм.

— Да, — сказала Женя подавленно. — Ну, я пойду наверх, попрощаюсь.

Тяжело дыша, она поднялась в актовый зал. У неё было странное ощущение нереальности всего происходящего. Всего: начиная с поездки в Тбилиси и кончая той страшной пустотой и усталостью, которые охватили её сейчас, на лестнице.

В дверях актового зала толпились студенты. Приподнявшись на носках, Женя увидела головы стоящих впереди, косо висящее полотнище бархатного университетского знамени с чёрным бантом на древке и широкую прямую фигуру Деревянко. Он что-то говорил. В зале было душно и очень тихо, но слов Деревянко Женя не могла разобрать.

Молча раздвигая толпу, она двинулась в зал. От тяжёлого запаха цветов у неё закружилась голова. Ей что-то шептали.

— Мне надо, мне надо, — повторяла она тоже шёпотом.

Гроб был завален цветами. В почётном карауле стояли незнакомые девушки и Виктор Черкашин. У него тесно сдвинуты брови. Военный китель, он уже давно его не носил. Руки со сжатыми кулаками опущены.

Нина в первых рядах с Майей. Женя протискалась и нашла её руку. Нина обернулась. Волосы гладко зачёсаны, лицо белое и острое. Она улыбнулась бескровными припухшими губами. В этой улыбке Женя угадала и нежность, и благодарность за то, что она подошла, и страшную отрешённость от всего, что происходит. А глаза оставались пустыми, холодными, без единой искорки жизни.

Деревянко закончил говорить, и на его место встал незнакомый Жене мужчина в пенсне. Вероятно, преподаватель филфака. Бесшумно сменился почётный караул. Виктор тотчас же исчез. Позже его голова несколько раз показывалась над толпой у входа. Он беззвучно давал распоряжения, снова исчезал и снова появлялся. Потом толпа стала медленно втягиваться в выходные двери, и тут Женя увидела серый профиль Володи. Губы у него были надуты, словно он спал, обижаясь на кого-то во сне.

Женя подошла очень близко к высокому, остро пахнущему цветами гробу и, не отрываясь, глядела на Володины восковые руки. Она не

заметила, как исчезла Нина и как зал опустел. Помимо воли вспоминалась фраза: «Я хочу быть солдатом простым в карауле у этого знамени...»

Женя хотела попрощаться с Володей, но не знала, как это сделать. Послышался голос Виктора:

— Берите сначала крышку. Только не на машину, на руки. Да, я вас сменю и Ивнев... Нет, Ивнев лучше с Ниной.

— Я не могу, Виктор, — сказал Борис где-то рядом. — Пусть девушки. Вот Маслова приехала.

— Женя! — окликнул Черкашин не здороваясь. — Пойдём вниз.

Они молча спустились по лестнице. Подъезд был широко распахнут. Вся улица заполнена народом. Вынесли гроб. Процессия начала выстраиваться. Снова промелькнула фигура Деревянко, рядом с ним Галич с потухшей папиросой между пальцами.

Виктор в одном кителе стоял у грузовика и негромко распоряжался. Он так ничего и не сказал Жене, хотя, повидимому, собирался что-то сказать. К нему подошла Нина, закутанная до бровей в серый пушистый платок.

— Витя, ты простудишься.

Он взял её под руку и отвёл в сторону. Приглушённо зажужжали моторы легковых машин; осторожно пятась, машины отъехали, освобождая людям место у гроба.

Женя не успела подойти к Нине, хотя была уверена, что именно ей надо быть сейчас рядом с Ниной. Черкашин с Ивневым и ещё двое мужчин подняли крышку гроба. Девушки с филологического выстроились впереди с венками. Скорбно заиграл оркестр. Нина оказалась между Майей и старушкой, матерью Володи.

Закачались и сдвинулись с места университетское знамя и венки с красно-чёрными лентами. Тронулась машина с гробом. Нина, Майя, мать Володи и ещё кто-то, друзья или родственники, пошли вслед за нею — слишком быстро, не слушая траурного марша. Другие примерялись к медленному ритму музыки. Шествие растянулось на целый квартал.

Женя снова оказалась рядом с Галичем. Он взял её под руку, а в другой руке держал свою круглую котиковую шапочку, прижимая её к груди. Гремел марш. Молча шли по знакомым улицам. Изредка процессию медленно, без звонков, обгоняли трамваи.

— Они так и не поженились? — спросил Галич.

— Не знаю.

Улица, дома, трамваи — всё это перестало существовать для Жени. Ничего не осталось, кроме гроба, белых цветов и небольшой группки людей, идущих вслед за автомобилем. Женя чувствовала, что ей всё трудней и трудней передвигать ноги по мокрому и вязкому асфальту. Седая старушка беспрестанно трясла головой, прижимая к глазам ладонь, будто защищаясь от невидимого солнца. Когда умолк оркестр, стало слышно, как она плечет.

Галичу наскучило молчать. Он принялся тихонько рассказывать Жене о своих аспирантских делах. Женя не слушала. Она думала о Нине. Ей хотелось быть рядом с ней.

Когда пришли на кладбище, уже начало смеркаться. Машина, качиваясь, въехала в распахнутые чугунные ворота и медленно покати-лась по узкой аллее, между чёрными кустами и мокрыми могильными оградами, засыпанными потемневшим за день снегом. Процессия растянута. Люди устало скользили в липкой грязи. И только мать Володи делала мелкие, торопливые шагжки, держась рукой за откинутый борт, словно боясь, что машина уйдёт без неё. Женя как-то сразу потеряла

из виду всех знакомых. Даже Галич куда-то исчез. Темнело. За оградой кладбища в лёгком тумане уже горели огни. Люди стояли молча. Слышались только всхлипыванья и скрип лопат, врезающихся в землю. Женю оттеснили назад, и она приблизилась к могиле лишь тогда, когда начали расходиться.

— Ну вот, — сказала Женя, ни к кому не обращаясь. — Всё.

— Очень просто, — сдавленным голосом отозвался Ивнев.

В сумерках резко белели цветы на могиле. Могильный холмик казался свежим сугробом снега.

Появился Виктор. Он постоял некоторое время молча, потом натянул на голову шапку и застегнул пальто.

— Пошли, — сказал Борис.

Но Виктор вдруг согнул ноги и сел прямо на груду грязной земли, смешанной со снегом.

— Обождите, — сказал он глухо. — Я сейчас.

Борис растерянно потоптался возле него.

— Устал?

— Да, устал, — отозвался Виктор, с трудом отрывая руки от лица.

Так сидел он несколько минут, не двигаясь. Женя медленно отошла от могилы и остановилась на аллее. Кладбище опустело. Последние фигуры людей скрылись в тумане. Вспомнилось лето, река, водная станция, Володя с красной обожжённой спиной, его фотоаппарат, его слова: «Всё-таки легче написать поэму, чем статью её героем». И вот — ничего нет. Ни лета, ни реки, ни Володи. Кончилась поэзия, оборвалась жизнь. Остались только белый холмик, запах цветов и сырой земли. Вот и попрощались. Все ушли, остались только они трое. Но они сейчас тоже уйдут.

Виктор встал.

— На войне легче.

Борис молча взял его под руку.

— А может быть, уже забылось. Не знаю.

Они выбрались на аллею и широкими шагами двинулись к выходу.

— А где Нина? — спросил Ивнев.

— Там, — неопределённо махнул рукой Виктор. Женя с трудом поспевала за ними.

— Вы знаете, я не ждала, что Нина перенесёт его смерть так мужественно.

— Лучше бы она плакала, — сказал Виктор. — Глаза у неё какие-то странные.

Наконец, показались фонари улицы. На трамвайной остановке всё ещё толпились университетские ребята. Нина стояла возле легковой машины. Она разговаривала с седой старушкой, сидящей в кабине. Женя подошла.

— Ах, здравствуй, — сказала Нина. — Ты уже приехала?

— Пойдём. Вот Виктор, Борис.

— Нет, — ответила Нина спокойно. Сейчас, в полутьме, лицо её казалось прежним: острые черты его сгладились. Платок сбился на затылок. — Нет, я к матери. Нельзя её оставлять одну.

Она пожала Жене руку и влезла в машину.

— Единственный сын у матери, — тихо сказал Виктор.

Машина медленно отъехала от тротуара. Вспыхнули фары, и по невидимым троллейбусным проводам побежали две серебряные молнии.

Так как смерть Володи каждого по-своему ошеломила, с Женей никто не заговаривал о её путешествии. Она твёрдо решила уйти в работу сразу же, безо всякой раскачки. Это ей удалось.

Первый рабочий день прошёл как обычно. Яхонтов куда-то спешил; вошёл в лабораторию не раздеваясь, в зимнем пальто и меховой шапке со спущенными наушниками. Как и предполагала Женя, он очень обрадовался её быстрому возвращению.

— Я уверен, что ваш вояж дал вам, Евгения Васильевна, необходимую разрядку. Надеюсь, она внесёт, знаете ли, ощущение некоторого творческого обновления, а также...

Надоедливо стучал воздушный насос, и последних слов профессора Женя недослышала. Яхонтов повернулся к Галичу:

— Вам нужен насос?

Семён засуетился, вопросительно взглянул на Пересаду и поспешно ответил:

— Нет, сейчас, кажется, не нужен.

— Вы же пытаетесь стать физиком, — сказал Яхонтов язвительно. — А физика знает только два слова: «да» или «нет». — Он добавил сердито: — И вообще, научитесь экономить время, материал и энергию.

Галич выключил насос. Наступила тишина, нарушаемая лишь звонком капель в водопроводной раковине. Яхонтов снова повернулся к Жене и продолжал любезно:

— Да, после нервной разрядки всегда чувствуешь себя прозелитом. Это рождает свежие идеи. Итак, на чём мы остановились? Кстати, я достал для вас, и не без труда, шестьдесят сантиметров вольфрама.

Он вытащил из кармана моток тонкой, отливашей синевой проволоки. Они подошли к рабочему столу Жени.

Потом профессор уделил несколько минут Галичу. Женя села шлифовать металлический конусок, который нужен был ей для установки. Она слышала, как за её спиной Семён бойко рассказывал Яхонтову, чего добился за последние два дня. Включили рубильник высокого напряжения, и профессор, стоя у пульта управления, медленно отсчитывал:

— Десять. Двадцать. Двадцать четыре. Двадцать девять...

Раздался треск, и Яхонтов сказал раздражённо:

— Нет, не годится. На тридцати пробивает изоляцию. Это совершенно ясно. Работайте, ищите.

Пересада снова включил насос. Сквозь шум был слышен обиженный голос Галича:

— Да, но я эту штуку продумывал целый месяц.

— Паллиатив эта ваша штука, — резко ответил Яхонтов. — Не более, чем паллиатив.

Когда, вежливо попрощавшись, Яхонтов ушёл, Семён сказал восторженно:

— Вот мудрый старик! Тут целый месяц бьёшься, а он пришёл, глянул — и всё сразу поставил на своё место.

Через полчаса Женя была в общежитии у Нины.

Сначала ей пришла мысль предварительно повидать Ивнева или ещё кого-нибудь из ребят, но, почувствовав в себе что-то похожее на нерешительность, она смело постучалась в комнату девушек. Открыла Майя с красным, припухшим лицом, в каком-то не по сезону открытом платье, с голой шеей и голыми худенькими руками. Эти руки сейчас же обхватили Женины плечи.

— Наконец-то! — сказала Майя с облегчением и надеждой.

В комнате пахло нашатырным спиртом. На столе, среди книг и тетрадей, стояла тарелка с супом и нетронутое жаркое. Нина ничком лежала на кровати, одетая, только без туфель. У неё мелко дрожали плечи, а руки стиснули измятую подушку, мокрую от слёз.

— Никак не может заснуть, — Майя на цыпочках подошла к кровати. — Может быть, вы знаете какое-нибудь лекарство?

Женя быстро сбросила пальто, шапочку, боты и присела рядом с Ниной.

— Девочкам нужно готовиться к теоретической конференции по марксизму-ленинизму, — зашептала Майя. — Я их выгнала, но не знаю, что делать.

— Нина, — тихонько позвала Женя.

— Со вчерашнего вечера так! — Майя отвернулась к окну. Мелькнул кружевной платочек, поспешно поднесённый к глазам.

— Ниночка, я с тобой, — прошептала Женя, наклоняясь над ней.

Нина сделала движение, будто пыталась приподняться. Но она не приподнялась, а только на секунду оторвала от подушки лицо и сказала тихо:

— Спасибо.

Они молчали очень долго, до тех пор, пока в дверь не постучали. Вошли Виктор и Тамара. Нина улыбнулась им, и Женя снова увидела в её улыбке ту гримасу боли и нежности, которой встретила её Нина в актовом зале.

Сели вокруг стола. Виктор закурил. Тамара зашептала с Майей.

— Вы разговаривайте, — сказала вдруг Нина. — Вы громко разговаривайте. — И сейчас же, сорвав голос на последнем звуке, она снова заплакала, заглушая рыдания подушкой.

Женя и Виктор переглянулись.

Они поняли друг друга. Да, очень трудно. Но они не могут уйти отсюда. Может быть, даже лучше оставить Нину одну, но они не могут.

Тамара отошла от Майи и дёрнула Виктора за рукав: папироса! И без того душно, а тут ещё папироса.

Виктор вышел в коридор. Женя посидела некоторое время возле Нины и тоже вышла. Приглушённо говорили о предстоящей теоретической конференции.

— Вот что, ребята, — сказал Виктор. — Конференцию откладывать нельзя... Но Нина в таком состоянии...

— Да, — отозвался Борис. — Понятно.

— Понятно, — подтвердила Женя.

— Я просто прошу девушек...

— Понятно, Виктор, — повторила Женя.

— Я лично просто не нахожу слов, и кроме того... — он вздохнул и прибавил с силой: — В самые трудные минуты жизни только женщина находит единственно нужное слово.

— Ну, положим, — возразил Ивнев.

Когда вернулись в комнату, Тамара уже кормила Нину с ложечки, как ребёнка. Нина, морщась, проглатывала суп и, задыхаясь, говорила между глотками:

— Вы не представляете себе, девочки... Я не могу. Сердце начинает колотиться так, что мне кажется, я подпрыгиваю. Ведь есть такие лекарства, чтобы сразу заснуть... Бром, опиум?

Она снова падала на подушку, снова плакала, кричала, просила дать ей брома или опиума.

— Может быть, дать? — спросила Женя у Виктора.

— Ни в каком случае. Но не оставлять одну.

— Дайте ей стакан обыкновенной воды, — посоветовал Борис. — Хотите, я дам?

Он выполнил это многозначительно: долго возился со стаканом,

долго болтал в нём ложечкой. Для большей убедительности Борис даже произнёс какое-то латинское слово. Нина всхлипывала, с верой глядя на стакан, как на избавление от страданий.

У неё стучали зубы, когда Борис поднёс стакан к её губам. Немного воды пролилось на кровать: у Ивнева дрогнула рука. Пока Нина пила, он поддерживал её голову. Потом, поставив стакан на подоконник, Борис вышел. Женя слышала, как он говорил в коридоре Виктору:

— Я больше не могу. Я не пойду к ней.

Виктор обнял его за плечи, и они пошли в глубь коридора.

Два дня Нина не вставала с постели. Наконец, появились первые признаки выздоровления. Нина проговорила своим обычным тоном:

— Дорогие, если бы не вы... Если бы не вы, я не представляю себе, что бы со мной было.

— Нине будет очень трудно, — с тревогой сказала Женя Виктору.

— Да, трудно, — повторил он. — Мы всё сделаем, чтобы ей помочь. Но... Ты сама понимаешь... Пройдёт время... — Виктор помолчал. — Нина найдёт своё настоящее дело в жизни.

Сам того не ведая, Виктор поддержал Женю в трудную минуту. Так бывает: одно короткое слово человека, которому веришь, и созревшие в душе мысли выливаются в твёрдое убеждение, в спокойную уверенность, в программу действий.

Женя, наконец, решилась написать Вашакидзе. Письмо вышло короткое: о смерти Володи, о своём состоянии. Несколько неуверенных слов о том, почему уехала, не попрощавшись.

Прежде чем запечатать конверт, Женя перечитала свои строчки. Да, легче целый день биться в лаборатории над какой-нибудь неразрешимой проблемой, чем написать письмо Вашакидзе. Она сделала постскриптум: «Нико, дорогой, отвечайте мне, не забывайте. И спасибо за всё, за всё».

Подготовка к теоретической конференции заняла у Жени несколько дней. Она просмотрела старые конспекты, составленные вместе с Римой, когда они готовились к экзамену по философии. Но конспекты оказались слишком сжатыми. Женя перечитала «Об основах ленинизма», делая новые выписки. В день конференции, утром, она пришла на факультет и договорилась с Гольдбергом относительно аудитории.

До звонка оставалось пятнадцать минут. Бесперывно хлопала входная дверь. У гардероба толпились студенты. Женя поднялась на второй этаж и заглянула в аудиторию четвёртого курса. Там было пусто, только Майя и Нина доедали за столом завтрак, разложенный на смятой газете.

— Я насчёт конференции, — сказала Женя.

Майя заволновалась.

— Я прочитала всю рекомендованную литературу, но у меня всё перепуталось... Ведь не только наш курс будет? Ой, на первом курсе есть такие задиристые мальчишки! Женя, а можно так, чтобы меня не вызывали?

Нина отложила завтрак, порылась в портфеле и вытащила бумажку.

— Из комсомольцев фиксированные выступления у следующих... — глухо сказала она и прочла список. — Должно получиться интересно.

У неё было усталое, бледное лицо. Волосы небрежно сколоты, на затылке, глаза неподвижные и холодные.

На теоретической конференции Женя выступила тотчас после оглашения рефератов. Может быть, ей следовало, не торопясь, сначала вы-

слушать кое-кого из студентов. Но, во-первых, ребята очень медленно раскачивались, а во-вторых, у неё появилось несколько замечаний, которые, по её мнению, могли бы сыграть полезную роль в общем направлении обсуждения. Женя заявила, что выслушала рефераты с большим интересом, что они свидетельствуют о недюжинной подготовленности авторов и о добросовестном усвоении теоретического материала.

— Но, товарищи, есть ещё у нас какая-то школьная робость. Кто-то забывает, что они уже не за партой сидят, не в классе, а за рабочим столом, в аудиториях высшего учебного заведения. В университете. Это ко многому обязывает. Может быть, вот за этим самым столом когда-то сидели крупнейшие учёные...

Борис демонстративно принялся осматривать свой стол.

Среди девушек-первокурсниц прошёл смешок.

Женя рассердилась.

— Ивнев, на каком вы курсе?

— На том же, который когда-то проходили крупнейшие учёные...

— У нас не так много времени, чтобы отвлекаться шутками, — вмешался Черкашин.

Женя досадливо покачала головой и перевела глаза на окно, за которым, в свинцовом тумане, вырисовывались строгие очертания химического корпуса. Мутно светились огни ламп в аудиториях.

— Я хочу сказать следующее. Мы собрались сегодня для того, чтобы подвести итог углублённого изучения основ ленинизма. Перед нами встаёт, как живая, страница истории нашей партии. Мы излагаем своими словами боевые, ясные и благородные мысли, которые неocenимо обогащают нас, делают сильнее во много крат. Но, понимаете, вот в чём дело. Мне история партии никогда не представлялась только историей. Это, конечно, прекрасная история. Но если глубоко вдуматься, она в то же время самая горячая современность. Ленин и Сталин никогда не смотрели узко на текущий день. Партия всегда смотрела с точки зрения будущего. Она решала злободневные вопросы так широко, что мы теперь недаром говорим о трудах Ленина и Сталина: сокровищница марксизма-ленинизма. Вот из чего исходя, я и вижу основной недостаток большинства рефератов в узости постановки вопроса. А разве у нас нет возможности ставить вопрос широко? Разве нет у нас такого оружия, как, скажем, четвёртая глава? Вы помните: марксизм не догма, а руководство к действию. Здесь говорили и о государстве, и о стратегии, и о тактике. Давайте разберёмся широко, давайте разберёмся философски, так, чтобы конференция осветила нам и сегодняшний день, и завтрашний...

Неожиданно слово взяла Майя. Она довольно бойко вскочила со своего места, привычным жестом отбрасывая за уши волосы. Но когда взгляды студентов остановились на ней, она медленно и мучительно покраснела, сжала ручки у груди, как эстрадная певица, и беспомощно обернулась к Нине. Они сидели рядом, за отдельным столиком.

Жене показалось: Майя только потому и решилась говорить, что у Нины нет сил, ей трудно, что она сидит, зажав виски ладонями, и неподвижно глядит в пространство.

— Товарищи, — начала Майя. — Во-первых...

Она говорила сбивчиво. После «во-первых» отнюдь не следовало «во-вторых». В аудитории начали потихоньку переговариваться. Раскрасневшаяся, в пёстрой кофточке, с комсомольским значком на груди, она испуганно глядела на Женю своими чересчур большими кошачьими глазами.

— Женя, то есть Евгения Васильевна, правильно сказала про значение... Я тоже раньше смотрела по-школьному. Лишь бы сдать и хорошую отметку получить. Ведь бывает так? Бывает. А это нужно не для отметки. Конечно, правильно, что отметка должна быть хорошая. Но, во-первых, это нужно для жизни. Я могу привести личный пример. Я теперь работаю в профкоме, в культурно-бытовой комиссии. — Майя услышала шум позади себя и обернулась. — Нет, я сейчас объясню, к чему это. Так вот, в профкоме. А раньше я проводила беседы с техперсоналом, понимаете? Разные беседы с нашими работниками, с женщинами. И про пятилетку, и про то, что вообще в стране... Потом наши праздники. И когда меня спрашивали, вопросы, я отвечала, как понимала. Понимала хорошо, а объяснить было трудно. Но я считаю, что объяснять должна не просто так, как получится, а по-коммунистически, по-партийному... — Она запнулась, снова покраснела. — Ой, простите. Я ведь не член партии. Все мои товарищи — да, а я — нет. Я уже привыкла так, поэтому ошиблась.

— Ничего, ничего, — поддержал Виктор. — Ты говоришь правильно. Майя ободрилась. Голос её окреп.

— Да, от нас требуется научное понимание, чтобы объяснять, просвещать, агитировать и драться, драться, драться за верное понимание жизни...

Виктор, широко улыбаясь, заплодировал. Его поддержала вся аудитория. Майя растерянно наклонилась к Нине, что-то шепнула ей, выпрямилась.

— Да, вот мы изучаем великие труды вождей. И не просто учим, а потому, что без этого нельзя. Совершенно невозможно без этого жить.

После конференции долго не расходились. Борис стоял на председательском месте в распахнутом пиджаке, с галстуком, съехавшим набок. Он громко говорил, продолжая спор:

— Пожалуйста, я вам сейчас разовью моё понимание стратегии и тактики применительно к сегодняшним дням. — Он загибал пальцы. — Стратегия — это понятно, это имеет целью коммунизм. Тактика — борьба за мир и демократию во всём мире. Направление основного удара: изоляция и разоблачение соглашательских правооппортунистических партий...

Он присел к столу, утомлённо обхватил рукой голову и сказал сердито:

— Эх, сволочные партии!..

Он так разговорился сегодня, что кто-то бросил шутливую реплику:

— Хозяин земного шара!

Виктор ответил серьёзно:

— Представьте себе, это вполне трезвая мысль. Да, мы — хозяева земного шара.

Дома Женю ждало письмо от Вашакидзе. Синий конверт с адресом, написанным быстрым косым почерком, с резко подчёркнутым словом в верхнем углу — «авио». Женя подняла конверт к свету и ловким движением вскрыла. Письмо было написано на листке из тетради.

«Дорогая Женя! Сейчас уже очень поздно. Я ночую сегодня дома. Написал статью для военного журнала. Но тема для вас не интересна. Это не то, чем я серьёзно занимаюсь последнее время и что немножко связано и с вашей научной работой. Это просто мысли по вопросам тактики. Небольшое суммирование того, что я сам испытал, а также попытка заглянуть в будущее.

К нам недавно приезжал генерал, замечательный специалист по артиллерии, доктор наук. Он меня вызывал. Мы разговаривали очень долго и несколько раз. Так что в конце я даже позволил себе пошутить. Он спросил, есть ли у меня здесь условия для исследовательской работы, нет ли препятствий в смысле опубликования отдельных статей. Я ответил, что всё в порядке. «Может быть, с вашей стороны будут какие-нибудь пожелания?» Я говорю, что есть одно пожелание. Вот если взять литературу, поэзию, то там автор имеет право посвящать свой труд определённом лицу. Жалко, что у меня нет такого права. Генерал говорит: «То ж поэзия!». А я возмущился: «Для меня то, что я пишу, тоже поэзия». Он улыбнулся, подумал, а потом ответил: «Вы посвящайте. Но, чтобы не нарушать технических традиций, посвящайте в своей душе». Пришлось согласиться, ничего не поделаешь.

Я вам пишу это, чтобы правильно передать мои чувства. Нет, всё равно не передашь. Я не думал, что вы так внезапно уедете, хотя и понимаю вас. Н. рассказала мне о вашем разговоре. Я не хочу делать выводов. Мы честно воевали и хорошо решали очень сложные тактические проблемы. Мы не умеем ещё так же точно решать некоторые проблемы из области личных взаимоотношений. Я далёк от мысли проводить параллели. Кое-что я вам сказал тогда, в погребке на Плехановской. Вы, вероятно, поняли, что мои отношения с Н. не выходили за рамки юношеской восторженности. Мы тогда были слишком молоды.

Один товарищ сказал мне такую вещь: ты всё поэзией увлекаешься. Наверно, сам стихи писал. А поэт из тебя не вышел, так как твоё призвание сочинять уставы. Вот! Итак, моё призвание сочинять уставы. Вы, кажется, тоже когда-то насчёт этих уставов прохаживались. Но я считаю, что устав — это совесть, облечённая в словесную форму. Я хочу говорить с вами о совести. Вы никогда не сообщали мне подробно о ваших отношениях с мужем. Но я понял, что рассорились вы из-за пустяка. Вы говорили, что он приезжал. Вы говорили, что он вас любит. Не знаю, может быть потому, что для меня отец всегда был настоящим отцом, а также другом, я не могу представить себе сына без отца. Это очень сложный вопрос. Простите, что я в него вмешиваюсь. Но вот мы встретились. Я подумал: вдруг я стану причиной дальнейшего раздора? Нет, не посчитайте, что спрашиваю и требую ответа. У вас есть Алик, и это сложнее. У меня тоже есть сознание долга. Вы заметили, что слово «любовь» не имеет множественного числа? Это не случайно. Разве человеческое сердце может выдержать любовь во множественном числе? Нет, оно разорвётся.

Вот и всё, Женя. Целую ваши руки. Володю я помню по двум-тём эпизодическим встречам. Я так и не понял, как это случилось с ним. В трудную минуту — я с вами. Пишите.

Вот и снова весна. Оранжевые закаты в семь часов вечера. Тонкий лёд на тротуарах. Ручьи в полдень. Скоро май: первые листочки на деревьях, первая трава, первый гром, первая школьница в носочках, первый фейерверк в парке, первый симфонический концерт в городском саду, первый репортаж Синяевского с московского стадиона «Динамо». Снова зелень, солнце, запах земли и листьев, синее небо и тёплые звёзды. Чудесное обновление природы, которое совершается каждый год, и каждый год поражает и восхищает душу. В городе уже начинают готовиться к Первому мая. Кое-где перекрашивают здания. В городском саду окапывают грядки. Все знают: идёт весна. И это самое главное — знать, что идёт весна.

Женя подошла к окну, заломила руки и подумала восторженно:

— Как хорошо знать, что идёт весна!

Уже вечер. Горит настольная лампа. Газеты, газеты... Что в Китае? Битва за реку Янцзы. Войска Народно-освободительной армии заняли Нанкин. Гоминдановское правительство бежало. Обращение Мао Цзедуна к солдатам: «Развивайте наступление...».

Желаю вам счастья, товарищ Мао Цзедун! Женя долго изучала карту военных действий. Районы, освобождённые Народной армией, заштрихованы. Не так уж много осталось белых пятен на карте. Быстрейшей победы, дорогие друзья!

А в Вашингтоне подписан Северо-Атлантический пакт. Меморандум Советского правительства. Дипломатический обозреватель «Манчестер Гардиан» вынужден признать, что меморандум разоблачает агрессивный характер пакта.

В Афинах расстреливают демократов. Новое нарушение западными державами Потсдамских соглашений о демилитаризации Германии. Депутат Кэннон заявил в палате представителей Соединённых Штатов: «Мы должны в течение первых трёх недель будущей войны превратить в развалины каждый экономический центр Советского Союза». Американский профессор Оппенгеймер похвалился, что может, нажав на кнопку, в двадцать четыре часа уничтожить семьдесят миллионов человек. Пусть это бахвальство, но бахвальство многозначительное. И такой изувер может называть себя учёным?

Перед глазами встало спокойное лицо Деревянко.

Работайте, Степан Тимофеевич, живите, держите нас всех в своих верных руках — и Яхонтова, и Бакеева, и меня, и Галича. Чтобы мы ни на минуту не забывали о том, что хищные пальцы врагов человечества тянутся к смертоносной кнопке.

Никакие кнопки не помогут вам, господа. Читайте: шестьсот миллионов честных людей представлены на Всемирном конгрессе сторонников мира. Открытие конгресса в Париже и Праге...

В репродукторе возникла музыка. Песенка, запомнившаяся по годам войны: «Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать...»

И эти, сегодняшние дни мы тоже когда-нибудь будем вспоминать. И когда-нибудь напишут историю этих дней, нашей напряжённой работы — историю того, как советские люди строили коммунизм, а оппенгеймеры сколачивали новый заговор против человечества. Пусть же напишут историки, как мы ненавидели этих оппенгеймеров и как работали, чтобы укрепить родину и защитить человечество. Пусть же напишут и обо мне — о том, как, проклиная оппенгеймеров и их науку, я старалась быть полезной великой сталинской науке.

Женя жадно перелистывала любимые книги. Повести, воспоминания, дневники. Клара Цеткин выступает на митинге. Надежда Крупская держит корректуру «Искры». Долорес Ибаррури поднимает обожжённое порохом знамя.

Она воспринимала их, как своих старших сестёр и подруг. В жизни её ждёт самое сильное и яркое. Это обязательно свершится. Алик додекает то, что не успеет сделать Женя.

На кафедре наступило затишье, споры прекратились. Все занялись комплексной бригадой. Гордиевский был утверждён её руководителем. В лаборатории установили телефон для связи с заводом.

Бакеев, собиравшийся разработать одну из частей комплексной темы, долго возился с перечнем оборудования, необходимого ему для постановки опытов. Сначала он пришёл к Гольдбергу с просьбой, чтобы машинистка перепечатала перечень. Потом дня два ловил Деревянко:

надо утвердить этот список. И наконец, список попал к Риме. Она держала бумагу двумя пальцами за краешек и небрежно говорила:

— Компенсатора нет. Нормальных сопротивлений нет. Тантала нет.

— Вы сознаёте, в каком большом деле принимаете участие? — спросил Бакеев.

— Вполне.

Бакеев взял её под руку и прошёлся по деканату. Через минуту Рима смягчилась.

— Безусловно. Безусловно, для вас я достану, Яков Платонович.

Женя слышала, как она говорила потом Гордиевскому:

— Придумывает старик. Иллюзии. Сомневаюсь, чтобы он хоть раз в неделю вырвался в лабораторию.

Гордиевский предпочитает не заводить с Римой деловых разговоров. Если нужно что-нибудь для его бригады, Гордиевский обращается к Гольдбергу. И Жене советует то же.

— Через деканат, через деканат... Этак лучше. У Римы Георгиевны на уме шутки. Но работа не ждёт.

А Рима старается избегать Гольдберга. Оказывается, он придирчивый — ещё хуже Яхонтова. Заедает. Но Рима готова простить ему, потому что он не кричит, а шутит:

— Что же вышло из интегрирования ваших бесконечно малых успехов?

Рима умеет ценить иронию. Но всему своё место. Шутливый тон уместен с Гордиевским. Гольдбергу Рима отвечает серьёзно:

— Я попробую пробить стенку и подвести газ из лаборатории номер два.

— Получится?

— Не знаю...

— Прекрасно. — Гольдберг старается сохранить невозмутимость. — Поскольку нашей лабораторией руководите не вы, а кто-то другой, я готов признать, что ваш ответ совершенно логичен.

Гольдберг погружается в бумаги, давая понять Риме, что разговор закончен. В деканате появляются Деревянко и Черкашин. Оба слегка раздражены. Женя догадывается, что речь идёт о юбилее Степана Тимофеевича. Уже решено торжественно отметить этот юбилей. Но Деревянко упрямится.

— Нельзя ли отложить, а? Двадцать лет научной деятельности, это не очень круглая цифра. Подождём до двадцати пяти, а?

— Степан Тимофеевич! — тон у Виктора решительный.

— Пожалуйста, организовывайте широкую конференцию, отчёт, обсуждение, дискуссию. Пожалуйста!

— Это само собой, а юбилей само собой.

На этот раз Деревянко рассердился всерьёз.

— Ну, уж если мольбы на вас не действуют, я буду действовать решительно.

— И вразрез с решением бюро?

— Я пойду в горком, — повысил голос Деревянко. — Я буду настаивать. Не время устраивать парады. Сейчас каждая минута дорога. Я должен закончить свою работу.

Он присел на диван — тяжёлый и грузный, в широком пиджаке, с ярким галстуком. Даже когда он сердился, не исчезала ласково-насмешливая складочка у его твёрдых губ.

— Мне сейчас, как воздух, нужна критика, — сказал он негромко. — А вы на месяц закатите дифирамбы. Я же знаю эти юбилеи. Покойники и юбилеры всегда без пятен.

Так и не договорились.

А на следующее утро Женя пошла к профессору на дом.

Было рано, начало восьмого. В стеклянном воздухе таяли хлопья ночного тумана. Возле оперного театра продавали серебристо-белые ландыши.

Женя купила три букетика. Без всякой цели — просто не смогла пройти мимо и не купить. Ей захотелось вскочить в трамвай, ехать очень далеко, за город, куда-нибудь в сырой майский лес, откуда привезли ландыши. Там тишина, пахнет мокрой землёй, весной, может быть цветами. На открытых степных участках вдоль железной дороги уже цветёт горящий золотом горчицвет. Гудки паровозов, седая от пара трава, стрелки, светофоры и горизонт.

Хочется ехать. Снова хочется куда-нибудь ехать, путешествовать, бродить, улыбаться новым знакомым.

Позавчера уехала Тамара. В Москву, на конкурс. Женя ей немножко позавидовала. Вот пройдёт несколько дней, и по радио объявят результаты конкурса. Тамара, конечно, добьётся успеха. И везде услышат об этом успехе. Везде — в Минске, в Свердловске, в Новосибирске. И в Тбилиси. Главное — в Тбилиси.

Женя позвонила, ей открыл сам Деревянко. Она не знала, как освободиться от своих ландышей, и неуверенно протянула их профессору. Он удивлённо поглядел на неё, но взял.

— Весна врывается в мой дом, спасибо. Я сейчас открою окно. Извините, накурил.

Деревянко, видимо, не ложился с вечера. В комнате, полутёмной от спущенных штор, бледно горела настольная лампа. Профессор был в полосатой пижаме и комнатных туфлях. Он засуетился. Женя предупредила, что зашла на минутку. По важному делу, но всего только на минутку. Не нужно беспокоиться, она сядет в кресло. А ландыши можно поставить в стакан. Только нужно распутать ниточку, иначе цветы завянут.

Женя оглядела комнату. Ковры. Она очень любит ковры. Не нужно никакой мебели — только бы ковры. Когда она закончит аспирантуру и защитит диссертацию, она обязательно купит огромный ковер для Алика.

Деревянко ушёл переодеться. Всё равно он уже не будет ложиться: в девять тридцать у него лекция. Да, конечно, вредно не спать, но так уж получилось: домой вернулся в третьем часу, ездил с комиссией обкома принимать новый литейный цех, а потом сел за книги и зачитался.

Женя покосилась на стол. Нет, не беллетристика и не физика. Философия.

Степан Тимофеевич вернулся в пиджаке, с порозовевшим от умыванья тугим лицом, очень крепкий, весёлый и без следа усталости.

— Ну вот, размялся, — сказал он, присаживаясь к столу напротив Жени. — Вы не смущайтесь, я и не собирался ложиться. Посплю после лекций.

— Сегодня бюро, Степан Тимофеевич.

— После бюро.

— И, кажется, Учёный совет.

— После совета. — Он улыбнулся. — Самый страшный враг человека — время. Я вот раздумывал о наших теоретических работах, а также и об экспериментальных. Отчего мы ещё не умеем мыслить идеально, то есть безошибочно? Вот Яхонтов. Опытный экспериментатор, а зачастую свои эксперименты делает ради самих экспериментов.

Деревянко не то спрашивал, не то сам разъяснял. Как всегда, в беседах с ним Женя испытывала смущение.

— Возьмём факты, наблюдения, перед которыми так преклоняется Яхонтов...

Женя оживилась.

— Я думаю, нельзя отрывать физики от жизни, или, вернее, от той точки зрения на жизнь, которая... — она спохватилась. — Я говорю, наверное, элементарные, всем известные вещи...

— Нет, мне очень интересно.

Деревянко умел слушать. Никто в университете не слушал так, как он. Его губы, его глаза находились в состоянии беспокойного движения. Он реагировал на каждую мысль, не произнося ни одного слова. И тем не менее, руководил мыслью собеседника, сам оставаясь в тени.

— Хорошо, — говорил он, рассекая воздух своей широкой ладонью. — Я вас понял. Допустим, я могу ошибиться в эксперименте, в мелочи, даже в серьёзном деле, но не в принципиальном. Принципиальная ошибка — это уже, простите, отход от марксизма. Прав я или нет? Где же нам искать корень этих ошибок?

— Мне кажется, что некоторые... — Женя запнулась. — Некоторые ещё недостаточно овладели теорией.

— Совершенно верно! Как будто бы простая, общеизвестная вещь, а именно в этом — корень.

Деревянко добавил серьёзно:

— Вот видите, товарищ Маслова, как необходимы нам, старикам, разговоры и споры с молодёжью. Нам многое кажется элементарным, а молодое слово — всегда ищущее.

Женя смущённо улыбнулась:

— Ну что вы, Степан Тимофеевич...

— Я тут статью сочинил небольшую... — Деревянко протянул Жене мелко исписанные листки. — Ночью, под впечатлением мыслей Ленина. Немножко задеваю Гольдберга нашего. Потянуло на теорию. Ну ничего, как видите, это полезно.

Женя чувствовала себя уже совсем свободно.

— Очень хочется побольше заниматься теорией, — сказала она.

— Вы прочтите мою статью, товарищ Маслова. Я ведь не теоретик. Прочтите — и мнение своё, так сказать, критику. Я, когда писал, думал, что нечто гениальное изрекаю. А потом перечёл... Нет, не так нужно писать. Вкусно, пока готовишь. А сейчас — так, остывшее жаркое. — Он закурил и, следя за серебристой ленточкой дыма, продолжал: — Знаете, за что я Гольдберга разнёс? За терминологию. Терминология — тоже вещь. За неё могут всякие там... уцепиться. А он пишет: «граница природы», «границы познания». Какие границы? Я счастлив, что своими экспериментами каждый час подтверждаю взгляды Ленина.

Деревянко помолчал с минуту и добавил весело:

— А Гольдберг — умница. Неточно выразился, за это я его и грею. Но он умница. Вы слышали когда-нибудь, как он читает квантовую механику? Ясная мысль. Всё обнажено, фразы отточены, бьют прямо в цель. А область какая! Область, где все обычные представления смещены. Область с совершенно непривычной аксиоматикой. — Деревянко встал, выпрямился и вытянул руку со слегка сжатыми пальцами. — Помните его жест? Убедительный жест. Так и кажется, что этот самый электрон здесь, в его руке. Вот так и нужно читать. И невозможность определить сегодня точное местонахождение электрона он не смешивает с вопросом о принципиальной непознаваемости. Вот что ценно.

Профессор взглянул на часы. Женя сказала:

— Ведь я к вам, Степан Тимофеевич, относительно юбилея...

Деревянко сразу потух, тяжело опустился на стул.

— Опять этот юбилей... Так необходимо?

— Это не формальность, — ответила Женя. — Это от чистого сердца. — Она опустила голову. — Мы вас очень любим.

Деревянко зашуршал бумагами на столе.

— Вот если бы вызвали меня в Москву, поручили какое-нибудь важнейшее дело и спросили: «Как жил, Степан Тимофеевич, как работал? Перед ЦК рассказывай». Я бы и рассказал. А пока... — он шумно отодвинулся от стола. — Пока каждый день я такой отчёт делаю мысленно. — Встал, подошёл к Жене. — Вот это главное, а не юбилей... Не надо юбилея, дорогие вы мои.

Женя не сдавалась: она выполняет решение бюро. Оставалось не больше двадцати минут до лекции, и Деревянко одевался, когда они пришли к кое-какому соглашению. Профессор предложил организовать большую научную конференцию и выпуск «Учёных записок». Он согласен: пусть эта конференция будет посвящена ему. Но пусть это будет настоящая конференция, с критикой, спорами и — если нужно — решительными выводами.

Через несколько дней Гордиевский принёс в деканат свежую городскую газету, где была напечатана его статья о Деревянко.

Гольдберг прочёл и одобрил. А Деревянко сказал неохотно:

— Ничего. Только концовка не нравится. Получается так, будто всё сделано, можно лечь в кресло и перечитывать «Графа Монте-Кристо». А я бы хотел, чтобы в конце вашей статьи были слова: «Продолжение следует».

Эти слова Женя потом часто вспоминала. Они применимы ко всему, чем она живёт и что делает. И даже переписка с Нико, которая иногда казалась странной и бесполезной, тоже обещала какое-то важное и счастливое продолжение.

Но Женю коробило то, что письма шли в адрес почтового ящика. За этой перепиской скрывался обман. Конечно, обман. Даже если Ната знает — всё равно нехорошо. Что же, писать на домашний адрес, в Дигми? Или вообще не писать?

Полная решимости, она села за очередное письмо.

«Профессор Деревянко — настоящий человек, который умеет заставить поверить в то, будто только что внушённые им самим, профессором, верные и сильные мысли — это твои мысли, родившиеся у тебя самого. Вы бы слышали, как это у него получается: «Прав я или нет?». Он разговаривает с нами, как с равными, даже спрашивает совета, а это возбуждает мысль, как ничто другое. Я пишу вам и думаю: как нужны мне разговоры с вами и как больно переписываться вот так, будто украдкой, тайно. Я часто задумываюсь над тем, благородно ли я живу и поступаю? Раньше я никогда не думала об этом, считая, что я во всём честна, хотя дружба моя с вами теперь кажется мне неблагородной, потому что кто-то, может быть, страдает из-за этой дружбы. Я считаю себя сильной и вас считаю тоже сильным человеком. Поэтому мы, вероятно, сможем обойтись без этой дружбы, как бы она ни была для нас дорога. А вы не думайте, что я обиделась или ещё что-нибудь. Но если у вас будет трудная минута, то знайте, что я — ваш друг.»

Женя перечеркнула последнюю фразу. Нет, Нико действительно

сильный, энергичный, весёлый. У него не может быть трудных минут. Я — другое дело.

«Но если мне будет очень трудно, если я не смогу обойтись своими собственными силами, я приеду к вам, как к самому лучшему другу. А пока...»

Она не выдержала сурового тона и в самом конце письма сделала приписку:

«Рассердились, Нико? Не надо. Это всё правда».

Снова потянулись будни. Студенты начали готовиться к весенним экзаменам. В комсомольском бюро — разговоры об отметках, о группах взаимопомощи.

Нина взялась за работу. Она производила на Женю впечатление человека выздоравливающего, но с приметным следом болезни, который, пожалуй, останется на всю жизнь. В общежитии говорили:

— Совсем другой стала наша Ниночка.

Да, она изменилась. Вникая в самое существо комсомольской работы, Женя ясно почувствовала в ходе её неприятную инерцию самотёка. Что-то делалось, что-то записывалось в резолюциях, Нина попрежнему была у всех на виду, но руководство молодёжью ослабело.

На втором курсе ребята без всякого повода уговорили Гольдберга перенести экзамен по математическому анализу на следующий год. Линия наименьшего сопротивления! Разве на третьем курсе учебная программа легче? Нина сумела бы вмешаться, если бы вдумалась и серьёзно поговорила с комсомольцами. Но она не вдумалась. Она работала механически.

Вмешалась Женя. Когда об этом узнал Черкашин, у второкурсников уже прошло производственное совещание, на котором ошибка была исправлена. Жене показалось, что Виктор недоволен.

— Нет, в общем правильно, — сказал он, заметив её недоумение. — Но ты начинаешь, как бы это сказать... Есть такое слово «подменять», — Виктор подождал ответа. Но Женя угрюмо молчала. — Один за всех — принцип шаткий!

— Подменять — канцелярское слово. Человеческое слово: помогать, выручать.

— Так вот... Если уж ты заговорила о человечности... — По тону Виктора Женя поняла, что он много и горячо думал о Нине. — Первое: нужно было ей откровенно сказать об ошибке... Второе...

Ещё не поздно. Вот ты и скажи.

— Скажу. Мне всегда казалось, что Нина многое может. Была какая-то искорка. Сейчас её нет.

С этим Женя согласна. Искорки нет. Но пройдёт месяц, год — она вспыхнет снова.

— Мы не имеем права, даже из соображений гуманности, закрывать глаза на истинное положение дел, — сказал Виктор. — Есть Нина, и есть комсомол. Я знаю, Нине будет очень обидно, но нужно предложить ей что-нибудь вроде отпуска. У неё очень много пропущенных лекций, надвигаются экзамены...

— Попробуй только намекни ей на это...

— Да, я тоже так думаю...

Но, к удивлению Жени и Виктора, предложение об отпуске Нина выслушала спокойно.

— А кто же меня заменит? — спросила она устало. — Один из членов бюро? Ну что ж, может быть, вы и правы. — Она холодно поглядела на Женю и повторила: — Правы.

У неё действительно скопилось много недоработок по тем курсам, которые вот-вот предстояло сдавать. Женя собиралась помочь Нине, но выяснилось, что её опередил Ивнев.

Борис действовал скрытно. Заметит, что Нина задумалась во время лекции, не слушает, не записывает, — подойдёт на перемене и сунет свой конспект.

— Вот я подробно зафиксировал... От нечего делать. Возьми, мне не нужно, я и так помню...

Зная, что Нина занимается вместе с Майей, Борис доставал для Майи журналы и учебники — те, что были нарасхват. О ходе занятий он узнавал тоже через Майю.

— Ну, как вчера? Долго сидели? Всё освоили?

— Всё. Сегодня трудный материал предстоит.

Борис говорил внушительно:

— Если что не поймёте — я буду в двадцатой комнате. Постучишь, вызовешь — я расскажу. Я этот курс сдал досрочно.

Женя неожиданно для самой себя сказала Ивневу при встрече:

— Знаете, Борис, а вы хороший.

Он смутился, но лишь на секунду. Тотчас же — насмешливые глаза и дерзкий тон.

— Почему вы так решили?

Она ответила на вопрос вопросом:

— Ведь вы любите Нину, да?

Он сказал с горечью:

— Неужели то, что я чувствую уже много лет и не говорю никому, даже ей, молчу... неужели это даёт вам право спрашивать о моей любви к ней?

Незачем было задавать ему этот вопрос, подчиняясь неосознанному порыву. Борис по-своему прав. Характер у него крутой. Не признаёт, например, никаких авторитетов. Только к Деревянко и Яхонтову относится с безоговорочным уважением. Со Степаном Тимофеевичем у Ивнева дружба, к Яхонтову же он питает тайную симпатию. В Илларионе Митрофановиче Борису нравится острый ум и широта научных интересов. В чём видит Ивнев эту широту? Конечно, его, как и некоторых студентов, вводит в заблуждение пышная фразеология Яхонтова. На словах Яхонтов за глубокие, устремлённые в далёкое будущее исследования, а на деле увлекается экспериментами, дополняющими сведения о тех узких областях металлофизики, которые наука уже отвергла, как не имеющие перспективы дальнейшего развития. Если уж говорить о широте научных интересов, то нужно говорить о Деревянко. А Илларион Митрофанович предпочитает заниматься своими «вензелями».

На кафедре — деловая атмосфера. Это хорошо. Нужно только, чтобы не повторялись ошибки, подобные прошлогодним ошибкам Бакеева. Значит, побольше настоящей, пристрастной требовательности. И к себе, и к другим. С такими мыслями Женя готовилась к заседанию факультетского партбюро, на котором должен был слушаться её индивидуальный отчёт.

Заседание бюро состоялось в середине мая. Женя говорила не только о своих аспирантских занятиях и партийных поручениях. Ей хотелось охватить всю свою жизнь с той поры, когда возобновилась прерванная войной учёба. Женя рассказала и о том как воспитывает сына.

— Я не знаю, может быть, говорю слишком разбросанно. Может быть, совсем не так нужно делать самоотчёт. У нас раньше самоотчёты редко практиковались. Но когда я готовилась к сегодняшнему заседа-

нию, то представила себе, что передо мной будет сидеть самый мой лучший, сердечный друг, и я обязана поведать этому другу абсолютно всё, что о себе знаю. И порадовать его, и огорчить. Вот почему я так широко...

— По-моему, так и нужно отчитываться, — сказал Деревянко.

— И дальше, — продолжала Женя. — Мне хочется сказать не только о том, чего я достигла, но и о том, чего я должна была достигнуть или хочу достигнуть. Мне раньше казалось: стоит победно закончить войну, и сразу время замедлит свой бег, выпадет на долю короткая передышка, дающая право отдохнуть, подремать, повспоминать... Но этой передышки нет и не может быть. Мы живём в исторические годы. Свирепеют наши враги и крепнут наши друзья. Одна моя знакомая уверена, что всего два—три года не доживёт до коммунизма.

— Доживём! — улыбнулся Деревянко.

— Я тоже думаю, что доживём. И отчитываясь сегодня, я хочу говорить не только о лаборатории, не только о повседневной работе, но и о нашем времени. Так сказать, обо всём мире. Я хочу говорить о том, что суть нашей сегодняшней жизни в точном, ясном и живом представлении о времени и мире.

До самого конца своей маленькой речи Женя не могла отделаться от ощущения, будто в этой тесной комнатке бюро присутствует Вашакидзе. Когда она села и на секунду закрыла глаза, ей показалось, что сейчас она услышит его гортанный голос.

Деревянко задал вопрос:

— Скажите, почему вы разошлись с мужем?

Он кашлянул немного стеснённо.

— Я поддерживаю тот широкий план, в котором вы построили свой отчёт, и поэтому позволяю себе вторгаться в область вашей личной жизни.

Виктор с тревогой взглянул на Женю и быстро спросил у профессора:

— Разве это существенно, Степан Тимофеевич?

Деревянко на секунду скрылся за клубами папиросного дыма. Он помолчал, постучал папиросой о пепельницу и сердито ответил:

— Нет, конечно. Это я так: почему-то подумал и спросил.

— Я могу ответить, — сказала Женя бледная. — Я могу ответить. Мой муж не верил в меня. Совсем не верил. Он был против того, чтобы я вышла на самостоятельную дорогу.

Женя помолчала и грустно добавила:

— Может быть, я совершила ошибку. Может быть, следовало ради сына переломить характер.

— Характер... — повторил Виктор. — Разве в характере дело?

— Да. Я не умею мириться с тем, что мне кажется непримиримым.

— Ваш муж помогает вам? — спросил Деревянко.

— Конечно, помогает.

— Вам трудно с сыном?

— Нет, что вы! Очень легко. Вы себе не представляете, как легко, если есть сын.

Наступило молчание. Виктор спросил тихо:

— У кого ещё будут вопросы? Нет? Тогда прошу высказаться.

Он сам взял первое слово.

— По-моему, есть один недостаток у тебя, Женя. Тебе иногда не хватает непримиримости. Почему я об этом вспомнил? Да ты сама напомнила. Ты хорошо сказала о времени и о чувстве времени. Позволь мне назвать это чувство партийным отношением к жизни. Ты сама сказала о непримиримости в делах личных. В чём же я хочу тебя упрекнуть? А вот

в чём. Ты очень требовательна к себе, но легко прощаешь чужие общественные грехи.

— Да, — призналась Женя.

— Я потому и заговорил об этом, что не всё ещё у нас на факультете благополучно. Ещё предстоят битвы.

— Сражения, — поддержал Деревянко. — Бакеев высказался, а Яхонтов молчит. — Он повернулся к Жене: — А вы — аспирантка Яхонтова.

Виктор продолжал:

— Я недавно прочёл одну статью, по-английски. Не помню автора. Этот учёный джентльмен становится в позу человека, сделавшего открытие в науке. И если судить по одной этой статье, так оно и есть: настоящее открытие, целый переворот. Но что же? Вот здесь среди нас сидит русский учёный, профессор Деревянко, который ещё в тридцать четвёртом году сделал это открытие. Я смотрю на него, и так спокойно на душе, и так радостно, оттого что сбылись слова Белинского. Помните эти слова? В будущем мы, верил Белинский, кроме победоносного русского меча положим на весы европейской жизни ещё и русскую мысль! Что же касается английского джентльмена от науки, то на нём шапка горит, и ему не удастся скрыть этого обстоятельства от прогрессивного человечества, как бы он ни старался.

— Я обещаю, товарищи члены бюро, быть принципиальной во всём, — сказала Женя в заключительном слове.

Минут через пять, коротко кивнув профессору, Виктор вышел из комнаты. Деревянко приподнял указательным пальцем рукав пиджака и взглянул на часы.

— Вчера состоялся последний тур конкурса, — проговорил он озабоченно. — Посмотрим, чем обрадует нас Тамара. Черкашин отправился в главный корпус слушать радио.

Повестка дня была исчерпана. Сидели и разговаривали об очередных делах. Деревянко с увлечением рассказывал о первых успехах комплексной бригады.

Виктор долго не возвращался. Уже собираясь домой, Женя встретила его в коридоре.

— Ну, как? Поймал Москву?

— Поймал, — ответил Виктор неохотно.

Жене показалось, что он нарочно хочет казаться равнодушным и сдерживает свою радость.

— Какое Тамара заняла место?

— Не знаю, что там случилось, но её фамилия даже не упоминалась.

— Как же так? — спросила Женя встревоженно.

Они вышли на улицу. Дул сильный ветер. В сквере беспомощно клонились книзу тяжёлые молочные гроздья отцветающей акации. Когда солнце пробивало облака, сквер зажигался острым зелёным светом и на дорожках начинали метаться беспокойные тени деревьев. Всё было минутным, призрачным, готовым сейчас же исчезнуть: и тени, и вспышки света, и пятна на траве, и даже холодное голубое небо.

— Ты мне испортил настроение, — сказала Женя вздохнув.

— Ко всему надо быть готовым. Тем более, в области искусства — не так, как у нас, когда наверняка знаешь: сегодня не вышло — завтра выйдет.

— У Тамары тоже, может быть, завтра выйдет.

— Выйдет! — сказал Виктор громко. — Конечно, выйдет!

В конце мая, в ясный тёплый вечер, неожиданно приехал Гриша. Когда он вошёл в широком кожаном пальто на меху — в Сибири

ещё холодно, — Жене показалось, что Гриша возбуждён. В его движениях нет той медлительности и нарочитой лени, а в глазах — той угрюмости и сонливости, которые поразили её в его первый приезд.

Тогда Женя разволновалась и даже смутилась. А теперь казалось, что она только вчера влилась с ним.

— Ну, раздевайся, давай шляпу, — сказала она, не отвечая на его широкий жест. — Ты всегда без предупреждений. Мог бы написать.

Ей не было неприятно его появление. Наоборот, она почувствовала необходимость быть с ним предупредительной и чуткой.

Гриша разделся, вытащил из карманчика пиджака гребешок и причесал седые виски.

— Ты помолодела, — сказал он, поглядывая исподлобья. — Тебе гораздо лучше идёт... когда ты не дуешься.

Женя продолжала болтать без умолку, убирая чемодан, пододвигая стул, обдумывая ужин.

Гриша уселся, вытянул ноги и умолк. Глаза стали равнодушными. Он зевнул.

— Почему не писал? — спросила Женя, присаживаясь к столу.

— Ай, письма, — махнул рукой Гриша. — Работы по горло. Резвация.

Женя вздрогнула.

— Как ты сказал?

— Мы сюда вернулись. Посибиряковали — и хватит.

— Вернулись? Все вернулись?

— Да, все. Весь завод.

Женя опустила глаза. Она никогда не думала об этой возможности, о том, что завод может вернуться. Она уже привыкла к тому, что Гриша отделён от неё и временем, и пространством.

Итак, всё в корне меняется. Всё усложняется, и, главное, Алик, Алик...

— Ты не бойся, я у тебя жить не собираюсь, — сказал Гриша насмешливо.

— Я не боюсь... Какой абсурд ты говоришь! Я знаю, ты не настолько бедна, чтобы...

— Чтобы предлагать мир?

— Не о мире идёт речь.

— А если о мире?

Женя отошла к окну.

— Я жду ответа, — сказал Гриша.

Она резко повернулась.

— Тебе сразу? В двадцать четыре часа? Нет, так быстро я себе смертный приговор не подпишу.

Лицо Гриши отразило недоумение, потом испуг.

— Какие страшные слова!

— Дело не в словах.

— А я, дурак, решил, что мы тогда поняли друг друга, — сказал Гриша с неподдельной горечью. Он громко щёлкнул портсигаром. Всё тот же портсигар — подарок Жени.

— Когда?

— На вокзале. В прошлый мой приезд.

— Год назад, — сухо сказала Женя. — Целый год. Триста шестьдесят пять дней и ночей. И за весь год ты не сказал ни одного серьёзного слова.

— Позволь, я писал. И, наконец, приехал.

— Вот что я тебе скажу. И прости за резкость. Я тебя знаю, изучила. У тебя чувства хранятся в ящичках рядом с картотекой техинформации. Ты можешь молчать целый год, да, молчать, глупо, оскорбительно молчать, а потом отпереть стол и вынуть ящичек с чувством. Но любовь — не очередная обязанность, которую можно отложить на завтра.

— Ты слишком... нервная! — закричал Гриша. — Ты девчонка! Не знаешь жизни. Романтика! А твои чувства лежат под спудом. Слепая. И глупая.

— Я слепая? Я вижу в тысячу раз зорче тебя. Потому что смотрю не только глазами...

— Сердцем? А ты знаешь моё сердце? Но я мужчина. У меня есть долг. У меня есть своё дело. Не хочешь с ним делиться? Жадная? Так нельзя.

— Да, я жадная, — сказала Женя упрямо. Она села и резким движением руки взяла из портсигара папиросу. Гриша зажгёт спичку. У него дрожали руки.

— Значит, ты ровно ничего не понимаешь... — Гриша прикурил папиросу. — Значит, не хочешь понять, чем мы, мужчины, живём. Вот у тебя комнатка, тишина, ты занимаешься научной работой... А что за окном? Что происходит в мире?

— Разве ты интересовался когда-нибудь, чем я занимаюсь? — гневно спросила Женя.

— Я? — он опустил голову. — Может быть, нет. Но дело не в этом. Ведь ещё не наступило время для всеобщего равновесия и розового тумана в глазах. И не это основное для человека. А ты хочешь сделать из этого взаимного понимания главное...

— О чём ты?

— Я о всяческих супружеских взаимоотношениях и пониманиях. Когда-нибудь наступит равновесие. Полное понимание. Рай и розовый туман в этой самой комнатке. А пока... — Он резко вырвал папиросу из зубов. — Нужно итти на компромиссы!

— А я не хочу итти на компромиссы! — перебила Женя. — Я не понимаю твоей философии. Не нужно. Не хочу. Эта философия — чтобы прикрыть отсутствие чувств. Чувств у тебя нет.

— Тебе нравятся красивые оболочки?

— Не оболочки, нет. Я хочу дышать полной грудью, понимаешь? Именно сейчас, именно сегодня. А ты клеветешь... По-твоему, не время для чувств? Компромиссы...

— У нас есть сын, — сказал Гриша.

Женя чувствовала себя совершенно спокойной.

— С этого и следовало начинать.

Они деловито заговорили об Алике. О том, как он ведёт себя, как его здоровье и что надо летом отвезти его куда-нибудь к морю.

— Я отложил деньги, — сказал Гриша.

— Мне кажется, что целесообразней не говорить о деньгах. К тому же они пригодятся тебе самому. Не так легко устраиваться на новом месте.

— Я нетребователен, — Гриша попробовал пошутить. — Немножко поесть и чуточку больше, чем немножко, выпить.

Женя поморщилась.

— Летом я буду читать на заочном отделении. Подработаю для Алика. Да и всего-навсего мне остался только год. Ты можешь ничего не присылать.

— Собираешься замуж?

— Да, собираюсь, — Женя закашлялась. — Фу, какие горькие папиросы!

Наступило молчание. Где-то внизу, под окном, засвистели провода: прошёл троллейбус. Приглушённо дышала улица. Тёплая, майская. Пахло сырой степью: ветер летел издалека.

Нико поможет, он обязательно поможет. Но как? И в чём? Нет! Женя не нуждается в помощи.

— Итак? — спросила она у Гриши открыто и смело.

Он вздрогнул.

— Итак, я ухожу. Где Алик?

— Гуляет с соседкой.

Гриша насунился. У него вид оскорблённого человека. Он встал.

— Ты изменилась, цветёшь. Не влюблена ли?

— Ты очень проницателен.

— Нет, серьёзно? — на его лице с крупным подбородком и узкими недовольными глазами появилось выражение любопытства. Женя не выдержала его взгляда. Она спрятала лицо в ладонях. Когда Гриша снова увидел её глаза, они были слишком счастливы, чтобы он мог этого не заметить.

Он часто замигал, сделал несколько неторопливых шагов и осторожно прикоснулся к плечу Жени. Она отстранилась.

— Что ты? — зашептал он испуганно. — Неужели правда? Нет, не может быть! Не верю.

Она молча глядела на него, пятясь к окну. Это был другой Гриша. Он сразу изменился. Таким Женя видела его на заводе: с тревогой в глазах, с глубокими складками на лбу, с энергичным, резко очерченным ртом.

— Я никогда не думал об этой возможности. Я верил в тебя. Я думал, что у тебя это может быть один раз в жизни. Я считал, что ты не похожа на других.

— Я же не виновата, — сказала Женя тихо.

— Да, я виноват, я... Ну, ничего, это пройдёт, родная. Ты подумай об Алике, подумай и... пройдёт. Не может этого быть, ты понимаешь? Это же... Нет, я не думал. Не думал. Это несерьёзно, правда?

— Нет, это очень серьёзно, — тихо ответила Женя. — Ты говоришь, у тебя есть дело, мужское дело, с которым я не хочу мириться. Не перебивай, ты именно так представляешь себе свою жизнь: двенадцать часов — заводу, два часа — приятелям, потом нужно отдыхать и так далее. Я понимаю, как ты был занят в Сибири. Все были заняты. Но разве это отменяет чувства? Мне нужно было знать, что какая-то частичка твоей души принадлежит мне. — Женя спокойно поглядела в растерянные глаза Гриши. — Но тебе легче отдать минуты, часы, чем эту частичку. Ты не можешь и никогда не сможешь. А без этого нет жизни.

Он резко повернулся и вышел. Долго возился в передней, разыскивая чемодан. Гремел цепочкой: никак не мог открыть. Наконец, хлопнула дверь. Голос Чемезова: «Кто там? Ты, Муся?» Женя промолчала. Чемезов прошёлся по коридору. Запел вполголоса: «А на Южном фронте оттепель опять». Громко: «Вот чёрт, ходят и дверей не запирают!».

Гриша приходил ещё раз. Глаза у него были жалобные. Да, он жестоко ошибся. Он думал, что может заниматься своими делами сколько хочет, а на досуге явиться и буркнуть: «Ну, хорошо, пойдём со мной». И Женя покорно даст взять себя за ручку. Он ошибся.

Все дни были заняты лабораторией и теоретическими занятиями. Женя не заметила, когда наступил перелом в поведении Гриши, когда

он понял, что мира между ними не будет. Но он понял. Снова последняя встреча на вокзале. Днём Гриша заходил в университет и оставил записку:

«Ж! Прошу тебя без четверти десять быть на третьей платформе. Если запоздаешь — поезд № 14, вагон № 5. С Аликом попрощался. Прошу на сей раз не отказать. Гр.»

Ей трудно было итти. Но не было предлога не итти. Как нарочно. Потом появилось чувство грусти. Грусть или жалость — не понять. Конечно, скорее всего жалость.

В девять вечера полил дождь. Шум воды и мутные стёкла окон. Какой ливень! Нужно надеть плащ, взять зонт и ехать на вокзал. «И в личной жизни мне нехватает непримиримости», — подумала она печально.

В половине десятого дождь кончился. Прыгая через лужи, Женя бежала к троллейбусу. Журчали ручьи, стучали капли, падая с крыш и каштанов. Пахло мокрыми листьями. На остановке выстроилась длинная очередь. Троллейбус не взял и половины людей, но дверцы захлопнулись не сразу, и Женя по лужам побежала за машиной, догнала и вскочила на ходу.

— Какие теперь женщины отчаянные! — сказала старушка в троллейбусе.

На больших вокзальных часах было уже десять. Женя простучала каблучками по переходному мостику. Гриша стоял у вагона в плаще с поднятым воротником, без шляпы. На платформе было полутемно. Поблёскивали лужи.

— Ну, вот, хорошо, что не опоздала. Страшный ливень.

Гриша молча курил.

Женя спросила:

— Куда же ты едешь?

— Далеко.

Опять могильный тон. Женя замолчала. Гриша переступил с ноги на ногу.

— Спасибо, что пришла.

— Не за что. Всё-таки мы свои люди.

Она вспомнила Тбилиси, Нату. Это она так сказала: «Мы свои люди».

— Куда ты едешь?

— Не всё ли тебе равно, куда?

— Всё равно.

Гриша швырнул папиросу под вагон.

— Вот что: запиши один адресок, — он явно старался напустить на себя равнодушие. — Одного моего друга, москвича. На всякий случай. Для связи.

Женя достала из сумочки блокнот. Они отошли к фонарю. Блокнот совсем новенький, только на первой странице красным карандашом нарисованы круги, паровоз с покосившейся трубой и собачка с мордочкой, смахивающей на луну. Женя поспешно перевернула первую страницу.

— Алькины упражнения, — сказала она.

— Подожди. Вырви-ка её мне на память...

Она хотела нахмуриться, но это не получилось.

— Если хочешь... — сказала она с трудом. Зашекотало в горле.

Гриша аккуратно сложил листок вчетверо, вынул бумажник и спрятал в него листок.

— Надолго уезжаешь? — спросила Женя.

— Да. Я не хочу здесь. Отпустили. Сначала поломались, потом отпустили.

Послышалось шипенье: в составе опробовали тормоза. Далеко впереди тяжело дышал паровоз под парами. Там, за пятном света от паровозной топки, стеной стояла темнота. Только разноцветные бусинки огоньков светились на стрелках.

— Куда же ты? — ещё раз спросила Женя.

— В Москву. В распоряжение министерства. А там — всё равно куда. Строить.

— Да, что же. Поработаешь, снова приедешь.

— Едва ли, — сказал он с раздражением. — Ты не утешай. Это, знаешь, в пользу бедных. Еду с таким настроением, что навсегда. И сувениров не везу. — Он пошарил в кармане. — Исключая этот.

Женя молчала. Ей было горько. Но сказать нечего. Она судорожно сжимала сумочку. Только бы Гриша больше ничего не говорил. А он может сказать. Он может сказать, что когда-нибудь, через год или позже, где-нибудь очень далеко...

— Поеду на Сахалин, погляжу...

...Где-нибудь очень далеко, на Сахалине, он, Гриша, раскроет бумажник, вынет сложенный вчетверо листок из блокнота... Как страшно! Ничего, кроме листка...

— Прости меня, Гриша, — сказала Женя тихо.

— Я сам... сам виноват, зачем же?.. Понял.

— Нет, прости. Я тоже. Я женщина и мать. Нужно было ради Алика... а я не смогла.

— Не будем говорить об этом. Не для этого я тебя позвал.

— А для чего?

— Проститься. Теперь уж навсегда. Вот так.

— Ты не подумай. Я тебя и сейчас не люблю, — сказала Женя, вытирая глаза. — Я приехала из-за Алика.

— Понимаю. Позволь же мне на прощанье...

Она не сопротивлялась. Поцелуй длился долго. Она не чувствовала гришиных губ — ничего, кроме огромной, всё заслоняющей жалости к нему.

— Точка, — сказал Гриша отстраняясь. — А сейчас завалюсь в ресторан. — Это было наигранно. Спустя секунду, Гриша сказал вздохнув: — Ну вот, еду. Навсегда. И новые люди, знакомства, свобода!

Потом, когда поезд тронулся, он махал с площадки рукой и что-то кричал. Всё было, как положено на вокзале. Никто не обращал на Женю внимания.

И вдруг она столкнулась с Виктором и Тамарой. Они выходили на привокзальную площадь. В руках у Виктора чемодан, Тамара с портфелем. Сумка на длинном ремешке, перекинутом через плечо, лёгкий плащ и замысловато изогнутая шляпка.

— Витя, не беги так! Я не успеваю за тобой.

Поздоровались. Начался бойкий и незначительный разговор: в Москве тоже дождь, но бульвары совсем летние, много зелени, на улице Горького высаживают деревья. Шутки: что делает Женя на вокзале в такой поздний час и почему грустное выражение глаз? Встречала или провожала?

— А меня встречают без цветов, — беззаботно сказала Тамара. — Не заслужила! А я всё-таки очень довольна поездкой.

— Да я и не представляю себя с цветами, — ответил Виктор виновато. — Люди умерли бы со смеху...

Они пошли. Тамара повернулась к Жене.

— Вот видите, вернулась. Сначала думала: ну, как я приеду? Стыдно! Весь город осрамила.

Женя вспомнила встречу зимой, у подъезда университета. Шляпка на тесёмочке, возбуждённость. Сейчас Тамара почти тем же движением сдёрнула шляпу, и ветер отбросил её волосы назад.

— Ничего. Я даже немного рада, что провалилась на конкурсе.

— Ну уж, не выдумывай, — сказал Виктор.

— Нет, серьёзно! Я о многом задумалась, а иначе, может быть, и не задумалась бы никогда. Я играла не хуже, чем всегда. Но другие играли лучше. Вот!

Тамара сдвинула брови.

— Через год посмóтрите! — проговорила она как бы с угрозой.

— Тебе ещё работы и работы, — сказал Виктор.

— Не заплачу!

— Это и хорошо, — подтвердила Женя.

— Не заплачу!

Она стремительно взяла Виктора под руку и крикнула, озорно размахивая портфелем:

— Ну, веди меня! Да поосторожней! Я в детстве любила, чтобы меня вели.

Что-то в ней напомнило Нату. Какой-то едва уловимый жест или интонация в голосе. Ласково, с осторожной болью кольнула иголочка.

Женя вернулась домой тихая и грустная. Алик спал. На столе папка с материалами диссертации. В папку засунута сложенная вчетверо бумажка, надписанная рукой Муси:

«Это принёс Виктор, который заходил сегодня вечером. Чай кипячёный, только подогрей».

Женя развернула записку.

«Товарищ Маслова! Прошу завтра с утра зайти ко мне в университет, необходимо поговорить о ваших диссертационных делах. Деревянко».

Так экстренно? Почему? Может быть, профессор уезжает?

После всего, что произошло этим вечером, трудно сосредоточиться. Но Женя заставила себя оглянуться и оценить то, что было сделано. Итак, у неё уже целый альбом измерений. Она проделала множество опытов с азотом. Страшно хочется перейти к обработке материалов.

Она не собиралась уезжать из города на лето: нужно продолжать диссертацию, и кроме того она согласилась читать лекции на заочном отделении. Университет опустел. Борис Ивнев отправился на Кавказ, в горы. Черкашин собирался в университетский Дом отдыха. Майя увезла Нину в деревню, поправляться. Анна Ивановна устроила Мишку и Алика на летнюю дачу, уже знакомую по прошлому году.

Женя решила продолжать опыты, осенью доложить Яхонтову результаты и тогда уже приняться за обработку материалов. Но разговор с Деревянко существенно изменил её планы.

В университетском кабинете профессора было душно, пахло табачным дымом. Маленькая комната залита весёлым солнечным светом. На рассвете снова шёл дождь, а сейчас — безоблачно, за окном кругло подстриженные клёны раскалённо гоят серебром, а трава в газонах светится, будто покрыта изморозью.

Деревянко сидит спиной к окну. Его пышные с сединой волосы чуть-чуть шевелятся от ветерка. На столе — книги, папка чистой бумаги и несколько исписанных листков. Возле чернильницы в раскрытой папиросной коробке разноцветные металлические слитки. Большой пор-

трет Ленина — маслом; ниже, под стеклом, фотографический снимок: панорама завода, трубы теплоэлектроцентрали, кауперы и скиповые подъёмники доменного цеха.

У дверей на вешалке синий плащ, шляпа и чёрный, с металлической застёжкой, комбинезон. В нём Деревянко работает в своей лаборатории и в нём же поздно вечером, когда университет уже пуст, отправляется в спортивный зал вспомнить молодость. Это его собственное выражение. Бокс он забросил давно, а гимнастику не бросает. «Гимнастика и горы — вот на что я ещё способен».

Разговор начался в стремительном темпе, без всяких предисловий.

— Я слышал, что летом вы собираетесь продолжать измерения.

— Да, я не хочу прерывать работу.

— Добре. Когда же приступите к обработке?

— У меня большой запас времени, Степан Тимофеевич.

— Знаю, что большой. Что говорит Яхонтов?

— Он советует продолжать измерения.

Деревянко взял несколько листов чистой бумаги и стал обмахиваться ими, как веером.

— Я слежу за вашей работой, — сказал он как бы между прочим. — Вот и вчера просматривал результаты. Но мне кажется... — Он швырнул на стол листы бумаги. — Да... Мне кажется...

За окном, в сквере, доцветал шиповник. Казалось, на его колючих ветках разместилась целая стайка молочно-жёлтых бабочек. И они трепещут крылышками, вот-вот улетят.

— Мне кажется, что незаметно для самого себя профессор Яхонтов уводит вас, товарищ Маслова, от существа вашей работы.

А она думала ещё чем-то похвалиться перед ним!

— Я бы не сказал этого другому в такой форме... Следовало сначала поговорить с Яхонтовым. Но я хотел выяснить вашу точку зрения.

— Мою? — спросила Женя удивлённо. — Я хочу идти до конца.

— И не сворачивать в сторону? Дело. Вы много намерили. Но, мне кажется, пора уже приступить к обработке материалов. Как вы думаете?

— Я тоже так думала, — сказала Женя. — Но Илларион Митрофанович...

— По-моему, его охватил болезненный азарт. Он увидел козыри, и у него появился азарт. Я боюсь, что с этими козырями вы потеряете основную мысль.

— Вы считаете, что измерений достаточно? — спросила Женя, не стараясь скрыть радости.

— Вполне. Садитесь за графики.

— Сразу?

— Нет, не сразу. Сначала пойдите в библиотеку. Вот такой план. — Деревянко протянул вперёд широкую ладонь. — Я бы подробно проштудировал смежную с вашей областью литературу. Тем более... Тем более, что это необходимо для обзорной главы диссертации.

— Я уже многое законспектировала...

Женя назвала статьи и авторов.

— Далеко не всё, — сказал Деревянко. — Вы берёте работы, связанные с вашей темой непосредственно. Это не по-хозяйски. Я бы попробовал пойти дальше. — Он нащупал под бумагами спичечную коробку и, зажав её между пальцами, приблизил к Жене. — Допустим, вы интересуетесь объёмом данной вещи. Но вам полагается работа о линейных размерах. — Деревянко щёлкнул ногтем по коробке. — Можете вы использовать такую работу для своих целей?

— Безусловно. Я же знаю, из чего складываются объёмные величины.

— Вот и обработайте в таком духе измерения, разбросанные в статьях, цель которых иная, чем ваша. Прав я или нет?

Женя движением головы дала понять, что согласна.

— Посидите в библиотеке, выясните, в какой степени ваши эксперименты согласуются с другими. Вы можете переработать чужие результаты в духе схемы, которая вас интересует. Таким образом, работа получится шире, солиднее, интереснее, и вы сможете уже сейчас переходить к этапу обобщений.

— Я вам очень благодарна за совет, Степан Тимофеевич. Но как же быть с...

— С Яхонтовым? Если бы у вас истекал аспирантский срок, я бы поставил этот вопрос на кафедре. Но время в запасе, действительно, есть. Нужно поговорить с профессором, доказать...

— Хорошо, я поговорю.

Женя вздохнула. Это будет невесёлый разговор. Она откладывала его со дня на день. Яхонтов уехал на совещание в Москву. К тому времени, когда он вернулся, на рабочем столе Жени появились лист миллиметровки, рейшина и целый ворох записей, которые она сделала в библиотеке; разноцветными карандашами обозначены кривые поглощения металлом азота в зависимости от температуры и давления.

Яхонтов появился в лаборатории неожиданно.

— Садитесь, Илларион Митрофанович, — сказала Женя растерянно; она никогда не чувствовала себя здесь хозяйкой, а его гостем.

Яхонтов был в белом костюме и белой фуражке, плотно надвинутой на грушевидную голову. Он прошёлся по комнате, слегка согнувшись и так разведя руки, будто собирался ударить себя ладонями по коленям. Его взгляд упал на лист миллиметровки с графиками.

Женя стояла у стола, безжизненно опустив руки, в ожидании потока колкостей или подслащённого гнева.

Но Яхонтов ничего не сказал. Он грузно опустился на стул и, подперев бритую щёку рукой, принялся разглядывать графики.

— Изящные линии, — отметил он, отчёркивая жёлтым ногтем кривую графика.

Потом перелистал лабораторный журнал.

Женя молчала. Яхонтов не нуждается в объяснениях. Понимает всё с одного взгляда. И при всём этом удивительное стремление делать вид, будто ничего особенного не произошло. Будто он и не делал указаний продолжать измерения и не спешить с обработкой результатов.

Женя осмелела.

— Я начала обзорную главу...

Она раскрыла перед Яхонтовым тоненькую папку. Он небрежно просмотрел её.

— Это беллетристика. Это потом.

И с этим ушёл.

До конца июня он больше не появлялся. Перед его отъездом на курорт Женя виделась с ним только один раз. Они разговаривали на отвлечённые темы, но Яхонтов предупредил, что в сентябре они вместе подведут предварительные итоги.

С увлечением Женя продолжала обработку результатов. Разноцветные точки, крестики, кружочки на графиках. Всё новые и новые кривые. Нехватает цветов для условных обозначений. Работа движется.

А Вашакидзе не пишет. Всё к лучшему. Рано или поздно это должно случиться.

Ещё совсем недавно Женя без ужаса не могла себе представить той минуты, когда оборвётся последняя ниточка, связывающая её с Нико. Эта минута и всё, что за ней последует, представлялось ей в виде какой-то бездонной и всеобъемлющей пустоты. Теперь она не только догадывалась, но знала твёрдо, что любит Нико. Теперь она уже не пыталась скрыть это от себя.

Но что толку? Пустота. Леденящая пустота. Мельком вспоминался Гриша — жалостное воспоминание.

И никого рядом. Все разъехались. У Муси тоже отпуск. В комнатах было жарко. Женя занавешивала окно одеялами, чтобы укрыться от солнца. Она старалась вставать как можно раньше, перед рассветом. Делала зарядку, принимала ледяной душ и садилась готовиться к лекциям.

Изредка в лаборатории появлялся Пересада. Молчаливый, занятый подсчётами, он в расстёгнутом кителе ходил от установки к доске, от доски к установке. Мелом записывал цифры, изредка бросал слова:

— Жарко. Сейчас бы в воду.

Он старался не мешать Жене и, если нуждался в совете, долго не решался заговорить. Работа у него в основном была написана. Оставалось проверить и отдать на рецензии.

— В октябре буду защищать, — объявил он однажды.

Женя взволновалась.

— Так скоро! Вам не страшно?

Он стёр с пальцев следы мела, потрогал серенький ёжик волос.

— Не страшно. Самое важное — это сделать. А теперь буду рубать оппонентов. У меня всё как на ладони.

В лаборатории он оставался недолго и, уходя, всегда говорил одно и то же слово:

— Счастливо!

Пожатье такое же крепкое, как он сам.

Жене не по душе работать в одиночестве. Несколько раз она заглядывала в соседнюю лабораторию, где разместились комплексная бригада. Гордиевский и Бакеев — в отпуску. Остались четверо: лаборант и трое заводских инженеров. Инженеры вели себя шумно: дело пошло на лад. Один из них, молодой, начал ухаживать за Женей. Она перестала к ним ходить и заперлась у себя.

Женя не ощущала пустоты, которой ждала. Она работала, не задуываясь ни над чем, кроме работы.

Так прошло лето. Август на исходе. Попрежнему — духота, горячее солнце, яркая зелень. Но уже появились первые приметы осени. По дороге из университета вдруг замечаешь, как с шелестом проносятся по асфальту вслед за уходящей автомашиной стайка пожелтевших листьев.

Новый учебный год. Съезжаются студенты. В общежитии поговаривают о Дворце промышленности.

— Вот где мы развернулись бы!

— Можно оборудовать специальный лабораторный корпус...

— Клуб — на четвёртом этаже.

— Э, нет, на четвёртом — физкультурную кафедру. Там ведь зал какой. В три света!

При случае Женя рассказала Анне Ивановне об этой новой мечте студентов. Анна Ивановна сразу же согласилась:

— План, я считаю, жизненный. Двигать его надо, двигать. Министерство ваше поддержит, я думаю.

Впоследствии она больше не вспоминала о Дворце промышленности,

и Женя была приятно удивлена, когда в начале сентября Муся сказала ей:

— А мама у себя на работе действует... насчёт нового университетского здания.

Вот что случилось. На заседании фабричного комитета Анна Ивановна изложила план студентов. Нашлись и равнодушные люди. Что ж? Пускай студенты сами добиваются осуществления своего плана, это их забота. А при чём фабричный комитет?

— Но уж если мама что-нибудь задумает!.. — сказала Муся.

Женя попыталась расспросить Анну Ивановну. Но та откликнулась неохотно: к чему разговоры, когда дело только начато?

— Да, толкуют у нас: фабрика к этому вопросу никакого отношения не имеет. Как же так, не имеет? Университет-то наш или не наш?

И здесь же окрестила своих противников «узкими людьми».

Женя ощущала её сейчас совсем близкой. Близкой и родной. Вспомнился самый первый разговор — о Грише.

Анна Ивановна тогда сказала: «А я по-другому о вас думала». Значит, сразу поняла, как трудно было Жене уехать от мужа. Поняла сердцем и широтой ума.

Скучное дело — копаться в своей собственной душе. Но, может быть, именно после этой фразы: «А я по-другому о вас думала», Жене легче жилось всё это время?

Итак, Анна Ивановна действует. По словам Муси, состоялось очередное собрание на фабрике, и Анна Ивановна выступила на нём, поддерживая план студентов. И Женя очень ясно представила себе, как Анна Ивановна, решительно отодвигая в сторону свободные стулья, выходит вперёд и, сердито кашлянув, бросает в зал взволнованные слова:

— О будущем думаете? А что такое будущее? Это люди, сыновья, внуки наши. А университет что такое? Университет это и есть люди. Будущие творцы всенародного блага.

Фабрика, на которой работала Анна Ивановна, первой поддержала студентов. Потом к ней присоединились другие предприятия. И в конце концов получилось так, что вся городская общественность единодушно признала целесообразность передачи Дворца промышленности в распоряжение университета.

Анна Ивановна позже призналась Жене, что побаивалась.

— Вдруг объявится какой-нибудь умник — хозяйственник со стороны, апломб свой выставит и примется доказывать, что именно его ведомству Дворец промышленности необходим, а не университету. Всё в ход пустит: и докладные инженеров, и всякие там внутренние ресурсы, и сметы подходящие. Им, дескать, не с руки, а мы этот Дворец в два счёта восстановим. — Она молодо улыбнулась. — А теперь, после того, как весь город заговорил, другое дело. Теперь этакий ловкач поймёт, что народ своё решение вынес. Ни апломб не поможет, ни сметы.

Анна Ивановна не признаёт ни хитростей, ни поклонов. Решительная, не по летам прямая и энергичная — войдёт в приёмную какого-нибудь хозяйственного учреждения — и такое впечатление, будто не одна она вошла, а сотни и тысячи людей вместе с ней.

Она живёт и работает от имени общества. А раз от имени общества, значит в своих стремлениях непреклонна.

Женя любила слушать рассказы Анны Ивановны, её мягкий, певучий, плавно струящийся голос. В этих рассказах раскрывался перед Женей опыт скромной по виду, но деятельной и глубокой жизни — жизни среди людей и ради людей. У Анны Ивановны был верный

глаз, какой-то безошибочный. Женя тоже старалась быть внимательной к людям.

Вот Муся и Саша. Они дружны, но разные. Муся работала с азартом, жадно, стараясь не отставать от других, ревниво следя за чужими успехами. Она редко рассказывала о своей работе, порой не умела объяснить, почему у неё дело идёт хорошо. Многие на заводе считали, что у Муси врождённые способности. Она и сама бесхитростно верила в них: «Вы знаете, говорят, у меня талант».

А Саша работал сосредоточенно и нешумно. То ли он уже привык к почёту, то ли чувствовал в себе много непочатых сил, но его не увлекал личный успех. Он всегда был полон замыслов: переделать, перестроить, придумать что-нибудь новое для бригады, для цеха, для всего завода.

Женя не уверена, нашла ли себя Муся в своей работе. А для Саши сталеварение — призвание. Он может научиться варить сталь ещё лучше, уйти от печи в кабину мастера или инженера, но стали никогда не изменит.

Попрежнему интересуясь его работой, Женя несколько раз побывала на заводе. Деревянко поручил ей организацию первого в новом учебном году заседания кафедры. Это заседание он предполагал провести совместно с заводскими инженерами и рабочими.

Оно состоялось в начале сентября. Собралось так много народу, что пришлось перейти в большую физическую аудиторию, недавно переоборудованную по плану Деревянко.

Рима, как постоянный секретарь кафедры, регистрировала присутствующих. Она только сегодня вернулась из отпуска: ездила на кавказское побережье. Всё в ней говорило о том, что она ещё слишком далека от будничных дел кафедры.

— Природа, пальмы, как в сказке, — рассказывала она лаборантке химического факультета. — Море кипит, бурлит и манит в несбыточное. Свободная стихия. А самое главное... Но потом, потом...

Ей всё время мешали: подходили люди с завода, и нужно было подробно записывать фамилию, должность, номер цеха или отдела.

Женя не старалась прислушиваться к болтовне Римы. Всё же она поняла, что за Римой в Доме отдыха кто-то серьёзно ухаживал, что разлука была очень тяжёлой (он из Ленинграда!), что произошёл обмен адресами и фотокарточками, что в душе остался неизгладимый след.

— А как же Гордиевский? — осторожно спросила лаборантка.

Рима изобразила на лице каменную непреклонность.

— Всё кончено! Он герой не моего романа, — она вздохнула. — Начинаются дни золотые! Опять Гольдберг будет читать нотации по поводу водопровода, опять заседания и мышьяная беготня. А я чувствую себя Пенелопой!

К ней подошёл Саша в синей коротенькой спецовке, с пачкой книг подмышкой.

— Попов Александр. Запишите.

Он внимательно следил за тем, как Рима заносит его фамилию в общий список. Потом сказал со смешком, кивая на высокую лекторскую кафедру:

— Даже не представляю, как на эту башню взбираться. Говорить с неё — особенные слова нужны...

— Всё будет очень просто, — ободрила Женя, здороваясь с ним. — Вот увидите.

Возле дверей в аудиторию курили Бакеев и Деревянко. Чуть поодаль прохаживался Яхонтов, прислушиваясь к их разговору. Он скептически поглядывал на амфитеатр, быстро заполняющийся людьми.

— Феерия!.. Степан Тимофеевич любит жить на широкую ногу.

Деревянко был в хорошем настроении:

— Добре. Люблю пожить на широкую ногу.

— Чем крепче раствор, тем он действеннее. — Заложив руки за спину, Яхонтов остановился у дверей. — Мне думается, Степан Тимофеевич, что вы напрасно разбавляете науку водичкой повседневности.

— А вы бы хотели оградить свою лабораторию от жизни китайской стеной? — спокойно спросил Деревянко. — И повесить дощечку: «Rgosul este profani?».

— Отнюдь нет, отнюдь Я за широкий полёт мысли. Впрочем, перед нами ведь не стоит такая альтернатива.

Женя не расслышала окончания разговора. Но, видимо, Яхонтов не расположен был спорить. Через минуту в дверях заговорили о другом. Голос Бакеева.

— А что, Степан Тимофеевич, интересно бы заглянуть в Китай. Увидеть своими глазами...

Яхонтов здесь же.

— Я слышал, что Чжу Де после полной победы собирается пригласить вас в Пекин для чтения лекций по квантовой механике.

Бакеев в тон:

— Увы, Илларион Митрофанович, это несбыточно. Я не теоретик.

— Кстати, вы читали материалы философской дискуссии? — спросил Деревянко. — В центре её — проблемы квантовой механики.

— Помяните моё слово, Степан Тимофеевич, — сказал Бакеев, понижая голос. — Физики споткнутся в этом деле. И как споткнутся! Это ж — дебри. Куда нам, физикам, лезть в дискуссию, если у нас нет своего Лысенко.

В голосе Деревянко непритворная досада.

— Почему нет? У нас есть метод. У нас есть опыт прошлогодней биологической дискуссии, итоги которой мы можем — нет, обязаны! — положить в основу нашей деятельности ..

Яхонтов равнодушно зевнул и отошёл в сторону. В университете уже известно, что в очередном номере московского философского журнала будет напечатана его статья на теоретическую тему. Вот так, открыто, смело и последовательно, нужно принимать участие в дискуссиях. Подниматься на всесоюзную кафедру, а не шушукаться в коридорах. А если дело только в том, чтобы убить время до начала заседания, то гораздо полезнее поболтать с интересной и легкомысленной женщиной.

Рима приятно удивлена вниманием Яхонтова.

— Как выразился один любитель парадоксов, Рима Георгиевна, женщины — декоративный пол.

— Это жестоко, Илларион Митрофанович, это жестоко.

— Да, им всегда нечего сказать, но они это говорят очаровательно.

Наконец, Деревянко открыл совещание заявлением, что заседание кафедры посвящено утверждению планов научной работы.

— Мы за широкий полёт мысли, — сказал он. — Мы за постановку проблем, переносящих нас в будущее. Но мы и за кое-что другое...

Он разъяснил, что столь широкое и многолюдное совещание преследует задачу совместными усилиями наметить такой план научной работы, который обеспечил бы решение проблем, стоящих перед промышленностью города.

— Мы, учёные, хотим работать рука об руку с вами, производст-

венниками. Мы, которые ещё не стали славой нашего города, протягиваем руку вам, уже ставшим славой нашего города.

— Скромничаєте! — подал голос Яхонтов.

— Но мы тоже станем славой, — продолжал Деревянко, не ответив на эту реплику. — Наш город — город индустрии и науки. И наша дружба, начавшаяся давно, должна найти новые, ещё более деловые и в то же время сердечные формы. Сейчас я оглашу те наметки, которые мы сделали, а затем мы их обсудим. Прошу инженеров и присутствующих здесь стахановцев, рационализаторов и изобретателей говорить совершенно непринуждённо. Мы собрались не для пышных речей, а для деловой беседы. Желающие могут курить, я сейчас скажу, чтобы принесли пепельницы. Выступать можно с места. Реплики разрешаются. Мы начинаем.

— Простой человек, — одобрительно шепнул Саша Жене. — А всё-таки я волнуюсь...

Деревянко огласил проект плана и сказал в заключение:

— Этот план родился не в кабинетной тиши, а в итоге изучения заявок предприятий на техническую помощь. Как видите, к данному совещанию мы пришли не с пуглыми руками, а обогащённые опытом помощи производству. У нас есть несколько завершённых исследований, выдержавших солидную экспериментальную проверку.

Говорил он без пафоса, не торопливо, но плавно, как умеют говорить люди, привыкшие к публичным выступлениям и научившиеся прodelывать на ходу сложный процесс переработки мысли в связную устную речь. Тон его, не нарочито деловой и не подчёркнуто официальный, а самый обыденный, каким разговаривают в жизни, располагал к ответной простоте, к деловитости и откровенности. К нему уже относились не как к доктору физико-математических наук, учёному, профессору и поэтому человеку не совсем обычному, а как к члену своего же коллектива. И если бы он вдруг встал, стукнул кулаком по столу и отчитал начальника мартеновского цеха за брак при разлижке стали — никто бы не удивился этому.

Желающих выступить было много. Говорили: директор завода, главный инженер, руководители цехов, преподаватели Института металлов.

Деревянко, положив руки на листы бумаги, слушал так, как умел только он один. Не подавая реплик, он слушал с таким оживлённым и так остро реагирующим на каждую мысль оратора взглядом, что, глядя на него, выступать было легче, и люди делали это с явным удовольствием.

С первых же минут Яхонтов напустил на себя вид человека, который не вполне ясно понимает, куда и зачем он попал. На его лице то и дело появлялось выражение недоумения, и он долго разыскивал среди присутствующих, кто разделит бы с ним это его недоумение. Но Гордиевский сидел с каменной неподвижностью: то ли очень внимательно слушал, то ли совсем не слушал. Бакеев вертелся, бросал одобрительные реплики и на взгляды Яхонтова отвечал примирительными взглядами, смысл которых был такой: погодите, Илларион Митрофанович, самое любопытное ещё впереди!

Бакеев выступил в середине заседания и покори́л всех тем, что говорил горячо и без тезисов. Изредка поправляя манжеты накрахмаленной сорочки, он сопровождал свою речь жестами рук.

— А вот перед вами, дорогие друзья, ещё одна проблема, которая ждёт разрешения. Я позволю себе начать с бытового примера. Представьте себе обыкновенный электрический камин...

Он вплетал в свой рассказ образные аналогии. Даже Яхонтов слушал его с видимым удовольствием.

— Я выражаюсь понятно? — спрашивал Бакеев, делая паузы, чтобы передохнуть и собраться с мыслями.

— Понятно, понятно! — кричали с мест.

— Ну, теперь его не остановишь, — сказала Рима, мельком взглянув на ручные часики.

Гордиевский, в противоположность Бакееву, изъяснялся коротко и неуклюже.

— Я являюсь, так сказать, в настоящее время руководителем комплексной бригады, — начал он.

С трудом подбирая слова, горбясь и разглядывая разложенные на столе бумажки, он вкратце рассказал о планах бригады.

— Должен упомянуть, что на меня лично участие в комплексной бригаде оказало... В общем, я крайне доволен... Настоящее дело... Гм, да. Я благодарен профессору Дервянку за мысль, за почин и, так сказать, за правильную линию...

Степан Тимофеевич махнул рукой, словно отбрасывая его слова от себя.

— Я знаю, вы не любите торжеств, — сказал Гордиевский. — Я тоже. Так что не буду. Разрешите перейти к предложениям...

Он ожесточённо стал перелистывать бумажки, наклонился к ним, выдал из себя:

— Одну минутку.

— Потерял! — иронически заметила Рима. — Он и с женщинами не умеет разговаривать без шпаргалок.

Саша с решительным видом попросил слова. Он освоился с обстановкой. Дервянку сделал широкий жест рукой.

— Пожалуйста, Александр...

— Александр Павлович, — подсказал Саша и сразу же перешёл к делу. — У меня такие соображения...

Он заговорил о скоростных плавках.

— Какая у скоростника цель? Как можно больше пользы! Я про себя скажу: раньше увлекался, рвался вперёд, а про экономию забывал. Вот я и хочу об этом. Рекорд поставить — очень красиво. И цифра на доске показателей красивая, и слава красивая, большая — народ любит. — Саша руками показал, какая большая слава. Он говорил отрывисто, неспеша бросая в публику слова и потряхивая своим вихром вслед каждому слову. — А между прочим, случается у нас такой грех. Темпы плавки берём крутые, а про газ забываем, то есть про экономию. Иной раз и перерасхода нет, но и заботы о печах и топливе тоже не имеет. И что же в итоге?

— Внешний эффект, — подсказал Дервянку. — Внешний, но не производственный.

— Вот именно. И я себе поставил такую задачу. — Саша прочитал по бумажке: — Добиваться не только ускорения плавки, но и снижения себестоимости, а следовательно — удлинения сроков службы печей, снижения расхода топлива, сырья, огнеупоров. — И оторвав глаза от бумажки: — А коль вы, Степан Тимофеевич, руку нам протягиваете, мы её сперва крепко пожмём, а потом по-деловому, по-рабочему вложим в неё нашу заявку науке.

— Давайте, давайте! — сказал Дервянку весело.

«В дальнейшем нужно ещё шире ставить такие совещания, — подумала Женя. — Не одна наша кафедра, а пленум кафедр или даже Учё-

ный совет. Вот именно, Учёный совет совместно с представителями заводов».

— Возьмите электроплавку, — продолжал Саша. — У нас коэффициент перегруза уже до одного целого и восьми десятых доведён, а за границей об этом только мечтают, я сам недавно в журнале читал. Теперь возьмём стружку. Раньше считалось, что стружка непригодна для состава шихты, потому что якобы качество стали портит. А у нас сейчас до десяти процентов стружки в шихту добавляется; и сталь обходится дешевле, и производительность печей повышается.

— И на заводской территории чище стало, — улыбнулся Деревянко.

— Убираем. Убираем стружку подчистую. — Саша провёл ребром ладони по столу, словно смахивал со стола эту самую стружку. — Технологические процессы, которые мы вводим, надо научно обосновать. Чтобы они стали всеобщим достоянием.

— Обосновать и подсказать новые! — выкрикнул Бакеев и сейчас же демонстративно повернулся к Яхонтову.

Тот принял это, как вызов. Неторопливо кивнув Степану Тимофеевичу, Яхонтов встал, опёрся обеими руками о лежащий на столе портфель и сказал очень скромно, что сегодняшнее заседание вдохнуло и в него новую струю жизни.

— Впрочем, — продолжал он, повышая голос, — многое из сказанного не имеет существенного интереса для кафедры. Вот, к примеру, фигурировавшая здесь стружка. — После Бакеева Яхонтов старался говорить подчёркнуто просто — Прошу извинить, но стружка меня не вдохновляет. Я не обязан ломать голову над тем, каким образом убрать её с заводского двора.

— Не о том речь, — отозвался Саша.

— Я понимаю. Но я хочу предостеречь коллег от увлечения приземлёнными проблемками. Не будем аннулировать должности технологов и инженеров.

— Никто не собирается этого делать, — перебил Деревянко. — Готовясь к данному совещанию, я меньше всего думал о размерах наших будущих работ и о том, кто персонально будет выполнять эти работы. Здесь присутствуют руководители Института металлов. Многие мы отдадим им без боя. Но контакт установим здесь. Я ещё раз прошу говорить обо всём, что касается нужд и планов производства, не вдаваясь пока в тонкости специфики нашего факультета. Иначе мы снова отгородимся от производства китайской стеной.

— Переливание из пустого в порожнее, — пробурчал Яхонтов.

После заседания Женя, взяв у Римы списки присутствующих, передала их Деревянко.

— Вы хорошо подготовили совещание, инициативно, — сказал он, пряча бумагу в портфель. — И вот ещё что — я хочу вас предупредить: мы собираемся прикрепить к вам дипломника, одного из студентов пятого курса.

— Хорошо. Мне очень лестно.

— Завтра вызовем Ивнева и наметим план.

— Ивнева? — удивлённо спросила Женя. — Лучше кого-нибудь другого.

— Почему другого? Разве у вас есть отвод?

— Нет, не отвод. Я боюсь, мы с ним не работаем.

Она помолчала, подыскивая веские доводы. Но доводы не нашлись.

— Ивнев смотрит на людей сверху вниз, — сказала она, наконец. — И потом... он не захочет, чтобы я ему помогала.

— Сам просил, чтобы прикрепили к вам, — заметил Деревянко. — Тема у него сходная с вашей. Может быть полезен вам при проверке некоторых экспериментов. Я постарался хорошо всё обдумать, товарищ Маслова

— Ну, если вы решили, Степан Тимофеевич... Но только... Не называйте меня «товарищ Маслова».

Он спросил, подняв на неё добрые глаза.

— Евгения Васильевна? Какая же вы Евгения Васильевна? Вы — Женя.

Из университета она вышла вместе с Гордиевским. Уклониться было неудобно.

— У Иллариона Митрофановича скверный характер, — сказала Женя, чтобы поддержать угасавший разговор — Не может без столкновений.

— Яхонтов привык к вакууму, — отозвался Гордиевский — Он и работает и живёт в сплошном вакууме. Надо бы ему течь устроить, чтобы воздух проник.

В тоне Гордиевского появилась несвойственная ему резкость. Повинуясь какому-то непонятному ей озорству, Женя спросила:

— Что же вы с Римой... поссорились?

— Ах, Евгения Васильевна, — сказал Гордиевский, продолжая глядеть прямо перед собой. — Зачем вы об этом заговорили? Я стараюсь забыть.

— Когда стараются забыть, это непрочно. Нужно не стараться, а просто забыть. Вот и всё.

Гордиевский сказал.

— Она оказалась не такой, какую я сконструировал в своих мечтах. «Сконструировал в своих мечтах!» Право, они чем-то похожи. Рима и Гордиевский.

— У Римы взбалмошный характер.

— Я не про характер, — всё с той же докторальностью произнёс Гордиевский. — Я имею в виду жизненную концепцию.

Женя ошиблась, говоря Деревянко, что не сработается с Ивневым. С первых же дней Ивнев подчинился её руководству. Он производил впечатление человека, давшего себе слово прямо и скромно идти к цели. Руки у него рабочие и всё умеют. Галич следил за ним не без зависти.

— Специалист! А я думал, что только язычком бог одарил.

Борис отозвался без всякого задора.

— Благодарю. До войны я был специалистом по другой части... Сломать что-нибудь, развинтить, испортить. Трудновато давались первые опыты в лаборатории. Возле установок нужна железная дисциплинированность.

Борис внимательно приглядывался к лабораторному оборудованию. Мысль его работала без устали. Он предложил Галичу простой способ подключения установки к цепи высокого напряжения. Семён долгое время пользовался обыкновенным проводом. Закончит работу, выключит на распределительном щите рубильник, а конец провода забросит на барьер. Яхонтов несколько раз предупреждал.

— Как бы не вышел беда из-за вашей первобытной техники. Проводник под током, рядом люди...

Семён придумал сложнейшую систему включения, на монтирование которой предстояло потратить неделю времени. Выручил Борис. Он закрепил под потолком небольшой блок в виде колёсика с пружинкой.

К проводнику, переброшенному через колёсико, прикрепил длинный шнур. Надо включить установку — тяни за шнур, провод опустится. Выключил — и провод автоматически, под действием пружины, уходит к потолку.

У Галича никак не налаживается диссертация.

— Ну, что у тебя? — спрашивала Женья. — Почему так затянул?

— Шеф сегодня говорит одно, а завтра другое. Сегодня делайте так, а завтра этак. Пробую со всех сторон, время идёт, а диссертация безмолвствует.

— Руководство руководством, но и у тебя должна быть своя последовательная линия. Кандидатскую степень чужим умом не заработаешь.

— Своя линия! Это только тебе дозволено.

— Почему только мне?

— Потому что меня шеф завтра же выгонит из лаборатории вместе с моей линией. У меня нет дара подчинять себе людей.

Фразёрство! Галич знает, как ей трудно ладить с Яхонтовым.

Она ничего не ответила и отошла к своей установке. Вечером предстояло заседание партийного бюро, и Женья хотела закончить серию контрольных экспериментов.

На бюро разбиралось заявление Бакеева о приёме его в партию.

Бакеев волновался. Непривычно было видеть его таким. Не подымая глаз, он глуховатым голосом рассказывал о себе:

— Я родился в семье мелкого железнодорожного служащего...

Недавно вот так же запиналась и смущалась девушка со второго курса, которую из кандидатов принимали в члены партии. Женья вспоминала её лицо: молодая девушка, взволнованная до самой души серьёзностью минуты. Конечно, волнение Бакеева тоже искренно, но Женья испытывала какую-то неловкость оттого, что этот взрослый, самоуверенный человек, оратор и остролов, не находит верного тона, словно боится, что не поверят искренности его побуждений.

Когда Бакеев закончил, Виктор спросил:

— Всё? Так... Будут вопросы?

— У меня вопрос, — сказал Деревянко, не поднимая головы. — Над чем вы сейчас работаете?

— Вы же, Степан Тимофеевич... Вы же знаете.

— Я знаю, но, возможно, бюро не знает.

— Недавно закончил работу в комплексной бригаде... Работа ставит задачу главным образом в направлении...

— Это известно, — перебил Деревянко. — А дальше? Над чем теперь работаете?

Бакеев схватился за спинку стула, приподнял его и легонько опустил.

— Нет, — сказал он решительно — Сейчас не работаю. Начало года.. Приходится готовиться к лекциям, чему я придаю большое значение. Очень занят. Оч-чень.

Заговорили о тех ошибках Бакеева, которые были предметом обсуждения на кафедре.

— Я отлично помню все обстоятельства дела и свою вину — Бакеев снова опустил глаза. — Мне не забыть этого до конца жизни. Но сейчас я не могу останавливаться на этом. В данной ситуации не могу.

— Почему? — спросил Деревянко.

— Видите ли.. Товарищи могут дать иное толкование.

— Какое толкование?

— Я подал заявление о приёме меня кандидатом... Вы можете подумать, что я из грубого расчёта...

— Мы вам верим,— сказал Виктор — Если бы не верили...

— Я могу заявить,— перебил Бакеев.— Я понял, что от научной халтуры — вы меня извините за это чудовищное сочетание слов — от научной халтуры до беспринципности и безидейности — один шаг. Но вы были великодушны...

— Не в великодушии дело, Яков Платонович,— сказал Виктор.— Наш долг — беспристрастно и глубоко разобраться во всех обстоятельствах дела. Замешан живой человек.

— Самый драгоценный капитал,— поддержал его Деревянко.— Самый драгоценный. Но мне кажется, что вы ещё не до конца подумали самое существо своих ошибок, товарищ Бакеев.

Бакеев взволнованно воскликнул:

— Что вы, Степан Тимофеевич! Что вы!

— Да. Разве корень зла — только в научной халтуре, как вы изволили выразиться? Может быть, он глубже, чем вы полагаете?

— Не знаю...— растерянно ответил Бакеев.— По-моему, я искренно и со всей ответственностью говорил тогда на кафедре.— Он прикрыл глаза рукой.— Невероятно больно снова ворошить ошибки прошлого, с которыми расстался навсегда...

Виктор задал вопрос:

— Как у вас с политическим самообразованием?

Бакеев ответил, что посещает вечерний университет марксизма-ленинизма. Успехи? Успехи хорошие.

Он в первый раз улыбнулся, поправил очки:

— Отметки отличные. Круглый отличник.

Деревянко взглянул на Черкашина.

— Разрешите мне несколько слов.— Он встал.— Мы решаем сегодня очень важный вопрос — о возможности рекомендовать доцента Бакеева в кандидаты партии...

Бакеев медленно опустился на стул. Он поглядел на Деревянко, потом на Черкашина, потом на Женю и вдруг перебил Степана Тимофеевича.

— Если это невозможно сейчас, я подожду. Честное слово, я понимаю... Говорите прямо

— Не мешайте!— резко сказал Деревянко.

Бакеев снял очки и платком вытер глаза.

— Извините, я волнуюсь. Это смешно в моём возрасте.

— Перед партией мы все равны. Хорошо, что вы волнуетесь. Нужно волноваться. Нужно помнить при этом устав нашей партии, обязанности коммуниста. Так вот. Думаю, мы ещё не можем рекомендовать товарища Бакеева общему собранию. Мы верим ему, но одной веры мало. Мне понятно, почему товарищ Бакеев так кратко и так скупно говорил сегодня о себе. Ему не о чем говорить. Жизнь партии — это не декларации. Жизнь партии — это дела, великие дела. Именно дела мы ждём от вас, товарищ Бакеев.

— Ну вот,— сказал Яков Платонович и устало опустил локти на стол.— Конечно, я не мог надеяться...

Деревянко говорил:

— Я не думаю, чтобы мы были правы, наглухо захлопнув перед Бакеевым двери партии. Не буду предсказывать сроки, но уверен, что... — Деревянко в упор поглядел на Бакеева — что вы снова придёте к нам, и очень скоро придёте. Но с неперемённым условием... В университете многие говорят: «Бакеев — гениальный популяризатор». Не знаю, как

на счёт гениальности, а популяризатор вы, действительно, хороший. Тысячи молодых юношей и девушек легко воспринимают и несут в жизнь ваше слово. Тем более обидно и нетерпимо, когда вы, обманывая их доверие, позволяете себе импровизировать на кафедре, отбрасывая научный и политический самоконтроль. Вы сказали, что получили хороший урок. Отлично. Но есть и другая сторона дела. Вы учёный. Но вы иногда забываете это, лишаете себя огромного удовлетворения, да и не только себя..

Деревянко резко махнул рукой. Бакеев, согнувшись над столом, прикрыл глаза.

— Вы лишаете отечественную науку двух крепких и талантливых рук. А они нужны, эти руки. Вы проделали полезную работу. Но почему вы остановились на достигнутом? Здесь Маслова недавно говорила с времени. Скажите, чувствуете ли вы, в какое время живёте?

— Да! Я прошу записать, как кляту, что со второго семестра разгружусь на пятьдесят процентов от всех побочных лекций.

— Этого не нужно записывать, — сказал Черкашин. — Итак, поступило предложение. Других предложений нет?

После бюро Бакеев попросил у Деревянко папиросу, закурил и молча, вместе со всеми, стал спускаться по лестнице в гардеробную. Выражение сосредоточенности не сходило с его лица. Он часто облизывал сухие губы. Его первым пропустили к вешалке. Здесь он вспомнил, что оставил пальто в деканате.

— Я принесу, — сказал Виктор и побежал наверх.

— Извините, — заторопился Бакеев. — Я сам. Я не разрешаю вам, Черкашин был уже на лестнице.

— Что же это такое? Разве я уже совсем старик? — говорил Бакеев, пожимая узкими плечами. Глаза его с недоумённым вопросом глядели сквозь стёкла.

Деревянко нахлобучил шляпу и, натянув пальто, обнял Бакеева за плечи.

— Это просто уважение к вам. В нашей семье всё делается от чистого сердца.

Но оказалось, что деканат заперт. Долго искали ключи, потом маленькой толпой все двинулись наверх.

Деревянко сказал, поддерживая Бакеева под локоть:

— Вы поглядите, товарищи, вокруг себя. Как мы рвёмся вперёд!.. Я имею в виду не только новые опыты, исследования, открытия. Я имею в виду размах, с которым раздвигаются горизонты людей науки всех отраслей и направлений. Я говорю о том, как философия врывается в наши кабинеты и лаборатории. Как она освещает наш путь. Наша ленинско-сталинская философия! Поистине, переделка мира.

— Хорошо, хорошо! — с неподдельным восторгом глядя на Деревянко, сказал Бакеев.

В последующие дни он был замкнут и молчалив. В своей рабочей лаборатории, где почти до самого потолка возвышалась установка, он провёл серию опытов, входящих в тему комплексной бригады. Вскоре после заседания партийного бюро Женя, разыскивая Яхонтова, зашла в лабораторию Бакеева.

— Вот кстати! — сказал Илларион Митрофанович и тотчас же взял портфель, из которого вытащил тоненькую брошюру — оттиск своей статьи, напечатанной в философском журнале. — Вчера получил бандероль. Имею честь...

На первом листе размашистая надпись:
«Многоуважаемой Евгении Васильевне от автора».

Женя была тронута.

— Большое, большое спасибо. Может быть, придёт время, когда я отвечу вам тем же.

— Ответите, и очень скоро ответите, — вмешался Бакеев. — Я вот тоже предполагаю дать описание...

Он подвёл Женю и Яхонтова к своей установке.

— Вот извольте, результаты.

В руках у него ученический альбом «Для рисования». Он увлечённо перелистал альбом. Страницы заполнены аккуратно наклеенными квадратиками рентгенограмм. Яхонтов скептически поглядел на обложку альбома, потом на громоздкую установку.

— М-да... В древней Греции строили выше.

— Уже приходили представители завода, — поспешно сказала Женя. — Заинтересовались. Хотят внедрять.

Яхонтов усмехнулся.

— Внедрять! Все помешаны на этом опасном для молодёжи слове. Я не думаю, чтобы среди нас находились гении, экспромты которых имеют силу научных достижений. Едва блеснула мыслишка, а вы уже сразу: внедрять. Здесь мир науки, а не кустарная мастерская.

Лицо Бакеева отразило внутреннюю борьбу. Это длилось недолго. Он ответил с неожиданной резкостью:

— А я горжусь этой кустарной мастерской. Горжусь!

— Гордитесь? Гордитесь тем, что делаете из... — Яхонтов покосился на Женю и сказал тише: — делаете из кучи навоза науку?

— Во всяком случае, это лучше, чем делать из науки кучу навоза!

В эту минуту в лаборатории потух свет. Все трое, не сговариваясь, бросились к воздушному насосу: отключить, чтобы в установки не засосалось масло.

Когда Женя отдернула штору, Бакеева в лаборатории уже не было.

— Вы меня извините за вульгарность, Евгения Васильевна, — сказал Яхонтов, щурясь на дневной свет. — Но эта вульгарность вынужденная. Надобно же отстаивать истину.

— Я не уверена, что истина на вашей стороне. — Женя чувствовала, что сейчас произойдёт что-то резкое и решительное. Ну и пусть!

Яхонтов удивлённо поглядел на неё.

— Вы слишком быстро очаровываетесь. В науке непозволительно верить на слово.

— А я иногда могу поверить на слово, — горячо ответила Женя. — Могу поверить, если чувствую, что идея правильная.

— Идея? Общее слово. Выражайтесь конкретнее. И учтите, Евгения Васильевна, что мы составляем черновики, а дело философов — переписывать их начисто.

Женя стояла перед ним с засученными по локти рукавами халатика, готовая на самый резкий спор.

— Ленин говорил так, — заявила она, глядя прямо в спокойные, с жёлтыми белками глаза Яхонтова. — «Мы вам отдадим науку, гг. естествоиспытатели. Отдайте нам гносеологию, философию, — таково условие сожителства теологов и профессоров в «передовых» капиталистических странах».

— У вас хорошая память.

— Не особенно хорошая, но то, что я читаю десятки раз, запоминается.

Чувствуя растущую с каждой секундой жестокою, непримиримую неприязнь к Яхонтову, Женя подняла руку со свёрнутым в трубочку отписком статьи.

— А это что же, тоже черновики?

— Не претендуя на философские обобщения, я изложил некоторые взгляды на теорию, — проговорил Яхонтов, стараясь ввести разговор в спокойный фарватер. — Дискуссия... Трудно молчать, когда недоучки, взявшись за перо, начинают грубо вульгаризировать...

— Судя по вашим словам... Но я прочту, я обязательно прочту.

— Писал, что думал.

— А думаете вы, Илларион Митрофанович, неправильно.

— Вы забываетесь! — неожиданно фальцетом крикнул Яхонтов. — Вы надеетесь дерзостью здесь заработать благосклонность там... Эти интриги мне известны! Однако в науке господствуют иные законы. Что ж, пожалуйста! Напишите в министерство, что доктор физико-математических наук Яхонтов ни гроша не стоит, как научный руководитель. Два доктора на кафедре — это действительно беда! Полная невозможность работать. — Он саркастически рассмеялся. — Разве я собираюсь кого-нибудь вышибать из седла? Мания! Мания преследования.

— У кого?

— Вы прекрасно знаете, о ком я говорю. Тот человек, кто делает меня мишенью... кто вмешивается... Неужели вы думаете, что я ребёнок? Этим летом вы самовольничали с его высокого благословения. Он учит вас не уважать истины.

— Я не верю в ваши научные истины! — закричала Женя, уже не пытаясь сдерживаться. — Я не верю в вашу жизнь. Я вообще не представляю, что было бы с нашей кафедрой, если бы ею руководили вы, а не профессор Деревянко.

Она быстро прошла мимо Яхонтова, хлопнула дверью и, не останавливаясь, чувствуя, как жарко горит лицо, выбежала во двор.

Серый осенний день. Одиннадцать часов утра. Никогда ещё она не чувствовала себя так скверно. Нужно зайти к Виктору. Да, одиннадцать часов! Он на лекциях. Деревянко? Женя вспомнила о поручении, которое он ей дал: съездить на завод.

В трамвае, постепенно успокаиваясь, она напряжённо думала о дальнейших отношениях со своим руководителем. Ей было ясно, что взорваны все мосты и примирения не будет. «Я вообще не представляю, что было бы с нашей кафедрой, если бы ею руководили вы, а не профессор Деревянко». Нет, этого мало. Следовало сказать резче. Следовало сказать так: «Я вообще не верю в то, что вы нужны науке».

Мысленный разговор с Яхонтовым продолжался всю дорогу.

Город уже позади. Трамвай стучит колёсами по стыкам высоких, напоминающих железнодорожную колею, рельсов. Осенняя степь. Блёклые тона, нечёткий горизонт с одинокими силуэтами столбов высоковольтной передачи.

Хорошо, что Женя едет на завод. На заводе всегда чувствуешь прилив энергии. Это не воспоминания бродят в ней, но любовь к могучему ритму заводской жизни.

Женя взяла пропуск в отдел главного металлурга. Сначала ей захотелось побродить по цехам. Медленно она прошла мимо заводоуправления, мимо давным-давно умолкнувшего фонтана, мимо безводного бассейна с сухим зеленоватым дном, мимо грядок, тоже зелёных и только кое-где присыпанных оставшимся со вчерашнего дня снегом.

Страничка жизни. Страничка, которой никогда не забудешь. Женя заглянула в конструкторское бюро. Симметричные ряды чертёжных досок. Тишина. На каждом столике лампа под голубым абажуром.

У главного технолога совещание. Дверь полукрыта, через щёлку виден голубой от табачного дыма воздух комнаты, головы людей.

В бюро рационализации и изобретательства на широких столах толстые папки с делами. Люди настойчиво ищут нового, борются за него. Каждая новая графа в журнале регистраций — маленькая ступенька к будущему. Так и нужно. Так и нужно жить.

«Ну вот, хорошо, — подумала Женя. — Я, кажется, начинаю успокаиваться».

Она зашла в мартеновский цех. На печи Саши Попова подходила к концу скоростная плавка. Женя с трудом нашла Сашу среди сталеваров. Тёмная спецовка, рукавицы, кепка слегка надвинута на лоб, на кепке — синие очки, бросающие фиолетовую тень на верхнюю часть лица.

Ровный шум горящего газа в печах, треск и хлопки в электромоторах завалочных машин, гул подвесных кранов, свист маленьких паровозиков, резкие звонки автоматики, предупреждающие о переброске клапанов, скрежет электровозов, грохот тележек с завалочным материалом, лязг лебёдок, опрокидывающих в печь бункера с чугуном.

Во всём Женя чувствовала слаженный, чёткий ритм. Она знала, что такое скоростная плавка. На каждом участке цеха встречный график стал целью сегодняшнего дня. Сквозь застеклённые окошечки диспетчерской кабины видно, как начальник смены склонился над плавильным журналом.

Скоростная плавка Саши Попова — это дело чести всей смены. Так и нужно. Так и нужно работать.

Кран приволок огромную чашу с расплавленным чугуном. Печной пролёт наполнился красным ослепительным светом. Женя отошла к бункерам с раскислителями. Там было прохладнее. Она остановилась у высоких штабелей огнеупорного кирпича, разглядывая плакаты на стенах. «Экономьте сырьё и топливо!» Цифры: столько-то стоит килограмм ферромарганца, ферросилиция, скрапа, стального лома. Большие буквами: «10 минут простоя одной печи — потеря 60 рублей».

Возле своей печи Саша был не таким, каким его знала Женя в квартире Чемезовых. Он казался старше, выше ростом и, главное, командир.

В руках папироса, влажное бронзовое лицо. Заметил беспорядок: рельсовые пути у самой печи замусорились — куски шлака, известняка. Сделал скупой знак подручному. Указательным пальцем сверху вниз и в сторону: убрать!

Женя подошла ближе. Возле пульта управления стоял второй подручный и зорко следил за каждым движением Саши. Здесь все понимают друг друга без слов.

Её не остановили, но оглядели подозрительно: кто такая? А она ловко проскочила между вагонетками с мульдами и, заслоняя ладонью от пышущего из печи жара, приблизилась к Саше. Он сначала не узнал её и поглядел удивлённо: смелая девушка! А она испытывала подлинное наслаждение, чувствуя себя в цехе, как дома.

— Нажимаете? — спросила она.

— Без этого невозможно, — ответил Саша. Вытащив из кармана спецовки запасное стёклышко, он протянул его Жене.

Она любила глядеть на кипящую сталь. Через стекло сталь казалась голубой, напоминающей бурное море.

В эту минуту она завидовала профессии Саши. Когда-нибудь и она вложит свою долю труда в создание металла, застывающего в изложницах разливаемого пролёта.

Намеренно затягивая своё пребывание на заводе, Женя долго прохаживалась по цеху, заглянула в кабинет сменного инженера, в экспресслабораторию. Там её знали. На выполнение поручения ушло около часа.

Выходя из завода, Женя встретила Сашей. Он уже закончил смену, принял душ, переоделся — и теперь, в пальто и мохнатой кепке, казался снова юношей, застенчивым и в то же время живым и немного восторженным.

— В город?

— В город.

Он сразу же начал стремительный разговор.

— Ну, сегодня хорошо получилось. Завалку не торопил, зато шихта прогрелась точно. В период плавления и доводки это сказалось. Два часа выиграл. Так на войне: войска накапливаются исподволь и незаметно. А потом как рванут: вперёд, в атаку! Я так и решил. Вначале буду накапливать силы. Вот, допустим, порядок завалки...

В трамвае он рассказывал Жене, как придумал засыпать тяжёлый железный лом в средние окна печи, не загромождая боковые, возле которых расположены кессоны, вводящие газ. Топливо должно поступать в печь беспрепятственно. Тяжёлый лом плавится с трудом. Желательно искусственно ускорить его плавление.

— Как это сделать? Заливаю жидкий чугун туда, где тяжёлый лом. Теперь возьмём состав лома. В нём порядочно твёрдого чугуна. Его надо засыпать поверх остальной шихты. Верно?

— Правильно, — сказала Женя. — У чугуна точка плавления ниже, чем у железа. Это резерв, Саша. Хороший резерв!

— Я себе так и представлял, что это резерв. Чугун расплавится и потечёт вниз, на железо. И общее плавление пойдёт гораздо быстрее. Точно?

В трамвае перешёптывались:

— Это наш Попов. Сталевар.

— Сложное у вас дело, — заметила Женя. — Но почётное.

— Да, есть дела полегче, — согласился Саша. — Но по мне так: тяжелей спине — легче сердцу.

Женя прочла статью Яхонтова за один вечер. Статья небольшая, но очень трудная для восприятия: многослойные яхонтовские периоды, абзац заполняет всю страницу, и этот нарочито неуклюжий «научный» язык, сквозь который не проредёшься к мысли. Первым побуждением было бросить. Но нельзя. Нужно разобраться. Может быть, Яхонтов занял правильную позицию в споре. Его полемика с авторами статей, напечатанных в предыдущих номерах журнала, внешне казалась убедительной и солидно аргументированной.

Но по мере того, как содержание статьи прояснялось, Женя всё твёрже говорила себе: нет, она не может согласиться с её основными положениями.

По Яхонтову получалось, что основное положение материализма о независимости существования объективной действительности от человека квантовая физика заменила новым понятием невозможности существования физического явления помимо прибора, а значит, помимо субъекта, человека.

Этот вывод не был ясно сформулирован в статье, но он напрашивался сам собой, как итог всех рассуждений Яхонтова.

Он подчёркивал: «Всякое измерение влияет на измеряемый объект».

Ниже пример из области психологии:

«Точно так же: нарушается процесс нашего мышления в тот самый момент, когда мы пытаемся его исследовать, то есть начинаем анализировать ход своих собственных мыслей».

Женя записала на отдельной бумажке:

«Значит, действие прибора и наблюдателя включается в бытие атомной частицы? Не ново: Бор, Гейзенберг».

«Просто-напросто методы наших измерений ещё несовершенны. Иначе — агностицизм».

Она почувствовала, что не может оставаться наедине со своими мыслями. Возвращаясь из университетской столовой, Женя зашла в деканат. У Гольдберга сидел Яхонтов. Равнодушно кивнув Жене, он продолжал разговор:

— Вот вы прочтёте мою статью, и тогда мы пофилософствуем. Я человек не слабый, но, признаться, иногда устаёшь от судоразбирательства всяческих казусов, допущенных коллегами, от ложных эффектов, которыми так часто сопровождаются наши экспериментальные потуги. И тогда садись за математику. Я вам завидую: теоретическая физика давно стала математической дисциплиной. И часто хочется воскликнуть: «Да здравствует математика, то есть да здравствует разум!» — Мягким жестом он остановил пытавшегося возразить Гольдберга. — Да! Вот где подлинная свобода духа. Вы, теоретики, должны чувствовать себя богами, создающими доселе несуществовавший мир.

— Всё исчезает? — иронически спросил Гольдберг. — Остаются одни уравнения?

— Хотя бы и так, — не совсем твёрдо, но упрямо ответил Яхонтов. — Хотя бы и так.

Мягкий Гольдберг как-то ошетинился весь, упёрся локтями в стол, плечи его поднялись.

— Вы забыли историю, Илларион Митрофанович. Математика! Да будь вы самим Бором и попробуй вы применить математику в физике формально, вы непременно завязнете в этаком, с позволения сказать, философском болоте...

Весёлое оживление Яхонтова окончательно исчезло.

— Независимо от так называемого болота, тот же самый упомянутый вами Бор навсегда останется гениальным учёным, — сказал он, стараясь произносить слова скороговоркой; в этом чувствовалось что-то умышленное: понимайте, как хотите — как аксиому или, наоборот, как откровение. — Мне абсолютно неинтересно, какие делаются философские выводы из остроумных и оригинальных научных открытий. Сткрытия есть открытия, они завоёвываются оружием математики, и их нельзя опровергнуть пером моралиста.

— Даже такие, как мистические измышления Эддингтона? — перебил Гольдберг. — Вам прекрасно известно, что этот учёный в кавычках дошёл до откровенной поповщины!

— Зачем же крайности! — сказал Яхонтов примирительно. — Я знаю ваше мнение о принципе неопределённости. Но вы упрощаете. Ох, как упрощаете.

— Ничего не упрощаю! Гейзенберг наделил электрон свободной волей. Куда же итти дальше?

— Я не считаю себя авторитетом в данной области. — Яхонтов сделал движение головой, похожее на лёгкий поклон. — Но мне всё-таки думается, что целесообразней отказаться от сурового требования, предъявляемого электрону: во всех случаях быть строго локализованным в пространстве.

Жене не хотелось вмешиваться в разговор, но она не выдержала:

— Но где же тогда закономерности? Где же они? Что же они — исчезли?

Илларион Митрофанович почти враждебно покосился на Женю.

— Гм... Закономерности.

Гольдберг не дал ему договорить.

— Вот именно — закономерности. Материя. Время и пространство, как формы существования материи. Электрону нет дела до всего этого, не правда ли?

— Чистейшей воды упрощенчество, — промямлил Яхонтов. — Массовость явлений микромира рождает закономерность. Это ведь не арифметика и даже не алгебра. — Он пальцем показал на окно. — Вон там люди движутся совершенно беспорядочно, но в сумме тысяч и десятков тысяч людей, проходящих по улице за определённый отрезок времени, обнаруживается закон уличного потока. Я удивляюсь, как вы, при вашей склонности упрощать, читаете квантовую механику!

— Приходится много думать, — сказал Гольдберг. — Оборвать верёвочку, за которую тянут тебя некоторые авторы, — и думать. А из тех мыслей, что вы сейчас высказали, и сплетается эта хорошо всем нам известная верёвочка.

— Ну-с, началась беллетристика. — Яхонтов потянул к себе портфель. — Электрон есть электрон. И его милый или, наоборот, отвратительный характер обусловлен не только его собственной физиономией, но физиономиями окружающих явлений.

— А я вам напомню Маркса, — заметил Гольдберг, — Маркса, говорившего в своё время, что свойства данной вещи не создаются её отношением к другим вещам, а лишь обнаруживаются в таком отношении.

Жене не удалось дослушать конца разговора: её вызвали в бюро. После очередных дел она рассказала Черкашину о своём столкновении с Яхонтовым. Виктор уже прочитал статью.

— Будем вмешиваться, и вмешиваться решительно, — сказал он. — Но чрезмерная торопливость только повредит делу. Вопрос сложный, обсуждение должно пройти на максимально высоком теоретическом уровне. Мы, конечно, поручим подготовку обсуждения Степану Тимофеевичу, как члену бюро и как заведующему кафедрой.

Деревянко сказал:

— Может быть, это к лучшему, что Яхонтов, наконец, высказался до конца. Борьба с ним будет продолжением борьбы с Бакеевым.

— Да, но Бакеев, судя по всему, понял свои заблуждения и отказался от них, — заметила Женя.

— Я тоже так считаю. Но проследите за железной логикой явлений, несмотря на кажущуюся их противоположность. Бакеев чувствовал себя маленьким человечком, Яхонтов чувствует себя богом. У Бакеева и в мыслях не было усомниться в правоте зарубежных авторитетов. Яхонтов хоть и не похлопывает их по плечу, но готов с чувством собственного достоинства протянуть им руку. Разные оттенки одной и той же тенденции.

— С той только разницей, — сказал Виктор, — что Бакеев из человека превращается в человека, а вот очеловечить бога будет гораздо труднее.

— Да, у Бакеева появился вкус к экспериментальной работе, — сказал Деревянко и прошёлся по комнате. — А то всё лекции, лекции, лекции... И мы вправе требовать от него гораздо большего. Комплексная бригада — добре! Но он должен сочетать исследования прикладного типа с научными задачами широкого масштаба, дальнего прицела. Дальний прицел — это могучий принцип. Мы и впредь будем помогать производству, но никогда не перестанем глядеть далеко вперёд, в наше завтра и даже в послезавтра.

Деревянко с увлечением принялся рассказывать Виктору и Жене о тех темах, которые он планирует для кафедры параллельно с работами, подсказанными производственниками города.

— Эти темы, — сказал он, — должны привести нас к открытиям новых закономерностей, новых явлений.

Обсуждение статьи Яхонтова решили провести в конце декабря.

— А пока кафедра выскажет своё мнение через нашу многотиражку, — заявил Деревянко. — Пусть это послужит толчком к самому активному обсуждению.

— Как же мне теперь быть с моей диссертацией? — растерянно спросила Женя. — Ведь мои отношения с Яхонтовым уже совсем невыносимы.

— Отношения отношениями. Твоё дело — работать, — сказал Виктор.

— Нет, — не согласился Деревянко. — Женя права. Я об этом позабочусь. Это моя обязанность.

А пока — работать! Вместе с Ивневым Женя настойчиво продолжала контрольные эксперименты. Борис уже совсем освоился с лабораторной обстановкой.

В университетской газете появилась статья «В отрыве от жизни, в плену у мнимых авторитетов». Подзаголовок: «О теоретических ошибках И. М. Яхонтова». Статья подписана тремя фамилиями: Деревянко, Бакеев, Гордиевский.

Борис прочёл статью в лаборатории. Некоторое время, присмирив, молча сидел он у стола Жени. Потом встал, одёрнул пиджак, засвистал какую-то мелодию.

— Вчера в полночь мне пришла в голову гениальная мысль, — произнёс он, обращаясь к Галичу. — Отверстие должно быть овальным. Не круглым, а овальным. В этом вся соль.

— Нонсенс. В данном случае вопрос упирается не в отверстие. Нужно помозговать об изоляции. Вот что существенно.

Борис, не отвечая, занялся установкой. Когда Галич вышел, он вдруг сказал неожиданно:

— А Яхонтов — дрянь.

Женя пожала плечами.

— Не грубо ли?

— Подумаешь! — Борис щёлкнул плоскогубцами. — Степана Тимофеевича я люблю. Просто люблю. И вот сейчас подумал: если я скажу о Деревянко: хороший человек, то как же назвать Яхонтова? Плохой? Как будто мало.

— Но вы, кажется, Яхонтова довольно высоко ставили.

Борис промолчал.

— Да, научный спор — это партийный спор, — сказала Женя.

— Я много в своей жизни бродил... — О чём это Борис? — И вот,

бывает так: идут ребята всю ночь напролёт, с тяжёлыми рюкзаками за плечами, лица запylённые, усталые... Идут навстречу утру. И вот — заря! Тот особенный, торжественный и волнующий отблеск, который бывает только на рассвете, вдруг падает на их лица. Отблеск зари. Я не могу точно объяснить, но для меня эта картина неразрывно связана с будущим, с прекрасной верой в жизнь, с любовью. Словом, знаете, как поётся: «зарю навстречу». Мы живём в солнечные дни, и лица у нас солнечные, уже не запylённые, как у тех путников. Но этот отблеск новой зари остался на всех нас. — Борис открыто поглядел на Женю и вдруг добавил: — А Яхонтов — дрянь.

Вот уже больше недели Илларион Митрофанович был занят только Галичем и даже не подходил к установке Жени.

В университете он появлялся редко, мрачный, но внешне спокойный.

О нём уже заговорили в городе. Саша, придя к Чемезовым, рассказывал:

— На заводе немногие в этих тонкостях физических разбираются, но все говорят: если профессор Деревянко выступил — значит, дело серьёзное. Уважают Степана Тимофеевича. — Он обхватил своими большими руками затылок. — Помню, как Яхонтов тогда на собрании выступал. Я ещё подумал — гладко говорит, и о науке правильно: вперёд, мол, вперёд. А на деле, дай ему волю, назад потянет — не бьётся в нём большевицкая мысль, та, что нам спать не даёт.

Прислушиваясь к рассказу Саши, Женя торопливо распечатывала конверт — письмо от Вацакидзе. Первой бросилась в глаза фраза: «Итак, я закончил курсы...»

Закончил!

Женя откинулась на спинку стула, но сейчас же снова наклонилась над письмом, взволнованно вчитываясь в каждую строчку.

«Отдыхать не поеду. Говорят, будут назначения на дальний и даже самый дальний Восток. Подбирают преимущественно семейных, потому что там трудно одному, а к семье ездить — полгода проездишь. Я хоть и холостяк, а поеду; уверен, найду чем заполнить шестнадцать часов в сутки».

Значит — один. Почему же один? Нет, радоваться нехорошо. Впрочем, может быть, это и не радость? Наоборот, грусть? «Я хоть и холостяк, а поеду...» «Самый дальний Восток...»

А Ната?

Быстро проглядывая строчки, Женя искала упоминания о ней. Кажется, ничего нет. А, вот, в самом начале:

«Вы просили передать привет Н., но я этого сделать не могу, потому что она уехала на практику, на несколько месяцев».

В памяти Жени возник кусочек прошлого. Она сидит рядом с Нико, в этой же комнате, у раскрытого окна. Полутьма. Абажур скрывает свет настольной лампы. «Какая она, Ната?»

Женя не помнит точного ответа Нико. Помнит одно: он описал Натю яркой, сильной, смелой девушкой. С такой горячностью описал, что Женя не могла не сказать: «Такую нужно очень любить».

А настоящая Ната, та, что живёт в Дигоми, не похожа на портрет, набросанный Нико. Она хорошая, добрая, искренняя, но... не такая.

Он обманывал? Или обманывался, видя перед собой не Натю, а кого-то другого? Кого же?

Может быть, он говорил обо мне?

«То, что я уезжаю очень далеко, — не бегство, а, наоборот, наступление. Я с таким чувством и поеду. В Тбилиси без меня обойдутся, да и грустно мне здесь, нехорошо оставаться».

Если бы я был слабоволен, я бы каждый день писал вам сотню писем, писал и рвал бы их. В общем, нелегко мне, Женя. К счастью, есть у меня дело жизни».

Да, это самое главное!

«Ничего, будем твёрдо стоять на земле. Всякую боль можно перетерпеть. А знать, что вы существуете на свете,— это тоже большое счастье».

— Что-нибудь радостное? — спросила Муся.

Женя смутилась, как девочка.

— Не то что радостное, а просто — счастливое. Ведь бывает и грустное счастье!

Во второй половине декабря Пересада защищал диссертацию. Женя пришла на защиту прямо из лаборатории — в своём синем халатике и наспех накинутом на голову платке.

Войдя в заполненную аудиторию, она поднялась по ступенькам амфитеатра. Мягко горит электрический свет, окна занавешены чёрными шторами. На откидных столиках — портфели и шляпы. Наверху, в самом последнем ряду, окружённый товарищами, сидит Пересада. Женя увидела только его голову с коротко подстриженным ёжиком волос и какое-то встревоженно-ясное выражение обычно бесстрастного лица. Волнуется. Женя кивнула ему головой. Он ответил, крепко поджав губы.

У длинного стола, на котором возле привычного для глаза проекционного фонаря лежали толстые папки, листки бумаги и указка, столпились профессор и доценты. Бакеев разматывал шарф, он ещё не снял своего короткого пальто, Гольдберг, глядя на него снизу вверх, протягивал список присутствующих членов Учёного совета.

— Товарищ вкворум, прошу расписаться. И разрешите поздравить вас: вы на этот раз не опоздали.

Деревянко курил, разглядывая аудиторию и здороваясь с новоприбывшими.

— Дисциплина! — сказал он весело. — Кафедра твёрдого тела показывает образцы дисциплины!

Возле стола крутился Галич, всем видом своим показывая, что хоть и не он сегодня защищает, но тоже — не последняя спица в колеснице кафедры. Пересада попросил его подготовить всё необходимое для демонстрирования диапозитивов. Семёну нравилось, что он не только присутствует, но в какой-то мере участвует в необычной процедуре. Он часто скрывался в дверях задней комнаты, где перед лекциями подготавливались опыты. Эту комнату Яхонтов называл «алтарём», а Деревянко — «кухней».

Женя села в шестом ряду. Она очень волновалась за Пересаду.

Чего же медлят? Всё готово. На большой, во всю стену, трёхстворчатой доске кнопками приколоты схемы и чертежи прибора, изготовленного Пересадой. Он неплохой чертёжник. Делал сам.

Сверху доносятся приглушённые разговоры: такой-то тогда-то закончил теоретическое отделение, сейчас работает там-то... Воспоминания. Темы работ. Споры о том, кому труднее: экспериментаторам или теоретикам.

Женя спустилась вниз, чтобы, обойдя амфитеатр, подняться к Пересаде. В узком проходе она неожиданно столкнулась с Яхонтовым. Пройти мимо или остановиться?

— Как ваши успехи? — глухим голосом и не глядя на Женю, спросил Яхонтов.

Женя остановилась.

— Я взяла тоненькую трубочку, потом свинец и при помощи... Яхонтов перебил:

— Получилось или не получилось?

— Получилось.

— Остальное меня не интересует. Переходите к фотографированию. Как будто Женя не знает, что ей нужно переходить к фотографированию!

Яхонтов круто повернулся и, ни с кем не здороваясь, прошёл к первому ряду и сел, обхватив колено руками.

Женя вернулась на своё место. Было ясно: Яхонтов крепится изо всех сил. Как ни странно, чувство жалости не шевельнулось в Жене.

Подошёл Галич.

— Ну как? Интересно, правда? Приятное напряжение!

— Кому приятное, а кому...

— Ты о Пересаде? Он чувствует себя превосходно.

— Я за него волнуюсь.

Выше рядом — Ивнев, Нина и ещё несколько дипломников физического отделения.

— А я не волнуюсь, — Галич приблизил к Жене своё розовое лицо. — Вот увидишь — Яхонтов не будет гробить. В его теперешнем положении...

Стенографистка села за свой столик. Гольдберг зашелестел бумагами. Галич уже перебежал к Ивневу.

— Она москвичка. А москвичи необычайно быстрые люди. С темпом. В Москве всё быстрое — автомобили, метро, электрички. Вот этот, как его фамилия? — Он назвал фамилию. — Аспирант. Переехал в Москву — сразу кандидатский сдал. Английский язык в электричках подготавливал. Ему сорок минут ехать каждый день. Другие спят, а он зубрит. И правильно — надо слешить: что ни год, то труднее защищать. Когда наша с Масловой очередь подойдёт — придумают новые трудности.

Женя обернулась.

— И очень хорошо. Жизнь не стоит на месте. И потом: кто же тебя сейчас задерживает? Защищай.

— Как же я из графика выйду? — спросил Галич обиженно. — Если я подготовлюсь раньше срока, подумают: гений. А с гениев спрос особый.

Здрав голову, он поглядел на Пересаду и сделал ему знак рукой: пора, спускайся со своей галёрки!

— А вообще-то мы ленивы. — Он вздохнул. — Нас нужно толкать, контролировать...

— Контролировать! — повторил Ивнев с насмешкой в голосе. — Что за слово! Не для науки, а для пивного ларька. Знаете, чтобы воды не подливали.

Гольдберг вышел на возвышение. Скрипя сапогами, Пересада спустился по ступенькам. Затылок у него побагровел. Пока Гольдберг читал анкетные данные и характеристики, он стоял в первом ряду, опустив руки.

— По команде «смирно», — пошутил Галич.

— Бросьте вы... подмечать, — прошептала Женя, ни к кому не обращаясь.

Её волнение утихло, когда Пересада начал своё сообщение. Он стоял у стола — угловатый и какой-то очень тяжёлый, но уверенный в себе. Сразу почувствовалась эта уверенность, с первой же фразы. Воору-

жившись указкой, он крепко сжимал её. Голос у него был негромкий, спокойный, речь текла ладно. Женя уверилась, что Пересада действительно всё видит ясно как на ладони.

Погасив свет, Галич в темноте возился с проекционным фонарём, на экране появились замысловатые фигуры рентгеновских снимков.

Потом Пересада снова возвращался к своим чертежам, постукивая указкой по доске. Женя облегчённо вздохнула: всё идет хорошо.

Было приятно за Деревянко. Яхонтов сидел сгорбившись, в прежней позе.

Когда он вышел на трибуну, как официальный оппонент Переседы, по аудитории прошелестел ветерок острого и недружелюбного оживления.

Яхонтов это сразу почувствовал. Движения белых рук потеряли уверенность, папка с рецензией чуть было не соскользнула с кафедры, один листок упал на пол.

— Простите...

Яхонтов начал с глубокого вздоха, негромко и доброжелательно.

— Диссертант проделал большую работу... Диссертанту удалось... Диссертант продемонстрировал...

Он перелистывал рукопись, а сам глядел куда-то вверх, на задние ряды амфитеатра.

Пересада сидел на краешке и постукивал указкой об пол.

— Однако я должен сделать несколько существенных замечаний... — сказал Яхонтов и откашлялся. — Во-первых, само по себе изучение механизма образования карбидов при спекании порошков, естественно, предполагает необходимость точно измерить деформацию порошков при обжарке...

По этому пункту он говорил долго.

— Итак, считаю, что полученные диссертантом результаты не могут быть истолкованы однозначно, как пытается это делать диссертант. Напротив, результаты, объявленные диссертантом, допускают разнотолкования, ибо деформация порошков, предшествующая их спеканию, мерилась явно неточно...

Да, существенное возражение. Женя перевела глаза на Переседу. Он оставался невозмутимым. В первых рядах зашелестела бумага. Деревянко был спокоен.

— Работа, представленная на соискание учёной степени кандидата наук, характеризует диссертанта, как человека, умеющего трудиться, — говорил Яхонтов. — Но...

Как много этих «но»!

— Но я не почувствовал музыкальности в физическом эксперименте, я ощутил, наоборот, режущее ухо отсутствие гармонии. Занимаясь новой областью, диссертант ничего не сделал в области обновления методологии.

Деревянко слегка повернулся, и Женя увидела его насторожённо приподнятые брови.

— Диссертант стремился к утилитарным выводам. Но, уважаемые коллеги... Утилитарные выводы могли бы сделать инженеры... И вообще я разрешу себе, воспользовавшись случаем, сказать не только о диссертации, но и о той школе, к которой, по всем данным, принадлежит диссертант.

«Решил дать последний бой», — подумала Женя.

— Какую школу вы имеете в виду? — спросил Гольдберг.

— Я имею в виду школу профессора Деревянко.

Яхонтов сделал паузу, наслаждаясь произведённым эффектом.

— Представители этой школы, пользуясь положением своего главы, всячески затирают... — он произнёс слово «затирают» брезгливо, давая понять, что употребляет его по необходимости, но не считает это слово уместным в научном обиходе, — ... затирают всех, кто пытается заглядывать в глубь физических явлений и кто предоставляет возможность делать практические и даже теоретические выводы людям, призванным это делать. Школа профессора Деревянко очень часто подменяет собой инженеров. Представители этой школы, стремясь к непосредственным выводам и будучи физиками, не выполняют своих прямых функций, не понимая или не желая понять сущность эксперимента, как законченного искусства. — В аудитории зашумели, Яхонтов повысил голос: — А разве не является в этом смысле поучительным такой исторический пример, как блистательная деятельность Фарадея?

Шум нарастал. Гольдберг был вынужден постучать карандашом по столу.

— Однако, я полагаю... — спохватился Илларион Митрофанович. — Я полагаю, что ежели диссертанту будет присвоено сегодня учёное звание, он сумеет носить его с честью.

Ничего себе вывод! Гольдберг хотел что-то спросить у Яхонтова, но коротко махнул рукой и встал.

— Попрошу товарищей вести себя тише.

Он предоставил слово другим оппонентам: приезжему профессору и Гордиевскому. Их рецензии были весьма положительными.

Теперь Пересаде предстояло ответить на вопросы. Вопросов много. Галич спросил:

— Меня интересует такое... Чем объясняет товарищ Пересада выбор карбидов вольфрама и титана? Чем объясняется выбор именно этих сплавов для проведения исследования?

Он солидно опустил на своё место.

Пересада, широко расставив локти, записывал вопросы. Своё ответное слово он начал не так уверенно, как излагал существо работы.

— Для меня то, что спрашивали товарищи, — не новость. Я в процессе работы об этом тоже думал. Но был ещё весь охвачен, как это сказать, боевым порывом...

В аудитории засмеялись.

Гольдберг перебил:

— Отвечайте, пожалуйста, по существу.

— Я по существу... Сначала насчёт карбидов вольфрама и титана. Почему именно их взял? Потому, что они имеют достаточно высокую твёрдость. Ну, а это... — Он с некоторой опаской поглядел на Яхонтова. — Это для производства очень важно.

— Вы не забыли о моих замечаниях? — тихо спросил Яхонтов.

— Нет, не забыл.

Женю испугала затянувшаяся пауза. Пересада постоял с минуту в нерешительности, потом повернулся спиной к аудитории и принялся откалывать кнопки и снимать чертежи.

«Неужели он совсем потерял голову?» — мелькнула у Жени мысль.

Но под чертежами оказались другие чертежи и схемы: то, что сделано было Пересадой в ответ на рецензию Яхонтова.

— Вот, Илларион Митрофанович, — Пересада снова взялся за указку. — Вот пресс с приспособлением для точного измерения давления. — Указка медленно скользила по схеме. — Вот обозначен манометр... Я его гочно проградуировал...

Женя облегчённо вздохнула.

— Поэтому возражение Иллариона Митрофановича против якобы неточных измерений деформации... Одним словом, отпадает.

— Посмотрим, отпадает или не отпадает, — заметил Яхонтов.

Но когда Пересада закончил свои объяснения, Илларион Митрофанович вынужден был согласиться с ним. Он сделал это неохотно:

— Очевидно, на восемьдесят процентов замечания действительно отпадают.

— На все сто, — сказал Деревянко.

А Пересада уже благодарил руководителя, членов кафедры, оппонентов и своих друзей по лаборатории. Он так и сказал: «А также большое спасибо однополчанам, то есть товарищам, с которыми я плечо о плечо трудился три года, делился я горем, и радостью, ругался иногда и так далее...»

Гольдберг объявил перерыв для голосования. Все хлынули вниз, окружили Пересаду. Ряды опустели. Женя тоже встала. Подлетел Галич.

— Пройдёт. Конечно, пройдёт! — твердил он, словно с ним спорили.

Взял её под руку, и они отошли к окну. Дверь на балкон была приоткрыта. Женя увидела на балконе фигуры Бориса и Нины.

— Мне не совсем понравилось, — сказал Галич.

— Почему?

— Да так, не очень солидно. Указку он всё вертел в руках.

Галича кто-то отозвал. Женя услышала разговор на балконе. Борис держался за перила. Нина сидела на стуле.

— Да, — говорил Ивнев. — Тёплый ветер, но опять зима.

— Зима, — долетел до Жени грустный голос Нины. — Деревья голые стоят, без листьев.

— А я не могу больше так жить, — сказал Борис.

Теперь Нина стояла рядом с Борисом. Её рука лежала у него на плече.

— Я ничего не скажу тебе сейчас, Боря, потому что не могу. И думать об этом я тоже не могу. Для меня сейчас не существует ничего, кроме главного... чем мы живём в наши дни. Когда-нибудь позже, может быть, я скажу тебе остальное. Потому что я не девочка и понимаю, что всё проходит, даже самое горькое.

— Хорошо, — сказал Ивнев глухо. — Я тебя понимаю. Ну, всё. Иди... Ниночка.

Нина ушла с балкона, а он остался. В эту самую минуту Гольдберг начал оглашать результаты голосования.

Единогласно.

Уже зашумел амфитеатр, уже счастливо улыбнулся Пересада. Но здесь поднялся Деревянко.

— Разрешите мне несколько слов. Не по существу диссертации, а по существу выступления профессора Яхонтова. — Он повернулся к Иллариону Митрофановичу. — Уж если вы произнесли слова «школа Деревянко», о которой я, кстати, впервые слышу, и если бросили мне, как руководителю кафедры, некоторые упреки — я не могу не ответить. Да, мы ценим физический эксперимент и понимаем важность его чистоты и тонкости. Но мы не рассматриваем эксперимент, как самоцель.

— Не искажайте, не искажайте моих мыслей, — нервно перебил Яхонтов.

— Вы сослались на авторитет Фарадея. Я вам напомню его слова. Он говорил, что искусство экспериментатора заключается в том, чтобы уметь задавать природе вопросы и понимать её ответы. Мы любим и ценим физический эксперимент, как средство выпитывания у природы

её тайн, и не считаем нужным изощряться в мастерстве и замысловато формулировать наши вопросы, если можно добиться ответов более простыми средствами. Вы произнесли громкие слова о сущности физических явлений...

— Не громкие слова, а истину, — снова перебил Яхонтов.

Деревянко нетерпеливо поднял руку.

— Товарищ Пересада при помощи известных и апробированных средств сумел получить однозначные результаты, и я не понимаю, какой смысл имели бы всяческие изощрения в мастерстве задавать вопросы природе. Главное в том, что есть ответ.

— Я голосовал «за»!

— Вы голосовали «за». Но в оглашённой вами точке зрения и в точке зрения так называемой «школы Деревянко» я вижу очень разные взгляды на положение учёного в нашем обществе...

Со смешанным чувством ещё не осознанной грусти после невольно подслушанного разговора и радости за Пересаду — Женя вернулась в лабораторию.

Галич долго не возвращался. Хлопнула дверь, вошёл Яхонтов. Не глядя на Женю, он подошёл к шкафу с инструментами. Через некоторое время сказал недовольно, будто только что заметил отсутствие Галича.

— Опять Галича нет? Гм... Где же он?

Женя не ответила. Она зажала в тиски медную втулку и, поглядывая на чертёж, принялась опиливать её.

Яхонтов рылся в шкафу.

Снова скрипнула дверь. Нет, не Галич. Вошёл Деревянко.

И сейчас же подчёркнуто официальный голос Яхонтова:

— Степан Тимофеевич!

— Да, слушаю вас.

— Учитывая нынешнюю ситуацию, я полагаю, что с моей стороны по меньшей мере нетактично... — голос сорвался. — Я не могу руководить аспирантами, если мой авторитет каждый час, каждую минуту подвергается...

— Да, да. Вы совершенно правы, — спокойно перебил Деревянко. — Мы ставим ваш вопрос на кафедре и, вероятно, возбудим соответствующее ходатайство перед министерством.

Яхонтов опять у своего шкафа. Тишина.

Деревянко:

— Я попрошу вас, Женя, передайте Галичу, чтобы он зашёл ко мне. Хочу поручить ему некоторые описания... по итогам первого цикла нашей комплексной бригады. Первый цикл закончен успешно. Сегодня доложил в министерство телеграммой.

— Я не знаю текста, но следовало бы добавить, — громко сказал Яхонтов. — Помножили два на два — получилось четыре. Экипаж здоров.

— Вы себе отдаёте отчёт... в том, что говорите?

— Отдаю полный отчёт, уважаемый Степан Тимофеевич, — Яхонтов покраснел от злости.

— А мне показалось, что вы исходите из личных мотивов. Вот что, Илларион Митрофанович, пора поставить точки над «и».

— Давайте поставим. Точки, двоеточия, многоточия, кавычки — всё, что вам угодно!

Женя сделала движение — уйти, но Деревянко и Яхонтов стояли в узком проходе между установками, загораживая путь.

У Деревянко слегка усталый вид. Широкое пальто растёгнуто, из-

под него виден костюм, тёмный галстук, острые длинные уголки воротничка рубашки.

— Пора покинуть шаткие позиции человека, обиженного богом, судьбой и министерством, — проговорил он ровным голосом. — Пора сказать прямо и откровенно, какую цель вы преследуете, жалуясь на «Гонения». Я с удовольствием вас выслушаю.

— Хорошо. Отлично. Я скажу. — Яхонтов тяжело дышал. — Я помню вашу молодость так же отчётливо, как и вы мою. В своё время я со всей экспансивностью, на какую был способен, приветствовал ваши блестящие дебюты, свидетельствующие о творческой смелости и недюжинной эрудиции; вы приобрели её, как это свойственно высоким талантам, почти играючи, среди детских утех и юношеских увлечений. Вы шли подобно горьковскому Данко через болота и топи. Вы готовы были вырвать сердце, чтобы осветить путь.

— Доканчивайте, — перебил Деревянко. — Кому осветить? Себе? Яхонтов продолжал развивать свою мысль.

— Но вы благоразумно учли, что изобретена электрическая лампочка, что существуют гудроновые дороги и чугунные мосты, а следовательно, есть возможность обходить топкие места, не беспокоя своего пламенного сердца.

Деревянко курил, глядя в окно.

— Дальше.

— И вы преспокойно перешли от проблем — к проблемкам, от науки — к ремеслу, от страсти — к тёпленькому энтузиазму, от заоблачного будущего — к хлебцу насущному. Вы становитесь не столько учёным, сколько общественным деятелем. Пожалуйста, будьте им! Будьте им, если это ваше истинное призвание. Но дайте ближнему своему стремиться к тем звёздам, которые ему снятся во сне! Дайте ему возможность идти через топи и болота, минуя гудрон и асфальт... Дайте ему дышать и заблуждаться. Да, даже заблуждаться!

— Ваши заблуждения обходятся государству в сотни тысяч рублей, — сказал Деревянко сдерживаясь.

— Пусть! — Яхонтов легонько стукнул рукой по столу. — Пусть! Что значит миллионы рублей в сравнении с истиной, которая будет, наконец, найдена.

Деревянко снял шляпу и, уже не сдерживаясь, швырнул её на стол.

— Ваша истина, о которой вы постоянно трубите, имеет точно установленное имя. Имя ей — идеализм. — Яхонтов сделал возмущённый жест, но Деревянко не дал себя перебить. — И мне нет никакого резона любоваться вашим полётом к звёздам. Ваши звёзды — это болтовня, не более. Вы жонглируете фразами, Илларион Митрофанович. Когда выгодно — факты, когда невыгодно — звёзды! На словах — прогресс, а на деле — косность.

— Я это уже слышал, — Яхонтов побледнел. — Это слово не обижёт меня, ибо произнесено оно холодным и расчётливым человеком.

— Есть две родные сестры: косность и безидейность. Там, где нет верной идеи — там рутина. И здесь то же, — кивок в сторону установки, — всё та же беспредметность, схоластика. Упоминаете о Данко. А вы готовы на то, чтобы вырвать своё сердце?

— Ради науки.

— Нет, ради народа! — вдруг закричал Деревянко. — А потом уже будем говорить о науке... Загляните в газеты! Послушайте, что делается в мире... А где ваше слово?

Яхонтов развёл руками.

— Мы не дипломаты.

— Но мы — русские! — Женя вздрогнула, так резко повысил Деревянко голос. — Понимаете, русские! Горбом и потом создавшие славу человечества. Кровью, мыслью, страстью... Жрецы науки за рубежом не раз пожинали лавры, принадлежащие нам, но мир ~~нельзя перевернуть~~ плагиатами и мысль человеческую заглушить звоном долларов... У нас за плечами война, и мы её помним.

— Я тоже... — Яхонтов откинул голову. — Я тоже, к вашему сведению, жил на белом свете.

— Но вы смотрели на войну из окна мягкого вагона! — кричал Деревянко. — Вам правительство создало идеальные условия для работы, а вы... Да, я ненавижу вас за ваше олимпийское спокойствие в дни, когда решается судьба человечества!

Яхонтов молча повернулся и почти бегом кинулся вон из лаборатории. Зазвенело стекло в шкафу: резко хлопнула дверь. Женя ещё никогда не видела Деревянко в таком сильном возбуждении. Он молча ходил по лаборатории — от окна к дверям и обратно.

— Будем бороться за нашу чистую прямую линию, — сказал он наконец, — за нашу честь, за нашу жизнь! И между прочим, за Галича. Повернём. Он молодой. Попробуем вылепить из него фигуру достойного советского учёного.

В одной из центральных газет появилась рецензия на книжку философского журнала, в котором была напечатана статья Яхонтова. Иллариону Митрофановичу было уделено в ней основное место. Бакеев выразился так:

— Камня на камне не оставили..

Нужно было как можно тщательнее готовиться к пленуму кафедр, создаваемому руководством университета.

Женя не ограничилась изучением статьи Яхонтова. Снова собрала его экспериментальные исследования, пересмотрела их и дословно записала свои выводы.

«За последние годы профессор Яхонтов напечатал немало описаний проведённых им экспериментов. Я не буду останавливаться на их технике и методике, а, беря в качестве примера одно из последних исследований Иллариона Митрофановича, постараюсь обрисовать ту тенденцию, которой проникнуто большинство его работ.

Это исследование посвящено изучению физических свойств сплава олово-цинк, которым наука давно не интересуется, как практически неприменимым и не имеющим никаких перспектив для исследователя-физика. Так как данный сплав существует и его свойствами занимались в своё время учёные, — он, этот сплав, имеет, так сказать, своё место в таблице.

Пусть это будет даже воображаемая таблица, всего несколько табличных данных, остальные же данные не измерены, клеточки таблицы не заполнены, так как сплав никого сейчас не интересует — есть другие по-настоящему жизненные проблемы.

Возьмём такое свойство олово-цинка, как теплопроводность. Коэффициент теплопроводности этого сплава измерен, но профессор Яхонтов продолжает измерения для других, не вошедших в таблицу, процентных соотношений цинка и олова.

Стоит ли заниматься заполнением пустующих клеточек таблицы, наперёд зная, что никаких новых свойств и явлений не будет обнаружено?

Профессор Яхонтов практически отвечает на этот вопрос утвердительно. Ради чего? Ради полноты таблицы. Табличные данные бывают

разные. Но именно те, которыми занимается Илларион Митрофанович, мертвы. Кость мамонта представляет интерес для палеонтологии. На то и палеонтология. А физик, который — если говорить образно — возводит мамонтовую кость в принцип своей работы, мне представляется человеком, закованным в цепи. Такой человек не может шагать в ногу со временем».

Женя не успела закончить подготовку к пленуму кафедр. За полторы недели до Нового года вдруг заболел Алик. Утром он капризничал, жаловался, что болит голова, и не хотел ничего есть. Только пить. Женя села за письмо к Вашакидзе. Она никак не могла сосредоточиться. Письмо получилось бледным. Единственное, что она сообщила, это о Грише: Гриша уехал и, по его словам, навсегда. Женя пошла отправить письмо, а когда вернулась, Алику стало хуже. Он лежал на кровати, укутавшись в шерстяной платок. Туманные глазки, и лоб, как огонь.

Скорей термометр! Где термометр? Термометра нет. Женя побежала к Чемезовым. Муся ещё на работе. Чемезов пошарил за зеркалом.

— Не волнуйся. Парень он крепкий. Нечего волноваться.

Женя вернулась к себе, расстегнула на Алике курточку и сунула термометр ему подмышку. Она сидела рядом с сыном, опасаясь, что Алик будет вертеться и термометр выпадет. Но Алик не вертелся. Он лежал очень спокойно, с раскрытыми глазами. Это спокойствие пугало.

Ну, так и есть: тридцать девять и одна. Это ужасно.

Забыв об обеде, Женя быстро, стараясь, чтобы движения были точными и экономными, расстелила постель, налила в чайник кипячёной воды, чтоб быстрее закипел, достала из буфета порошки и капли, приготовила компресс для головы, растолкла в стакане таблетку кальцекса.

Когда пришла Муся, у Алика начался бред. Алик дышал тяжело и быстро. Всё пытался говорить, но получалось только оханье да стоны.

Муся побежала за доктором. Чемезов поминутно входил и выходил. Женя нервничала: боялась, что он напустит холоду.

— Голову закидывает, — сказал Чемезов озабоченно. — Вот это плохо, что голову закидывает.

— Что у него может быть? — допытывалась Женя. Никогда бы раньше она не поверила в медицинские знания Чемезова. А теперь она об этом не думала. Она ощущала потребность спрашивать. Она совсем не разбиралась в болезнях.

Уже вечерело. Так неожиданно свалилась на неё эта ужасная тревога, этот испуг и ощущение своей полной беспомощности. Она не могла бездействовать. Муся не возвращалась. У Алика началась рвота.

Термометр — узкая блестящая палочка из стекла, горячая от тела сынишки. Свет играет на стекле. Цифры скачут перед глазами. Внизу чёрные, сверху красные. Голос Чемезова:

— Давайте я погляжу.

Опять рвота. Женя схватила тазик.

— Много, — сказал Чемезов, опуская термометр.

— Сколько много?

Женя вырвала у него термометр. Наконец, ей удалось поймать туманный столбик ртути. Она нашла цифры 37 и 38, но столбик тянулся выше. Настолько, что дух захватило. Выше цифры сорок.

— Ну, вот, — сказала Женя. — Такого ещё никогда не было.

Чемезов сидел на корточках у кровати. Алик хрипло дышал. Где же Муся?

— Пойдите поторопите Мусю. Пойдите, пожалуйста.

— Женя, дети часто... болеют... И жар всегда высокий.

Он успокаивал неумело и, в конце концов, пошёл одеваться. Но тут вернулась Муся. Доктор будет через двадцать минут. Двадцать минут длились целую вечность. Муся осталась с Женей.

— Ты не волнуйся, — говорила она неторопливо. — Это у тебя так потому, что в первый раз. А я с Мишкой много намучилась.

Она расспрашивала, с чего началась болезнь, кашлял ли Алика, как у него гланды, болел ли он корью. Её тон действовал успокоительно. Что значит женщина, мать!

Оказалось, врач тоже женщина. Она осматривала Алика не долго, но очень внимательно. Теперь Женя верила только одному человеку на свете: этой женщине-врачу.

Сразу до неё не дошли её слова. Она поняла только одно: крайне желательно вызвать специалиста-профессора. Несколько адресов и номеров телефона. Ночью может произойти ухудшение. Ухудшение? Куда же хуже? Не всякий профессор поедет в такое время. Уже половина одиннадцатого!

— Муся, ты иди поешь... Или лучше останься, я сама побегу за профессором.

Произошёл краткий спор: кому идти? Чемезов ничего не хотел слушать и оделся. Пойдёт он.

Но Женя насильно стащила с него пальто. Она должна пойти сама, потому что, кроме неё, никто не сможет уговорить, если...

— Какое может быть «если», — сказал Чемезов. — Кто-кто, а я наших врачей знаю. Пойдёмте вместе. Я скорей машину достану.

— Нет, вы оставайтесь. А вдруг что-нибудь...

Женя быстро спустилась с лестницы и выбежала на улицу. Ей сразу стало легче. Может быть потому, что освежил зимний воздух. А вернее потому, что она не сидела на месте, а действовала.

Шёл снег. Не очень крупный, но густой. Было непривычно тихо. Снег заваливал тротуары. Трамваи, и те двигались, как белые черепахи, медленно и бесшумно. Какие-то светящиеся снежные глыбы.

Так что же сказала женщина-врач? Рвоты и церебральные явления. Симптомы Корнига. Незнакомые слова, чётко врезавшиеся в сознание. Тогда они не воспринимались, а сейчас, в этой необыкновенной тишине...

Женя заставила себя сосредоточиться. Итак, подозрения на менингит. Высокая температура может держаться в течение нескольких дней. Теперь всё ясно. Совершенно ясно, что с Аликом может случиться самое страшное. Нет, невозможно подумать об этом! Женя должна спасти Алика. Последствия, осложнения — это не страшно. Главное — спасти. Она теперь знает, что нужна антитоксическая сыворотка, горячие ванны, сульфидин по ноль двадцать пять — шесть раз в день, уротропин.

Она держит в памяти названия лекарств, как самое дорогое, будучи именно в этих названиях — спасение.

Самый известный в городе профессор, специалист по детским болезням, сразу же согласился ехать. Он попросил десять минут на то, чтобы одеться. Женя по телефону вызвала такси.

— Я вас буду ждать внизу, профессор, — сказала она торопливо, как будто машина уже ждала у подъезда.

Она сошла вниз. У неё не было сомнения в диагнозе женщины-врача. Но она надеялась, что профессор знает какие-то ещё никому не известные средства. У неё слегка кружилась голова. Она прислонилась к дверям подъезда. Ей стало жарко, она расстегнулась. Лицо было мокрое от снега. Она не надела бот, туфли тоже были совершенно мокрые.

Женя принялась вычислять, через сколько минут подойдёт машина. Гараж. Она знает, где этот гараж. От гаража через площадь, потом по

трамвайной линии, мимо горсовета, мимо театра... Ей хорошо знакома и эта улица, на которой она находится. На углу «Гастроном», в двух шагах — почта. Почта. Но зачем же почта?

И вдруг она поняла, что именно почта ей сейчас нужна. Она почувствовала, что это ужасное несчастье, постигшее её, ей просто невозможно переносить одной. Конечно, рядом Муся, Чемезов, товарищи. Но они — не Нико. Алику может стать ещё хуже. Нико, Нико...

С мокрым лицом, в распахнутом пальто, она ворвалась на почту.

— Можно дать телеграмму?

Нужно срочную или даже молнию. Хватит ли денег? Ещё за машину...

— Можно, я приоткрою дверь, чтобы видеть, когда подойдёт машина? У меня больной сын... Жду профессора...

Она написала на бланке:

«Если сможете приезжайте Алик присмерти».

Профессор был молчалив и угрюм. Он сел рядом с шофёром. Женя сидела сзади и напряжённо следила за тем, как две палочки на лобовом стекле повторяют веерообразное движение. Вправо, влево. Вправо, влево. Снег, снег. Бесцельная телеграмма. Нико не приедет. Может быть, он уже получил назначение. Нет, он приедет. Женя вдруг с необыкновенной силой поверила в то, что Нико приедет и Алик будет здоров. Прошло всего несколько часов, а кажется, что болезнь длится месяц.

Профессор всю дорогу молчал. Вероятно, ему очень хотелось спать. Войдя в квартиру, он первым делом попросил холодной воды. Прошёл в ванную и облил голову водой.

Алик почти не дышал. Жене показалось, что он потерял сознание.

— Менингит? Очень может быть, — сказал профессор, растирая полотенцем лицо. Он согласился с диагнозом женщины-врача. Но только на десять процентов. Остальные девяносто говорили за крупозное воспаление лёгких. Чаще всего наблюдается именно у крепких детей. А кашель вначале иногда совершенно отсутствует. Никакой опасности для жизни. Рвоты? Они бывают не только при менингите.

Профессор порекомендовал чай с лимоном, одобрил ванны и усилил дозу сульфидина.

Утром он приехал снова. Женя провела его в комнату. В эту минуту позвонили. Голос Муси:

— Маслову? Кто спрашивает?

Женя машинально пошла вслед за Мусей к дверям. У неё громко стучало сердце.

На площадке стоял старичок в меховой куртке. К перилам лестницы была прислонена ёлка.

— Вот, заказывали, — сказал старичок, подтаскивая деревцо к дверям. — Это вы Маслова? А я вам — ёлку

— Ёлку? Зачем же ёлку?

Женя растерялась.

— Не нужно никакой ёлки, — сказала Муся сердито. — Я уже купила, а Масловой не до ёлки.

— Нет нужно, нужно, — заторопилась Женя. Она подхватила ёлку и потащила её через коридор в ванную. Ёлка застряла в узких дверях.

— Обязательно чужно, — повторила Женя.

А профессор осматривал Алику.

Да, он оказался прав. Крупозное воспаление лёгких.

Кризис наступил двадцать девятого. Разумеется, о встрече Нового года не могло быть и речи. Женя страшно устала. Пять дней почти не

спала. Болезнь протекала тяжело. У Алика появились признаки нервных явлений и с сердцем не всё было в порядке. Бромурал, люминал, камфара... Женя изучила целую главу медицины за эти пять дней.

А самый первый день болезни: снег, профессор-педиатр, телеграмма в Тбилиси — всё это вспоминалось, как в тумане. Нико, конечно, не приехал и даже не ответил на телеграмму. Впрочем, телеграмма могла и не застать его на месте.

И вот, наконец, температура упала. Алик протянул к матери бледные влажные ручки и сказал:

— Я уже здоров, мама!

Он снова заснул, а Женя тем временем втащила в комнату ёлку. Ёлка была невысокая, но пышная, широкая. Валится набок, а стучать молотком нельзя: Алик прооноётся.

Женя долго рылась в буфете, разыскала несколько метров телефонного шнура и соорудила сложную систему тросиков и перетяжек.

Муся, растрёпанная и сонная, застала её за украшением ёлки. Женя стояла на стуле и пристраивала красную пятиконечную звезду.

— Не туда, выше, — зашептала Муся.

— Не говори под руку. Вот видишь, опять слетела.

Они вполголоса переговаривались и спорили о том, куда повесить шарик, а куда — картонного слоника. Муся принялась распутывать пушистые ниточки серебристых гирлянд.

— Спит? Хорошо спит.

— Только бы не было осложнения! Дай-ка сюда лиловую балерину.

— Лиловую балерину — вниз. Ну конечно же, вниз. Нет, никаких осложнений не будет.

— Врач говорил, что бывают плевриты. Я люблю, когда на ёлке много игрушек.

Муся взглянула на часы, округлила глаза и побежала умываться.

Женя нетерпеливо дожидалась её возвращения. Сегодня — пленум кафедр, на котором будет обсуждаться статья Яхонтова. Начало в пять. Уже семь, а Муси нет. Алика нельзя оставлять одного.

Женя, сидя за столом, дописывала своё выступление. У неё было такое чувство полной необходимости выступить. Пусть ей не удастся до конца разобраться в теоретической тонкости квантовой механики. Но два года совместной работы с Яхонтовым чего-нибудь стоят. Она должна, обязана выступить.

Муся пришла в начале девятого: задержалась на заводе.

«Такие заседания не заканчиваются быстро, — подумала Женя. — Я ещё успею выступить».

Но когда она появилась в главном корпусе, оказалось, что заседание уже закончилось. Ей так хотелось, так нужно было выступить!

Из длинного, похожего на коридор, кабинета проректора люди выходили группками. Показался Яхонтов. Он шёл один. Его тучная фигура, облачённая в старинного покроя длинный темносиний пиджак, медленно двигалась навстречу Жене. Голова у профессора покачивалась из стороны в сторону. Казалось, он говорит: «Ай-яй-яй! Как нехорошо, как нехорошо получилось».

Он прошёл мимо Жени, глядя вперёд невидящими, опустошёнными глазами. Широкими шагами к нему подошёл Баксев.

— Я верю, теперь вы поняли, Илларион Митрофанович? Как бы ни было тяжело...

— За четыре часа невозможно объять всю свою жизнь, Яков Платонович.

Женя поздоровалась с Виктором. Он вытирал разгорячённое лицо: в кабинете у проректора жарко натоплено.

— Не ждал, — сказал Виктор резко, — не ждал, что ты в последнюю минуту спрячешься в кусты.

Женя вздрогнула, как от удара. И всё напряжение прошедших дней, вся её мука, вся боль прорвались сразу. Она резко повернулась и вышла. На улице её охватила страшная, смертельная усталость. Шумел буран. Всё потонуло в снежной пыли.

— Как прошлю? — спросила Муся, отворяя ей дверь. — Алик опять спит. Дышит хорошо.

— Я потом расскажу, — сказала Женя, едва шевеля губами.

Через десять минут прибежала соседка по лестничной площадке.

— Вас зовут к телефону, Евгения Васильевна. Из университета.

Голос Виктора.

— Женя? Да? Ты уже дома?

— Да, я уже дома.

— Как дошла? Погода свирепая.

— Ничего. Меня удивляет твоё внимание.

— Оставь это, Женя. Извини. Понимаешь, я же не знал, я ничего не знал о сыне.

— Дело не в сыне, — ответила Женя.

— Всё равно, извини. Бурное было собрание. Вот я под настроением и наговорил тебе лишнего. Но прошло хорошо. Остро. Мы сделали большое дело, принципиальное.

Он помолчал. В трубку было слышно шуршание бумаги.

— А теперь я прочту сообщение в сегодняшней газете. Ты слушаешь? Хорошо, своими словами. Министерство удовлетворило нашу просьбу. Дворец промышленности передан нам.

— Мечты сбываются? — крикнула Женя, забыв об обиде.

— Наши мечты всегда сбываются. Чемезову передай: завтра с утра митинг...

Она вернулась к себе, прилегла и незаметно уснула. Чемезовы ушли в кино. Женя проснулась ровно в десять и вскочила с кровати, шурясь от света. Алик дышал ровно и спокойно. Он немножко вспотел. Какое счастье, когда сын спокойно дышит!

Женя подошла к окну. Город белый, а огни матовые. Снегопад.

Нужно заниматься. Сколько дней она не занималась?

Раскрыла папку, потянулась и присела к столу. Мешало радио: передавали эстрадный концерт. Женя прошла к Чемезовым и выключила радио. Мишка тоже спал.

Нужно умыться холодной водой, иначе сонливость не пройдёт. Звонок в коридоре: два раза. К Чемезовым. Странно. Может быть, Анна Ивановна? Кажется, она обещала прийти ночевать.

Женя вышла из комнаты с полотенцем через плечо. Снова два звонка.

— Кто? — спросила она вполголоса, ещё не подойдя к двери.

И услышала свою фамилию. Кажется, голос Галича. Что-то он вздумал?

Дверь долго не отпиралась. На площадке лестницы слышалось постукивание сапог о каменные ступени: кто-то обивал снег. Потом весёлый, чуть-чуть виноватый голос:

— Это капитан Вашакидзе. Извините, ради бога.

Она рванула дверь к себе. Нико, весь облепленный снегом. С козырька его фуражки капала вода.

— Входите, входите, пожалуйста, — заговорила Женя поспешно, снимая с плеча полотенце. Она отошла в сторону, пропуская Вашакидзе. Он осторожно провёл рукой по бортам шинели. Снег посыпался на пол.

— Это вы, а я думала, к Чемезовым, — сказала Женя, так и по забыв забыв запереть дверь. — Ко мне один звонок, — она скручивала и раскручивала полотенце.

— Я уже забыл, — ответил Вашакидзе. — А на лестнице темно — ничего не видно.

— Разве нет света на площадке?

Они всё ещё стояли в коридоре. Нико снова извинился.

— Поезд Тбилиси—Москва. Хороший поезд, но опоздал на пять часов из-за заносов. Метель страшная, ничего не поделаешь. Я в гостинице устроился.

— Алику уже лучше, — сказала Женя. — Заходите.

— Что лучше? Почему ему лучше?

— В телеграмме я писала...

Нико изумился.

— В какой телеграмме?

— Вы не получили?

— Я из Сухуми. Заезжал к родственникам, а теперь — в Москву, за назначением.

— За назначением? — быстро переспросила Женя.

— Я не хотел без вас решать, как мне дальше жить, — сказал Нико.

Он виновато улыбался. С козырька его фуражки всё ещё стекали капли растаявшего снега.



СВЕРСТНИК

И. РЯДЧЕНКО

★

Молчат задумчивые ели,
Застыли белые дворы.
Зима соткала из метелей
Тяжелоснежные ковры.

Фонарь снежинками обласкан,
Как будто пар идёт над ним...
В такие ночи веришь сказкам,
Как старый парк, седым-седым.

У шумных заводских околиц,
Где к жёлтым окнам снег приник,
Заходит в сказку комсомолец,
Открыв морозу воротник.

Давно ли парень в мёрзлой каске
Шёл в наступленье под огнём?
Забудешь ты о зимних сказках,
Когда узнаешь быль о нём!

Свет голубой над миром льётся,
В огнях, как в море, Львов плывёт.
Навек запомнит комсомольца
Электроламповый завод.

По всей стране снежинки тлеют,
В лучах прожекторов снуют.
На сотни тысяч ламп светлее
Он сделал Родину свою.

И, может, где-то в чуме ненца,
Во вьюгах северной зимы,
Из Львова лампочка, как сердце,
Зажглась, раздвинув клещи тьмы.

А я стою, не веря датам,
И рядом парня не найду —
Ведь он уже в шестидесятом —
Коммунистическом году!



ИЗ РОБЕРТА БЕРНСА

С. МАРШАК

★

Не так давно в лондонской газете «Таймс» было напечатано письмо некоего английского литературного критика Лайонэля Хейля. Этот воинственно настроенный критик яростно обрушился на великого поэта шотландского народа Роберта Бернса (1759—1796). Ругаясь и злобствуя, Хейль заявил, что слава Бернса «раздута», что Бернс непонятен англичанам, а следовательно, согласно своеобразной логике Хейля, является «второстепенным» поэтом «регионального» значения. Хейль потребовал запретить дальнейшее распространение поэзии Бернса в Англии и немедленно прекратить передачу его стихов по общему английскому радио.

Возмущённые соотечественники Бернса, к которым присоединились и английские почитатели знаменитого поэта, опротестовали в печати эту нелепую выходку. Они справедливо назвали мистера Хейля невеждой. Казалось, английскому критику полагалось бы знать о том, как высоко ценили Бернса классики английской литературы, например, Байрон и Джон Китс, посвятивший памяти Бернса проникновенные строки. Известна и та популярность, которой пользуется Бернс среди широких демократических масс английских читателей. Но какое дело мистеру Хейлю до мнения классиков английской литературы, какое ему дело до английских читателей! Бернс в его глазах — опаснейший поэт, и поэтому нужно уничтожить самую память о нём. В чём же причина этой ненависти, этой истерии? Ответ на это даёт творческая биография поэта.

О Роберте Бернсе один из его друзей писал, что он умел «и любить и ненавидеть». Так и самого Бернса одни встречают с любовью, другие — с ненавистью. Ещё при жизни поэта, полтора века тому назад, его песни и сатиры нашли широкий отклик в народных массах Шотландии. Для них он навсегда остался своим поэтом. Современник поэта пишет в своих воспоминаниях о том, что деревенские батраки и работницы на фермах были готовы отдать последние гроши, чтобы купить книжку стихов любимого поэта. Шотландские крестьяне жили в нищете. Скудный урожай, собранный с принадлежащего помещику поля, приходилось, как гласит старинная шотландская поговорка, делить на три части: «одну пожевать, другой засеять, третью помещику нужно отдать». О тяжёлой доле народа в своих близких народах шотландского крестьянина, каждого шотландского рабочего. Те его соотечественники, которых нужда заставляла покидать родину, уносили в сердце любовь к своему поэту. «Восторженных почитателей Бернса, — пишет один из его биографов, — можно найти и среди пастухов Австралии, и среди рудокопов Калифорнии и Колумбии».

Ещё при жизни Бернса его возненавидели реакционные круги Шотландии и Англии. «У него не нашлось ни одного покровителя среди влиятельных слоев общества», — пишет современник. Сын бедного фермера, он сам ходил в поле за плугом, потом служил мелким акцизным чиновником и всю жизнь боролся с нуждой. Никто из влиятельных в то время людей не протянул ему руку помощи. Чем определённое складывались с годами его убеждения, тем настойчивей и беспощадней травили его. Бернс умер в нищете. Лёжа на смертном одре, он мучился тем, что у него не было семи фунтов четырёх шиллингов на уплату долга, и негодовал на то, что ему грозили

долговой тюрьмой. «Житейские невзгоды и людская жестокость, — пишет современник, — сломили его и свели в безвременную могилу. Но и могила не защитила его от клеветы».

Бернс, сам испытавший долю бедного фермера, с особенной ненавистью относился к землевладельческой знати. Он возмущался тем, что «сотни людей работают на одного надменного лорда», от которого зависит «право бедняков на труд». Аристократия постоянно подвергалась ударам его сатирического бича:

Вот этот шут — природный лорд,
Ему должны мы кланяться...
Но пусть он чопорен и горд,
Бревно бревном останется.¹

С той же прямою обличал он всесильную в окружающем его обществе власть денег (стихотворение «Надпись на бумажных деньгах» и др.). Постоянно подвергалось его сатирическим ударам и духовенство, эксплуатировавшее народ и державшее его в темноте.

Бернс любил свою родину с той же страстью, с какой ненавидел английское господство в Шотландии. Всю жизнь мечтал он о том, чтобы страна его вновь стала независимой. И в своих стихах, и в зазданных тостах, в шумном обществе посетителей деревенских кабачков, в дружеских беседах он постоянно призывал к борьбе с английским господством.

Французскую революцию Бернс принял восторженно. Он ликовал, видя, как одна за другой проваливались попытки реакции задуть молодую республику:

Немало гончих собралось
Со всех концов земли, брат...
Но злое дело сорвалось,
Жалели, что пошли, брат.²

Однажды Бернс вошёл в театр в тот момент, когда оркестр исполнял английский гимн «Боже, храни короля!». Бернс громко крикнул: «Сыграйте лучше «Са іга»³. По долгу службы Бернс участвовал в разоружении контрабандистов, и ему удалось тайно послать революционному правительству Франции четыре маленьких орудия, снятых с контрабандистского брига. Орудия были перехвачены английскими властями. Хотя английское правительство не решилось тронуть Бернса, пользовавшегося широкой популярностью в массах шотландского народа, он попал в список «неблагонадёжных». Влиятельные слои общества продолжали травлю поэта с удвоенной силой. Но ни гонения, ни невзгоды не могли поколебать несокрушимую веру этого смелого и безусловно честного человека в светлое будущее человечества:

Настанет день, и час пробьёт,
Когда уму и чести
На всей земле придёт черёд
Стоять на первом месте.

Передовое человечество высоко оценило творчество величайшего поэта Шотландии.

В своих «Воспоминаниях о Марксе» Лафарг пишет: «Данте и Бернс были его (Маркса. — М. М.) любимейшими поэтами. Ему доставляло большое удовольствие, когда его дочери читали вслух сатиры или пели романсы шотландского поэта».

В России Бернса начали переводить ещё в конце восемнадцатого века. Белинский причислял его произведение к «сокровищнице лирической поэзии». Бернса, поэта-революционера и демократа, глубоко чтит Н. Огарёв. К лучшим переводчикам Бернса в дореволюционной России принадлежали В. Курочкин и сосланный царским правительством поэт и революционер М. Михайлов.

¹ «Честная бедность», «Роберт Бернс в переводах С. Маршака». ОГИЗ, 1947.

² «Дерево свободы», там же.

³ «Са іга» — песня Французской революции.

⁴ «Честная бедность», перевод С. Маршака.

В Советском Союзе творчество Бернса нашло достойное признание. В переводе советских поэтов впервые прозвучали на русском языке многие произведения Бернса. Перед советским читателем во всей полноте возник образ поэта, вышедшего из простого народа, воспевшего простой народ и смотревшего на мир его глазами.

Со своей стороны, лагерь реакции продолжает и в наши дни ненавидеть Бернса, пытаясь умалить его значение, как попытался это сделать незадачливый мистер Хейль. Однако именно в наши дни советский поэтический перевод окончательно развеял миф о «региональном» значении Бернса, стихи которого якобы живут полной жизнью лишь в границах крестьянского наречия Южной Шотландии и по природе своей являются «непереводимыми».

Американский критик Нойес лет десять тому назад выступил на страницах сборника, изданного Харвардским университетом, со статьёй, в которой рассуждало о «непереводимости» многих поэтов. В качестве наиболее «убедительных» примеров «абсолютной непереводимости» Нойес называл сонеты Шекспира, стихи Джона Китса и Роберта Бернса. Удостоенные Сталинской премии сделанные С. Маршаком переводы сонетов Шекспира, его же переводы стихов Китса и Бернса в пух и прах разбили аргументацию американского критика.

В переводах С. Маршака сохранено своеобразие творчества Бернса — мелодичность и прозрачная ясность его лирики, берущей начало в шотландской народной песне, острота его обличительных сатир, блеск его язвительных эпиграмм, сочная реалистическая живопись таких произведений, как «Тэм О'Шентер».

Чем лучше узнаём мы поэзию Бернса, тем глубже чувствуем, насколько близка его поэзия сегодняшнему дню. Бернс жив, он продолжает бороться. Реакционеры всех мастей и оттенков, мракобесов, мечтающих о новой войне, о потоках крови, о порабощении народов, бесят его стихи. Они мечтают «запретить» Бернса, потому что, кроме запретов, у них нет другого средства борьбы. Простые люди всех стран, борцы за мир и демократию видят в Бернсе не только величайшего поэта Шотландии: они видят в нём своего соратника.

М. МОРОЗОВ.



Шотлāндская слава

Бернс был убеждённым врагом английского господства в Шотландии, независимость которой всю жизнь была его заветной мечтой. Он написал это стихотворение, как текст для песни. Оно и стало песней, популярной в шотландском народе. В стихотворении упоминаются шотландский король Роберт Брюс, разбивший англичан в битве при Бэннокбурне в 1314 году, и боровшийся против англичан шотландский патриот Вильям Уоллес (1274—1305).

Навек простись, Шотландский край,
С твоею древней славой.
Название самое, прощай,
Отчины величавой!

Где Твид несётся в океан
И Сарк в песках струится, —
Теперь владенья англичан,
Провинции граница.

Века сломить нас не могли,
Но продал нас изменник
Противникам родной земли
За горсть презренных денег.

Мы стали английскую не раз
 В сраженьях притупили,
 Но золотом английским нас
 На торжище купили.

Как жаль, что я не пал в бою,
 Когда с врагом боролись
 За честь и родину свою
 Наш гордый Брюс, Уоллес.

Но десять раз в последний час
 Скажу я без утайки:
 Проклятие предавшей нас
 Мошеннической шайке!

Был честный фермер мой отец

Одно из ранних произведений поэта. «Я правдиво отразил в этих строках то, что чувствовало моё сердце», — писал Бернс Стихотворение приобрело широкую популярность и стало шотландской народной песней.

Был честный фермер мой отец.
 Он не имел достатка,
 Но от наследников своих
 Он требовал порядка.
 Учил достоинство хранить,
 Хоть нет гроша в карманах.
 Страшнее — чести изменить,
 Чем быть в отрепьях рваных!

Я в свет пустился без гроша,
 Но был беспечный малый.
 Богатым быть я не желал,
 Великим быть — пожалуй!
 Таланта не был я лишён,
 Был грамотен немножко
 И вот решил по мере сил
 Пробить себе дорожку.

И так и сяк пытался я
 Понравиться фортуне,
 Но все усилья и труды
 Мои остались втуне.
 То был врагами я подбит,
 То предан был друзьями —
 И вновь, достигнув высоты,
 Оказывался в яме.

В конце концов, я был готов
 Оставить попеченье.
 И по примеру мудрецов
 Я вывел заключение:
 В былом не знали мы добра,
 Не видим в предстоящем,
 А этот час — в руках у нас.
 Владей же настоящим!

Надежды нет, просвета нет,
 А есть нужда, забота.
 Ну что ж, покуда ты живёшь,
 Без устали работай.
 Косить, пахать и боронить
 Я научился с детства.
 И это всё, что мой отец
 Оставил мне в наследство.

Так и живу — в нужде, в труде,
 Доволен передышкой,
 А хорошенько отдохну
 Когда-нибудь под крышкой.
 Заботы завтрашнего дня
 Мне сердца не тревожат.
 Мне дорог нынешний мой день,
 Покуда он не прожит!

Я так же весел, как монарх
 В наследственном чертоге,
 Хоть и становится судьба
 Мне поперёк дороги.
 На завтра хлеба не даёт
 Мне эта злая скряга.
 Но нынче есть чего поесть —
 И то уж это благо!

Беда, нужда крадут всегда
 Мой заработок скудный...
 Мой промах этому виной
 Иль нрав мой безрассудный?
 И всё же сердцу своему
 Вовеки не позволю я
 Впадать от временных невгод
 В тоску и меланхолию!

О ты, кто властен и богат!
 На много ль ты счастливей?
 Стремится твой голодный взгляд
 Вперёд — к двойной наживе.

Пусть денег куры не клюют
 У баловня удачи, —
 Простой, весёлый, честный люд
 Тебя стократ богаче!

Подруга угольщика

Стихотворение является обработкой шотландской народной песни, о которой Бернс писал: «Не знаю более весёлой, жизнерадостной песни, чем эта».

— Не знаю, как тебя зовут,
 Где ты живёшь, не ведаю.
 — Живу везде — и там и тут,
 За угольщиком следую.

— Вот эти нивы и леса
 И всё, чего попросишь ты,
 Я дам тебе, моя краса,
 Коль угольщика бросишь ты!

Одену в шёлк тебя, мой друг.
 Зачем отрепья носишь ты?
 Я дам тебе коней и слуг,
 Коль угольщика бросишь ты!

— Хоть горы золота мне дай
 И жемчуга отборного,
 Но не уйду я — так и знай! —
 От угольщика чёрного.

Мы днём развозим уголёк.
 Зато порой ночью
 Я заберусь в свой уголок.
 Мой угольщик — со мною.

У нас любовь — любви цена,
 А дом наш — мир просторный.
 И платит верностью сполна
 Мне угольщик мой чёрный!

Надпись на бумажных деньгах

Это стихотворение было написано Бернсом на банкноте, который сохранился. Несмотря на то, что Бернс трудился без устали, он жил в крайней нужде, граничащей с нищетой. Одно время он думал покинуть Шотландию, уехать на Ямайку и работать там счетоводом на плантации.

Будь проклят, скомканный листок,
 Ты был всегда ко мне жесток.
 Ты разлучил меня с подружкой
 И за столом обносишь кружкой.
 Ты обрекаешь честный люд
 На голод, рабство, тяжкий труд.

Видал я торжество злодея,
 Что грабил нищих, не жалея.
 Моей руки единый взмах
 Его бы сокрушил во прах.

Но этой братии продажной
Ты власть даёшь, листок бумажный.

И я от милых берегов
За океан бежать готов.

Элегия на смерть Пэг Никольсон, лошади священника

К концу жизни поэта. по ссидетельству современника, «лица, принадлежавшие к духовенству, прекратили, как один человек, знакомство с Бернсом».

Ты славной клячею была,
И вот узнал я с грустью,
Что по реке ты поплыла
И доплыла до устья.

Кобылой доброй ты слыла,
Когда была моложе.
А нынче к морю уплыла,
Оставив людям кожу.

Ты от хозяина-попа
Не слышала «спасибо».
Стара ты стала и слепа
И угодила к рыбам.

Давно, покорная судьбе,
Лишилась ты здоровья,
Как все, кто возит на себе
Духовное сословье!

Конец лета

Бернса мало трогали «романтические» виды — увитые плющом руины, живописные древние замки на горных вершинах и т. д. Он воспевал «обычную» природу своего родного края.

Пророчат осени приход
И выстрел в отдаленье,
И птицы взлёт среди болот,
И вереска цветенье,
И рожь, бегущая волной, —
Предвестье урожая,
И лес ночной, где под луной
Я о тебе скучаю.

Вальдшнепы любят тихий лес,
Вьюрки — кустарник горный,
А цапли с вышины небес
Стремятся в край озёрный.
Дрозды в орешнике живут,
В тиши лесной полянки.
Густой боярышник — приют
Весёлой коноплянки.

У каждого обычай свой,
 Свой путь, свои стремленья.
 Один живёт с большой семьёй,
 Другой — в уединенье.
 Но всюду злой тиран проник:
 В немых лесных просторах
 Ты слышишь гром, и жалкий крик,
 И смятых перьев шорох...

А ведь такой кругом покой.
 Стрижей кружится стая.
 И нива никнет за рекой
 Зелёно-золотая.
 Давай пойдём бродить вдвоём
 И насладимся вволю
 Красой плодов в глуши садов
 И спелой рожью в поле.

Как хорошо итти-брести
 По скошенному лугу
 И встретить месяци на пути,
 Тесней прильнув друг к другу.
 Как дождь весной — листве лесной,
 Как осень — урожаю,
 Так мне нужна лишь ты одна,
 Подруга дорогая!

Поцелуй

Стихотворение написано безупречным английским языком. Этот факт ещё раз свидетельствует о том, что если Бернс предпочитал писать стихи на шотландском наречии, на котором говорят крестьяне южной Шотландии, то это было результатом свободного выбора, а не объяснялось недостаточным знанием английского языка, как утверждают некоторые буржуазные биографы Бернса.

Влажная печать признаний,
 Обещанье тайных нег —
 Поцелуй, подснежник ранний,
 Свежий, чистый, точно снег.

Молчаливая уступка,
 Страсти детская игра,
 Дружба голубя с голубкой,
 Счастья первая пора.

Радость в грустном расставанье
 И вопрос: когда ж опять?..
 Где слова, чтобы названье
 Этим чувствам отыскать?

Горной маргаритке, которую я примял своим плугом

Одно из известнейших стихотворений Бернса. Оно было создано поэтом в поле, когда он шёл за плугом.

О, скромный, маленький цветок,
Твой час последний недалёк.
Сметёт твой тонкий стебелёк
Мой тяжкий плуг.
Перепахать я должен в срок
Зелёный луг.

Не жаворонок полевой —
Сосед, земляк, приятель твой —
Пригнёт твой стебель над травой,
Готовясь в путь
И первой утренней росой:
Обрызгав грудь.

Ты вырос между горных скал
И был беспомощен и мал,
Чуть над землёй приподымал
Свой огонёк,
Но с бурным ветром воевал
Твой стебелёк.

В садах ограды и кусты
Хранят высокие цветы.
А ты рождён средь нищеты
Суровых гор.
Но как собой украсил ты
Нагой простор!

Одетый в будничный наряд,
Ты к солнцу обращал свой взгляд.
Его теплу и свету рад,
Глядел на юг,
Не думая, что разорят
Твой мирный луг.

Так девушка во цвете лет
Глядит доверчиво на свет
И всем живущим шлёт привет,
В глуши таясь,
Пока её, как этот цвет,
Не втопчут в грязь.

Так и бесхитростный певец,
Страстей неопытный пловец,
Не знает низменных сердец —
Подводных скал —
И там находит свой конец,
Где счастья ждал.

Такая участь многих ждёт.
Кого томит гордыни гнёт,
Кто изнурён ярмом забот, —
Тем свет не мил.
И человек на дно идёт,
Лишённый сил.

И ты, виновник этих строк,
Держись, — конец твой недалёк.
Тебя настигнет грозный рок —
Нужда, недуг, —
Как на весенний стебелёк
Наехал плуг.

Песня раба-негра

Своеобразна мелодия этого стихотворения. Она несомненно навеяна грустными, протяжными песнями рабов-негров. Бернс мог слышать эти напевы от шотландских матросов с кораблей, принадлежавших торговцам невольниками, которых массами «импортировали» в Америку. Эта чудовищная торговля вызывала гневное негодование поэта.

В милом знойном Сенегале в плен враги меня забрали
И отправили сюда за море синее.
И тоскую я вдали от родной своей земли
На плантациях Виргинии, Виргинии...

О, я так устал, я так устал,
Мой прекрасный, мой далёкий Сенегал!

На моём родимом юге не бывает зимней вьюги,
Ни морозов, ни снегов, ни инея.
Там журчат потоки вод, и цветы цветут весь год,
Неизвестные в Виргинии, Виргинии...

Под ударами бича, цепи рабские влача,
Провожу я дни в печали и унынии.
Горько вспомнить мне друзей вольной юности моей
На плантациях Виргинии, Виргинии!

Прошение Бруарских вод владельцу земель, по которым они протекают

Быстрая, со многими водопадами, река Бруар в графстве Пертир в центральной Шотландии обмелела во времена Бернса, так как владельцы земель, по которым она протекала, продали на сруб не только леса, но и молодые поросли.

I

О ты, кто не был никогда
Глухим к мольбам и стонам!
К тебе смиренная вода
Является с поклоном.

Во мне остался только ил.
Небесный зной жестокий
Ручьи до дна пересушил,
Остановил потоки.

II

Живая, быстрая форель
В стремительном полёте
Обречена попасть на мель,
Барахтаться в болоте.

Увы, ничем я не могу
Помочь своей форели.
Она лежит на берегу
И дышит еле-еле.

III

Я пролила немало слёз
И пенилась от злости,
Когда какой-то бес принёс
Поэта Бернса в гости.

Он написал мне пару строк,
А сочинил бы оду,
Когда увидел бы у ног
Бушующую воду!

IV

Давно ли я у грозных скал
Бурлила и ревела,
И водопад мой бушевал,
Вскипая пеной белой.

В те дни была я глубока,
Гордилась буйной силой,
И молодёжь издалека
На берег приходила...

V

Прошу, припав к твоим ногам, —
Во имя прежней славы —
Ты насади по берегам
Кусты, деревья, травы.

Когда придёшь под сень ветвей,
Плеснёт, играя, рыба
И благодарный соловей
Тебе споёт: спасибо!

VI

И жаворонок в вышине
Зальётся буйной трелью,
И отзовется в тишине
Щегол своей свирелью.

И зазвонят у тёплых гнёзд,
Проснувшись спозаранку,
Малиновка и чёрный дрозд,
Скворец и коноплянка.

VII

Они от бурь покров найдут
В разросшихся дубравах,
И заяц-трус найдёт приют
В моих кустах и травах.

Пускай прохожего ольха
Манит своей прохладой,
А дуб укроет пастуха
От ливня и от града.

VIII

Ко мне влюблённые весной
Придут на берег тайно
И встретятся в тиши лесной,
Как будто бы случайно.

Оберегая их покой,
Росы роняя слёзы,
Благоуханною рукой
Прикроют их берёзы.

IX

И вновь придёт ко мне поэт
В часы, когда сквозь ветки
На побережье лунный свет
Свои начертит клетки.

По склонам тихо он сойдёт,
По шахматным полянам
Послушать гулкий рокот вод,
Окутанных туманом.

X

Пусть ёлки тянутся ко мне
Своей зубчатой тенью
И видят в ясной глубине
Верхушек отраженье.

Пускай берёз листва звенит
На каменных утёсах,
И мой боярышник хранит
Певцов звонкоголосых.

XI

Пусть, как цветы, в краю родном
Растут ребята наши,
Пусть будут крепче с каждым днём
И с каждым часом краше!

Греми до самых дальних дней,
Весёлый клич заздравный:
За сыновей и дочерей
Моей отчизны славной!

Наш Вилли пива наварил

Этим стихотворением, написанным на музыкальный мотив шотландской народной песни, Бернс благодарил друга за гостеприимство.

Наш Вилли пива наварил
И нас двоих позвал на пир.
Таких счастливых молодцов
Ещё не знал крещёный мир!

Никто не пьян, никто не пьян,
А так, под мухую, чуть-чуть.
Пусть день встаёт, пегух поёт,
А мы непrouch ещё хлебнуть!

Три молодца, мы дружно пьём.
Один бочонок — трое нас.
Не раз встречались мы втроем
И встретимся ещё не раз.

Что это — старая луна
Мигает нам из-за ветвей?
Она плывёт, домой зовёт...
Нет, подождать придётся ей!

Последний тот из нас, друзья,
Кто первым ступит на порог.
А первый тот, кого струя
Из нас последним свалит с ног!

Ночной разговор

Стихотворение написано на мотив старинной народной баллады.

Ты спишь ли, друг мой дорогой?
Проснись и двери мне открой.
Нет ни звезды во мгле сырой.
Позволь в твой дом войти.

П р и п е в:

Впусти меня на эту ночь,
На эту ночь, на эту ночь.
Из жалости на эту ночь
В свой дом меня впусти!

Я так устал и так продрог.
Я под собой не чую ног.
Пусти меня на свой порог
И на ночь приюти.

Как ветер с градом и дождём
Шумит напрасно за окном, —
Так я стучусь в твой тихий дом.
Дай мне приют в пути!

П р и п е в:

Впусти меня на эту ночь,
На эту, эту, эту ночь.
Из жалости на эту ночь
В свой дом меня впусти.

Её ответ:

Тебе ни дождь, ни снег, ни град
Не помешал попасть в мой сад.
И, значит, можешь путь назад
Ты без труда найти.

Припев:

Ещё кругом глухая ночь,
Глухая ночь, глухая ночь.
Тебя впустить на эту ночь
Я не могу — прости!

Пусть на ветру ты весь продрог —
От худших бед помилуй бог
Ту, что тебе через порог
Позволит перейти!

В саду раскрывшийся цветок
Лежит, растоптан, одинок.
И это девушке урок,
Как ей себя вести.

Птенца, не знавшего тревог,
В кустах охотник подстерг.
И это девушке урок,
Как ей себя вести!

Припев:

Стоит кругом глухая ночь,
Глухая ночь, глухая ночь.
Тебя впустить на эту ночь
Я не могу — прости!

Тэм О'Шентер

Поэма

«Тэм О'Шентер» — одно из популярнейших произведений Бернса. Сам поэт особенно его ценил. Вот что рассказывала жена Бернса о том, как был создан «Тэм О'Шентер». Однажды Бернс доле не шёл обедать. Жена нашла его на берегу реки; бормоча что-то, он размахивал руками и громко, от души хохотал: он сочинял свою знаменитую сатиру, пародирующую те «ужасы», которыми церковные проповедники пугали суеверных прихожан. Отлично понимая намёк Бернса, читатели — шотландские крестьяне — до упаду хохотали над похождениями Тэма.

Когда на город ляжет тень,
И кончится базарный день,
И продавцы бегут, задвинув
Засовом двери магазинов,
И нас кивком сосед зовёт
Стряхнуть ярмо дневных забот, —

Тогда у полной бочки эля,
Вполне счастливые от хмеля,
Мы не считаем вёрст, канав,
Мостков, опасных переprav,
До нашего родного крова,

Где ждёт жена, храня сурово
Свой гнев, как пламя очага,
Чтоб мужа встретить, как врага.

Об этом думал Тэм О'Шентер,
Когда во тьме покинул центр
Излюбленного городка,
Где он наклюкался слегка.
А город, где он нализался, —
Старинный Эйр — ему казался
Гораздо выше всех столиц
По красоте своих девиц.

О, Тэм! Забыл ты о совете
Своей супруги — мудрой Кэтти.
А ведь она была права..
Припомни, Тэм, её слова:
«Бездельник, шут, пропойца старый,
Не пропускаешь ты базара,
Чтобы не плюхнуться под стол.
Ты пропил с мельником помол.
Чтоб ногу подковать кобыле,
Вы с кузнецом две ночи пили.
Ты в праздник ходишь в божий дом,
Чтобы потом за полной кружкой
Ночь просидеть с церковным

служкой

Или нарезать с дьячком!
Смотри же: в полночь ненароком
Утонешь в омуте глубоко
Иль попадешь в гнездо чертей
У старой церкви Аллоуэй!»

О жёны! Плакать я готов,
Припомнив, сколько мудрых слов
Красноречивейшей морали
Мы без вниманья оставляли!

Но продолжаем повесть. Тэм
Сидел в трактире перед тем.
Трещало в очаге полено.
Над кружками клубилась пена,
И слышался хрустальный звон.
Его сосед — сапожник Джон —
Был верный друг его до гроба:
Не раз под стол валились оба.

Так проходил за часом час.
А в очаге огонь не гас.
Шёл разговор. Гремели песни.
Эль становился всё чудесней.
И Тэм О'Шентер через стол
Роман с трактирщицей завёл.
Они обменивались взглядом,
Хотя супруг сидел с ней рядом.
Но был он, к счастью, погружён
В рассказ, который начал Джон,
И, голос Джона прерывая,
Гремел, как туча грозовая.

То дождь, то снег хлестал в окно,
Но пьяным было всё равно!

Заботы в кружках потонули,
Минута каждая плыла,
Как пролетающая в улей
Перегружённая пчела..
Блажен король. Но кружка с пивом
Любого делает счастливым!

Но счастье — точно маков цвет:
Сорвёшь цветок — его уж нет.
Часы утех подобны рою
Снежинок лёгких над рекою.
Примчатся к нам на краткий срок
И прочь летят, как ветерок.
Так исчезает, вспыхнув ярко,
На небе радужная арка..

Всему на свете свой черёд.
И Тэм из-за стола встаёт.
Седлает клячу он во мраке.
Кругом не слышно и собаки.
Не позавидуешь тому,
Кто должен мчаться в эту тьму!

Дул ветер из последних сил,
И град хлестал, и ливень лил,
И вспышки молний тьма глотала,
И небо долго грохотало.
В такую ночь, как эта ночь,
Сам дьявол погулять непрочь.

Но поворот за поворотом,
О'Шентер мчался по болотам.
Рукой от бури заслонясь,
Он нёсся вдаль, взметая грязь.
То шляпу он сжимал в тревоге,
То пел сонеты по дороге,
То зорко вглядывался в тьму,
Где чёрт мерещился ему.

Вот, наконец, неясной тенью
Мелькнула церковь в отдаленье.
Оттуда слышался, как зов,
Далёкий хор чертей и сов...

Невдалеке — знакомый брод.
Когда-то здесь у этих вод
В глухую ночь на берегу
Торговец утонул в снегу.

Здесь, у прибрежных эпих скал,
Пропойца голову сломал.

Там, под поникшею раkitой,
Младенец найден был зарытый.

А дальше — тот засохший дуб,
Где женщины качался труп...

Разбуженная непогодой,
Река во тьме катила воды.
Кругом гремел тяжёлый гром,
Змеился молнии излом.

И невдали за перелеском,
 Озарена туманным блеском,
 Меж глухо стонущих ветвей
 Открылась церковь Аллоуэй.
 Неслись оттуда стоны, крики,
 И свист, и визг, и хохот дикий.

Ах, Джон Ячменное Зерно!
 В твоём огне закалено,
 Оживлено твоею чашей,
 Не знает страха сердце наше.
 От кружки мы полезем в ад.
 За чаркой нам сам чёрт не брат!
 А Тэм О'Шентер был под мухой
 И не боялся злого духа.
 Но клячу сдвинуть он не мог,
 Пока движеньем рук и ног,
 Угрозой, ласкою и силой
 Не победил свою кобылу.
 Она, дрожа, пошла к вратам.
 О боже! Что творилось там!..

Толпясь, как продавцы на рынке,
 Под трубы, дудки и волынки
 Водили адский хоровод
 Колдуньи, ведьмы всех пород.
 И не кадрили они плясали,
 Не новомодный котильон,
 Что привезли к нам из Версалл,
 Не танцы нынешних времён,
 А те затейливые танцы,
 Что знали старые шотландцы, —
 Взлетали, топнув каблуком,
 Вертелись по полу волчком.

На этом празднике полночном
 На подоконнике восточном
 Сидел с волынкой старый Ник
 И выдувал бесовский джиг.
 Всё веселей внизу плясали.
 И вдруг гроба, открывшись, встали,
 И в каждом гробе был скелет
 В истлевшем платье прошлых лет.

Все мертвецы держали свечи.
 Один мертвец широкоплечий
 Чуть звякнул кольцами оков,
 И понял Тэм, кто он таков.

Тут были крошечные дети,
 Что мало пожили на свете —
 И умерли не крещены,
 В чём нет, конечно, их вины.

Тут были воры и злодеи
 В цепях, с верёвками на шее.
 При них орудья грабежа:
 Пять топоров и три ножа,
 Одна подвязка, чьё объятье
 Прервало краткий век дитяти.
 Один кинжал, хранивший след
 Отцеубийства древних лет.
 Навеки к острию кинжала
 Седая прядь волос пристала...

Но тайну остальных улик
 Не в силах рассказать язык.

И Тэм, и Мэг — его кобыла —
 Видали всё, что в церкви было,
 Безмолвно стоя у дверей.

Кружились ведьмы всё быстрее,
 Неслись вприпрыжку и вприскокку,
 Гуськом, кружком и в одиночку,
 То парами, то сбившись в кучу,
 И пар стоял над ними тучей.
 Потом разделись и в белье
 Плясали на своём тряпье.

Будь эти пляшущие тётки
 Румянощёкие красотки,
 И будь у тёток на плечах
 Взамен фланелевых рубах
 Сорочки ткани белоснежной,
 Стан обвивающие нежно, —
 Клянусь, отдать я был бы рад
 За их улыбку или взгляд
 Не только сердце или душу,
 Но и штаны свои из плюша,
 Свои последние штаны,
 Уже не первой новизны!

А эти ведьмы древних лет,
 Свой обнажившие скелет,
 Живые жерди и ходули
 Во мне нутро перевернули...

Но Тэм неожиданно разглядел
 Среди толпы костлявых тел,
 Обтянутых гусиной кожей,
 Одну бабёнку помоложе.
 Как видно, на бесовский пляс
 Она явилась в первый раз.
 (Потом молва о ней гремела:
 Она и скот губить умела,
 И корабли пускать на дно,
 И портить в колосе зерно!)
 Она была в рубашке тонкой,
 Которую еще девчонкой

Носила, и давно была
Рубашка ветхая мала.

Не знала бабушка седая,
Сорочку внучке подбирая,
Что внучка в ней плясать пойдёт
В пустынный храм среди болот,
Что бесноваться будет Нэнни
Среди чертей и привидений...

Но музу должен я прервать.
Ей эта песня не подстать,
Не передаст она, как ловко
Плясала вёрткая чертовка,
Как на пороге бедный Тэм
Стоял недвижим, глух и нем,
А дьявол, потеряв рассудок,
Свирепо дул в десяток дудок.

Но вот прыжок, ещё прыжок —
И удержаться Тэм не мог.
Он прохрипел, вздыхая тяжко:
«Ах ты, короткая рубашка!..»
И в тот же миг прервался пляс,
И замер крик, и свет погас...

Но только тронул Тэм поводья,
Завыло адское отродье...

Как мчится пчёл гудящий рой,
Когда встревожен их покой,
Как носится пернатых стая,
От лап кошачьих улетаая,
Иль как народ со всех дворов
Бежит на крик «Держи воров!» —

Так Мэгги от нечистой силы
Насилу ноги уносила,
Через канаву, пень, бугор,
Во весь галоп, во весь опор...

Она в цветущие года
Так не скакала никогда!

О Тэм! Как жирную селёдку,
Тебя швырнут на сковородку.
Напрасно ждёт тебя жена.
Вдовой останется она.
Не сдобровать твоей кобыле —
Её бока в поту и в мыле.

О Мэг! Скорей беги на мост
И покажи нечистым хвост, —
Боятся ведьмы, бесы, черти
Воды текучей, точно смерти.

Увы, ещё перед мостом
Пришлось ей повертеть хвостом.
Как вздрогнула она, бедняжка,
Когда Короткая Рубашка,
Вдруг вынырнув из-за куста,
Вцепилась ей в репей хвоста!

В последний раз собравшись с силой,
Рванулась добрая кобыла,
Взлетела на скрипучий мост,
Чертям оставив сивый хвост...

Ах, после этой страшной ночи
Во много раз он стал короче!

На этом кончу я рассказ.
Но если кто-нибудь из вас

Прельстится полною баклажкой
Или Короткою Рубашкой, —

Пусть вспомнит ночь, и дождь,
и снег,
И старую кобылу Мэг!..

ЭПИГРАММЫ

Бернс был непревзойдённым в Шотландии мастером экспромта. Значительная часть сатирических эпиграмм Бернса направлена против аристократии. Одной из популярнейших в Шотландии XVIII века эпиграмматических форм была шуточная эпиграфия, образцом которой является «Надпись на могильном камне». «Ответ верноподданым» — эпиграмма на тех шотландцев, которые считали себя «верноподданными» английского короля. Бернс смотрел на них, как на изменников родины.

Ответ «Верноподданым уроженцам Шотландии»

Вы, верные трону, безропотный скот,
Пируйте, орите всю ночь напролёт.

Позор ваш — надёжный от зависти щит.
Но что от презрения вас защитит?

При посещении богатой усадьбы

Наш лорд показывает всем
Прекрасные владенья.
Так евнух знает свой гарем,
Не зная наслажденья.

Надпись на могильном камне

Здесь Джон покоится в тиши.
Конечно, только тело...
Но говорят, оно души
И прежде не имело!

О черепе тупицы

Господь во всём, конечно, прав,
Но кажется непостижимым —
Зачем он создал прочный шкаф
С таким убогим содержимым!

О происхождении одной особы

В году семьсот сорок девятом
(Точнее я не помню даты)
Лепить свинью задумал чёрт.
Но вдруг в последнее мгновенье
Он изменил своё решенье
И вас он вылепил, милорд!



КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

ПРОПОВЕДНИК КОСМОПОЛИТИЗМА

Нечистый смысл «чистого искусства» Александра Грина

ВИКТОР ВАЖДАЕВ

★

1. ПИСАТЕЛЬ БЕЗ РОДИНЫ

В злобной борьбе с лагерем социализма и демократии, в холодной идеологической войне империалистическая клика извлекла из старого сундука пронафталиненную идею космополитизма и, выветрив её на атлантическом ветру, пытается этой ветошью прикрыть агрессивную политику фашистского мирового господства.

Глава советской делегации А. Я. Вышинский на второй сессии Генеральной Ассамблеи Объединённых наций со всей убедительностью разоблачил предательскую, космополитическую проповедь отказа от государственного суверенитета, с которой выступили представители англо-американского блока: «Развитие капитализма и, особенно, вступление капитализма в свою высшую стадию — в эпоху империализма, несёт стремление к господству и к аннексиям. Но это вызывает рост сопротивления в народах, пробуждающихся к национальному самосознанию. Это сопротивление легко может вырасти в опасные выступления и другие меры против иностранного капитала... Но странам, стремящимся к экономическому господству, к расширению сферы **своего** экономического и политического влияния, мешает государственный суверенитет других стран... Государственный суверенитет — знамя независимости и борьбы многих и многих стран против хищнических appetitов капиталистических монополий»¹. Немудрено поэтому, что идею суверенитета и государственного самосознания народов империалистические хищники и их приспешники, подобные бельгийскому министру Спааку, атакуют кос-

мополитическими лозунгами о том, что суверенитет — это «старая, вышедшая из моды идея», «старая реакционная идея» и т. д. Фарисейская проповедь некой благой «наднациональной», «надгосударственной» «общности людей», проповедь мифической «бестенденциозной», внесоциальной и, конечно, «общечеловеческой» культуры и науки имеет откровенный, лишь грубо замаскированный политический смысл. Всё это в конечном итоге сводится к пропаганде буржуазных, капиталистических теорий, прославлению «американского образа жизни», во имя того, чтобы скрыть от народов действительное деление мира на лагерь социализма и демократии и лагерь империализма и реакции, смазать противоречия между этими лагерями и помешать народам лопнуть преимущества социализма перед капитализмом. Таким образом, под елейной маской новоявленного «гражданина мира» скрывается хищный оскан империалистического агрессора.

Разумеется, идеологическая агрессия не ограничивается областью политики. Под развёрнутыми знамёнами космополитизма буржуазная реакция пытается наступать на различных участках идеологического фронта. В этой «холодной войне» идей литература естественно становится ареной ожесточённых, явных и скрытых схваток, которые подчас дают о себе знать лишь глухими подземными толчками. Совершенно очевидно, что задача борьбы с космополитизмом диктует необходимость внимательного просвечивания всех уголков литературной жизни, изучения и оценки всего многообразия её фактов и требует решительной борьбы

¹ «Правда» от 8 октября 1947 г.

со всеми проявлениями реакционных буржуазных влияний и веяний.

В этой связи нелишне приглядеться к своеобразному культу Александра Грина, третьестепенного писателя, автора «фантастических» романов и новелл, писателя, которого в течение многих лет упорно воспевала эстетская критика.

Этот культ А. Грина не случаен, он имеет вполне определённую социальную и политическую основу. В начале двадцатых годов, в самый разгар нэпа, на книжном рынке вдруг появились одна за другой несколько книг в цветастых, модернистского толка обложках, исполненных рукой декадентствующего художника. Буквы, рассыпанные горохом по сдвоенному, «многоплановому» полю, возвестили читателю имя Александра Грина. Этот псевдоним скрывал настоящее имя Александра Степановича Гриневского, который укоротил своё имя, чтобы оно звучало на иностранном ладе. Зыбкие, крикливые названия книг обещали приключения «таинственные», «страшные», «фантастические», а главное — сугубо «иностранные», совсем «заграничные». Эти и последовавшие за ними книги того же автора сулили читателю отрешение от всего повседневного, от реальной действительности, бегство в неведомые зарубежные края. И тотчас же то с одной, то с другой стороны из различных журналов стали раздаваться голоса эстетов-рецензентов, наконец они слились в стройный критический хор, который пел дифирамбы и славословил «тончайшего мастера», «великого мечтателя». Так рождался миф об А. Грине — писателе «романтическом» и «наднациональном», который создал «свою», «особую» страну «Мечты», находящуюся якобы вне обычных географических пределов земного шара.

Это о нём К. Паустовский писал, что А. Грин входит «в ряды лучших наших писателей». «Грин — подлинный русский писатель», — пишет он далее. — «Грин был писателем могучего воображения. В книгах он создал свой мир, совсем непохожий на всё, что до него писали русские писатели». «Он всегда был беден, но всегда был горд, независим...» (?!).

На протяжении двух десятилетий об А. Грине писали, как о «тонком художнике», «чудесном мастере слова», прибегая преи-

мущественно к восторженным восклицаниям и безудержным похвалам:

«Один из самых интересных наших прозаиков» (Сергей Бобров).

«Он представляет собой весьма своеобразное явление в литературе, и не только русской» (Б. Аннибал).

«Русский Джек Лондон» (редакционная аннотация журнала «30 дней»). «Пожалуй, немногие из русских писателей умеют писать так занимательно, как Грин» (там же).

«Блестящий новеллист», «Замечательный русский писатель» (аннотация на карточках Всесоюзной Книжной палаты).

«...великолепный пейзажист...», «суровый сказочник и певец морских лагун и портов. Его рассказы вызывали лёгкое головокружение, как запах раздавленных цветов и свежие, печальные ветры» (К. Паустовский).

«Необычный автор необычных для русской литературы вещей» (М. Слонимский).

«Мастер слова», писатель «пряный, острый, странный», «драгоценный талант» и, наконец, «Сказочник, поэт, подлинный мастер сюжетной прозы... страстный изобретатель чудесных вымыслов, Александр Грин — наш, свой, родной художник в общей сокровищнице русского слова» (Л. Борисов).

Почитатели А. Грина искусственно раздували этого писателя в крупное явление литературы.

350 произведений — то есть всё, что было написано А. Грином, — было напечатано. Всего было издано (включая переиздания) 64 книги этого автора! Из них — 8 названий романов и повестей и под разными названиями 46 книг рассказов. Многие книги переиздавались по нескольку раз. С поддесятка раз печатались «Алые паруса», трижды — «Золотая цепь», дважды — «Блистающий мир» и «Автобиографическая повесть», и даже роман, название которого говорит само за себя и не требует комментариев — «Дорога никуда» издавался два раза.

И немудрено! Эстетствующие критики, поэты и прозаики в своих «трудах» активно пропагандировали А. Грина, — вопреки утверждению Евг. Рысса («Искажённый портрет», «Литературная газета» 24 августа 1946 года), который с сожалением отмечает, что «Литература о Грине не богата. Всего несколько статей и пред-

словий к изданиям его произведений». При внимательном отношении к делу критик мог бы найти около 70 статей и рецензий, среди которых очень много больших, развёрнутых и, как это ни печально, подчас принадлежащих перу известных наших писателей и критиков.

После смерти писателя (в 1932 году) большинство переиздаваемых книг А. Грина оснащалось хвалебной вступительной статьёй. Отдельные поэты даже в сороковых годах посвящали А. Грину стихотворения. К. Паустовский вывел его в повести «Чёрное море»; В. Бианки написал ряд рассказов о Грине, а Л. Борисов, сначала напечатав отдельными рассказами, а затем полностью в журнале «Звезда», в 1945 году выпустил книгой повесть «Волшебник из Гель-Гью», в которой воспева-ет и романтизирует образ «непонятого», «необыкновенного» писателя. Едва вышла книга Л. Борисова, как на неё немедленно откликнулся ликующей рецензией Л. Рахманов. Он славословил повесть «Волшебник из Гель-Гью», в которой «нет ни героики, ни викантных разоблачений... Нет социальной и политической остроты и проблем мировоззрения», но зато дан образ А. Грина в полном соответствии с идейными взглядами эстетской, космополитствующей критики. Л. Рахманов радостно отмечает, что А. Грин в повести Л. Борисова проти-

вопоставлен действительности. «В убогой и пресной окружающей его жизни он только и ищет таинственного и необычайного...» Когда советская общественность справедливо осудила порочную повесть «Волшебник из Гель-Гью», тотчас же писатель Евг. Рысс выступил (1946 г.) со статьёй «Искажённый портрет», где он хотя и резко критиковал Л. Рахманова, но зато взял под защиту... самого А. Грина.

Однако шумиха, искусственно созданная вокруг имени А. Грина, рамками литературы не ограничилась. После войны, в 1945 году, была осуществлена радиопостановка повести А. Грина «Алые паруса», которая вызвала восторги корреспондента «Вечерней Москвы», возвестившего об успехе постановки, «приковавшей внимание огромной аудитории радиослушателей».

Всё это свидетельствует о том, что «гринолюбие» довольно широко распространено и заставляет вдуматься в существо этого явления, в идейно-политический смысл мифа об А. Грине.

Расшифровывая буквы, составлявшие его имя, сам А. Грин именoval себя «скромно» — «гражданин, рыцарь интересного». Эстетствующая коленапреклонённая критика добавила к этому два титула — «мастера» и «великого гуманиста».

Попробуем разобраться, каков этот «гражданин», «мастер» и «гуманист» на самом деле.

2. ИСТОРИЯ ОДНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КАМУФЛЯЖА

Поклонники и пропагандисты А. Грина объявляли его «сказочником и фантастом», чьё «умение мечтать, изобретательность и страстность... вымыслов... ценны и поучительны». Так писал М. Словимский. Он был отнюдь не одинок. Дружный хор критических голосов не критически превозносил А. Грина, как создателя особого мира — «Гринландии», «мира вымысла и мечтаний», чего-то «несбывшегося, но постоянно влекущего».

Поразительная, действительно особая, небывалая отличительная черта делала А. Грина непохожим ни на одного русского писателя: он не любил своей родины.

Идейный и политический смысл создания А. Грином «своего, особого мира» легко расшифровывается, как откровенная духовная эмиграция. Писатель противопоставил

реальности «идеал» — страну «мечты». Нелишне напомнить, что в годы «расцвета» творчества этого «мечтателя» реальной действительностью была молодая Советская Республика, которая после победы на фронтах гражданской войны приступила к осуществлению великой мечты человечества — к строительству социализма. Реальной действительностью, которая творилась в те годы, была коллективизация сельского хозяйства, индустриализация страны, первая Сталинская пятилетка... Об этом конкретном содержании понятия «действительность» умалчивает апологетическая критика А. Грина, рьяно отстаивая право художника на бегство за пределы реальности в область «чистой» фантазии.

А. Грин никогда не был безобидным «мечтателем». Он был воинствующим реак-

ционером и космополитом. Именно не приемля и отрицая революционную Родину, создал А. Грин «вторую» реальность, свою «страну-мечту», край «Несбывшегося», сказочную «Гринландию». Об этом А. Грин прямо пишет в своём романе «Бегущая по волнам»: «Его («Несбывшегося». — В. В.) стройность, его почти архитектурная острота (?) выросли из оттенков параллелизма. Я называю так двойную игру, которую мы ведём с явлениями обихода и чувств. С одной стороны, они естественно терпимы в силу необходимости (разрядка здесь и дальше моя. — В. В.); терпимы условно, как ассигнация, за которую следует получить золотом, но с ними нет соглашения, так как мы видим и чувствуем их возможное преобразование. Картины, музыка, книги давно утвердили эту особенность...». Эта цитата — ключ к творчеству А. Грина. В ней дана сжатая формула, политический смысл его «чистой мечты». Писатель обращается к фантастике «Несбывшегося», потому что «явления обихода и чувств» нашей действительности им «терпимы в силу необходимости», потому что у него с ними нет «соглашения», он их не приемлет, отвергает.

Отрицая реальную советскую действительность, А. Грин ведёт с нею «двойную игру»: в своих многочисленных произведениях он умалчивает о её существовании, хотя именно ей противопоставляет выдуманый мир «Несбывшегося». «Двойная игра» понудила Грину-политику, Грину — идеологу космополитизма для утверждения неутверждаемого — правды «Несбывшегося», читай: того, чему нет места в советской реальности.

Каково же идейное содержание его «мечты»? «Гринландия», согласно утверждениям её автора, находится вне каких-либо географических границ — «нигде». Страна-мираж, где живут и подвизаются герои А. Грина, по замыслу писателя должна восприниматься, как своеобразное эсперантистское государство, очищенное от признаков национальных, исторических и политических. Оно населено людьми без родины. Понятия патриотизма, любви к родной земле не существуют для гринландцев. Вот что писатель, противопоставляя реальной советской действительности, утверждает как свой идеал.

Роман «Бегущая по волнам» — одно из основных и наиболее реакционных произведений А. Грина. Здесь рассказано о жизни и приключениях некоего Томаса Гарвея, прибывшего в портовый город Лисс, существующий в несуществующей «Гринландии».

Фантастика романа, чудеса, убийства и тайны, экзотические карнавалы, мистические любовные приключения Гарвея, который ищет девушку-мечту, именуемую «бегущая по волнам», — все эти внешние приманки не могут скрыть основного — реакционной сути произведения А. Грина. Мир в романе раздваивается: с одной стороны — низшая реальность, земная, порочная, где действуют народ, моряки, некий капитан Гез, злодей и пьяница, враг героя, а с другой — высшая реальность — мир иррациональный, мир сказочной девушки Фрези Грант, «бегущей по волнам», «мир избранных», доступный аристократам духа, подобным Гарвею.

А. Грин старательно отсеивает среди своих героев «чистых» от «нечистых», «избранных» от «толпы», от «плебса». Характерно, что народу отводится не верхний, а полуподвальный этаж в его «стране-мечте». Лишь отдельные людям из народа, как правило — девушкам, возлюбленным «избранных», удаётся в качестве жизненного аккомпаниатора проникнуть в светлые этажи солирующего гриновского героя. Такова судьба морячки Дези, ставшей женой Гарвея, такова судьба её сестры по духу — Ассоль, ставшей женой капитана Грэя в «Алых парусах»: они познали реальность ирреального и последовали за своими мужьями в «страну-мечту», в «никуда».

Для А. Грина существует три страны, где живут и действуют персонажи его произведений. Первая — это страна отрицаемой реальности, страна революционной действительной жизни. О ней А. Грин говорит редко, но формулой умолчания подразумевает её всегда. Вторая страна — «мечта», сама «Гринландия», идеальный космополитический рай, созданный А. Грином, мир условный, алгебраическая общая форма, которая легко может быть заполнена требуемым конкретным содержанием, мир обезличенный, но не утративший земных, реальных черт. Это мир космополитической мечты, но якобы физически существующий. И наконец, третья страна, — где обитает,

например, «бегущая по волнам», страна, находящаяся вне всякой реальности и даже вне жизни. Сюда — в «никуда» — уплывают корабли капитанов Грeves из портов «Гринландии» — Лисса, Гель-Гью, Зурбагана и др., увозя особо «избранных» героев, то есть тех, кто окончательно порывает с реальным миром, уходящих из жизни, как ушла Фрези Грант, как ушёл герой романа «Дорога никуда» Давенант-Тиррей, через свою «смерть» вступающий в эту третью высшую страну «истинного» счастья. А. Грин здесь поэтизирует безоговорочное, полное отречение от реальности.

А. Грин чаще всего избегает говорить о том, откуда бегут его герои, от чего именно они спасаются в ирреальный потусторонний мир и куда он, писатель, зовёт своих читателей, очевидно надеясь на догадку «избранных». Однако смысл произведений А. Грина легко расшифровывается при самом поверхностном анализе их. В рассказе «Крысолов» писатель слегка приоткрывает завесу и показывает, какую именно реальность он отрицает. Действие рассказа и здесь двоятся: герой в поисках любимой девушки, стремясь спасти её и её отца, скитается в странном, таинственном мире. С одной стороны, это реальный Петроград 1920 года — голодный, охваченный разрухой. В пустующем помещении банка герой при помощи экс-лавочника, ныне «делающего что-то казённое», находит комнату, где запрятаны во множестве и обилии гастрономические продукты и вина. С другой стороны, это существующий параллельно второй мир, где не властвует реальность и где действуют роковые силы, воплощённые в образе чудовищных крыс. Зато здесь в бреду герой видит в осязаемых образах свою мечту любви и счастья. Для героя А. Грина то, что должно свершиться, тождественно тому, что уже было. И даже более — несбывшееся обретает физическую реальность. Идея рассказа в том, что только через «крещение» ирреальным, через познание его и принятие может человек очиститься от «скверны» жизни и стать достойным счастья. В подавляющем большинстве своих произведений А. Грин на все лады разрабатывает и развивает эту идею, продиктованную яркой ненавистью к действительности.

В рассказе «Рай», стокроенно реакционным, идея подана без розовой патоки

«мечты»: здесь вполне отчётливо проявилось моральное разложение автора. В качестве средства бежать от действительности А. Грин воспевает в этом рассказе... насильственную смерть.

Рассказ состоит из исповедей пяти самоубийц, собравшихся на последнюю пирушку. В этих исповедах даётся философское и идейное обоснование бегства из действительности. За столом, кроме хозяина дома — банкира, его гости: бухгалтер, капитан, журналист и женщина неизвестной профессии. В каждой главе один из сидящих за столом высказывает своё «кредо» самоубийцы, объясняет, почему он уходит из жизни. Один за другим произносят они свои «последние» слова и, корчась, валяясь под стол, ибо обед отравлен. Со смакованием расписывает А. Грин конвульсии очередного героя и ужас ещё живых мертвецов. Банкир решает покончить жизнь самоубийством, ибо отрицает самого себя как единственную реальность, от которой нельзя бежать. Он произносит речь, в которой оплёвывает русский народ, сообщая: «Я — русский, с душой мягкой, сосредоточенной, бессильной и тепловатой (?)!» Герой А. Грина не приемлет самого себя, своего реального воплощения. «Впечатления моей собственной жизни раздражали меня, как болыничная обстановка — жертвого человека».

Банкиру вторит бухгалтер, его стремление уйти ранее срока в потусторонний мир также определяется презрением к «пошлой» реальности. Ему жалким голосом подпевает 23-летняя девица: «это ужасно, что живут другие люди старше тебя, и ты отражаешься в них». Капитан, перед тем как свалиться замертво под стол, высказывается лаконичнее: «...умру я сейчас или после — всё равно». Зато «вдохновенный» журналист даёт политическое обоснование своему отвращению к жизни. Этот главный герой рассказа А. Грина — взбесившийся махровый реакционер. Он уходит из жизни только потому, что не может истребить, уничтожить человечество. Перед смертью он кричит, обращаясь к людям: «я стремился помочь вам освободиться от свиного корыта» — так он называет жизнь. «Бойтесь правды, — вопит он. — Ложью держится мир, благословляйте её!» Но этого мало А. Грину. Его прозревающееся, оказывается, знает путь

к спасению: «Возненавидьте ближнего своего и самого себя. Будьте противны себе, разбейте зеркала, пачкайте себя, унижайте; почувствуйте всю мерзость, весь идиотизм человеческой жизни. Слушайте-ка, мой совет вам: окочурьтесь. И перестаньте рожать детей. Зачем дарить прекрасной земле некрасивые страдания?» Знакомая проповедь! Мы слышали её от реакционеров всех мастей — старых и новых, и самых новейших.

Здесь, в гриновском «Раю», как и в других его произведениях, писатель не только не пытается разоблачить своего, по сути дела, отрицательного героя, но, наоборот, всячески романтизирует его, воспекает на все лады, смакует образы дегенератов и патологию этих литературных улюбок.

Эстетская критика всячески старалась затушевать реакционные стороны гриновского творчества, делая попытки оправдать А. Грина.

К. Паустовский писал: «Грина старая Россия наградила жестоко. Она отняла у него ещё с детских лет любовь к действительности. Окружающее было страшным, жизнь — невыносимой. Сильные волей уходили в борьбу, слабые — в область выдумки, заменявшей им подлинную жизнь».

Говоря о том, что горькая дореволюционная действительность оттолкнула А. Грина и поэтому он законно ушёл в «мир мечты», критика эта впадала в глубокую ошибку, замалчивая тот факт, что А. Грин, как бы раз и навсегда заняв позицию мечтателя, не принял и революционной, советской действительности. Таким образом, критики А. Грина вольно или невольно, но амнистировали его разрыв и с реальной советской жизнью.

Легенда о слабой воле, тонкой духовной организации А. Грина весьма любезна сердцу его почитателей, но не соответствует делам А. Грина. Поистине нужно было иметь упорную, злую волю, для того чтобы много лет подряд — как это делал А. Грин — вопреки революционной действительности, вопреки героической жизни советского народа вести идейную борьбу с действительностью, пропагандировать реакционнейшие космополитические буржуазные теории, раздваивая мир, деля его на грубую реальность и иррациональную мечту, на «сбывшееся» и «несбывшееся»!

Именно после Октябрьской революции А. Грин утверждал теорию о необязательности, вернее ненужности революционной борьбы, безуспешности и тщете усилий завоевать в реальном мире счастье, которое можно обрести лишь в мире мечты, ибо она-то и есть, по Грину, истинная реальность.

Продолжать в том же откровенном духе, когда всё передовое человечество ждало революцию, стремилось к ней, было невозможно, и А. Грин в своём бегстве от революции перешёл к другим замаскированным методам реакционной пропаганды: он изобрёл собственную страну, свой мир! «Это было похоже на обретение своей религии», — писал в 1934 году К. Зелинский, ошибочно приняв «Гринландию» за игру чистой фантазии и не видя, что это была «религия» человеконенавистничества, реакционнейшего космополитизма. «Её сущностью, — писал он, — стала игра с явлениями обихода, которые, оставляя впечатление чего-то реально существующего, на самом деле призваны уносить от реальной действительности в замкнутый мир фантазмов».

Была ли «игрой» фантастическая мечта А. Грина? Конечно, нет. Эта «игра» была лишь тактическим приёмом.

В военном деле есть термин — «камуфляж». Это один из способов военной маскировки. Часто делают, например, так: рядом с оборонным объектом, заводом, фабрикой возводят подобие этого объекта из фанеры, парусины, холста и прочих лёгких и дешёвых материалов. Лётчики с высоты не могут отличить камуфляжа от реальных зданий. Разрушению подвергается фанерная декорация, а заводы стоят целёхонькие и продолжают работать.

То же самое сделал писатель А. Грин. Из литературной фанеры построил он условный экзотический мирок «Гринландию», с городами Лиссом, Зурбаганом, Гель-Гью и неизвестным южным морем — страну «Несбывшегося» и раскрасил всё это, не жалея труда, лазурью и розовой патокой сентиментальных гимназических мечтаний.

Если освободиться от экзальтации и умиленности, какие насаждала эстетствующая критика, если с заоблачной высоты спуститься поближе к земле и посмотреть трезвыми глазами на сооружение, именуе-

мое «Гринландия», то порожняя, гулкая фанера, наспех приколоченная гвоздями, без всякой меры и чувства эстетического наляпанная краска — выдадут с головой автора «постройки». Совершенно законно,

отдавая себе отчёт в том, что перед нами камуфляжное сооружение, мы спросим себя: а чей, собственно говоря, это военный объект? Что этот камуфляж должен скрыть и кого должен обмануть?

3. ТОЧНЫЙ АДРЕС

Бегство А. Грина от действительности в условную фантастическую страну поминали все критики, писавшие о нём. Разница была только в оценке этого ухода. Одни видели «прелесть творчества Грина в том, что оно литературно и не выходит за пределы литературного искусства» (Н. Ашукин), то есть видели в нём образец так называемого «чистого искусства»; другие, соглашаясь с этим, ибо «Грин развил в себе способность придавать всему живому, чего бы он ни касался, форму облаков, текущих над землёй, играющих отражённым светом» (К. Зелинский), находили, однако, у А. Грина ту активность, которая отнюдь не вяжется с якобы безобидным и прозрачным «чистым искусством»: А. Грин деятелен «... в своём праве, отбросив голос общественной совести, отдать все помыслы розовому облаку над жизнью». Немногим ранее К. Зелинский прямо говорил, что А. Грин «защищает право на мечту. Он за тезис: «честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой». Многие данные конкретного анализа, приводимые в статье самим К. Зелинским, свидетельствующие о враждебности А. Грина к действительности, к народу, ко всему русскому, об отставании А. Грина принципа избранности и аристократизма, убедительные указания самого же критика на эпигонство и пошлость анализируемого писателя, — вступают в противоречие с общим выводом статьи в целом, с взглядом на творчество А. Грина, как на безобидную и грубую фантазёра и мечтателя.

Любопытно, что амнистирование А. Грина типично для ряда критиков. Только одни исходят из мотива «игры», другие — «мастерства», третьи — «мечтательности» писателя. Как правило, в той или иной степени трезвый и доказательный анализ, развиваемый в статье, внезапно и ничем не оправданно завершается «положительной концовкой», где говорится, что, несмотря на все вскрытые «недостатки», А. Грина

надо «любить», что у него надо «учиться» и т. д.

Для критической литературы 30-х годов выступление А. Роскина об А. Грине (1935 г.) было вполне своевременным и отрезвляющим. А. Роскин иронически писал об А. Грине: «Он поспешил перенести место действия своих повестей и новелл в далёкие экзотические страны — обстановка «родных осин», чрезмерно знакомая читателю в её будничной реальности, а потому трудно обходимая, слишком часто зацеплялась бы за винтики гриновской фабулы и останавливала бы её развитие, подобно соринке, попавшей в часы с открытой крышкой».

А. Роскин устанавливал, что «писатель этот работал исключительно на импортном сырье, с поразительной настойчивостью оберегая свои произведения от всякого вторжения российского материала».

Хотя критик не смог до конца противостоять точке зрения эстетствующей критики и под конец согласился с тем, что у А. Грина следует учиться мастерству «фабулы», всё же А. Роскин одним из первых указал на реакционную сущность творчества А. Грина. «Каждая новая вещь Грина, — писал А. Роскин, — превращалась в глухую тяжбу с советской действительностью, с революцией». И дальше: «Потеря социальных корней неумолимо обрекала Грина на эстетство».

Однако эстетствующая критика столь настойчиво и активно пропагандировала творчество А. Грина, что спустя четыре года тот же критик А. Роскин опубликовал в «Литературной газете» (30 августа 1939 г.) статью, безоговорочно превозносящую А. Грина.

Итак писатель без родины, художник, отказавшийся от традиций отечественной литературы, убеждённый противник реализма, бегущий от «скверны конкретности окружающего мира» — вот кого возвеличивала и подымала на щит эстетствующая критика.

В 1944 году, в дни войны, в предисловии к «Алым парусам», изданным в библиотеке Краснофлота. К. Паустовский писал: «...книги Грина... являются по сути своей подлинными оборонными и боевыми книгами». М. Слонимский вполне разделяет этот взгляд К. Паустовского: «...этот мятежный писатель отличался глубоким своеобразием своего творчества, своих надежд и мечтаний. Его творчество окрашено в свой особый цвет...», «Грин был в творчестве своим до конца искренен и чист...», «Александр Грин был мастером сюжета...», «Сказочник и фантаст, Александр Грин помогает людям мечтать». Не удовлетворяясь одними похвалами «мятежному» писателю А. Грину, М. Слонимский (равно как и К. Паустовский, Л. Борисов и др.) предлагает нашей литературе учиться у А. Грина, соответствующим образом «обосновывая» это утверждение: «Литература наша мало мечтает, и не случайно иные писатели тянутся к произведениям Грина, чтобы овладеть этим высоким искусством».

Космополитический рай, лишённый всяких признаков русского, национального, рай «общечеловеческой», «блистающей» «мечты», созданный фантазией писателя А. Грина, которому понадобилось вывести события за пределы жизни и быта родного народа, оторвать от героической борьбы и созидательного труда советских людей, «мир, совсем непохожий на всё, что до него писали русские писатели», отнюдь не вызывал возмущения или даже удивления эстетствующих критиков. Наоборот, мысль К. Паустовского позднее продолжил и развил в своих статьях, посвящённых А. Грину, Л. Борисов, который возводил в заслугу писателя его программный разрыв с реалистической русской литературой: «Александр Степанович Грин прошёл свой творческий путь одиноко и гордо. Трудно указать другое имя в русской литературе, — пишет Л. Борисов, — которое осталось бы в ней столь отгороженным от её навыков, вкусов, течений и школ, несмотря на то, что творчество Грина впитало в себя всё лучшее, что только есть в литературе русской».

К. Паустовский и М. Слонимский стремятся всячески обелить и оградить А. Грина, не желая видеть реакционнейшего антисоциального смысла его творчества. Гриновскую «страну-мечту» они выда-

ют за некий «чистый» абстрактный идеал, мечта о котором должна быть созвучна и советским людям. Но гриновский «гуманизм», гриновская «мечта» — явно буржуазного происхождения. Об этом ясно говорит один из основных героев писателя — капитан Артур Грэй, аристократ и богач, действующий в феерии А. Грина «Алые паруса».

Проповедь А. Грина направлена к тому, чтобы не позволить беднякам добиваться счастья собственными силами. Всеобщее счастье наступит тогда, «когда начальник тюрьмы сам выпустит заключённого, когда миллиардер подарит писцу виолу, опереточную певицу и сейф, а жокей хоть раз попрिдержит лошадь ради другого коня, которому не везёт, — тогда все поймут, как это приятно, как невыразимо чудесно». «Фантазии» Грина — это фарисейская проповедь непротивленчества, проповедь терпеливого ожидания счастья, которым, если найдут нужным, одарят крохотных бедняков гуманные тюремщики и щедрые миллиардеры.

Романтизация пассивности посвящено наиболее «светлое» произведение А. Грина — сказка-феерия «Алые паруса», — поднятое на щит эстетской критикой, как «наивысший взлёт гриновского оптимизма» (М. Слонимский). В приморском селении Каперне — всё в той же «Гринландии» — живёт со своим отцом, простым матросом Лонгреном, юная Ассоль. Она мечтает о принце, который прибудет в Каперну на корабле с алыми парусами и увезёт её навсегда в неведомую «блистательную страну», где она будет жить в «розовой глубокой долине». Над девушкой издеваются грубые низменные капернцы, по Грину — не способные мечтать. Но «принц» из сказки действительно является к Ассоль, материализовавшись в образе капитана Грэя — богача и аристократа. Ассоль, казалось бы, побеждает капернцев. Но чем? Пассивной верой в мечту и терпением.

«Алые паруса» представляют собой изуродованный вариант классической «Золушки». Народная «Золушка» — это сказка о вознаграждении счастьем за трудолюбие и мастерство. Золушка активно, действительно добивается счастья. Ведь его надо заслужить, говорит сказка, и Золушка заслужила его. А вот кичливые,

ленивые дочери мачехи оказались посрамлёнными. Такова народная сказка. А. Грин создаёт свою, мистико-идеалистическую, пассивную, одинокую, противопоставленную народу Золушку-Ассоль, в судьбе которой раскрывается реакционная мораль: не борись с социальной несправедливостью, всё предопределено, счастье придёт само из какого-то таинственного потустороннего мира, из мистической «блистательной страны-мечты».

Воплощением идеала реакционной идиллии единения бедняков и богачей является рассказ А. Грина «Весёлый попутчик». Герой его — владелец завода Эмерсон, ограбленный разбойниками, оставшись в лохмотьях, встречает на дороге бывшего актёра — бродягу Билля Железный Крючок. Билль, решив, что Эмерсон лжёт, называя себя богачом, сочиняет легенду о том, что и он, Билль, также важная персона — личный секретарь председателя географического общества, ставший бродягой лишь временно, на пари. Однако, когда они попадают в дом к Эмерсону, Билль убеждается, что тот говорил правду. Гуманный капиталист, конечно, помогает Биллю превратить мечту в реальность. Внешне, казалось бы, совершенно безобидный рассказик А. Грина пропагандирует буржуазную филантропию, воспевая её, как путь к спасению униженных и оскорблённых: «Так Билль Железный Крючок поселился у Эмерсона, — пишет А. Грин, — а впоследствии развил своё необыкновенное сценическое дарование и грянул им на больших сценах».

Неприкрытый буржуазный смысл гриновского гуманизма предстаёт обнажённым и ясным. Не забудем, что автор рассказа жил не в XIX, а в XX веке, жил не в Нью-Йорке, столице капитализма, а в Москве и городе Ленина. Именно городам Великой Октябрьской революции противопоставил он свою «Гринландию».

Истинные очертания этой условной фантастической страны проглядывают на страницах произведений А. Грина, несмотря на тщательный камуфляж. Гриновская страна «мечты» на поверку оказывается идеализированным капиталистическим строем.

Но буржуазный мир А. Грина очищен от борьбы классов, от революции.

Страшные отношения, характерные для капиталистической действительности, же-

стокую конкуренцию, звериную ненависть человека к человеку А. Грин поэтизирует, подкрашивает, камуфлирует. Всё, что могло бы обнажить язвы буржуазного мира, старательно убрано, заставлено пёстрыми декорациями. Этой цели служат экзотика и романтическая архаизация повествования.

Профессия героев А. Грина, их реальная деятельность писателем идеализируется. В городах «Гринландии» нет прозаических забастовок, изнурительного труда, будничного ужаса повседневной капиталистической эксплуатации. Всё здесь обладает декоративным великолепием: «Население Лисса состоит из авантюристов, контрабандистов и моряков... — пишет А. Грин в рассказе «Корабли в Лиссе». — Женщины делятся на ангелов и мегер; ангелы, разумеется, молоды, опоялающе красивы и нежны, а мегеры — стары!..». Герои Грина закладывают нмушество, пьют в кабаках, тавернах, скупают и продают экзотические товары и т. д. «Гринландия» не только романтична, но и архаична, это стилизованное прошлое буржуазного мира. «Мы не будем делать разбор причин, в силу которых Лисс посещался и посещается исключительно парусными судами, — пишет А. Грин. — Причины эти — географического и гидрографического свойства...». Его герои предпочитают «лошадей вагону; свечу электрической груше; неуклюжий парусник... игрушечно-красивому пароходу».

Цель обращения к архаике — приём, столь излюбленный А. Грином, — воспеть и опозитизировать буржуазный мир; А. Грин как бы говорит читателю: «Дело не в том, что, как ты думаешь, капитализм плох. Он совсем не плох, старый добрый капитализм. Посмотри, какой он был симпатичный и романтический всего какие-то сто-двести лет назад! И зачем тебе тратить силы и рисковать жизнью, ведя революционную борьбу, которая неизвестно ещё чем кончится, когда можно, — только пожелай, — знакомой дорожкой вернуться немного назад, под романтические паруса!» «Вперёд — к Мафусаилу!» — вопят старые, знакомые голоса из-за океана, с туманного (действительно «туманного») Альбиона, пытаясь усыпить человечество и соблазнить его «радостями» капитализма.

А. Грин создал свою утопию — реакционную, враждебную, уводящую назад, в

прошлое. Он сознательно отказался от страны будущего, от родины. Мир А. Грина «иностранин» — это буржуазный мир, который понадобился А. Грину потому, что, изображая свою Родину, он должен был бы говорить о Революции и о Советском государстве. Не надо забывать, что творческая биография А. Грина делится на две части: 12 лет он писал до революции и 13 после неё, причём наиболее продуктивная по количеству написанного половина его творческой работы — после-революционная, советского периода. Однако именно советскую действительность этот писатель изображать не хотел, равно как и кипящую предреволюционную Россию. Вот почему он и кинулся «в мир иной», следуя тем самым претенциозно-пошлому поэтическому девизу белоэмигрантского поэта Вл. Ходасевича: «Счастливы кто падает вниз головой. Мир для него хоть на миг — а иной!» Творчество А. Грина и было по сути своей таким полётом «вниз головой».

Почитатели А. Грина пытались оправдать его. «В конце концов, — писал К. Паустовский, — не так важно давать героям Грина паспорта и точные адреса и переносить действие в определённые страны. Страна, где происходят события гриновских рассказов, — вся земля».

А. Грин был объявлен критикой этаким великим гуманистом, который якобы возвышается над странами и народами.

Однако на самом деле камуфлированный литературный мир А. Грина вполне ясен и определён. Он имеет не только социальную реальность — как мир капитализма, но и национальную определённость. Любая страница, взятая наугад из А. Грина, говорит сама за себя: «В ожидании денег, о чём написал своему поверенному Лерху, я утолял жажду движения вечерами у Стерна да прогулками в гавань, где под тенью огромных корм, нависших над набережной, рассматривал волнующие слова, знаки несбывшегося: «Сидней», — «Лондон», — «Амстердам», — «Тулон»...», — признаётся А. Грин устами своего героя в романе «Бегущая по волнам». Напомним, что «Несбывшееся» — одно из названий «страны-мечты» А. Грина, «Гринландии».

В «Гринландии» доньями служат американские доллары и английские фунты стер-

лингов («Бегущая по волнам»), матросы обращаются к капитану, называя его «сударь», корабли носят названия «Лукреция», «Ансельм», «Фицрой», «Палермо» и т. д. У героя повести «Алые паруса» — капитана Грэя — в родовом замке зарыто в бочонках вино, «лучшее аликанте, какое существовало во время Кромвелля», «надпись на бочках сделана оружейным мастером Вениамином Эльяном из Пондишери». Имена героев: Меря, Артур, служанка Бетси, капитан Гоп, Лилиан, Стелла, Ботвелл, Би-чи Сениэль, Томас Гарвей, Нок, Крок, Пен, Пед, Редж, Соз, Роз, Блент, Марч, Мард и т. д. и т. п. — все это имена англо-саксонского происхождения.

«Слова: «Ориноко», «Миссисипи», «Суматра» звучали для меня как музыка», — пишет А. Грин («Автобиографическая повесть»). А. Грин был добровольным рабом иностранщины, бардом англо-американской буржуазной «цивилизации» и «морали».

В повести «Волшебник из Гель-Гью» Л. Борисова, повести не только биографической, но и безудержно апологетической, А. Грин спрашивает собеседника:

— Вы за границей были?

— Дважды в Париже, дважды в Лондоне, трижды в Нью-Йорке.

— Чёрт! — прервал Грин. — И за что вам этакое счастье?

В этом мещанском низкопоклонническом благоговении перед «заграничным» — мелкая душа «Гринландия», не «страны-мечты», а всего только передней в особняке англо-американского босса.

Такова космополитическая фраза «мечты» и её конкретное наполнение. Таково точное географическое и политическое месторождение «Гринландии» — правда, маскируемое пышным камуфляжем.

В. Смирнова («Литературная газета» № 8 1946 года) писала, что герой А. Грина «люди без родины», а гриновский «корабль»... «без флага». Однако это не достаточное определение, не точное. Действительно, А. Грин не спешит поднять на мачте флаг, пытаясь доказать, что его фантазия совершенно чиста от всего конкретного и реального. Но судовая книга им ведётся в переводе с английского языка, законы на его корабле англо-американские, приписных портов два — Лондон и Нью-Йорк, а флаг, который капитан корабля с благоговением хранит в своей каюте, — звёздный.

4. ПРОПОВЕДЬ ИЗБРАННОСТИ

Вражда и презрение к народу, как к чему-то низшему, владели А. Грином на протяжении всей его жизни.

Любопытна в этом отношении «Автобиографическая повесть» А. Грина. Читая её, догадываешься, что на протяжении долгого времени рядом с автором, на дне жизни, было многое множество людей замечательных, светлых, пытливых, проникнутых любовью к своему другу бедняку, к народу. Но А. Грин ухитрился равнодушно пройти мимо этих людей, мельком помянув их имена лишь потому, что они сделали что-то доброе в отношении его самого. Ни одной попытки войти во внутренний мир этих героев он не делает. Книга посвящена бесконечному душевному самокопанию человека, для которого мир сосредоточен в его крошечном «я». Но для А. Грина это логически оправдано космополитизмом его мировоззрения. Народ для него лишь бессознательная масса, неспособная ни на какую духовную жизнь, доступную только аристократам духа, сверхчеловекам. А. Грин отказывает народу в самых простых человеческих чувствах, оставляя ему только звериные инстинкты: «Канерницы обожали плотных тяжёлых женщин с масляной кожей толстых икр и могучих рук; здесь ухаживали, ляпая по спине ладонью и толкаясь, как на базаре. Тип этого чувства напоминал бесхитростную простоту рёва».

Внешность соответствует внутреннему «содержанию» грянговских недочеловеков, которые подобны каменным глыбам, а не живым людям. Ассоль пытается поблагодарить угольщика за помощь. Она «взяла огромную чёрную руку и привела её в состоянии отвратительного трясения. Лицо рабачего разверзлось трещиной неподвижной улыбки».

Мир А. Грина населён тёмной массой и героями-аристократами, которые, по его же словам, напоминают «старинную табакерку». Но дело не только в пассивном противопоставлении высших — низшим. А. Грин идёт дальше, он наделяет этих «низиших» — народ — инстинктом разрушения, уничтожения всего прекрасного, животной необъяснимой ненавистью к возвышенному. В рассказе «Происшествие на улице Пса» герой его Гольц стреляется из-за любви к брошенной его девушке. Народ стоял:

«Из-за юбки!.. — восклицают кругом. — ..В глазах их он был бессилён и жалок — чёрт ли в том, что он наделён какими-то особыми качествами, ведь он был же несчастен всё-таки, — как это приятно, как это приятно, как это невыразимо приятно!» И, словно боясь, что ему, Грину, не поверит читатель, он добавляет: «Не сомневайтесь, все были рады». Вот достойный образец «гуманизма» и чистоты А. Грина! При малейшей попытке анализа этот миф разлетается как дым и остаётся мрачная безнадежная злоба реакционера, ненавидящего народ.

Антинародные высказывания у А. Грина отнюдь не случайны. В другом своём рассказе — «Канат» — он пишет о народе, как о толпе, охваченной стихийным патологическим желанием убийства, истребления себе подобных. А. Грин даёт образ толпы в восприятии канатоходца, идущего высоко над землей по туго натянутому канату: «Давно уже настойчивый холод.. отвратительного желания, разлитого в толпе, осенял меня убийственными посылами...—говорит герой А. Грина. — Меня попросту желали видеть убитым.. Я читал: «Почему ты не падаешь? Мы все очень хотим этого. Мы в сущности явились сюда затем, чтобы посмотреть, не упадешь ли ты с каната случайно. Все мы можем упасть с каната, но ты не падаешь, а нужно, чтобы упал ты.. Мы хотим тебя на земле, в крови, без дыхания.. Если ты победишь наше желание тем, что не упадешь, мы будем думать, что, может быть, когда-нибудь кто-то всё-таки упадет при нас. Падай! Падай! Падай! Ну же.. ну!.. Падай, а не ходи! Падай!».

А ведь мы даже не полностью привели эту чудовищную оду человеконенавистничества, созданную.. «светлым талантом» А. Грина.

Как можно было называть «гуманистом» писателя, из-под пера которого вышли такие чудовищные, гнусные страницы?!

На анализе творчества А. Грина убедительно раскрывается подлинная сущность «надклассового» «общечеловеческого» искусства.

А. Грин, однако, не стесняется представлять перед читателем и без маски. Он подчас говорит полным голосом, выступая с

откровенной поэтизацией империализма и пропагандой расовой теории. Его книга «Сокровища африканских гор» — это обычный колониальный роман, типичный для империалистической линии английской литературы. Белые колонизаторы, полные «заботы» о неграх, «детях природы», «дикарях», с библией и со штуцером в руках насаждают «европейскую» цивилизацию. Они, по мнению А. Грина, «по праву» жестоко подавляют восставших негров, называемых самим автором... мятежниками.

Прочтя все 350 произведений А. Грина, трудно верить, что этот человек жил в годы Великой Октябрьской революции, присутствовал при падении самодержавия, жил в то время, когда строилось советское социалистическое общество, — так чуждо героической революционной действительности содержание творчества этого человека, тусклым, злобным оком смотрящего на происходящее. Так по-своему, не понимая и не приемля его, А. Грин спорил, боролся против революции, против народа

и его права на творческую переделку истории.

«Чистая» фантазия, как мы видим, является отнюдь не уходом от борьбы, а её формой. Не только признать — констатировать революцию А. Грин не хотел. Он превратил «формулу умолчания» в свой творческий метод. Он пытался «закрыть» революцию, сделав вид, что её как бы и не было. Он прославлял в своих произведениях экзотический, «блестательный» капитализм — «страну-мечту», страну для «избранных», куда нет доступа «толпе», народу, которому «гуманистом» А. Грином отводилась лишь роль безмолвных рабов, покорных и терпеливых, «активных» лишь в исполнении приказов или поручений «возвышенных» аристократических героев «Гринландии».

Но порвав с народом и с Революцией, уйдя в духовную эмиграцию, А. Грин, естественно, хотел он того или не хотел, порвал и с подлинным искусством, обрек себя как писателя на вырождение.

5. ПАТОЛОГИЯ ВМЕСТО РАЗУМА

«Какая это великая истина, что, когда человек весь отдаётся лжи, его оставляет ум и талант»¹, — писал В. Г. Белинский. Слова гениального критика поистине могут служить приговором писателю А. Грину. Нет и не может быть подлинного мастерства, если у художника нет органической прочной связи со своим народом, с правдой жизни. Об этом свидетельствуют все сочинения А. Грина, который так и не стал творцом живых образов, а был лишь декоратором, расставляющим пёстрые, но однообразные марионетки среди экзотических камуфляжей, именуемых «Гринландией».

А. Грин отказался от изображения мира реального, внешнего, в котором живёт и действует человек, и, чтобы возместить это, попытался раскрыть «внутренний» мир своих героев. Но так как он отбросил самое существенное в человеке — его общественные связи и взаимоотношения с людьми, то оказался в плену «извечного» биологического начала — животных инстинктов, тёмной области подсознательного и т. д.

Культ подсознательного, иррационального в человеке, галлюцинации и противопоставление их реальности, мистический мир предчувствий и «фантомов», предощущений гибели, обречённость — вот атмосфера «Гринландии».

Герои А. Грина биологичны. Биологическому человеку произведений А. Грина присущи «тупая скотская злоба», «вздохи раба» и, более того, садистические желания, патологическое стремление причинить ближнему боль и страдание.

«Демонический герой», как его стыдливо определяет эстетская критика, излюблен и поэтизируется А. Грином. Это превосхищённый автором гитлеровский молодчик, фашист, жаждущий уничтожать людей. Причины, поводы — всё это не имеет значения, главное — убивать, истреблять. «Слепых следует убивать», — вещает банкир из рассказа «Рай». «Все люди достойны смерти», — «обобщает» там же журналист. Надо признаться, что по дегенератизму и моральному распаду с рассказом «Рай» вполне успешно конкурирует рассказ «Трагедия плоскогорья Суан», в центре которого стоит патологический образ человека-вампира, эротомана Блюма, жаждущего убий-

¹ В. Г. Белинский. Избранные философские сочинения. 1948, т. II, стр. 529. Письмо к Н. В. Гоголю.

ства ради убийства, образ, любовно романтизируемый А. Грином. «Я мечтаю о тех временах... когда мать не осмелится погладить своих детей, — говорит Блюм, — а желающий улыбнуться предварительно напишет духовное завещание. Я хочу плюнуть на весёлые рты и раздавить их подошвой, так, чтобы на внутренней стороне губ отпечатались зубы».

Блюм не просто выродок, несущий свой психопатический бред. От слов Блюм переходит к «делу». Он убивает без каких-либо причин, просто из голого стремления к убийству своего недавнего товарища, пытается убить своих спасителей — охотника Тинга и красавицу Ассунту. Вот он подстерегает свою жертву: «Блюм благодушно вздыхал, переминаясь с ноги на ногу, и ждал, с настойчивостью дикаря, покорившего своё несовершенное тело (!) отточенному борьбе инстинкту. Ручная послушная ярость спала в нём, он бережно, любовно следил за ней, томился и радовался». Читая эти подлые страницы, поражаешься способности автора смаковать переживания психопата и выродка. Блюму не удаётся убить Тинга. Он наносит удар ножом Ассунте и бежит. Тинг настигает его. Узнав, что Ассунта ранена, но жива, Блюм кричит: «Ложь!.. Вы хотите меня помучить» (!). Этот «принципиальный» убийца не может успокоиться, что он «недоубил» человека! И этот клинический образец патологического бреда неоднократно переиздавался, а эстетствующая критика рекомендовала его читателю, как образец литературного искусства!

Блюм не одинок в творчестве А. Грина. В рассказе «История одного убийства» А. Грин смакует подробности пробуждения в добродушном солдате палача, зверя. Возможность убить, пробуждающийся инстинкт разрушения — вот что руководит героем. Перед нами и здесь всё то же дегенеративное животное — человек, наслаждающийся убийством.

Нам могут возразить, что не все персонажи А. Грина демоничны, не все они убийцы, эротоманы и психопаты. Неоспоримо, что в произведениях этого писателя имеется и другой тип героя, зачисляемый критикой в разряд «положительных», — герой, задрапированный в романтический плащ «благородного», «возвышенного» мечтателя. Таков якобы и капитан Грэй в ро-

мане-феерии «Алые паруса», и Томас Гарвей из «Бегущей по волнам», и Галеран в романе «Дорога никуда», таковы персонажи многих рассказов и новелл А. Грина. Но «положительный» герой на поверку оказывается очередным гриновским камуфляжем. И демонические и «благородные» герои его произведений — суть две стороны одной и той же медали — махрово-реакционного мировоззрения писателя-космополита.

Так называемым «положительным» героям А. Грина присуща одна общая черта — презрение к Родине и ненависть к реальной народной жизни. Так, капитан Грэй часто плавал с одним балластом, отказываясь брать выгодный фрахт. Никто не мог уговорить его «везти мыло, гвозди, части машин и другое, что мрачно молчит в трюмах, вызывая безжизненные представления скудной необходимости. Но он охотно грузил фрукты, фарфор, животных, пряности, чай, табак, кофе, шёлк, ценные породы деревьев: чёрное, сандал, пальму. Всё это отвечало аристократизму его воображения...»

Превосходство над «низшим» своего «аристократа духа» А. Грин утверждает, рисуя некую идилию беспрекословного подчинения капитану Грэю как его слуг, а по сути дела рабов, всех этих безымянных матросов, рыбаков и прочих «простолудинов», так и героини «Алых парусов» — Ассоль. Суть её образа — в поэтизации подчинения «низших» — «высшим». Она может следовать за капитаном Грэем, но и должна одновременно ему подчиняться. Ассоль ненавидит окружающий её «низший» мир стихийно. Она просто мечтает уйти из него. Капитан Грэй выступает, как активный носитель космополитической философии А. Грина — убеждённого отрицания родины. Для капитана Грэя счастье именно в её родине, в уходе от её берегов в «никуда», в разрыве связей со своим народом. Дикая и реакционная эта «идея» тщательно камуфлирована А. Грином. Отсюда сентиментально-патетические определения «страны счастья, как «розовая глубокая долина», «блистающая страна». Но в том-то и вся соль, что по А. Грину она только тогда «блистающая», когда не своя.

Такова мрачная философия «Алых парусов» — произведения, по мнению некото-

рых наших критиков, представляющего собою «взлёт» гриновского таланта.

«Положительный» герой большого рассказа «Пролив бурь» — юный Аян после смерти капитана предпочитает всем окружающим штурмана Гарвея (не случайно, что имя этого человека совпадает с именем героя «Бегущей по волнам» Томаса Гарвея). Штурман Гарвей — «сильная личность». О нём говорят: «барин», «Назовите человека, с которым Гарвей разговаривал не через плечо!» Это, по А. Грину, «настоящий» человек. Однако юный Аян обещает превзойти своего наставника. Аян говорит о матросах: «Я владел бы ими, как владеют стаей собак». И «гуманист» А. Грин искренно любит своего героя. Рассказ этот широко переиздается и неизменно включается в число избранных произведений А. Грина, равно как и ряд других реакционнейших новелл этого писателя.

Так, «надземность» возвышенного героя в произведениях А. Грина неизменно служит утверждению буржуазной идеологии.

Начав с отставания идеи человеческого неравенства и отрицания понятия Родины, А. Грин пришёл к человеконенавистничеству, к проповеди патологии и дегенератизма, к утверждению произвола в искусстве («Чёрный алмаз»), к литературшине и бульвару, к эпигонству, к имитации англо-американской литературы убийств, ужасов и мистицизма.

Пресловутая «чистая» фантазия А. Грина

на, воинствующего реакционера, ведёт в его произведениях к распаду реальности художественного изображения.

Вспомним слова товарища А. А. Жданова, сказанные им на совещании деятелей советской музыки, в которых ясно и точно определено это явление распада: «Здесь начинается выход за пределы рационального, — говорил А. А. Жданов, — выход за пределы не только нормальных человеческих эмоций, но и за пределы нормального человеческого разума. Есть, правда, теперь модные «теории», которые утверждают, что патологическое состояние человека есть некая высшая форма и что шизофреники и паранойки в своём бреде могут доходить до таких высот духа, до которых в нормальном состоянии обычный человек никогда дойти не может. Эти «теории», конечно, не случайны. Они очень характерны для эпохи загнивания и разложения буржуазной культуры. Но оставим все эти «изыски» сумасшедшим...»¹.

Произведения А. Грина — это, конечно, явление распада искусства. Распад неизбежен, как результат утверждения реакционных идей, человеко- и народоненавистничества. Это демонстрирует декадентско-патологическое творчество А. Грина — писателя, уничтожившего себя как художника и превратившегося в третьесортного эпигона западноевропейской литературы.

6. ЭПИГОНСТВО ВМЕСТО НОВАТОРСТВА

Незадолго до своей смерти А. Грин написал рассказ «Акварель», который кое-кто из критиков пытался объявить чуть ли не переломом в творчестве писателя. На самом деле это программный рассказ, в котором А. Грин сформулировал свои реакционные воззрения на искусство.

Бедная прачка Бетси и её муж пропойца Клиссон, за которым она гонится, чтобы отнять украденные им на выпивку деньги, случайно вбегают в открытую дверь одного из городских домов и оказываются... на выставке акварелей. Они замечают, что всеобщее внимание посетителей привлекает картина, где изображена их собственная жалкая, нищая лачуга. «Как хорош свет! Посмотрите на плющ!» — гово-

рят посетители. Бедняки слышат эти слова восхищения и боятся, что люди увидят «пустые бутылки и узлы с грязным бельём». Но такова «сила» искусства, что никто не видит изнанки и ужаса их жизни. Бедняки решают, что жизнь не так уж плоха, и возвращаются умиротворённые к своей нищете и горю. Рассказ «Акварель» — это отрицание главного в искусстве — его действительной силы, могущества художественной правды, способности её пробудить в человеке мужество, силы для борьбы. А. Грин не написал рассказа о том, как искусство открыло глаза бед-

¹ «Совещание деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б)». Изд. «Правда», М., 1948, стр. 143.

някам Бетси и Кливсону. Как, узнав правду, они задумались над тем, что так жить больше нельзя, что жизнь надо изменить. А. Грин и не мог написать ничего подобного. Писателю для этого надо было бы любить свой народ, верить в него. А. Грин провозгласил ещё раз примат иллюзии над реальностью. Искусство художника в «Акварели» сильно обманом. Иллюзия победила правду, ложь оплела бедняков, лишила их стремления даже помышлять об ином, лучшем: вот смысл «прославленного», «переломного» рассказа А. Грина.

Подобной «Акварелью» является всё творчество А. Грина, ненавидящего реальную правду жизни, вступившего с нею в борьбу. Откажитесь от родины, уверуйте в избранность «высшей» особи, сверхчеловека — аристократа духа, исполняйте его волю и вернитесь в ваши нищие лачуги, где «пустые бутылки и грязное бельё», живите в них и радуйтесь тому, что у вас есть, не думая ни о какой борьбе, ибо вы рождены быть внизу, а «избранный», капитан Грэй — наверху! — таково кредо А. Грина.

На истоптанных капитализмом путях, питаясь чужими мыслями, идеями и сюжетами, он не смог создать ничего оригинального, своего. А. Грин лишь повторил давно пройденные азы буржуазной литературы.

В. Маяковский хорошо сказал когда-то о Грине: «Осматриваю прилавок большого магазина «Бакинский рабочий». Всего помещается 47 книг... Из умышлённых — 22 иностранных... Русский, так и то Грин. И то по возможности с иностранными действующими и лицами и местами»¹.

Слепо подражая всему иноземному, низкопоклонствуя перед Западом, А. Грин естественно ничего принципиально нового не внёс ни в русскую, ни в иностранную литературу, из которой он черпал своё «вдохновение». Перелёвы Э. По, абстрагированные Уэллс и Брет-Гарт, обезличенный Стивенсон, патологизированный Конан-Дойль — вот его скудные литературно-бесплодные «трофеи». Эту сторону творчества А. Грина в своё время правильно раскрыл Б. Соловьёв в своей статье «Иллюзия и действительность».

А. Грин откровенно связан с англо-американской буржуазной литературой.

Его творчество представляло собой двойное отражение, ибо оно отражало уже отражённое в американско-английской литературе, а не действительность. Вот почему, за отсутствием реальных аргументов, всякий, кто пытался утверждать оригинальность А. Грина, вынужден был прибегать, как это сделал М. Слонимский, к ничему не выражающим, «романтическим», туманным и расплывчатым объяснениям, что-де «Будь Александр Грин простым эпигоном, покорным подражателем, не стоило бы особенно долго и говорить о нём. Но этот мятежный писатель отличался глубоким своеобразием своего отчаяния, своих надежд и мечтаний. Его творчество окрашено в свой особый цвет». Согласимся, А. Грин действительно был не простым, а сложным эпигоном, особой окраски — сугубо реакционной. Он подражал сознательно, убеждённо, принципиально.

Произведения А. Грина, не связанные с жизнью революционной Отчизны, были растениями без корней. Они представляли собой плоскую имитацию англо-американской буржуазной литературы, повторение уже существующих образцов — сюжетов, мыслей, материала. Язык произведений А. Грина — это выхолощенный, обескровленный язык плохого, а иной раз просто неграмотного перевода с иностранного. Вот, например, образцы стиля писателя А. Грина, взятые наугад из высокоценной аполлогетами А. Грина «Бегущей по волнам»: «Не раздумывайтесь (!) во мраке», — говорит Фрези Грант. — «Что вы здесь делаете, и сделалась (?) ли у вас — жена, которую вы искали?» «Эта собака сейчас лайнет (!). Она пустит (?) лай!».

Отрекшись от своего народа, космополит А. Грин писал, словно переводя с английского русскими, но не по-русски звучащими словами: «Комиссар перешёл из одного состояния в другое, — из состояния запутанности к состоянию иметь здесь, против себя, подлинного преступника, которого считал туповатым свидетелем, с апломбом чиновника, приписывающего каждый, даже невольный успех влиянию своих личных качеств». Или в другом месте: «Я решил, — начал Бутлер, — когда сам несколько освоился с перенесением тяжести сцены, целиком обрушенной на него и бесповоротно очертившей тюрьму...»; «К девушке под-

¹ В. Маяковский. Собрание сочинений, 1941, т. X, стр. 202.

бежали комиссары... создав атмосферу непереносимого гвалта»; «Мысль иметь детей Гезу крайне поразила Бутлера»; «Капитан Гез, — сказал я, тщательно подбирая слова, чувствуя приступ ярости, не желая поддаваться гневу, но видя, что принуждён положить конец дерзкому вторжению, оборвать сцену, начинающую делать меня дураком в моих собственных глазах...»

В пресловутых «Алых парусах» А. Грин пишет: «Была весна, ранняя и суровая, как зима, но в другом роде»; «Тут только он уяснил себе, что в лице девочки было так пристально отмечено его впечатление»; «Вне себя от страха потерять волю, она топнула ногой и оправилась» (!). Вот другие образчики «тончайшего письма» А. Грина, взятые из его произведений: «в руках держала она колоссальный сеер, не подвергая его, однако, опасности треснуть движениями мощных дланей»; «чужие друг другу люди так же мало знали взаимно о себе, как при первой встрече»; или: «Помедлив полчаса, гвалт продолжался до конца дня»; «Она не думала, чтобы вполне сложившийся темперамент, наклонности и образ жизни могли отбросить себя». Все эти и бесчисленное множество других примеров свидетельствуют о том, что это косноязычие — стиль А. Грина. А между тем именно стиль его вызывал бурные восторги почитателей А. Грина: «нет ничего случайного и неряшливого в языке лучших произведений Грина. Стиль Грина... остаётся всегда спокойным, ровным, лишённым безвкусного вычура, выпяченной риторики... особенность его манеры... роднит лучшие его произведения с народными сказками», — пытался убедить читателя М. Слонимский.

Критики-эстеты, захлёбываясь, превозносили гриновские литературные упражнения, призывали советских писателей учиться у него мастерству. Поистине надо было совершенно утратить чувство объективности, чтобы эти упражнения зачислять в разряд высокой литературы, изымая их из обычной бульварной страши, столь про-

дуктивно размножаемой всякими «шестипенсовыми» изданиями. Дело дошло до того, что А. Грина пытались ставить в один ряд с величайшим русским поэтом. Так например, К. Паустовский писал: «Целая плеяда писателей и исследователей пыталась передать необыкновенное шестое ощущение, которое можно назвать «чувством моря». О море писали Байрон, Пушкин, Джек Лондон, Конрад, Новиков-Прибой, Гейне, Мопассан, Фридьоф Нансен и Джеймс Кук. Все они воспринимали море по-разному, но ни у одного из них не шумят и не переливаются на страницах такие праздничные моря, как у Грина». И не приходит на ум писателю К. Паустовскому, насколько чудовищно подобное сравнение.

Шумиха и возня вокруг имени А. Грина способствовала утверждению ложного представления о том, что формалисты и представители «чистого искусства» являются якобы знатоками и мастерами слова. Эта ложь опровергается их собственной литературной практикой. Лишённые чувства народности и идейной целеустремлённости, они вынуждены были подменить истинное искусство пустопорожней болтовнёй, словесной эквилибристикой.

«Общечеловеческое искусство», якобы стоящее вне политики, на поверку неизменно оказывается тенденциозным и реакционным.

Творческая судьба А. Грина, этого убеждённого космополита и буржуазного реакционера, весьма показательна. Следование реакционным заветам буржуазной эстетики разрушает искусство, губит творца, превращая его в холодного ремесленника или ловкого фокусника, в эшгона, перепевающего чужие произведения, вместо того чтобы прокладывать новые пути в литературе.

Мастерство художника неразрывно связано с его мировоззрением, определяется им. Новаторство возможно лишь там, где наличествует смелая революционная мысль, глубокая идейность и преданность художника своей родине и народу.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Л. Сейфуллина. Роман о сибирской деревне. — Зоя Кедрина. В творческой разведке. — Ц. Солодарь. Голос честных людей Америки. — Е. Ковальчик. Новый роман А. Коптяевой. — Н. Соколова. Судьба таланта. — Ю. Капусто. Книга старшего друга.

ИСТОРИЯ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ВОЕННАЯ НАУКА

В. Минаев. Американский легион — штурмовой отряд реакции. — Юр. Корольков. О чём же говорят немецкие генералы? — В. Мочалов. В новой Волгарии. — Ф. Шахмагонов. Ватикан на службе Уолл-стрита.

ЭКОНОМИКА И ПРАВО

Член-корреспондент Академии наук СССР А. Трайнин. «Социализм строится на труде».

ТЕХНИКА И МАТЕМАТИКА

В. Охотников. Путешествие в невидимый мир. — А. Морозов. Сборник «Ломоносовские чтения». — Б. Ляпунов. Творцы русского ракетного оружия. — Научные сотрудники Львовского отдела Института математики Академии наук УССР Е. Рвачёва и Д. Мейзлер. Муза Волтливости.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

И. и Л. Крупениковы. Завтрашний день наших степей.

ГЕОГРАФИЯ

Доктор географических наук Эд. Мурзаев. Книга исследователя Алтая. — А. Иглицкий. Русские путешественники в Африке.

Литература и искусство

Роман о сибирской деревне

Сибирские писатели народнического толка: Новосёлов, Гребенщикова и другие, вошедшие в литературу в период после революции 1905 года, живописали сибирскую деревню, как некий оазис, не подверженный бесправию и горю всех остальных деревень российской империи. Они смотрели на эту деревню с мелкобуржуазной «кочки», игнорируя марксистско-ленинский анализ экономики крестьянского труда. Основываясь на том, что Сибирь не знала крепостного права, они не замечали придавленных рабством крестьян. В фокус писательского зрения они брали богатых «сильных духом» старожилов-кержаков. Писатели закрывали глаза на то, что эти кержаки были эксплуататорами чужого земледельческого труда. Между тем сибирская деревня угнеталась по тем же законам капиталистического строя царской России, что и любая российская деревня.

Г. Марков. «Строговы». «Советский писатель», 1948.

«Новый мир», № 1.

С середины девятнадцатого столетия в сибирских деревнях оседали переселенцы, вытесненные из центральной России гнётом помещиков и капиталистов. В период 1895—1899 годов огромное количество новосёлов Сибири дали Черниговская, Полтавская, Орловская, Курская, Пензенская, Воронежская, Харьковская, Рязанская, Калужская и Смоленская губернии. Богатые старожилы-кержаки охотно принимали новосёлов, которые, как батраки, помогали им осваивать новые земельные угодья. Силами новосёлов, в основном, и разрабатывались трудные таёжные участки Восточной Сибири. Эксплуатация кулаками бедняцкого и середняцкого деревенского населения была велика и разнообразна именно в Сибири.

Советский сибирский писатель Георгий Марков в своём романе «Строговы» художественно-убедительно и правдиво показал жизнь сибирских крестьян со второй половины прошлого века до двадцатых годов

нашего столетия. Идейная сила романа состоит в том, что писатель показал острую классовую борьбу в сибирской деревне и те силы, какие вывели её на путь социалистического развития. С 1904 года в глухом таёжном селе Волчья Нора началось глухое предреволюционное брожение не только среди бедняков, но и в семье Строговых, крестьян небольшого достатка. Писатель показывает читателю три поколения этой семьи: старик Захар, его жена Агафья и её брат — дед Фишка; сын Захара — Матвей и его жена Анна; их дети: Артём, Максим и Марина. Вместе со Строговыми описаны и друзья Матвея, его товарищи по службе в царской армии: пастух Антон Топилкин, Калистрат Зотов, Мартын Горбачёв и другие. Матвей, его ровесники и друзья ещё во время русско-японской войны видят, что не только беднякам, но и середнякам не спастись от обнищания, потому что те и другие живут в кабале у деревенских богачей Юткиных, Штычковых и Зимовских.

С каждым годом обостряется рознь между этими двумя лагерями сибирской деревни. Во время империалистической войны хозяйство Строговых, как и других мало-мощных крестьян, приходит в упадок. Оно совершенно рушится, когда, в период гражданской войны, Матвей уходит в тайгу с партизанами. Но в процессе борьбы за светлое будущее русской деревни растёт политическое самосознание крестьян, их моральная сила. Дети и внуки бесправного кроткого Захара Строгова становятся сознательными борцами за дело революции. Они приходят в ряды партии большевиков. Они уже не только знают, что надо бороться с Юткиными, Штычковыми, но и умеют это делать и в открытом бою, и в гражданском переустройстве деревенского быта. Благодаря их твёрдости духа, в глухой деревне Волчья Нора, как и по всему Юксинскому таёжному краю, возникают сельскохозяйственные товарищества и первые крестьянские коммуны. В конце своего романа Г. Марков пишет про Матвея Строгова, председателя волостного совдепа: «Прислушиваясь к девичьим голосам, он вспоминал весенние и летние дни восемнадцатого года, когда над деревнями Юксинского края стояла мрачная тишина и слышались только слёзы и стоны, и ду-

мал: «Поют! Большой кровью народа куплены эти песни, и бережно, ох, как бережно нужно блюсти добытую свободу».

Кратко передать всё содержание большого и глубокого романа «Строговы» невозможно. Советский читатель сам охотно его прочитает — роман интересен с первой страницы до последней. Действие развивается быстро, люди в нём живые, их типы разнообразны. Чудесно здоровое жизненное отношение героев Г. Маркова. Даже глубокая старуха Агафья говорит: «Жить нелегко, а пожить — охота, посмотреть надо, как внучата пристроятся». В романе с подлинной художественной силой изображены пейзажи Восточной Сибири во все времена года. Хороши описания охоты, шишкобоя в кедровнике, сбора грибов и ягод в тайге. Г. Марков раскрывает сильные и поэтические стороны характера трудового народа в полевых работах сибирских крестьян, в хороводах молодёжи в пору цветения черёмухи, в чистоте любви Артёма Строгова и Маняшки. Но в истории жизни Артёма допускает автор и художественную фальшь. Неправдоподобна его любовь к Дуняшке — подруге его погибшей: от рук кулаков невесты. Может быть, в реальном быту Артём и мог жениться на Дуняшке, но это факт такого рода, о котором писатель Гончаров говорил, что, перенесённый в литературу, он теряет достоверность факта и не вызывает в читателе должного эмоционального отклика. Однако самый большой недостаток интересного, имеющего большую познавательную ценность романа Г. Маркова — слабое изображение партийных руководителей революционно настроенного крестьянства. Сибирскую ссылку отбывали видные большевики, люди большого масштаба. Они оказали огромное влияние на развитие революционного сознания коренного сибирского населения. А у Г. Маркова лишь от случая к случаю появляются революционеры (Беляев, Соколовский и его жена Ольга), и написаны эти образы художественно слабо.

В последующих изданиях автору необходимо заново написать характеры ссыльных большевиков, стремясь достигнуть в их изображении той же художественной убедительности, с какой показаны им герои-крестьяне.

Л. СЕЙФУЛЛИНА.

В творческой разведке

Часто мы называем наши национальные литературы отрядами единой советской литературы. И если казахская советская литература действительно боевой отряд, завоевывающий всё новые и новые высоты социалистического реализма, то творчество Габидена Мустафина мы можем назвать разведкой.

Весной 1949 года во время декады казахской литературы в Москве, выступая на обсуждении казахской прозы, Г. Мустафин сказал о себе так: я смотрю, какая область в нашей литературе ещё не освещена, о чём надо написать, и обращаюсь именно к этому вопросу. Так я стал писать о колхозах, написал о Шиганаке Берсиеве.

Рассматривая своё творчество не как своё только, индивидуальное дело, а как часть единого литературного движения, Г. Мустафин открывал и разрабатывал новые для отряда своей национальной литературы области, пролагая пути к новой теме, — и в этом его большая заслуга.

Эта оперативность позволила Г. Мустафину оказывать в первых рядах советских писателей — пропагандистов мичуринско-лысенковских методов ведения сельского хозяйства. «Шиганак Берсиев» повествует о жизни и работе деятеля казахского мичуринского движения, который вывел новый вид засухоустойчивого проса.

Новый роман Г. Мустафина «Миллионер», который вышел на казахском языке в 1947 году, обратил на себя внимание всей советской литературной общественности, как только в наркомиссии Союза писателей появился построчный перевод этого произведения.

Герой романа Г. Мустафина колхозный кузнец Ахмет просит правление взять у него на любых условиях его личный скот. Ему недосуг и неохота, отрываясь от любимого труда-творчества, возиться в коровнике или гоняться по степи за отбившейся тёлкой.

Эта проблема была настолько нова тогда для нашей литературы (даже очерковой), что Г. Скосырев в своей статье о «Миллионере» в «Литературной газете» выразил опасение, не проявляются ли в образе Ахмета элементы перегиба и не намерен ли

Ахмет, забежав вперёд, прибыть в коммунизм раньше других.

Сегодня, когда черты коммунизма всё отчетливее выступают в нашей жизни, мы понимаем, что в этом споре между писателем и критиком прав был писатель. Молодой предколхоза Жомарт, которого Ахмет допёк своими требованиями, берёт в конце концов его скот на колхозную ферму. И секретарь райкома Сатан вместе с Жомартом и автором закономерно приходит к выводу: «Этот вопрос мы должны решить как можно скорее, ведь заявление Ахмета — это первая ласточка, и его примеру могут последовать другие колхозники».

Как истый разведчик, Г. Мустафин неизменно смотрит вперёд, а вместе с ним — и его положительные герои. «Успехи измеряются не только прошлым, — говорит фронтовик Жомарт, вернувшийся в родной колхоз-миллионер, старику председателю Жакыпу, — их нужно мерить и будущим».

Основной конфликт романа и заключается в борьбе между старым председателем, который вывел свой колхоз, некогда состоявший из нескольких объединившихся бедняцких хозяйств, на путь зажиточности, и молодым агрономом-фронтовиком, который, ценя заслуги старика в прошлом, не может примириться, однако, с его самоуспокоенностью. «У нашего Жаке узкая мера, и потому он всем доволен, — говорит Жомарт на колхозном собрании. — Но ведь такое самодовольство тянет колхоз назад. Только большие желания двигают вперёд, а большое желание влечёт за собой большую меру». «Куда ты стремишься, безумец? Перед тобой пропасть», — отвечает Жакып, которого страшат расходы, требующиеся для выполнения «большого плана» Жомарта — электрификации колхоза, введения правильного севооборота и замена простого скота племенным. Старику кажется, что молодой парень, не знавший, каким трудом приобретены богатства «Миллионера», хочет легкомысленно размотать колхозное добро. Этот основной конфликт повести раскрыт ярко и убедительно. Каждый из «противников» думает не о своём личном успехе, а об интересах общества, и тем глубже личное волнение и пафос борьбы у людей, рассматривающих свою жизнь, как общепольное деяние. Верен действи-

Г. М у с т а ф и н и. «Миллионер». «Советский писатель», 1949.

тельности показ национальных форм, видоизменяющихся на новом этапе, в которых протекает жизнь и борьба героев романа. Это идущая от дней ранней молодости дружба ровесников, теперь стариков, Ахмета Мамета и Жакыпа, традиционные взаимные подшучивания, наполненные новым большим содержанием.

Интересна борьба Жакыпа и Жомарта с пережитками родовых отношений, напоминающими о себе в лице лодыря Байсена, пытающегося увильнуть от работы при помощи своего отдалённого родства с Жакыпом.

Победное движение нового составляет основной пафос романа «Миллионер». Оно во всём: в том, что, несмотря на всю остроту борьбы, Жакып не только признаёт в конце концов правоту Жомарта, ставшего председателем колхоза, но и сам в качестве заместителя Жомарта работает в полную меру сил для выполнения его «большого плана».

Новы семейные взаимоотношения Жакыпа, то уважение, с которым он относится к своей дочери Жанат, нередко подчиняясь её указаниям. Ведь в прошлом казахская женщина была вдвойне бесправна и угнетена.

Новое выступает и в показе быта современного нам колхозного аула: появление в нём такой народной интеллигенции, как агроном и офицер Жомарт, педагог и парторг колхоза Жанат, композитор Алма, — самая обстановка благоустроенных домов, в которых не редкость и пианино, в которых труженики земли готовятся к выходу на поля, работая за письменным столом. Серьёзные достоинства в изображении новой колхозной жизни, действительно присутствующие роману Г. Мустафина, очевидно, и послужили причиной того безоговорочно-положительного отзыва, который дала об этом произведении в дни казахской декады «Литературная газета».

Однако именно то обстоятельство, что роман Г. Мустафина произведение серьёзное и творчество его занимает значительное место в казахской литературе, заставляет без всяких скидок говорить и о его недостатках.

То, о чём пишет Г. Мустафин, почти всегда ново, своевременно и точно подмечено. То, как претворяет писатель явления нового в литературе, не всегда удовле-

творяет читателя. И в первую очередь здесь нужно сказать об изображении процесса подъёма колхоза «Амангельды» на новую, высшую ступень. Г. Мустафин совершенно правильно указывает в своём романе на то, что такой подъём невозможен в одиночку, что в ответственные моменты на помощь артели приходит весь район. Но неправильно в изображении Г. Мустафина то, что основная тяжесть этого подъёма перекалывается им на помощь извне.

Темир-Тау и Караганда дают колхозу «Амангельды» не только электрооборудование и ток, но и электриков для проводки, и руководителей для рытья ям и установки столбов, а соседние колхозы — рабочую силу, которая непрерывным потоком движется по дороге.

Оказалось, что члены артели «Амангельды» сами не сумели бы сделать ничего из задуманного: ямы они рыли неправильно, столбы у них падали, а изобретённые передовиком Ахметом дорожные катки оказались негодными и были заменены двумя машинами, присланными из города. Единственно, что колхозникам удалось усовершенствовать, это прославленный «Узун-кулак» — устную передачу новостей, построив живую цепь колхозников, которые передавали друг другу распоряжения руководства на строительстве дороги.

В романе так прямо и написано: «Жомарт основную тяжесть сева переложил на МТС, и с людьми, оставшимися в ауле, продолжал выполнять свой большой план», причём ниже выясняется, что один трактор Жомарт получил незаконно, так сказать, «по дружбе», и секретарь райкома даже упрекает его: «если так будет продолжаться, то скоро все тракторы из МТС перейдут к тебе. А что будут делать другие колхозы?». И тем не менее тот же Сатан, являющийся в романе проводником идей автора, «чем больше узнавал Жомарта, тем больше находчивости и деловитости видел в нём». Нам думается, что в данном случае автор проявляет не совсем правильное понимание «деловитости» своего героя, которая местами соседствует с антигосударственной практикой людей типа Гречки из повести В. Пановой «Ясный берег». Но В. Панова правильно, по-государственному решает проблему, указывая на то, что «добрые» намерения Гречки, неза-

конно получившего племенную тёлку для своего колхоза, тем не менее не могут быть оправданы, как любое неправильное действие, нарушающее плановое начало нашего хозяйства. У Г. Мустафина же этой ясности взгляда на своего героя и способы укрепления хозяйства артели в данном случае не оказалось.

Г. Мустафин, очевидно, опасается, что «проза жизни» покажется читателю недостаточно романтической и поэтому избегает конкретного показа труда. Вот инженер приехал на строящуюся электролинию. «Совершенно так надо было рыть, — сказал он и, вынув блокнот, стал чертить в нём, — а вот как». Но автор не говорит о том, как же именно надо было рыть ямы для столбов электропередачи. Это в известной мере его позиция в романе вообще: «не так, а вот как».

Романтична борьба между передовым и отстающим — и это нам показал Г. Мустафин; поэтичен рост человека под солнцем Сталинской Конституции — и это мы видим в его романе. Но повседневный труд

его героев нам неясен, ибо не вскрыт до конца из опасения сделать повествование прозаичным. И в этом существенная ошибка автора, повлекшая за собой все другие: в частности — выделение особой «романтической» линии. Молодой предколхоза Жомарт женат на страстно любимой им красавице — Алме, молодом композиторе. Но Алма ослепла, и это послужило причиной возникновения у Жомарта страстного чувства к лучшей подруге Алмы, Жанат. Жанат также любит Жомарта, но подавляет в себе это чувство из любви и жалости к Алме. Вся эта история, весьма мало связанная с основным конфликтом повествования, написанная сентиментально и слащаво, никак не разрешается и никак не помогает раскрыть характеры героев.

Нам думается, что талантливому писателю Г. Мустафину, смелому открывателю нового в литературе, следует избавиться от ложного украшательства, снижающего реализм его значительных и нужных народу произведений.

Зоя КЕДРИНА.

★

Голос честных людей Америки

«Голос Америки». Эти слова, которыми озаглавлены американские клеветнические радиопередачи на русском языке, стали для миллионов советских людей синонимом лжи и провокационных измышлений.

Но за океаном крепчает и мужает голос другой Америки, голос честных простых американских граждан, чтущих заветы Линкольна и Вашингтона, голос американцев, сознающих, насколько губительна для их страны антисоветская империалистическая истерия политиканов, покорных воле Уолл-стрита.

К таким американцам принадлежит капитан Вальтер Кидд — герой новой пьесы Б. Лавренёва. Один из немногих американских офицеров, которым действительно пришлось сражаться с нацистами, Кидд храбро вёл себя на войне. Президент Соединённых Штатов Америки наградил Кидда почётным орденом — военным крестом первого класса, а советское командование, освещё-

домлённое о подвиге Кидда, наградило его орденом Красного Знамени. Но буквально через несколько минут после вручения высоких наград полковник Хаустон, сожалеющий, что «Россия вышла из войны мощнее, чем была», откомандировывает храброго офицера в Штаты. Причина очень простая: Кидд наивно полагает, «что теперь, после нашей общей победы, наш союз и наша дружба с русскими будут крепнуть», а это, как поясняет Хаустон, «не соответствует сегодняшним задачам нашей политики».

И вот Вальтер Кидд на родине, в сегодняшней Америке, где воздух, как миазмы, отравлен оголтелой антисоветской империалистической пропагандой поджигателей новой войны. «В каждом доме только ты слышишь, что война близка, что русские угрожают Америке», — с тревогой говорит Кидду его жена Синтия. Перед Киддом развёртывается программа главных противников мира.

Мы, советские люди, знаем сущность этой злобной программы, которая предполагает создание мировой американской им-

Б. Лавренёв. «Голос Америки». Драма в 4 действиях, 6 картинах. Журнал «Звезда», № 8, 1949; издательство ВУОАП, 1950.

перии путём насилия и новых войн. В этой программе, как указал Г. Маленков, «Речь идёт не более не менее, как о том, чтобы превратить весь мир в колонию американских империалистов, низвести суверенные народы до положения рабов»¹.

Фанатическим носителем этой — по существу гитлеровской — человеконенавистнической «идеи» является убедительно обрисованный Б. Лавренёвым сенатор Герберт Д. Уилер, наживший состояние на мошеннических спекуляциях валютой в оккупационной зоне, на преступных связях с нацистскими промышленными фирмами во время войны. Кидду ещё в армии довелось слышать антисоветские речи сенатора. А сейчас этот разжиревший на солдатской крови делец поучает семью Кидда так:

«Перед Америкой стоит грандиозная задача — взять под своё крепкое моральное руководство расшатанный и развращённый мир! Его расшатали и развратили красные.. Мы, с нашими здоровыми нервами, с нашим трезвым умом, с нашей демократией, установленной нашими предками и богом, должны стать духовной полицией мира, очищающей его от скверны и греха. В этой роли мы отказываемся от гнилых предрассудков, от архаического уважения к так называемому суверенитету народов и к неприкосновенности границ... Идея порядка не признаёт границ!.. И западная граница Америки лежит сегодня на Енисее, а восточная — на Оби...».

Разве ежедневные сообщения из США не подтверждают полностью жизненность и реальность отвратительной фигуры Уилера? Разве не олицетворяет она злобствующих американских больших и малых поджигателей войны?

И одного слова Уилера достаточно, чтобы Хаустон (теперь уже генерал!) вышвырнул из армии боевого офицера Вальтера Кидда, которого в дни войны американские газеты называли Гектором Америки, чтобы его подвергли унижительному провокационному допросу в Комиссии по расследованию антамериканской деятельности. Когда на этом допросе от Кидда не смогли добиться согласия выступить по радио с «разоблачениями» «агрессивных» намерений русских, в него стреляет убийца, нанятый Уилером.

¹ Г. М. Маленков. Доклад на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1949 года. «Правда» от 7 ноября 1949 года.

Этот выстрел окончательно приводит раненого Кидда к прозрению. Ещё так недавно убеждавший жену, что тот, кто честно служит Америке и имеет свой кусок хлеба, не должен тревожиться за свою судьбу, Кидд прощается с иллюзиями. Он убеждается, как глубоко прав его фронтовой сослуживец коммунист Макдональд в оценке истинного лица современной американской демократии. Эта «демократия» на основании «закона» Тафта — Хартли наградила фронтовика Макдональда пулей из полицейского кольта.

Вальтер Кидд уходит к Макдональду и его друзьям, он хочет порвать петлю, затянутую на горле Америки её хозяевами — империалистами. Кидд надеется, что его голос услышат боевые товарищи, с которыми он на фронте оражался против фашистов.

Судьбу своего героя драматург показывает на фоне типичного для сегодняшней Америки распада американской семьи. Вальтеру Кидду совершенно чужда его сестра Мэрриель — хищница, которая решила любой ценой добиться заключения брачного контракта с откровенным подлецом адвокатом Бутлером. Чужда Вальтеру и его мать, сознающая всё ничтожество и низость Бутлера и тем не менее добивающаяся брака Мэрриель с этим негодяем, зарабатывающим большие деньги провокационными инсценировками для радиопередач «Голос Америки».

Пьесы Б. Лавренёва всегда отличались стройностью драматургической композиции, сюжетной чёткостью, стремительным нарастанием сценического действия, выразительными характеристиками персонажей. И хотя в целом эти признаки свойственны и новой пьесе, не все персонажи, даже первоистепенные, выписаны в ней с достаточной яркостью.

Это, к сожалению, относится в первую очередь к сержанту Макдональду — единственному коммунисту, которого показывает в пьесе драматург. Мы не видим ни одного поступка, который показывал бы нам Макдональда, как активного борца за подлинную демократию. О его прогрессивной деятельности мы узнаём только из его собственных слов. Это обедняет образ Макдональда, верно намеченный, но до конца не решённый автором.

Чисто «служебные» функции несёт в пьесе старуха-мулатка Дороти, нянька в семье Киддов. Это тем более досадно, что некоторые эпизодические персонажи, как, например, взяточник полисмен Брэстэд, автору удалось выпукло и осязательно обрисовать только несколькими репликами в действенных сценах.

После напечатания пьесы в журнале «Звезда» автор не оставил работы над ней. И в тексте, выпущенном издательством ВУОАП заметен ряд серьёзных улучшений и в языке, и в сюжетном развитии. В частности, более тёплым и убедительным стал образ Синтии — простой, честной женщины современной Америки, искренне пытающейся разобраться в том, что творится вокруг, и стойко поддерживающей мужа в его борьбе с Уилерами и Хаустонами. Однако риторичность и слащавость языка Синтии и некоторая показная добродетельность, которой драматург порой язвительно любит, обедняет её образ. Картины пьесы, в которых действует Синтия, затянуты.

В первой картине драматург меткими штрихами показал трагедию Салли — девушки из Вспомогательного женского корпуса США, которая после войны остаётся с ребёнком без крова и хлеба. В конце пьесы Салли появляется уже в качестве жены Макдональда, находящегося на нелегальном положении. Однако драматург чисто механически влетает Салли в развитие сюжета, не делая попытки до конца раскрыть и дорисовать интересно намечен-

ный образ. А ведь Салли будет вместе с Макдональдом и Киддом, бороться за истинную Америку против тех, кто разжигает новую войну, кто сеет в американском народе вражду к советским людям.

Перечисленные недостатки, конечно, существенны. Могут ли они, однако, заслонить основные идейные и художественные достоинства пьесы «Голос Америки»? Конечно, нет! Б. Лавренёв страстно и правдиво написал о гражданине США Вальтере Кидде, который после многих тяжёлых жизненных уроков понял, что битва за Америку — это прежде всего битва с Уилерами и Хаустонами, битва с теми, кто думает не о благе американского народа, а о собственной наживе, и ради этого хочет вовлечь мир в новую войну.

«Главная опасность для рабочего класса сейчас заключается в недооценке своих сил и в переоценке сил противника», — сказал А. А. Жданов в 1947 году¹. Нам кажется, что Б. Лавренёв написал свою новую пьесу, исходя из трезвой оценки сил честных американских людей, которые стремятся помешать кровавым планам поджигателей войны, стоящих сейчас в Америке у кормила власти. Наш читатель, наш зритель встретят эту пьесу, несомненно, с большим интересом.

Ц. СОЛОДАРЬ.

¹ «Информационное совещание представителей некоторых компартий в Польше в конце сентября 1947 года». Госполитиздат, 1948, стр. 47.

★

Новый роман А. Коптяевой

Роман А. Коптяевой «Иван Иванович» уже привлёк внимание читателей, вызвал споры и получил отрицательную оценку в печати («Литературная газета», «Комсомольская правда»). Но критики романа не заметили, что главным для А. Коптяевой является изображение творческого, созидательного труда советских людей, как основы их морально-политического роста.

С увлечением, талантливо пишет А. Коптяева о сложном, благородном, глубоко гуманном труде доктора Аржанова, находящегося на далёком Севере. Быть может,

специалисты-медики найдут необходимым сделать свои замечания касательно профессиональной точности некоторых сцен, но большинство читателей романа будет благодарно автору за то, что он открыл и талантливо показал большой и интересный мир творческого труда, воспел самую профессию врача.

Образ Ивана Аржанова — несомненная творческая удача А. Коптяевой. Мы верим в талант его, нас увлекает горячность его отношения к делу, смелость, пылкость, настойчивость, нас подкупает присущая герою воинствующая гуманность. Иван Иванович — продолжатель славных и бесценных традиций русских вра-

Антонина Коптяева. «Иван Иванович», роман. Журнал «Октябрь», №№ 5, 6, 7, 8 за 1949 год.

чей, настоящих подвижников, отдававших все силы счастью народа. Но Иван Аржанов — человек советской эпохи, он не борец-одиночка, а член великого коллектива людей советского общества, безгранично верящий в силу социалистического строя жизни, знающий величайшую цену труда.

В романе показано, как новаторский, смелый труд доктора получает не только признание в народе, но становится примером для подражания, стимулом роста для многих людей, окружающих доктора. Это очень типичная черта для нашего общества, и она зримо выражена в судьбах и характерах таких героев романа, как молодая якутка Варвара, Никита Бурцев, как муж и жена Хижняк.

Другая творческая удача А. Коптяевой в этом романе — это подлинно современное, партийное раскрытие темы судеб малых народов нашей родины. Эта удача непосредственно связана с первой — и сюжетно, и мировоззренчески. А. Коптяева хорошо знает жизнь народов Севера, умеет передать своеобразие их национального характера. Описания быта в романе не просто этнографичны: в них настоящая поэзия советской действительности. Не много сказано А. Коптяевой о якуте Никите Бурцеве — и однако это образ яркий и примечательный. Честный, прямодушный, Никита Бурцев мечтает быть полезным своему народу, и в том упорстве, с каким он идёт к цели, в его жажде знания выражены новые черты народа, волею революции поднятого к возрождению. Большая удача — образ Варвары, девушки-якутки, смелой, решительной, морально красивой. Хороша сцена разговора Варвары с женщинами — Еленой Хижняк и Павой Романовной. Ровесница Октября, Варвара счастлива не тем, что она сама «вырвалась из своей грязной юрты», а тем, что весь народ её поднят революцией к новому и «ничего не уступит обратно». Радость приобщения к большому, осмысленному труду на благо народа, уверенность в будущем — вот основа деятельного характера Варвары.

Поэтично, с хорошим знанием действительности изображена в романе поездка доктора в тайгу. Превосходно передан А. Коптяевой своеобразный северный пейзаж: огромные, скованные морозом пространства

земли и весеннее бурное распустье в тайге. Слух о выезде доктора Ивана распространился молниеносно, и огромное кочевье съехавшихся со всех сторон людей встречает доктора, безгранично веря, что его высокое ремесло избавит их от недугов. В романе убедительно раскрыто революционизирующее значение деятельности доктора Ивана, творческая сила труда советского человека. Рушится власть шамана, отступают прочь предрассудки; новое входит в жизнь людей. Запомнятся читателям и девочки-якутки, добровольные помощницы доктора Ивана, и охотник Степан, поверивший в силу человеческого знания, и особенно Марфа Антоновна, возглавляющая районный Совет. В образе Марфы Антоновны, для которой «теперь... весь Учухан мой дом» и «все кругом как будто родня», раскрываются типические и в то же время вполне своеобразные черты народного избранника и слуги, человека, мыслящего государственно, мужского и деятельного.

Но сильные, подкупающие правдивостью сцены и образы, к сожалению, чередуются в романе А. Коптяевой со сценами надуманными и образами нежизненными.

И тут в первую очередь надо говорить о центральном конфликте романа — об отношениях Ивана Ивановича и Ольги Павловны, о том, как автор решает тему взаимосвязи труда человека и его личной жизни.

А. Коптяева исходит из правильной, материалистической предпосылки: основой личного счастья человека она считает его общественно-полезную деятельность.

Ольга, жена Аржанова, до 28 лет не нашла для себя дела, металась по курсам, институтам, пыталась найти счастье только в семье, но лишь приобщение к труду дало ей возможность стать счастливой, приобрести уважение людей. История эта сама по себе правдива. Не всем людям удаётся сразу найти своё призвание. Но в нашей стране, где открыты все пути для творческой деятельности, препятствием порой выступают субъективные привычки человека, его заблуждения в оценке своих сил и склонностей. Писатель вправе показать сложность пути человека к его призванию.

И спор читателя с автором начинается с того момента, когда А. Коптяева в решении темы поисков призвания переносит

всю ответственность, точнее даже вину за неустроенность Ольги на Ивана Ивановича. Он, самозабвенно отдающийся делу, проглядел «неустроенность» Ольги, обрек её на жизнь-прозябание, «обескрылил». Этот мотив повторяется в романе на многие лады, варьируется, но во всех случаях Ольга оправдана во всём. Это решение неверное, одностороннее, а из этой односторонности, естественно, вытекают многочисленные отступления писательницы от реалистического изображения действительности в сторону банальной условности, снижающей идейно-художественный уровень романа.

Иван Иванович во всех метаниях Ольги видит блажь и только блажь и, будучи бесконечно занятым, неизменно «отодвигает её в сторону», не замечая её стремления к труду. Ольга по совету инженера Таврова занялась журналистикой. Иван Иванович не только не поддерживает её в этом намерении, но, напротив, иронизирует над ней, а порой и прямо выражает сомнение в успехе её очередного занятия. Если принять во внимание, что за недолгую свою жизнь Ольга с лёгкостью переходила от одного занятия к другому, то сомнения Ивана Ивановича более чем обоснованы. Однако А. Коптяева категорически осуждает Аржанова и всей логикой повествования, и устами секретаря райкома Логунова. Именно Логунову принадлежат слова о том, что «хороший человек» Иван Иванович «обескрылил» свою жену. Именно Логунов предсказывает неизбежность разрыва между ними и полностью оправдывает Ольгу.

В образ главного героя романа этим неправомерным выводом вносится диссонанс. Сильный, творческий человек, с вдохновением отдающийся труду, умеющий возбудить и в других людях жажду труда, — таким выглядит в романе доктор Аржанов. Совсем иным представляется Иван Иванович в личном быту. Это уже не большой, необходимый людям человек, наделённый недюжинным умом и талантом, а человек неустроенный, глупо прозевавший своё счастье, испытывающий холод одиночества, ведущий себя порой даже смешно и нелепо (например, в объяснении с Тавровым и Ольгой), ослеплённый чувством и не умеющий строго анализировать ни свои поступки, ни поведение жены.

Действительно, в жизни может случиться, что, казалось бы, перегозовой в общественном труде человек оказывается отсталым в личном быту, в семье. Писатель имеет все основания раскрыть это противоречие. И тогда неизбежно обнаружится, что отсталость в личном быту не может не повлиять в отрицательном смысле и на общественную практику человека, что где-то и в чём-то этот человек утратит своё право считаться передовиком и в общественном деле.

В романе А. Коптяевой нет объяснений, почему глух был Иван Иванович к запросам и потребностям Ольги, почему многих людей он воодушевлял на большой труд, а здесь, в отношении Ольги, оказался безразличным. Потому-то, радуясь знакомству с доктором Иваном, испытываешь недоумение по отношению к Ивану Ивановичу. Тут образ как бы двоятся, и тема человека—победителя в труде—подменяется иной, темой попранного чувства, «рокового» взаимонепонимания двух людей. Роман, новаторский по своему существу, здесь уступает место роману традиционному, в плохом смысле этого слова, а жизненно-правдивое повествование сменяется надуманным и неубедительным.

Почему автор, кстати сказать, много раз подчёркивающий силу ума своей героини, её талантливость и самобытность, ставит её в положение субъекта пассивного, которого кто-то извне должен толкнуть к труду, за которого кто-то должен обдумать и выбрать, что надо делать? Виня в затагнувшемся кризисе одного Ивана Ивановича и снимая ответственность с самой Ольги, А. Коптяева тем самым — хочет она этого или нет — игнорирует принцип равноправия, на котором зиждется советская семья, и умаляет достоинство советской женщины в своей героине.

Черты пассивности, неопределённости в намерениях и действиях Ольги заслуживали со стороны автора критики, а отнюдь не оправдания, а порой даже восхваления, как это дано в романе. Автор всеми средствами стремится внушить читателям чувство расположения, сострадания к Ольге, веру в её силы и способности, пытается представить её натурой богатой, сложной, с большими запросами. Но в реальном развитии романа намерение автора создать благородный образ женщины, ищущей сво-

его трудового счастья, не получает убедительного воплощения, и то, что А. Коптяева выдаёт за положительное, на деле выглядит совершенно иначе.

Прежде всего, если труд Ивана Ивановича показан А. Коптяевой талантливо, конкретно и увлекательно, во всём его значении для жизни народа, то труд журналистки Ольги в романе почти не показан. Он остаётся лишь условным понятием, нужным для того, чтобы оправдать поведение Ольги во взаимоотношениях с Иваном Ивановичем и, в конечном счёте, её уход к Таврову.

Эта ситуация почерпнута из старой литературной традиции и таит в себе соблазн для писателя пойти по стезе описания «всепоживающей страсти», причём изображение общественной деятельности становится лишь внешней завязкой и первой предпосылкой сближения любящих. Так именно и произошло в романе А. Коптяевой. Таврова, как живого и действующего советского человека, мы в романе не видим. Он только «безумствующий» любовник. В мелодраматических сценах многодневных блужданий ослеплённого страстью Таврова в тайге мастер таёжного пейзажа А. Коптяева на сей раз идёт на описания прямо-таки тривиальные. В минуту просветления сам Тавров думает: «Хорош директор фабрики, который сам себе устроил этакий «отпуск». Вот эти трезвые мысли героя вполне разделяет читатель.

Решение темы эмансипации женщины в русской литературе — у Некрасова, Чернышевского, Л. Толстого — выражало мысль о том, что настоящее освобождение женщины возможно лишь как освобождение человека, а не просто женщины, лю-

бовницы. Эта традиция расцвела и обогатилась в советской литературе. Читая «Ивана Ивановича», становится обидно за А. Коптяеву, за то, что она так скудно, так небрежно показала формирование Ольги в общественного деятеля, что в силу непреодоленных традиций старого предреволюционного романа перенесла центр тяжести на банальное изображение любовных перипетий. Тем самым она обеднила свой роман, лишив его основной конфликт силы жизненной правды.

А. Коптяевой свойственно стремление ставить и решать темы любви, семьи. В своих произведениях она неуклонно следует этому намерению, и постоянство писательницы достойно уважения. И там, где эти темы подчинены главному — изображению новых черт характера советского человека-деятели, где за основу берётся показ его вдохновенного труда — там проявляются новаторские качества творчества писательницы. Но, к сожалению, А. Коптяева делает отступления от этого главного русла своего творчества; любовные связи и отношения приобретают порой значение фатальных, необъяснимых, «роковых», и тут она перестаёт быть новатором в искусстве, а становится «беллетристом». В «Иване Ивановиче» эта резко бросающаяся в глаза разностильность сказывается с полной очевидностью и далеко не на пользу роману.

Отдельное издание его должно быть, с нашей точки зрения, серьёзно и глубоко переработано. А. Коптяева — писательница талантливая; она имеет все данные для создания полноценного романа о советских людях, их общественных и личных отношениях.

Е. КОВАЛЬЧИК.

★

Судьба таланта

В октябре 1925 года необычный поезд, составленный из товарных вагонов всех видов и мастей, одолевал перевалочные участки Закавказской железной дороги. Этим составом, длиной в километр и весом в две тысячи тонн (по тем временам вес рекордный) испытывались автоматический тормоз Кунце-Кнорра, последнее слово не-

мецкой техники, и наш отечественный, советский тормоз конструктора Флорентия Пименовича Казанцева.

Едва отгремела гражданская война, как молодая советская республика обратилась к хозяйственному строительству, к созиданию, и в числе других задач было наметено перевести весь парк товарных вагонов на автоторможение. Необходимо было покончить с допотопным ручным

С. Смирнов. «Династия Казанцевых». Профиздат, 1949.

тормозом и тем самым помочь стране увеличить грузовые перевозки.

К выбору типового тормоза для огромной железнодорожной державы советское правительство подошло со всей серьёзностью. Когда крупная немецкая фирма Кнорр предложила свои услуги в связи с реформой тормозного оборудования в стране, решено было организовать совместные испытания на основе свободного соревнования, которого никогда не боялось и не боится наше государство.

При спуске с Сурамского перевала немецкие тормоза не выдержали, состав разорвался на три части. Казанцев провёл состав блестяще, придерживаясь точно заданной скорости, поразив немецких специалистов плавностью спуска.

Когда начались испытания на Джаджурском перевале, руководитель немецкой группы добился того, чтобы число тормозов было увеличено на 20 процентов по сравнению с решением Международного съезда железнодорожников в Берне. Казанцев же перевалил Джаджур с уменьшённым числом тормозов. «Капут Кунце-Кнорр!» — говорили наши рабочие. И действительно, теперь не могло быть сомнений в превосходстве советской тормозной системы. Победитель испытаний получил «лестное» предложение стать конструктором фирмы Кнорр на любых материальных условиях. Советские люди, — ответил на это Казанцев, — не привыкли менять свою родину на деньги.

За последние годы у нас сделано многое по освоению белых пятен нашего прошлого. Знание народа о самом себе, о стране, об истоках и истории русской техники, культуры расширилось, обогатилось. Книга С. Смирнова «Династия Казанцевых» рассказывает о первых шагах молодой советской техники в области реконструкции железнодорожного транспорта.

Наверное, не один из её читателей ещё подростком, провожая бегущие мимо товарные вагоны, читал повторяющуюся надпись: «Т о р м о з К а з а н ц е в а».

Нелегка была судьба Флорентия Казанцева — талантливого русского изобретателя-самоучки, сына странствующего механика. Паровозный машинист Флорентий Пименович после 1905 года оказался занесённым в «чёрные списки» за организацию демонстрации и хранение большевистской

литературы. Попав в «полу-Сибирь», как прозвали глухую станцию Челкар Ташкентской железной дороги, Казанцев увлёкся рационализацией паровозных приборов, занялся самообразованием.

Авария обнаружила перед молодым механиком несовершенство прославленного тормоза Вестингауза для пассажирских поездов. Основной бедой американской конструкции, царившей в те годы на всех железных дорогах мира, была истощимость. При длительном и многократном торможении резервуары сжатого воздуха пустели, и нужно было определённое время, чтобы дать им наполниться вновь.

Казанцев попытался сначала усовершенствовать тормоз Вестингауза, но скоро отказался от этой идеи и создал свою отечественную, совершенно оригинальную схему тормозного устройства. С помощью группы друзей, работников дело (среди которых не было ни одного инженера) он изготовил необходимые приборы, покупая все материалы на свои личные средства, так как дорога отказалась субсидировать опыты.

И хотя испытания, проведённые в 1910 году в труднейших условиях Бен-Чогурского перевала, наглядно доказали преимущества русского тормоза, чиновники из управления дороги отказались использовать изобретение Казанцева. Как, простой русский машинист из каких-то Челкар вздумал подрывать авторитет Вестингауза, тормозного короля мира! Когда же Казанцев попробовал настаивать, изобретателя объявили маниаком и едва не запрятали в сумасшедший дом.

Такова была судьба таланта в царской России.

Октябрьская революция предоставила рабочему-изобретателю все возможности для развития своего дарования. Казанцев получил базу для экспериментальной работы — завод, крупные ассигнования, помощь профессоров, поддержку наркомата и в частности наркома путей сообщения Феликса Эдмундовича Дзержинского.

Изобретатель помог стране увеличить грузовые перевозки, избавил её от многомиллионных убытков — последствий аварий и крушений, освободил для других работ большое количество людей — тормозильщиков при ручных тормозах. Исполнилась

мечта челжарского машиниста — послужить своим талантом Родине, народу.

По следам Казанцева пошли и другие: хлынул неиссякаемый поток рабочего изобретательства — явление невиданное, невозможное в царской России. Характерно, что за годы 1923—1926 со всех концов СССР поступило свыше 50 предложений только по усовершенствованию тормозов. Рождалось социалистическое отношение к труду, хозяйские отношения к ценностям, ставшим свойственностью народа.

Сегодня стахановец, как правило, рационализатор, а часто и создатель новой — новой технологии, нового конструктивного принципа; предложения рабочих, мастеров, инженеров и техников дают стране ежегодно миллиарды рублей экономии.

Содружество с заводом — характерная особенность советского конструктора. Каждая удача, каждая новая победа Казанцева была одновременно и победой Московского тормозного завода. На заводе считалось честью делать очередную опытную деталь по заданию конструктора. Казанцев до глубокой ночи задерживался на заводе, часто оставался ночевать в конторе или в маленькой комнатке партийного комитета. Изобретатель учился у людей завода и сам щедро наделял молодёжь своим богатейшим опытом, своими творческими «секретами».

Впоследствии известный наш изобретатель, лауреат Сталинской премии, а тогда молодой ленинградский техник Матросов, воодушевлённый почином Казанцева, создал собственную схему тормозного устройства, получил возможность работать несколько лет над её усовершенствованием — и вот в 1930 году на испытаниях тормоз «М» победил «К2», новый доработанный тормоз Казанцева. Советское тормозостроение сделало новый шаг вперёд. Седой ветеран пожал руку молодому изобретателю и благодарил от чистого сердца за отличный тормоз, который получит страна. Сам Казанцев стал работать уже не над пневматическим, а — заглядывая в завтрашний день — над электропневматическим тормозом для скоростных поездов.

Матросову, выросшему при советской власти, уже не приходилось, как Казанцеву, тратить годы на то, чтоб самоучкой приобретать необходимые знания, — он получил специальное образование.

Инженерами стали и сыновья Казанцева. Флорентий Флорентиевич, специалист по дизелям, живёт и работает на Сахалине. Валериян Казанцев, погибший под Москвой в 1942 году, был многообещающим специалистом по тормозостроению. При его участии создано пневматическое устройство для самозакрывающихся дверей в вагонах московского метро. Анатолий — инженер-капитан 3-го ранга, известный на нашем флоте изобретатель. Ни один из них не знал тех препятствий, которые пришлось преодолевать в молодости их отцу.

Работы над электропневматическим тормозом Казанцева продолжали брат изобретателя Владимир Казанцев и сын Валериян, а завершила дело уже после смерти Флорентия Пименовича (умер в 1940 году) группа молодых конструкторов, которые приняли из его рук чертежи, как принимают эстафету.

Основанная на фактах, книга С. Смирнова лишней раз служит подтверждением простой мысли, которую никак не могут усвоить и перевернуть наши недруги за рубежом, что главным в коммунизме является, как учит великий Ленин, организация экономических и производственных отношений общества на более высокой технической и научной основе, чем организация капитализма.

Книгу С. Смирнова правильнее было бы, пожалуй, назвать «Глава династии». Сыновья Флорентия Пименовича даны бегло, сравнительно бледно. Их затмевает удавшаяся автору яркая фигура старого изобретателя. Этот пробел стбит и можно восполнить.

Книга читается легко, написана популярно. Однако наряду с живыми деталями (ведро с молоком, которое не расплескалось во время испытания советского тормоза) у молодого автора есть досадные штампы, стёртые неживые формулы, как например: «Казанцев жадно прислушивался к скупым чеканным словам старика». Поверхностна и примитивна глава «Депутат райсовета», посвящённая Валериану Казанцеву.

С. Смирнову можно посоветовать углубить написанное и привлечь новый материал при втором издании этой интересной и полезной книги.

Н. СОКОЛОВА.

Книга старшего друга

Живой, многообразный в своём единстве мир встаёт со страниц повести М. Прилежаевой «С тобой товарищи». Это мир советских школьников, волнующихся за судьбу негров из штата Алабамы, гордых за свою родину и за свой класс, мир, где воедино слиты урок, пионерский сбор, комсомольское собрание и жизнь семьи. Это атмосфера открытий и достижений. Какой подвижной оказывается жизнь под взглядами этих пытливых ребят, ищущих истину новых отношений между людьми, истину нового человека. Открытия совершаются непрерывно. Оказывается, что старое правило дружбы «нельзя всем против одного» — неверно. «Всем против одного можно, если один неправ». Неожиданно оказывается, что человеческая жизнь может быть более ёмкой, чем представлялось прежде.

— Ты не знаешь, — спросила Юлька, — у человека бывает одна в жизни цель или много?..

— Цель бывает одна...

— И я тоже так думала. Не знаю, как быть. У меня получается много.

Это атмосфера творческих поисков, вдохновенного труда, стремления к высокому подвигу. Преподаватель Конституции Марина Григорьевна вкладывает в урок столько «дум, труда, вдохновения, мечты», что каждый час, проведённый ребятами с учительницей, делает их «чутьку старше, умнее, взволнованнее и душевно богаче».

Четырнадцатилетний школьник Костя Гладков, став пионервожатым, знает, что первый сбор должен быть необыкновенным. Вихрастая забияка Юлька изучает шахматные партии мировых мастеров «а-на-литичес-ки» и добивается первенства на школьном турнире. Мать Саши Емельянова делает сложнейшие хирургические операции.

Служение общему делу, связь с коллективом — источник упорства и вдохновения для героев повести. Поэтому дело одного становится делом другого. Костя Гладков думает не о том, чтобы отличиться. Он знает, что скучный сбор отобьёт у ребят интерес к пионерской работе, и ему помогают в подготовке этого сбора сестра Юлька и одноклассник Саша Емельянов.

У Саши, идеалом которого является Сергей Тюленин из романа «Молодая гвардия», рождается идея первого сбора. Юлька всю ночь перед сбором трудится вместе с братом. Юлька сражается за честь школы и мечтает сразиться за честь Родины, считая, что «советская шахматистка должна стать мировым чемпионом». И за неё, за её высокую мечту «болеют» школьные товарищи. Сашина мама думает о жизни людей — сын и его друзья стараются, как умеют, охранить её покой. Вдохновению трудится и сам Саша. Старая учительница физики разбила на уроке вольтметр. Комсомольцы решили подарить любимой учительнице новый прибор. Саша берётся сделать вольтметр. Мальчик познаёт радость созидания, когда груда фанеры, жести, гвоздей, подчиняясь его мысли, превращается в прекрасный прибор.

Ребята восхищены. «Какой большой, какой счастливой наградой за труд было это благодарное молчание товарищей».

М. Прилежаева хорошо знает советскую школу. Автору этой рецензии пришлось познакомиться с жизнью комсомольского клуба 529-й московской школы. Как гордится своими талантами — юными скульпторами, поэтами, шахматистами — этот дружный коллектив! Из номера в номер стеновой газеты «Клубист» идут дискуссии на темы: «Наш идеал советской девушки и советского юноши», «Что прекрасно в искусстве и жизни?», «Что твой любимый герой?». Школьники пишут: «Хотим быть, как Сергей Тюленин». В клубе издаётся рукописный журнал «Универсал» с обещающим подзаголовком: «Общеобразовательный журнал 10 класса с отделами всевозможных наук». Бурный период первоначального накопления знаний и верований! Таков тот мир, в котором живёт и герой повести — пионер Саша Емельянов. Саша чувствует себя «самым счастливым на свете». Первый конструкторский успех, признание товарищей.

И именно в этот момент происходит крушение. В Саше неожиданно открывается новая сторона. Он отказывается дарить вольтметр учительнице от имени класса. Он хочет сам подарить прибор. Триумф Юльки на турнире вскружил ему голову. Он тоже желает личной славы. Радостный

мир, в котором жил Саша, распался. Товарищи отворачиваются от него. Он совершенно один. Он глубоко несчастен. Что произошло? Почему Юлькина слава приносит ей радость, а Сашино стремление к славе оборачивается позором? Здесь вступают в права законы советского общества, где личность обретает себя только в коллективе, а противопоставление себя коллективу ведёт к крушению. Юлькина слава — честь школы, Саша же противопоставил себя и свою славу — классу. Заблуждение Саши не случайно. В нём отражена борьба старого и нового представления о месте человека в обществе. Комсомольское собрание обсуждает поведение Саши. Председателем собрания выбрали Юру, но председателю кажется, что обсуждают его самого. Загляни в себя, — честно и прямо говорит М. Прилежаева молодому читателю, — может быть вместе с Сашей судят и тебя?

Комсомольское собрание, которое обсуждает вопрос о принятии Саши в комсомол, сурово. Здесь говорят о комсомольской чести и гордости, о целности комсомольского характера, о долге, о служении родине. И автор взволнован не меньше, чем непримиримый комсорг класса Борис Ключарёв. Однако собрание не только судит Сашу. Собрание борется за него. Комсомольский коллектив верит в себя, и, дав Саше понять всё, что с ним произошло,

принимает его в комсомол. Всякий раз, когда совершается победа общих, больших интересов над интересами мелкими, частными, автор ощущает жизнь как праздник — Я теперь знаю, что совершенно не могу жить один, — говорит Саша, благодарный своим строгим товарищам.

В основу сюжета повести положена история с вольтметром. Но убедительность книжки состоит в изображении той творческой среды, в которой разворачивается её сюжет.

Решение проблем дружбы, этики и морали не самоцель. Они решаются во взаимодействии со всем творческим процессом жизни. Чёткий крепкий сюжет выгодно отличает новую работу М. Прилежаевой от близкой по теме прежней её книги «Семиклассницы». В новой работе М. Прилежаевой меньше сентиментальности. Встречаются в повести ещё излишества в языке, невыразительные, общие фразы, штампы. В дурном смысле традиционные образы добродушной ворчуньи Марфы и Лёни Пыжова — зеркала всех ребячьих пороков. Однако не эти недостатки решают при оценке книги. Книга в целом говорит о том, что литературное умение вдумчивого автора растёт. Новая повесть М. Прилежаевой написана не снисходительным взрослым, а взволнованным старшим другом советских школьников.

Ю. КАПУСТО.

★

История. Международные отношения. Военная наука

Американский легион — штурмовой отряд реакции

Штаб американской реакции — Уолл-стрит — с особой тщательностью охраняет от нескромных взоров закулисную сторону возникновения и деятельности Американского легиона. Уолл-стрит создал и настойчиво стремится сохранить легенду, представляющую Легион в качестве «независимого» объединения участников мировой войны, призванного «охранять и защищать конституцию Соединённых Штатов, поддерживать закон и порядок, содействовать установлению мира и благополучия на земле» (из устава Легиона). Между тем множество фактов неопровержимо свиде-

тельствует о совершенно иных, противоположных целях этой организации.

В недавно вышедшей в США книге Джастина Грея «Правда об Американском легионе», в его же статьях, опубликованных в журнале «Нью рипаблик», в ранее вышедших книгах «Американский фашизм» Джона Спивака и «1000 американцев» Джорджа Сельдеса впервые приподнята завеса над тем, что в действительности представляет собой Американский легион. Джастин Грей — в недалёком прошлом один из руководителей Легиона — прямо утверждает, что Американский легион является «крупнейшей организованной угрозой демократии в Соединённых Штатах в настоящее время».

Д ж а с т и н Г р е й. «Правда об Американском легионе». Издательство иностранной литературы, 1949.

Реакция создала Легион в качестве вспомогательной силы для борьбы с растущим революционным движением, во-первых, и чтобы взять под своё влияние будущих ветеранов войны, во-вторых. Ку-Клукс-Клан и Американский легион — это братья-близнецы американского фашизма.

«С самого начала своего существования, — признаётся Грей, — Американский легион находился под господством крупных магнатов». Он приводит имена многих видных финансистов и промышленников, которые направляли деятельность Легиона в начальной фазе его существования.

Особенно тесные связи Легион установил с Национальной ассоциацией промышленников. Из 29 «национальных командиров» Легиона, избираемых ежегодно, 26 были ставленниками Ассоциации.

Уолл-стрит оказывает Легиону систематическую финансовую поддержку. Само возникновение Легиона и вся его последующая деятельность стали возможными только лишь благодаря крупным денежным средствам, отпускаемым американскими капиталистами. Солидным источником доходов Легиона являются систематически помещаемые в его периодических изданиях рекламные объявления многих американских корпораций. В 1948 году Легион получил от Национальной ассоциации промышленников 20 миллионов долларов в так называемый «фонд американизации».

Столь же тесно Легион связан с правительственной верхушкой и администрацией отдельных штатов. По данным, приводимым Спиваком и Греем, в Легион входят: нынешний президент США Трумэн, 5 министров, генеральный прокурор, 3 члена Верховного суда, 44 сенатора, 195 членов палаты представителей и 26 губернаторов штатов. Через свои «местные посты» Легион имеет возможность оказывать сильнейшее влияние на действия властей.

«Под прикрытием борьбы с коммунизмом, — пишет Грей, — лидеры Легиона проводят программу, во многом напоминающую действия Гитлера». Свою приверженность фашизму открыто высказывали многие руководители Легиона. Ещё в 1922 году Элвин Оусли, один из «национальных командиров», заявил: «Фашисты в Италии — то же самое, что Американский легион в Соединённых Штатах».

В период первого президентства Рузвельта лидеры Легиона по указке Уолл-стрита организовали заговор с целью фашистского переворота. Они пытались привлечь к участию в заговоре отставного генерала Батлера. Тот отказался стать изменником и раскрыл весь замысел. Но плутократия использовала всё своё влияние, чтобы воспрепятствовать расследованию фашистского заговора, и, как известно, это ей вполне удалось. Тогда Батлер решил предупредить общественное мнение о фашистской угрозе. В своём выступлении по радио он раскрыл подлинное лицо Легиона.

В 1938 году в США вновь была сделана попытка фашистского переворота, возглавить который должен был отставной генерал-майор Мосли.

«Высокие цели», записанные в уставе Легиона, в своём практическом преломлении означают борьбу с рабочим и фермерским движением, подавление прогрессивной интеллигенции, расправу со всеми не «сто-процентными американцами». В этой области деятельность Легиона знаменуется применением чисто фашистских методов. В «активе» Легиона — избития и убийства передовых рабочих, разгром редакций прогрессивных газет, организация штрейкбрехерских банд. Борьбу против демократического движения Легион ведёт в тесном контакте с реакционным руководством Американской федерации труда и Конгресса производственных профсоюзов, под непосредственным руководством Национальной ассоциации промышленников и Национальной ассоциации фермеров — организации крупного капитала, действующей в сельском хозяйстве.

Реакция рассматривает Легион как силу, которую можно использовать для вооружённого подавления забастовок, беспорядков и других «социальных инцидентов».

Значительна роль Легиона в качестве поставщика штрейкбрехеров для промышленников. Американский журнал «Тайм» в 1935 году по этому поводу писал: «Бойня в Сентрейлин (штат Вашингтон) утвердила за Американским легионом славу самой мощной штрейкбрехерской организации в стране».

В послевоенное время Легион стал проявлять ещё большую активность на «фронте борьбы» с «внутренним врагом». В печати то и дело публикуются сообщения об антидемократических действиях Легиона. Мо-

лодки в темносиних пилотках¹ нападают на помещения левых организаций, срывают митинги прогрессивных граждан, пуская при этом в ход не только кулаки, но и химические бомбы и оружие. Банда фашиствующих хулиганов из Легиона 27 августа 1949 года совершила нападение на слушателей концерта Поля Робсона в Пикскиле. Бандиты намеревались линчевать Поля Робсона.

Американский легион располагает собственной секретной службой, которая ведёт свою работу в полном взаимодействии с системой государственного сыска. Эти связи возникли ещё при организации Легиона. Небезызвестный Вильям Доновен, возглавлявший в минувшую войну «Бюро стратегической информации», был одним из основателей Легиона. Журнал «Кен» однажды опубликовал статью, в которой разоблачались связи секретной службы Американского легиона с государственными контрразведывательными органами США.

Интересные данные по этому вопросу приводит в своих статьях и в книге Джастин Грей. Глава федеральной контрразведки Эдгар Гувер выделил для постоянной связи с Легионом и по существу для руководства его секретной службой одного из своих помощников — главного следователя Ли Пеннингтона.

Не менее тесными являются связи Легиона на этом поприще с пресловутой Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности.

Одной из основных задач Легиона является идеологическое воспитание легионерской массы и пропаганда третьей мировой войны. Для руководства этим делом создан специальный «Комитет по американизации». В распоряжении комитета находится большая пропагандистская машина: он издаёт два журнала, проводит специальные радиопередачи, большое количество специальной пропагандистской литературы систематически рассылается местным организациям Легиона.

Американская плутократия всеми способами культивирует в легионерской среде самые низменные, аморальные и зверские инстинкты. Наглядным показателем итогов этой «обработки» легионеров являются их съезды. Местопребыванием штаб-квартиры

Легиона служит город Индианополис (штат Индиана), но его федеральные сборища происходят и в других городах Америки. Так, во время съезда Легиона, состоявшегося летом 1947 года в Нью-Йорке, его жители имели возможность наблюдать, как банды хулиганов, именуемых легионерами, совершенно безнаказанно бесчинствовали на улицах города. Дикая разнузданность легионеров была запечатлена на многочисленных фотоснимках, напечатанных американскими газетами и журналами.

Во время съездов легионеры не только пьянствуют и бесчинствуют. Они занимаются и более опасными делами. Трибуна последнего съезда Американского легиона была широко использована его хозяевами для пропаганды третьей мировой войны, для разжигания в стране шовинистических настроений.

Состав Американского легиона не однороден как по социальному признаку, так и по политическим убеждениям. Несмотря на то, что сплошь реакционное руководство Легиона сумело развратить фашистской идеологией значительные массы ветеранов, среди них можно встретить и лиц, находящихся в оппозиции к политике правительства США. Наличие таких элементов в рядах Легиона выявилось, например, во время некоторых забастовок, когда были случаи отказа со стороны ветеранов выступать против бастующих рабочих.

По окончании второй мировой войны эти оппозиционные настроения усилились. Даже на съезде в Нью-Йорке в 1947 году, куда отбирались наиболее проверенные в «идеологическом отношении» легионеры, в дым всеобщего шовинистического угара прозвучали трезвые голоса. По сообщениям печати, с предостережениями против военного психоза выступил на съезде и бывший «национальный командор» Легиона Луи Джойсон. Бывший морской министр Даниэльс призвал ветеранов «не подливать масла в огонь истерическими проповедями во имя войны, а поднять голос протеста против духа войны».

А. Я. Вышинский в своём выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи организации Объединённых наций 18 сентября 1947 года заклеил поджигателей войны из среды американской реакции, в том числе и застрельщиков войны из Американского легиона.

В. МИНАЕВ.

¹ Темносиняя пилотка с вышитым названием «поста» (местной организации) указывает на принадлежность к Легиону.

О чём же говорят немецкие генералы?

Несколько лет тому назад автор этих строк представилась возможность присутствовать на допросе повешенного впоследствии военного преступника фашистского генерала Иодля. Советский представитель в Международном Военном Трибунале допрашивал бывшего военного советника Гитлера о поведении фашистских генералов на Восточном фронте. Иодль сидел у стола, заложив ногу за ногу, и исподлобья глядел на следователя. Он был острожен в своих словах, лаконично и уклончиво отвечал на вопросы. Только раз за время всего допроса Иодль не выдержал и сорвался. Следователь предъявил Иодлю приказ генерального штаба «О будущности Петербурга». Там говорилось: «После поражения Советской России нет никакого интереса для существования этого большого населённого пункта... С нашей стороны в этой войне нет заинтересованности в сохранении хотя бы части населения этого большого города».

Иодль подтвердил достоверность приказа, а потом, забывшись на миг, произнёс: «Во время блокады мы видели, как дымились заводские трубы. Для нас навек останется позорным пятном то, что мы не смогли разрушить Ленинград...»

Я перехватил взгляд преступника, украдкой брошенный на советского следователя. Сколько бессильной злобы, сдавленной ярости было в этом взоре! Даже здесь, в нюрнбергской тюрьме, преступник с сожалением вспоминал о том, что ему не удалось завершить своих преступлений.

Иодль был только одним из многих представителей военно-фашистской клики, на которую надёжно опирался Гитлер в своих авантюрах. Быть может, об этом не стоило бы и вспоминать, если б за последнее время в зарубежной печати не появились добровольные адвокаты, защитники германских милитаристов. Среди них не последнее место занимает английский военный обозреватель капитан Лиддел Гарт, известный ещё своими довоенными связями с германо-фашистским генералитетом. Изпод пера этого автора не так давно вышла объёмистая книжица под заголовком «Что

рассказывают немецкие генералы». Автор задался недостижимой целью — обелить своих подопечных военных преступников — гитлеровских бандитов, представить их в роли безупречных рыцарей и джентльменов.

Защита германских милитаристов нужна англо-американским агрессорам, подобравшим себе в услужение этих гитлеровских последышей. Выгораживая преступников, бравый капитан беззастенчиво клеветает на Советскую Армию, беззастенчиво фальсифицирует события недавнего прошлого.

Уже в предисловии к своему адвокатскому «труду» автор, следуя примеру Черчилля, проливает крокодиловы слёзы по поводу судьбы пленных фашистских генералов, которые больше похожи на безобидных «директоров банков или гражданских инженеров». Лиддел Гарт не блещет особой оригинальностью. Подобно другим летописцам-фальсификаторам, он сваливает всю вину только на одного Гитлера. Автор охотно взял бы и Гитлера под свою защиту, да слишком свежи в памяти народов фашистские преступления. Но и для «фюрера» уже находятся у него тёплые и сочувственные слова. Бесноватого ефрейтора он сравнивает с Наполеоном, восторгается им, как «блестящим стратегом». Но своё основное внимание Лиддел Гарт уделяет «Добродетелям» немецкого генштаба и фашистских генералов. «Широко распространённое убеждение, — пишет он, — в том, что генералы представляют не меньшую опасность, чем Гитлер, что они делают ответственность с ним за агрессивные действия Германии, сейчас устарело».

В своём усердии обелить злодеев он пишет, что германо-фашистская военщина во время гитлеровских походов «...соблюдала правила ведения войны даже лучше, чем прежде». Автор начисто отрицает участие фашистского генштаба в подготовке гитлеровских агрессий. А ведь в действительности не было ни одной международной авантюры, затеянной Гитлером, которая предварительно и во всех деталях не разрабатывалась бы в стенах генерального штаба. Преступники в генеральских мундирах были полностью посвящены во все секретные планы кровавого фюрера. Они одобряли их, разрабатывали и осуществля-

L i d d e l H a r t. „The german generals talk“. Wil-
liam Morrow Ed. New-York, 1948. (Л и д д е л Г а р т.
«Что рассказывают немецкие генералы». Изда-
тельство Морроу, Нью-Йорк, 1948).

ли. Разве важно, кто к кому пришёл первым — милитаристы к Гитлеру, или Гитлер к немецким генералам. Суть в том, что они составляли одну преступную шайку. Ведь ещё перед захватом Гитлером власти немецкие генералы пригласили его к себе на секретное совещание. Там присутствовало 33 генерала — цвет германской военщины. Гитлер, не таясь, рассказал тогда о своих целях. Генерал фон Бломберг, которого Лиддел Гарт именует в своей книге «приятным собеседником, лириком, рыцарем и джентльменом», сказал Гитлеру от лица всей военщины:

— Господин Гитлер, мы рассчитываем на вас!

Планы милитаристов целиком совпадали с замыслами Гитлера. Их союз был заключён ещё до прихода Гитлера к власти. И как бы ни пытался Лиддел Гарт оторвать фашистов-правителей от фашистов-генералов, — результат будет тот же: фашизм и военщина составляли одно целое — это змеинный клубок без конца и начала.

Но любопытна одна деталь, которой мимоходом касается Лиддел Гарт. По его словам, в начале душевных бесед с немецкими военными, когда генералы ещё сомневались в смерти Гитлера, они уклончиво отвечали на вопросы и не решались отрицать своих тесных связей с фашизмом. А что если и впрямь обнаружится «фюрер» и расскажет, как в действительности было дело! Только позже, утвердившись в мнении, что Гитлера нет, что он не сможет их выдать, генералы-фашисты начали поддакивать Лидделу Гарту, стали утверждать, что они всегда были истыми демократами и боролись с фашизмом. Автор не жалеет красок для гримировки военных преступников. «Симпатичный» Роммель, «человек глубокого ума» Гальдер, «джентльмен до мозга костей» Рунштедт. Даже мародёр и палач Манштейн, который снимал часы и кольца с расстрелянных, замученных советских людей, и того Лиддел Гарт преподносит, как «способного генерала».

Клеветник-историк пытается опорочить роль Советской Армии в борьбе с гитлеризмом, приписывая несуществующие военные заслуги поставщикам овинной тушонки. Но, сам того не желая, Лиддел Гарт проговаривается порой о взаимных симпатиях Гитлера и англо-американских реакционеров.

Он признаётся, что «блестящая» эвакуация британских войск из Дюнкерка в Англию была осуществлена не в результате каких-то стратегических способностей английского командования, а в результате оказанной им помощи... со стороны Гитлера. Он так и пишет: «Их спасло вмешательство Гитлера, когда ничто другое не могло бы им помочь. Приказ, неожиданно отданный Гитлером по телефону, остановил бронетанковые силы как раз в ту минуту, когда они были в виду Дюнкерка, и держал их в неподвижности, пока отступающие англичане не достигли порта и не выскользнули у них из рук». «Гитлер не желал завоевывать Англию», — заключает Лиддел Гарт. Своего основного, главного врага Гитлер видел в Советской России. Англию Черчилля он продолжал считать своим вероятным союзником в предстоящей борьбе.

Расточая в изобилии комплименты по адресу фашистских генералов, превознося их «моральные» качества, Лиддел Гарт в то же время заботливо выписывает ответные комплименты битых генералов командованию англо-американских войск. Действительно, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку! «Монтгомери и Паттон были лучше всех, — кокетливо расшаркивается Рунштедт. — Фельдмаршал Монтгомери был очень симпатичен». Даже последний германский контрудар на Западном фронте в Арденнах, когда в результате просчётов англо-американского командования войска союзников едва не были поставлены перед катастрофой, автор умудряется представить, как англо-американский стратегический успех. Только наступление советских войск избавило союзные армии от ещё более серьёзных поражений. О роли Советской Армии в восстановлении положения на Западном фронте автор вообще не упоминает. Больше того, арденнский контрудар немецких войск он вообще пытается изобразить как ничего не значащий эпизод. Тогда почему же Черчилль посылал такие паиницеские телеграммы товарищу Сталину, почему он так тревожно оценивал сложившуюся обстановку, взывая о срочной помощи? «Удар, которым союзники были потрясены сильнее, чем когда-либо с 1942 года, — пишет Лиддел Гарт, — не был столь тяжеловесен, как они это изображали в то время».

Подобной фальсификацией истории вой-

ны изобилует вся книга Лиддела Гарта. Поражение гитлеровских армий под Москвой он объясняет... отсталостью России: там-де были плохие дороги. Морозами, грязью, дождливой погодой объясняет он разгром гитлеровских армий в России. А разве победоносное наступление советских войск не происходило при любой погоде, в стужу и слякоть, в зной и распутицу?

Даже наличие такого мощного оружия, как гвардейские миномёты, любовно прозванные нашими солдатами «Катюшами», Лиддел Гарт вместе со своими подопечными фашистами объясняет... отсутствием артиллерии у Советской Армии. Он так и пишет: «С целью компенсировать нехватку артиллерии им пришлось пользоваться миномётами, поставленными на грузовики»...

Злобствующий клеветник теряет всякое чувство меры. «Гитлер потерпел поражение в своей игре в Россию, — сокрушённо пишет он, — потому что не был достаточно смел». Здесь уже чувствуется науськивание современных поджигателей войны: действуйте смелее, нападайте на Россию. В припадке бешеной злобы автор хочет забыть, что события происходили не так, как хотелось бы Лидделу Гарту и его хозяевам.

В конце своей книги он проговаривается ещё об одной детали, характеризующей истинные отношения фашистских генералов и их англо-американских коллег. Он невольно признаётся, что после открытия второго фронта «большинство германских командующих было озабочено не тем, чтобы приостановить наступление союзников, а тем, что союзники наступают слишком медленно и не заканчивают быстрее войну». Стремительное наступление советских

войск вызывало всё большую тревогу среди германских фашистов, и они искали спасения в англо-американском лагере.

Во время посещения одного из курортов Западной Германии, превращённого в лагерь пленных фашистских генералов, Лиддел Гарт начал извиняться перед ними за то, что они находятся в таких «тяжёлых» условиях. Его собеседник генерал Мантейфель ответил: «Да что вы, могло быть хуже. Я думал, что следующую зиму мы проведём на пустынном острове». Но получилось иначе. Военные преступники, виновники неслыханных народных бедствий, палачи и убийцы получили «повышение по службе». Их с распростёртыми объятиями приняли к себе современные поджигатели войны. Сначала фашистские генералы «обобщали опыт» войны с Советским Союзом, а потом заняли места в военных штабах различных антисоветских блоков — их снова привлекли к восстановлению фашистской армии в Западной Германии. Генералы Гудериан, Гальдер и многие другие не за страх, а за совесть служат теперь новым хозяевам. Они не чувствуют различия между старой и новой службой...

Так о чём же всё-таки рассказывают немецкие генералы? Они говорят то что нужно поджигателям из Лондона и Вашингтона. Взявшись за перо, Лиддел Гарт заранее знал, что скажут ему генералы-фашисты. Но клеветника и фальсификатора постигла неудача. Фашистские убийцы остаются убийцами, так же, как исторические факты остаются фактами, как бы ни пытались извратить их продажные «историки».

Юр. КОРОЛЬКОВ.

★

В новой Болгарии

Нам посчастливилось побывать в новой Болгарии и своими глазами видеть, как освобождённый болгарский народ под руководством коммунистической партии строит величественное здание социализма.

Страна впервые в своей многовековой истории переживает подлинную весну народной жизни. Это находит своё отражение во всём: в весёлом говоре народа, в его словно прорвавшей плотину огромном

Ф. Т. Константинов. «Болгария на пути к социализму». Госполитиздат, 1949.

энтузиазме и жизненном оптимизме, в строительстве новых промышленных предприятий, железных и шоссежных дорог, в новых театрах, в новых пьесах, в бурлящем ритме жизни болгарской столицы и любой самой глухой деревушки.

О новой Болгарии рассказывает книга Ф. Константинова. Автор последовательно излагает историю болгарского народа, историю его дружбы и братства с русским народом.

Спокон веков болгарский народ подвергался систематическому ограблению. Менялись грабители, а судьба народа оставалась неизменной: он влачил нищенское существование. Ещё в прошлом веке правители Болгарии отдали страну на разграбление западноевропейскому капиталу. К 1900 году в Болгарии было 266 иностранных предприятий, хозяева которых стали диктаторами болгарской экономики.

Бесцеремонная колонизация Болгарии продолжалась вплоть до начала второй мировой войны. В последний период за эксплуатацию богатств страны взялись германские хищники. К 1937 году в финансовом балансе Болгарии 41,2 процента составляли иностранные капиталовложения. К 1944 году доля иностранного капитала достигла почти 60 процентов. Другими словами, в это время Болгария была фактически полуколонией германского империализма со всеми вытекавшими отсюда последствиями: промышленные ресурсы страны работали на Германию, в руках германских монополий находилась почти вся промышленность и торговля. Народ был ввергнут в нищету, у него были отняты все права. Продажная правящая клика Болгарии втянула страну в преступную гитлеровскую авантюру против русского народа — извечного друга болгарского народа. В стране был установлен варварский фашистский режим, вызывавший в народе гневное негодование. По наущению гестапо за годы второй мировой войны было истреблено свыше полутора миллионов болгарских патриотов. Страна к 1944 году находилась на краю национальной катастрофы, от которой её спасли Советская Армия и народное восстание 9 сентября 1944 года. Ныне Болгария стала на новый путь исторического развития, на путь строительства социализма.

За последнее пятилетие буквально обновились страна и вся жизнь её семимиллионного народа. Коренные изменения произошли не только в экономике Болгарии, но и в сознании народа, который воочию увидел свою силу и стал полновластным хозяином своей судьбы.

Народно-демократическая димитровская Болгария в братском союзе и тесном сотрудничестве с Советским Союзом и народно-демократическими странами смело идёт

вперёд по пути к социализму. Страна стала — по выражению одного из руководителей болгарской компартии — огромной мажистерской, где народ сам куёт своё светлое будущее.

Вся Болгария охвачена необычайным трудовым подъёмом. Тысячи и тысячи трудящихся участвуют в социалистическом соревновании, стали ударниками. В результате — успешно выполнен первый двухлетний народнохозяйственный план. Промышленность Болгарии превысила довоенный уровень на 71,5 процента. В стране уже нет безработных. Первый пятилетний народнохозяйственный план ставит, как главную задачу, — путем индустриализации и электрификации, развития кооперации в сельском хозяйстве — заложить в стране основы социализма. Во всей этой созидательной работе болгарский народ получает неизменную поддержку своего великого друга — Советского Союза.

Каждый болгарин знает, что СССР помог его родине завоевать свободу и изо дня в день помогает ей строить новую, счастливую жизнь. Вот почему многочисленные советские делегации, побывавшие в Болгарии, полны впечатлений об искренней дружбе, сердечности и подлинном братстве между двумя странами. Писатель Н. Тихонов сказал: «Никогда в своей жизни мне не приходилось так много целоваться, как в Болгарии». Поэт Сергей Михалков в одном из стихотворений, написанном в Болгарии и озаглавленном «Песня дружбы», говорит:

Народ Советского Союза
Пример болгарскому даёт,
И наши дружеские узы
Никто ничем не разорвёт!

Успехи демократической Болгарии особенно рельефно видны на фоне обнищания югославского народа, который предала клика изменника Тито — агента американского империализма. Все свои большие достижения болгарский народ связывает с руководством коммунистической партии, благородные идеи которой стали законом жизни освобождённой страны. В деревне Лютиброд, что в 120 километрах от Софии, во время выборов в Великое Народное Собрание 813 человек из 814 отдали свои голоса коммунистам. Вот что сказал нам о коммунистах старик крестьянин: «Надёжные

люди, правильные люди, им и отдали мы свой голос. Нашу деревню с 1923 года трижды сжигали жандармы, но теперь настал наш праздник — у нас электричество, телефон, средняя школа, проведена железная дорога, построена станция. Спасибо партии и её вождю — Георгию Димитрову. Спасибо Сталину родному».

Болгарский народ разоблачил и покарал изменников, шпионов и предателей — Трайчо Костова и его сообщников. Тесно связанные с фашистской кликой Тито, они пытались оторвать Болгарию от СССР и стран народной демократии и превратить её в колонию американского и английского империализма.

Книгу Ф. Константинова о новой Болгарии с интересом и пользой прочтёт советский читатель — искренний друг болгарского народа.

Страна Христо Ботева, Дмитрия Благоева, Георгия Димитрова имеет не только многовековую историю, но и обладает огромным политическим опытом борьбы со своими угнетателями и поработителями. Как знамя, из поколения в поколение передаются вещие слова Христо Ботева:

Тот, кто пал в борьбе за свободу,
тот не умирает.
Его жалеет небо и земля,
зверь и природа,
и певцы о нём песни поют.

В. МОЧАЛОВ.

★

Ватикан на службе Уолл-стрита

Ватикан искони известен, как гнездо чёрной реакции. Старая и яростная ненависть князей католической церкви к общественному и культурному прогрессу нашла своё выражение на современной политической арене в борьбе Ватикана против Советского Союза и стран народной демократии. Ещё сто лет назад К. Маркс и Ф. Энгельс в «Коммунистическом манифесте», перечисляя врагов коммунизма, первым назвали римского папу.

Всё своё политическое влияние, весь аппарат католической церкви вопреки воле миллионов рядовых католиков Ватикан поставил на службу фашизму. После разгрома гитлеризма Ватикан перешёл на службу американским монополиям, видя в них главную опору в своей извечной антинародной политике. Его усердие было оценено. Американская и западноевропейская реакционная печать запестрела статьями в защиту и оправдание политики Ватикана. Однако, восторгаясь ею, такие органы печати, как, например, американский журнал «Юнайтед нейшнс уорлд», невольно обнажают перед народами мира архиреакционную сущность политического курса Ватикана. То, что издателям этих органов печати кажется белым, давно признано чёрными народными массами чёрным.

Tibor Kevés. „Inside report on the new crusade“. „United Nations World“, september, 1949.

А в р о М а н х э т т э н. «Ватикан. Католическая церковь — оплот мировой реакции». Государственное издательство иностранной литературы, 1948.

Американский журнал «Юнайтед нейшнс уорлд» поместил статью своего редактора Тибора Кевеша «О новом крестовом походе». Статье предпослано примечание редакции, в котором недвусмысленно вскрыты цели специальной поездки в Рим Тибора Кевеша.

Тибор Кевеш был послан в Рим для того, чтобы исследовать, насколько подготовлены силы Ватикана к битве, которую задумано было дать силам демократии в 1950 году, объявленном папой «святым годом». Католики всех стран мира должны будут, согласно недавно изданной папской булле, совершить паломничество в Рим для «очищения грехов». Под «грехами» папа понимает участие католиков в борьбе против «плана Маршалла», против закабаления Европы американским империализмом.

Первым подступом к этой битве был эдикт папы от 13 июля 1949 года, отлучающий от церкви всех коммунистов, всех сочувствующих им, всех читающих коммунистическую литературу. В специальном разъяснении к этому эдикту запрещался брак коммунистов или сочувствующих им с лицами, исповедующими католическую религию.

Побывав в Ватикане, Тибор Кевеш с удовлетворением установил, что римский папа не одинок в Европе: у него широкие связи... с Тито. «Из Белграда поступило заверение, — пишет Тибор Кевеш, — что Хэрли, возможно, добьётся освобождения из югославской тюрьмы кардинала Степи-

наца. Однако... кардинал будет, вероятно, освобождён только при условии, если Тито получит весьма необходимый ему американский заём».

Уолл-стрит — Ватикан — Белград — таковы звенья одной цепи, как это устанавливает Тибор Кевеш.

Действительно, Ватикан принимал активнейшее участие в сколачивании Атлантичского пакта. Католические партии стран Западной Европы, руководимые Ватиканом, явились надёжной опорой американских монополистов. В страны не католические — в Грецию и Турцию — с целью пропаганды «доктрины Трумэна» были направлены специальные представители папы. Активную деятельность агенты Ватикана развернули и в Японии, призывая японцев обращаться в католическую веру и... готовиться к походу на демократический Китай.

В конце 1949 года личный представитель Трумэна в Ватикане Тейлор провёл ряд руководящих совещаний с главой организации «Католическое действие» Луиджи Джеда и заместителем статс-секретаря Ватикана Монтини. Тейлор высказал недовольство шпионской работой этой организации и предложил создать специальные разведывательные школы для католиков в Риме и организовать при Ватикане воензировавшиеся отряды.

В свете возросшей активности Ватикана большой интерес представляет книга английского публициста Авро Мэнхэттена «Ватикан. Католическая церковь — оплот мировой реакции». Авро Мэнхэттен — не коммунист, но, как честный исследователь, он вскрыл реакционную сущность Ватикана, показал, что служба руководства католической церкви американскому империализму является прямым продолжением её службы фашизму.

Уже к началу второй мировой войны Ватикан располагал в США сеть церквей, школ, газет. Американский президент считал необходимым иметь официального личного представителя в Ватикане. К моменту окончания второй мировой войны связь католической церкви с правящими кругами США ещё более усилилась. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в 1945 году в США был уже кардинал и насчитывалось 22 архиепископа, 136 епископов и около 39 тысяч священников. Весь этот огромный

аппарат католической церкви держал в своих руках 14.500 приходов, духовные семинарии с 21.600 учащихся. Число монахов достигало 6.700 человек, число монахинь — 138 тысяч. Кроме того, Ватикан медленно, но верно проникал и проникает в американскую армию, создавая там свою агентуру из капелланов. Ко времени вступления США в войну в американской армии было 60 капелланов, а в 1945 году их было уже 4.300. Общее число католиков в США с 8.909 в 1890 году увеличилось до 24 с лишним миллионов в 1946 году.

Выросла и по количеству изданий и по тиражу католическая печать в США. Католические агентства поставляют свою глетворную информацию во все американские периодические издания.

«Освоение» Ватиканом американского континента объясняется не только политическими мотивами. Католические служители бога, наряду с вербовкой своих духовных рабов, ревностно заботятся и о наращивании своих капиталов. Широко известен тот факт, что Ватикан является огромным капиталистическим объединением, тесно связанным с такими американскими монополиями, как «Синклер ойл», «Анаконд коплер майнинг корпорейшн», с банком Моргана и другими.

Экономические интересы Ватикана на американском континенте не ограничиваются капиталовложениями католической церкви в США. Ватикан контролирует ряд крупных акционерных объединений в странах Латинской Америки. В Аргентине под контролем Ватикана находятся коммунальные предприятия города Буэнос-Айрес, в Боливии — оловянные рудники, в Бразилии — резиновые и текстильные предприятия. Кроме того, Ватикан владеет огромными земельными угодьями в Испании, имеет крупные капиталовложения во Франции, Италии и Испании. Тесные экономические связи Ватикана с американскими монополиями определяют политику и каждое действие римского папы — «святого» главаря шайки хищников в кардинальских мантиях.

Ватикан сегодня является послушным орудием Уолл-стрита, проповедником господства американских монополий над миром, поджигателем новой мировой войны, врагом прогресса человечества.

Ф. ШАХМАГОНОВ.

Экономика и право**«Социализм строится на труде»**

Рецензируемая книга носит название «Правовые вопросы вознаграждения за труд рабочих и служащих». Но работа доктора юридических наук А. Пашерстника вышла за рамки этой темы. Наряду с показом регулирования трудовых отношений в Советском Союзе, автор вскрывает классовую природу законодательства капиталистических стран и разоблачает реакционное содержание новейшего американского трудового законодательства.

«...в западно-европейских республиках, где в тюрьмах написано «свобода, равенство и братство», — говорил Ленин, — тюрьмы от этого не перестают быть тюрьмами. Если на фабрике написать слова: «свобода, равенство и братство», как в Америке, от этого фабрика не перестает быть каторгой для рабочих и раем для капиталистов»¹.

Американский закон Тафта—Хартли ставит своей целью сломить сопротивление профессиональных союзов снижению заработной платы и усилению потогонных методов работы. Закон открыто направлен против партии рабочего класса — против коммунистической партии: власти признают лишь те профессиональные союзы, которые представят письменные доказательства того, что среди должностных лиц союза и его центральных организаций нет членов коммунистической партии, или лиц, признающих её принципы, или поддерживающих какую-либо другую организацию, признающую эти принципы. «1947 год, — указывает А. Пашерстник, — ознаменовался внесением в конгресс новых антирабочих законопроектов, имеющих целью нанести решительный удар американскому рабочему классу, развязать агрессивные силы монополистического капитала, снизить жизненный уровень трудящихся и сломить силы американского рабочего класса, заинтересованного в демократической внутренней и внешней политике...».

Во время президентских выборов 1948 года Трумэн, в числе прочих посулов, рассчитанных на обман избирателей, обещал от-

менить ненавистный трудящимся закон Тафта—Хартли. Но, удержавши за собою президентский пост, Трумэн и его партия и не подумали о выполнении предвыборных обещаний. Предложение члена Конгресса от рабочей партии Маркантонио об отмене закона Тафта—Хартли и восстановлении ранее действовавшего закона Вагнера было отвергнуто подавляющим большинством голосов как республиканцев, так и демократов. Принятый сенатом в 1949 году законопроект Томаса с поправками Тафта (одного из авторов пресловутого закона Тафта—Хартли) является сплошным издевательством над рабочим классом. В нём полностью воспроизведены антирабочие положения реакционного закона Тафта—Хартли.

Законы других капиталистических стран также санкционируют тяжчайшую эксплуатацию трудящихся.

В социалистическом государстве труд является делом чести, делом славы, делом доблести и геройства. Статья двенадцатая Сталинской Конституции установила: «Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина...». Эта статья нашей Конституции — не только социально-этическая норма, она отражает реальное положение труда в СССР, ибо «...социализм строится на труде»².

Одним из основных законов социалистической организации труда является непреложный закон повышения жизненного уровня трудящихся на основе роста производительности труда. Отсутствие в СССР кризисов, безработицы, аграрной перенаселённости, конкуренции, частнопредпринимательской наживы является фактором, постоянно содействующим повышению материального благосостояния трудящихся.

В докладе VI Съезду Советов В. М. Молотов говорил: «За время мирного социалистического строительства не было такого года, чтобы зарплата рабочих Советского Союза падала. Наоборот, у нас с каждым годом заработная плата рабочих поднималась...»².

¹ В. И. Ленин. Сочинения, изд. 3-е, т. XX, стр. 413—414.

А. Е. Пашерстник. «Правовые вопросы вознаграждения за труд рабочих и служащих». Издательство Академии наук СССР, 1949.

² И. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 418.

³ В. Молотов. В борьбе за социализм. Речи и статьи. Партиздат, 1935, стр. 142.

Неоднократное и значительное снижение розничных цен имело своим прямым результатом крупное повышение покупательной способности советского рубля, а значит и неуклонное повышение реальной зарплаты.

Автор подробно останавливается на общих принципах организации оплаты труда в СССР. Советское законодательство о труде исходит из необходимости такой организации заработной платы, при которой учитывалась бы разница между трудом квалифицированным и трудом неквалифицированным, между трудом тяжёлым и трудом лёгким. Построение заработной платы в СССР направлено на то, чтобы «открыть перспективу для неквалифицированных рабочих и дать им стимул для продвижения вверх, для продвижения в разряд квалифицированных»¹.

В последней, наиболее обширной главе

¹ И. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 335.

«Правовая организация и система заработной платы в СССР» автор рассматривает ряд самостоятельных проблем — государственное регулирование заработной платы, тарифные ставки, тарифные сетки и квалификационные справочники, системы заработной платы (сдельная заработная плата, повременная система заработной платы), правовые акты, регулирующие заработную плату.

В качестве дополнения к книге автор даёт сжатый очерк государственного регулирования заработной платы в странах народной демократии.

Правильная методологическая основа, острая политическая целенаправленность, богатство фактического материала сообщают работе А. Пашерстника значение ценного исследования основных проблем науки трудового права.

Член-корреспондент Академии наук СССР
А. ТРАЙНИН.

★

Техника и математика

Путешествие в невидимый мир

„Кого из нас не влекли к себе далёкие миры! Кто не уносился мысленно в бесконечность межзвёздного пространства!

Но есть близкие миры, не менее таинственные, чем те, которые мерцают на ночном небе.

Эти близкие миры везде вокруг нас и в нас самих. Их миллиарды в каждой пылинке, загорающейся на мгновение, когда солнечный луч проникает в комнату сквозь щёлку ставень. Их миллиарды в каждой капле чернил, которые сходят сейчас на бумагу с кончика моего пера.

Далёкие миры — звёзды — видел каждый.

Близкие миры — атомы — ещё не видел никто».

Так начинается книга, предлагающая читателю совершить мысленное путешествие в невидимый мир атомов.

Нужно ли говорить о сложности современной атомной физики, о трудностях, связанных с необходимостью рассказать о ней в популярной форме, доступной массе

М. Ильин. «Путешествие в атом». Детгиз, 1948.

тому читателю. Ещё труднее представить себе книгу, посвящённую атомной физике и написанную не только популярно, но и художественно.

Вот почему книга М. Ильина «Путешествие в атом» — явление примечательное в области научно-художественного жанра.

Прежде всего необходимо отметить большую стройность в изложении темы. На всём протяжении книги читателя ни на минуту не покидает ощущение путешествия, увлекательного и по-своему зримого.

Автор говорит о первых шагах химии со знанием предмета, применяя хорошо запоминающиеся сравнения. Таким образом, книга становится доступной и интересной не только для людей, в какой-то мере подготовленных к познанию атомной физики, но и для рядового читателя, неискущённого ни в физике, ни в химии.

Говоря о познавательном значении книги М. Ильина, необходимо также отметить и её публицистическое звучание. «Первым, кто не только назвал, но и сделал химию наукой, был величайший русский учёный Михаил Васильевич Ломоносов», — пишет

М. Ильин, а затем с неопровержимой логикой доказывает это.

Читателю шаг за шагом становится ясным размер огромного вклада отечественных учёных в дело первосоздания основ атомной физики. Немыслимо было бы развитие учения о строении вещества, если бы гениальный русский учёный Дмитрий Иванович Менделеев не создал «карту атомного мира» — свою знаменитую периодическую таблицу элементов.

Профессор московского университета М. Павлов почти на столетие опередил силой своего научного предвидения английского физика Резерфорда. Ещё в 1834 году русский профессор писал: «Элементы имеют планетарное строение...» М. Павлову принадлежит также мысль, что «простейший элемент построен из положительного и отрицательного заряда». Это было доказано почти сто лет спустя благодаря развитию средств научного исследования.

Достаточно подробно, в пределах, допустимых для неподготовленного читателя, рассказывается в книге о работах советских учёных, смелых исследователей атомного мира, создателей научного снаряжения, без которого немыслимо было бы этот мир изучать.

Читателю становится понятной огромная роль советского учёного Д. Иваненко, решившего задачу о «кирпичах», из которых построен атом. Теория строения ядра из протонов и нейтронов, предложенная Д. Иваненко, подтвердилась многочисленными опытами и стала признанной учёными всего мира.

Открытие советских учёных К. Петржака и Г. Флёрова, установивших медленный распад ядер урана, послужила могучим толчком, направленным к практическому использованию атомной энергии.

Немыслимо было бы вести эти работы, если бы в своё время академик Н. Семёнов не создал учения о цепных химических реакциях и не объяснил явлений, которые при этом происходят с молекулами. Советские учёные Ю. Харитон и Я. Зельдович, в развитие учения Н. Семёнова, впервые указали на возможность атомной цепной реакции. Это были работы, направленные уже не только к познанию атомного мира, но и к управлению им, подчинению

разуму человека могущественной силе природы.

Много сделал советский физик Я. Терлецкий, автор фундаментальных расчётов и теории ускорителей быстрых электронов.

Много горячих, гневных строк сказано в книге М. Ильина по адресу тех, кто стремится использовать атомную энергию для целей войны. «Для чего человечество овладевает сейчас могучими силами, тащущимися в атомном ядре, — для жизни или для смерти, для разрушения или для создания? Для чего нужны были великие открытия Ломоносова, Менделеева, Резерфорда — для дальнейшего прогресса человечества или для возвращения к варварству?» — спрашивает автор.

В книге приводятся высказывания некоторых американских военных руководителей и учёных, которые с вынужденной откровенностью признают назначение атомной бомбы, как оружия устрашения и уничтожения мирного населения, а отнюдь не оружия воюющих армий.

Книга вышла немного раньше, чем в газетах было опубликовано сообщение Совинформбюро, в котором достаточно ясно указывалось на то, что у нас уже есть атомное оружие и имеет место применение атомной энергии для мирных целей при грандиозном строительстве, ведущемся в Советской стране.

«В то время как сторонники войны хотят сделать атомное ядро орудием завоевания стран и порабощения народов, мы хотим, чтобы оно помогло нам в нашем великом мирном труде.

Что же может дать нам атомная энергия?

Тут нам придётся перешагнуть через сегодняшний день и отправиться в будущее».

Так начинается глава «О будущем», в которой автор рисует величественную картину широчайшего использования атомной энергии для мирных целей. Нужно быть не только писателем, но и учёным, чтобы рассказать об этом доходчиво, просто, не вызывая недоверия читателя, которое иногда вправе появиться, когда речь идёт о поистине сказочном будущем науки и техники. Автор справился с этой задачей.

Книгу М. Ильина «Путешествие в атом» нельзя рассматривать только как книгу для детей. Её с увлечением прочтут и взрослые. Однако в основном она адресо-

вана к юношеству, у которого, совершенно естественно, с каждым днём возрастает интерес к атомной физике, мощному фундаменту техники ближайшего будущего — могучей техники коммунистического общества.

И хочется верить, что среди молодых читателей этой книги несомненно появятся замечательные исследователи незримого атомного мира, замечательные инженеры атомной техники.

В. ОХОТНИКОВ.

★

Сборник «Ломоносовские чтения»

Ежегодно в память гениального русского учёного М. Ломоносова в Москве читается цикл лекций, носящий название «Ломоносовские чтения». Первый цикл этих лекций, организованных Центральным Комитетом ВЛКСМ и Академией наук СССР, был посвящён М. Ломоносову и другим выдающимся русским учёным. Темами второго цикла были важнейшие современные проблемы науки и техники. Лекции этого цикла и составили рецензируемый сборник.

Много уже написано популярных статей и книг о космических лучах, об атомной энергии, радиолокации, реактивной технике, автоматике и телемеханике, энергетике. И всё же статьи на эти же темы в «Современных проблемах науки и техники» представляют большой интерес для разнообразнейшего круга читателей. Сборник будет полезен и авторам научно-популярных книг — он показывает, что самую трудную тему можно изложить понятно и увлекательно.

Открывается сборник статьёй президента Академии наук СССР академика С. Вавилова «Ленин и современная физика».

Разоблачая врагов прогресса, оруженосцев идеалистической философии, академик С. Вавилов пишет: «Несмотря на необычайные, с каждым годом возрастающие изменения в содержании физики, мысли В. И. Ленина о философских предпосылках и выводах этой науки, о её главных путях, высказанные почти сорок лет назад, полностью сохранили своё значение и силу и сегодня». Автор показывает путь, каким идёт настоящая материалистическая наука, не признающая никаких фетишей, руководствующаяся великими принципами диалектического материализма.

«Ломоносовские чтения. Современные проблемы науки и техники». «Молодая гвардия», 1959.

«Неизмеримы, неисчерпаемы глубины явлений, раскрывающиеся постепенно перед физиком в большом и малом мире. Безграничны возможности техники, опирающейся на физику и направленной на благо и развитие человека нового общества. В этом просторе советская физика прочно стала на путь неразрывной связи теории и практики», — пишет С. Вавилов.

О том, что даёт такая связь, о достижениях советской науки и советской технической физики рассказывают остальные статьи сборника: «Космические лучи» академика А. Алиханова, «Атомная энергия» члена-корреспондента Академии наук СССР А. Капустинского, «Радиолокация» академика А. Берга, «Реактивная техника» академика А. Микулина.

Большой интерес представляет статья члена-корреспондента Академии наук СССР В. Коваленкова «Автоматика и телемеханика».

Достижения автоматки и телемеханики явились ответом на всё растущие в технике скорости, температуру, давление, на стремление охватить управлением с одного места всё большее число установок, находящихся далеко друг от друга. В. Коваленков рассказывает о роли автоматки и телемеханики в современной технике, о предистории автоматки, о комплексной автоматизации производственных процессов.

Ярко, с запоминающимися примерами излагает автор историю развития автоматки и телемеханики в нашей стране. Автоматикей древние греки называли богиню случая. В этом значении слово очень подходит для характеристики автоматки в капиталистических странах: там её судьба действительно случайна, причудлива. Сложнейшие устройства порою служат лишь для ничтожной цели: например, автоматы считают посетителей кино, входящих в зал, чтобы десяти тысячному или стотысячному

автомат торжественно выдал какой-нибудь грошовый приз. Очень благосклонно «богиня случая» в капиталистических странах относится к автоматическим и телемеханическим устройствам, носящим военный характер. А многие производственные процессы, опасные и изнурительные, отстаются абсолютно неавтоматизированными.

Советская автоматика развивается совсем иным путём — строго по плану, охватывая важнейшие области народного хозяйства. Машиностроение, энергетика, транспорт и другие отрасли народного хозяйства СССР с каждым годом всё мощнее и полнее насыщаются средствами автоматизации и телемеханики.

Есть в нашей стране гидроэлектростанции, работающие буквально «на замке» — ни одного человека не найти в их машинных залах, где всё управляется автоматами; они включают и выключают агрегаты, следят за температурой обмоток машин, подшипников, воды, воздуха, за состоянием электрических линий.

Под Москвой есть участок железной дороги без сигнальщиков, без стрелочников, словом, без людей, присутствие которых всегда считалось совершенно необходимым для работы железной дороги. Один диспетчер управляет всем сложным хозяйством этого участка. Перед ним пульт, на котором, словно в волшебном зеркале, отражается движение поездов, диспетчер регулирует его, сокращая до минимума потери времени на стоянки, устраняя всякую опасность столкновения поездов.

На канале имени Москвы пять крупнейших насосных станций работают без обслуживающего персонала. Каждый из насосов этих станций в одну секунду поднимает до 2000 вёдер воды на высоту 8 метров. Чтобы привести этот гигант в действие, надо только нажать кнопку на пульте диспетчера, находящемся на расстоянии десятков километров от насосных станций.

У нас созданы великолепные автоматические линии станков. Советские блюминги выпускаются со стандартным автоматическим управлением.

Автоматика и телемеханика становятся органическими элементами советской техники, говорит В. Коваленков. В этом убеждает читателя вся его статья — интересная и хорошо написанная.

Статья члена-корреспондента Академии наук СССР А. Чернышёва «Новые способы переработки твёрдого топлива» рассказывает о судьбах каустоболитов — «горючих камней, рождённых жизнью»: о каменных и бурых углях, сланцах. Если добыча нефти и угля останется на теперешнем уровне, то запасов каменных и бурых углей хватит человечеству на 6600 лет. Несравненно хуже обстоит дело с нефтью — её запасы могут быть истощены в капиталистических странах уже через тридцать лет. В нашей стране, где плановое развитие народного хозяйства обеспечивает рациональнейшее использование природных ресурсов, наличных запасов нефти хватит более чем на 100 лет.

Нефть не только прекрасное топливо. Она представляет собою как бы неисчерпаемый склад, в котором хранятся материалы и для лекарств, и для лучших духов, и для взрывчатых веществ, и для шёлка. Великий русский учёный Д. Менделеев говорил, что «топить нефтью — значит топить ассигнациями». Но это жидкое горючее обладает такими преимуществами, что и теперь весь мир сжигает в различных топках колоссальное количество «ассигнаций». Поэтому учёные давно ищут способы замены нефти твёрдым горючим и продуктами его переработки.

А. Чернышёв знакомит читателя с различными процессами получения жидкого топлива из угля. Теперь человек может превращать твёрдое топливо в продукты, приближающиеся к нефтяным, и в горючие газы. Из этих газов можно добывать бензин, поставщиком которого раньше служила только нефть.

Новые способы переработки твёрдого топлива, а также подземная газификация угля, смело вводимые в нашей стране, являются ярким доказательством того, что когда хозяином земли становится народ, всякие теории истощения природных ресурсов рассеиваются, как ядовитый туман.

Яркая картина советской энергетики предстаёт в статье академика Г. Кржижановского «Энергетика и её будущее».

СССР по площади в два с половиной раза превосходит США. В недрах нашей страны таятся неисчислимы запасы руд и других сокровищ земли. Нередко эти богатства залегают в местах, которые природа как будто нарочно хотела защитить от экс-

платации. Подача энергии в самые отдалённые районы страны стала неотложной задачей советских энергетиков. Решение этой проблемы должно у нас идти своеобразным путём, соответствующим всему развитию социалистического хозяйства и гигантским размерам нашего государства. В плане советских научно-исследовательских работ одно из главных мест заняла проблема передачи энергии постоянным током высокого напряжения. Переменный ток очень удобен для небольших расстояний. Но ещё замечательный русский энергетик М. Доливо-Добровольский указал, что настает время — в стандартом для электропередачи будет мощность в миллион киловатт, передаваемая на тысячу километров при напряжении постоянного тока око-

ло миллиона вольт. Огромные трудности стоят на пути исследователей, которые этот сокрушительный поток электроэнергии высокого напряжения должны превращать в безопасные ручки, направляемые к станкам, машинам, в жилые дома. Преобразование постоянного тока несравненно труднее, чем переменного. Но советские энергетика, осуществившие по гениальному ленинско-сталинскому плану электрификацию нашей страны, справятся и с этой задачей.

Книга «Современные проблемы науки и техники» — хороший подарок советскому читателю. Сборник представляет собою образец подлинно научной публицистики.

А. МОРОЗОВ.

★

Творцы русского ракетного оружия

В статье «Сталин и Советские Вооружённые силы» Н. А. Булганин, рассказывая о постоянном интересе товарища Сталина к боевому применению различных видов вооружения, писал: «В августе 1941 года, когда шли ожесточённые бои под Смоленском, на одном из участков фронта залпом наших, тогда ещё мало-распространённых, реактивных миномётов («Катюш») был уничтожен вражеский батальон, шедший самоуверенно и нагло в атаку. Эффективность этого вида оружия навела на гитлеровцев панику. Товарищ Сталин, узнав об этом случае, сразу же дал указание всячески развивать этот новый вид вооружения. Реактивные миномёты за короткое время получили в нашей армии самое широкое распространение».¹

«Катюши» прошли боевой путь от Москвы до Берлина, обрушивая на врага сокрушительные удары. Взлетали на воздух вражеские укрепления. Подбитые танки и орудия оставались на поле боя. Солдаты противника бежали в панике.

Так было под Москвой и Сталинградом, Орлом и Курском, Веной и Берлином. Так было везде, где действовали гвардейские ракетные миномёты «Катюши».

Ракетное оружие было известно ещё в

древности. Зажигательные ракеты применялись при осаде крепостей и городов. Позднее появились боевые артиллерийские ракеты.

Ракета — самодвижущийся снаряд. Она движется, отталкиваясь от струи газов, образующихся в ней самой при сгорании топлива (например, пороха). Ракетный снаряд не требует поэтому тяжёлых орудий для стрельбы. Ракетными установками — многоствольными, но лёгкими и подвижными — легко маневрировать и вести мощный массированный огонь.

Современная ракетная артиллерия развивалась на основе богатого опыта, накопленного русскими ракетчиками. Используя этот опыт, опираясь на достижения передовой науки и техники, на мощь нашей промышленности, советские инженеры и учёные по инициативе товарища Сталина создали могучую ракетную артиллерию.

Книга М. Сонкина посвящена истории развития русского ракетного оружия в XIX веке.

Имена русских артиллеристов — творцов русского ракетного оружия — были несправедливо забыты. За рубежом получила широкое хождение версия о том, что ракетная техника прошлого века развивалась трудами западноевропейских артиллеристов, которым-де и принадлежит приоритет в создании ракетного оружия. Англичане, например, называли боевые ракеты не иначе

¹ «Правда» от 21 декабря 1949 года.

М. Сонкин. «Русская ракетная артиллерия. (Исторические очерки)». Военное издательство, 1949.

как «конгревовыми», по имени генерала Конгрева.

М. Сонкин разоблачает легенду о первенстве иностранной ракетной техники. Боевая ракета — русское изобретение. Автор доказывает это фактами. Уже в начале XIX столетия русскими артиллеристами был найден путь создания вспомогательной артиллерии — ракетного оружия, которое по лёгкости перевозки и обращения с ним приближалось бы к ручному оружию, а по действенности стрельбы — к артиллерии.

Это стало необходимым с появлением массовых армий и с изменением в связи с этим тактики ведения боя.

«Конгревовы» ракеты были заимствованы англичанами из Индии, где английские захватчики испытали на себе действие индусских ракет. Конгрев использовал готовую конструкцию, изменив её весьма немного — и притом в сторону ухудшения. Зажигательные и фугасные ракеты Конгрева уступали русским по своим боевым качествам. Они имели небольшую дальность полёта и плохую меткость. По свидетельству английского артиллериста, «ракеты... летали по всем направлениям, за исключением надлежащего, некоторые возвращались даже на нас, к счастью не делая нам никакого вреда». Любопытный эпизод произошёл в 1842 году. Англичане предложили русскому военному ведомству купить ракетный завод и вместе с ним «секреты великого изобретателя» — Конгрева. Осмотрев этот завод, русский офицер К. Константинов по возвращении на родину из заграничной командировки доложил: «Завод — дряхлейшее предприятие, а «секреты» Конгрева не представляют никакого секрета».

И в других странах ракетное дело стояло на более низком уровне, чем в России.

Австрийские боевые ракеты были созданы позднее, чем русские. Автор приводит высказывание инженера Аугустина, стоявшего во главе производства ракет в Австрии, который вынужден был признать отставание австрийской ракетной техники от русской. Во Франции усовершенствование ракетного оружия началось тогда, когда в России были уже достигнуты блестящие результаты. «Факты неопровержимо доказывают, — пишет автор, — что претензии зарубежных артиллеристов на первенство

в развитии ракетного оружия в XIX веке совершенно неосновательны... Артиллеристы Запада, в частности Англии, Франции и Австрии, чаще всего были подражателями, учениками, а не наставниками».

Используя многочисленные архивные и другие исторические материалы, автор подробно рассказывает об оригинальном пути развития русского ракетного оружия. Он знакомит читателя с деятельностью создателя русских боевых ракет артиллериста суворовской школы Александра Дмитриевича Засядко и смелого новатора, учёного и изобретателя Константина Ивановича Константинова, который «буквально выпестовал наше отечественное ракетное оружие, достиг того, что оно стало действенным боевым средством русской армии».

С большим интересом читаются страницы книги, описывающие применение ракетного оружия в русско-турецкой войне 1828—1829 годов, когда, по существу, произошло боевое крещение этого оружия, и в других войнах. Эти материалы воссоздают первые страницы славной летописи русской ракетной артиллерии.

Велики заслуги К. Константинова, работавшего в обстановке косности, равнодушия и раболепства правящих кругов царской России перед всем иностранным. Автор рассказывает о том, как иностранцы предлагали свои услуги царскому правительству и как оправдывались утверждения К. Константинова о превосходстве русских ракет. В 1848 году англичанин Ноттингем предложил русскому военному министерству приобрести «новое мощное оружие» — боевые вращающиеся ракеты Геля. К. Константинов убедительно доказал, что эти ракеты хуже современных русских. Но царские сановники не посчитались с этим. Ноттингем приехал в Россию, где и были произведены сравнительные испытания. Они показали бесспорные преимущества русских ракет и полную неосновательность претензий Ноттингема, который потребовал «за открытие секрета» непомерную сумму — 189 тысяч рублей серебром...

Автор хорошо обрисовал творческий путь К. Константинова, показал разностороннюю кипучую деятельность этого «партизана ракет», как называли его противники ракетного оружия.

Работы К. Константинова, этого страстного пропагандиста ракет, подготовили почву для возрождения ракетного оружия на основе достижений науки и техники наших дней.

Книга написана простым языком, хорошо иллюстрирована. Жаль, что автор не рас-

сказал более подробно о жизни К. Константинова и в особенности А. Засядко.

Книга М. Сонкина, раскрывающая малоизвестные страницы истории русской техники, будет с интересом встречена нашим читателем и в особенности молодёжью.

Б. ЛЯПУНОВ.

★

Муза Болтливости

Книга С. Боброва «Волшебный двурог» представляет собой попытку, как заявляет издательство, в занимательной форме изложить для юного читателя (примерно для учеников 7—10 классов средней школы), который любит точные науки и математику, немало интересного.

Советский читатель любит научно-популярную литературу. В нашей стране всё возрастает интерес широких масс трудящихся к научным знаниям, в частности к математике — инструменту исследования в области технических наук.

К изданию научно-популярной книги следует подходить с особым вниманием, так как она должна давать не только точные сведения из данной области науки, но вместе с тем и служить воспитательным целям. Это тем более необходимо иметь в виду, когда речь идёт о книге, предназначенной для учащихся.

Основной порок рецензируемой книги лежит в самом замысле автора — сделать мистически-приключенческий рассказ основой, и на этой основе попутно, между прочим, рассказать о некоторых математических фактах без всякой серьёзной популяризации их.

Фабула книги построена в виде фантастического рассказа о необычайных приключениях ученика 8 класса Ильи Камова, попавшего в царство волшебного мира математики — «в неведомую страну, где правят Догадка, Усидчивость, Находчивость, Терпение, Остроумие и Трудолюбие и которая в то же время есть пресветлое царство весёлого, но совершенно таинственного существа...», чьё имя Волшебный двурог.

Нам, со своей стороны, хотелось бы указать и на седьмую музу, правящую в царстве «Волшебного двурога», музу Болтливости,

которой автор дал право неограниченной власти над Терпением, Трудолюбием и Усидчивостью и пред скучным лицом которой блёкнут Догадка, Находчивость и Остроумие.

Книга загромождена огромным количеством бессодержательных рассказов и изречений, таинственных химер, в результате чего фактический материал, содержащий относительно небольшое количество интересных исторических сведений, математических задач, опошляется и теряется в раздумом до 400 страниц тексте книги.

Невозможно привести перечень всех абзацев, которые, не имея никакого отношения к предмету изложения, являются каким-то бессодержательным набором слов. Открыв наугад книгу, читатель сам немедленно убедится в этом.

Некоторые «разговоры» в книге порочны, так как они прививают неправильную точку зрения на математический способ рассуждения. Если даже допустить, что образ Кандидата Тупиковых Наук — сатирический образ, то и тогда не следовало отводить так много места разглагольствованию, вроде следующего: «— Однако, — с трудом переводя дух, гневно и гордо воскликнул великолепный Кандидат Тупиковых Наук, потрясая дланью, — однако, хоть я теперь уж уверен, что вы все прекрасно усвоили содержание моей речи, заключающейся в том, в чём она заключалась, и утверждающей именно то, что она утверждала, в противность тому, чего она не утверждала и не могла утверждать, ибо она ведь утверждала истинное и несомненное, а то, что ведёт к сомнениям, не могло быть мною утверждено по той простой причине, что несомненное это не то, что неистинно, а неистинное не есть то, в чём не должно сомневаться, откуда ясно, что если я сомневаюсь, то это не значит, что

я не сомневаюсь, а наоборот, значит именно то, что оно значит! И хотя всё это так, но тем не менее я должен опять начать всё сначала...» (стр. 49) или, например, такое словоизвержение: «— Друзья мои! Волшебницы и чародеи! — неожиданно возопил Уникурсал Уникурсалыч, вскочив со своего места и ударив себя в грудь. — Принимая во внимание и рассматривая, а также углубляясь и опять-таки, как я бы позволил себе выразиться, впрочем, отнюдь не предрешая, а как раз наоборот, то есть в том смысле, что если мы положим и, так сказать, допустим, то, каково бы ни было наше допущение...» (стр. 383).

Подобной вопиющей абракадаброй перстрит вся книга. Невольно хочется сказать словами автора: «... внимательный слушатель мог обнаружить изрядное количество существительных, прилагательных, глаголов и всего такого прочего, однако всё это вместе значило, понять было — увы! — невозможно» (стр. 49).

Не лишено недостатков и математическое содержание книги. Так С. Бобров рассказывает о том, что англичанин Вильямс Шэнкс в 1873 году вычислил число π с 707 знаками, которые тщательно здесь же выписаны (стр. 18). Следовало бы рассказать юному читателю о том, что такое большое число знаков совершенно бесполезно для практических расчётов. Этого автор не делает. И колы скоро уже зашла речь о вычислении Шэнкса, следовало добавить, что все знаки, начиная с 28, в этом вычислении неверны, как это установлено в настоящее время. Сейчас вычислены точно уже 808 знаков. Таким образом, автор не даёт критической оценки приведённого им факта и не подводит читателя к последним результатам науки.

Автор увлекается нерусскими словами, не получившими права гражданства в нашем языке, такими, как например: «схонлия», «элоквенция», «фузея» и др.

Неудачны также некоторые рисунки. Не лишённые остроумия примеры неправильного, но приводящего к верному результату сокращения дробей вовсе не следовало выносить на поля книги: это закрепляет у учащихся через зрительную память навыки неправильного сокращения дробей (стр. 140—144) и противоречит методическим установкам советской школы.

Укажем, наконец, на фактическую ошибку,

которая вводит читателя в заблуждение. На стр. 88 автор указывает, что число 2^{257} — составное, однако никто ещё не нашёл ни одного его делителя. При этом автор приводит полную запись этого числа, состоящего из 77 цифр, предлагая читателю заняться разысканием его делителей. Если уж автор счёл нужным привести полную запись этого многозначного числа, следовало бы проследить, чтобы она была безошибочной. Внимательный читатель легко проверит, что напечатанное 77-значное число делится на 3.

В книге можно найти интересные и остроумные задачи. Некоторые страницы, освещающие историю возникновения и развития отдельных математических проблем, а также посвящённые жизни известных математиков, читаются с интересом, хотя и здесь имеется не мало фактических ошибок. Приведённые математические игры «дразнилки», теория уникарсальных фигур, некоторые проблемы из теории чисел (теорема Ферма, пифагоровы числа, совершенные и дружественные числа) — увлекательны и способны заинтересовать наших школьников, любителей математики. Но приходится сожалеть, что все эти удачные страницы, которые могли бы придать книге определённые достоинства, тонут в ненужном, многословном и мало осмысленном тексте.

Мы остановились в основном на недостатках изложения потому, что собственно математический материал книги отнюдь не является оригинальным, и все приведённые автором задачи можно найти и в других книгах, посвящённых занимательной математике (например, Е. Игнатъев «В царстве смекалки», книги Я. Перельмана и др.). Именно в форме изложения, в интересной фабуле, на фоне которой преподносится задача читателю, должен состоять творческий труд автора книги, посвящённой занимательной математике. Но этого, к сожалению, С. Бобров не сумел достигнуть. Достойно сожаления, что Детгиз, давший советскому читателю много прекрасных книг, так некритически отнёсся к изданию рецензируемой книги:

Научные сотрудники Львовского
отдела Института математики
Академии наук УССР
Е. РВАЧЕВА и Д. МЕЙЗЛЕР.

Сельское хозяйство

Завтрашний день наших степей

На цветной обложке изображена мощная полезащитная лесная полоса, рядом колосится золотая пшеница, обещающая высокий урожай. Этот рисунок характерен не для какого-нибудь одного особенно удачного года. Нет. В Каменной степи хлебные нивы выглядят так ежегодно, независимо от капризов природы. Здесь советские люди одержали полную победу над стихией.

Вот что можно было наблюдать в этих местах несколько десятков лет тому назад:

«Ещё с утра начал дуть сильный, порывистый восточный ветер, временами поднимавший чёрные вихри дорожной пыли; в воздухе становилось сухо, вдали висела мгла, предвещавшая резкую перемену. К полудню весь горизонт был покрыт мельчайшей пылью. Солнце, до того светившее ярко, подёрнулось как бы лёгкою тучею; виднелось только одно красное пятно. Несмотря на закрытые ставни, в хате невозможно было сидеть: кроме духов и жары, приходилось ещё глотать массу пыли, пробравшейся сквозь тонкие щели дверей и окон... Поднялась настоящая вьюга, но вместо снега летала чернозёмная и меловая мельчайшая пыль, поднимаясь высоко в воздухе. Всё живое пошатнулось, притаилось, как будто в ожидании чего-то ещё более грозного... Этот знойный буран оставил по себе весьма значительные наносы пыли чернозёма и песку; поля местами оголились, а хлеба были сильно опалены».

Такую картину нарисовал в выпуске 1-м «Трудов экспедиции В. Докучаева» один из её участников. Экспедиция прибыла в 1892 году в южно-русские степи для изучения способов борьбы с засухами и суховеями. Пыльные бури, чёрные зимы, горячие летние суховеи, быстро растущие овраги — эти грозные явления всё чаще и чаще охватывали огромные степные просторы России, приводя к неурожаю и голоду.

Передовые деятели русской науки В. Докучаев, П. Костычев, К. Тимирязев, А. Измаильский, А. Воейков — доказывали возможность и необходимость борьбы со стихией природы и предупреждали, что хищ-

ническая бессистемная эксплуатация земли приведёт к катастрофическим последствиям.

Книга В. Журавского и Б. Мартынова «Каменная степь» рассказывает о неутомимом труде передовых русских и советских учёных, которые на протяжении более полувека ведут победоносную борьбу за преобразование природы степной полосы. Эта борьба началась в июне 1892 года, когда на выжженные равнины Воронежской губернии прибыл В. Докучаев и его ученики, начавшие свои первые опытные работы в Каменной степи — на том небольшом участке земли, который ныне привлекает взоры миллионов советских людей.

Авторы увлекательно излагают историю борьбы докучаевцев, в тяжёлых условиях царского времени борющихся за возрождение плодородия степных почв, за лес и воду в степи. Однако крупнейшие достижения учёных не находили и не могли найти себе применения в условиях капитализма; Каменностепная опытная станция влячила жалкое существование.

Значительная и наиболее существенная часть рецензируемой книги посвящена «второму рождению» Каменной степи — её расцвету в послеоктябрьский период.

Ещё в первые годы после революции Владимир Ильич Ленин направил в Каменную степь специального уполномоченного, чтобы наладить научную работу. Год от году увеличивались средства, отпускаемые Каменностепной опытной станции.

В тридцатых годах в работу станции включается творец травопольной системы земледелия академик В. Вильямс. Он строго и заботливо обсуждает с работниками станции все их планы и начинания, настаивает на целостном овладении природой степей, на внедрении всех элементов травопольной системы в их взаимодействии.

Росли и улучшались докучаевские лесные полосы, сооружались новые водоёмы, охранялись крутые склоны, на полях между лесными полосами вводились травопольные полевые и кормовые севообороты, обработка почвы велась по всем правилам передовой науки — с лущением стерни, зяблевой пахотой с предлужниками, широко-

ко применялись органические и минеральные удобрения.

Травопольная система земледелия создала замечательные условия среды для селекционной работы. Развивая учение И. Мичурина и Т. Лысенко, селекционеры Каменной степи вывели 30 новых хороших сортов зернобобовых, овощных и трав.

Книга «Каменная степь» написана живо и увлекательно. Особенно удалась авторам глава «Лес в степи». Многочисленные хорошие фотографии удачно дополняют текст.

Авторов книги можно упрекнуть в том, что они не дали полной характеристики того преобразования всей природы, которое произошло в Каменной степи в результате внедрения в жизнь передовых идей В. Докучаева, П. Костычева, В. Вильямса, К. Тимирязева, И. Мичурина, Т. Лысенко.

Ученики В. Докучаева пятьдесят лет назад назвали Каменную степь «типичной степью», а вот что писал о ней в 1948 году директор Института земледелия центрально-чернозёмной полосы имени В. В. Докучаева А. Крылов:

«Территория Каменной степи по своему ландшафту теперь ничуть не похожа на степь. По границам полей растут широкие полезавитные лесные полосы; по балкам и западинам созданы водоёмы. Крутые склоны балок облесены приовражными лесоплодовыми насаждениями, предохраняющими почву от размыва... На территории станции совершенно прекращены процессы оврагообразования... Значительно изменились многие элементы микроклимата. Исушающие стённые ветры на полях, расположенных в межполосных пространствах, не достигают такой силы, какую они имеют в открытой степи... скорость ветра на полях среди лесных полос затухает на 35—40 процентов. Испарение под влиянием лесных полос также сокращается на 30—40 процентов».

Перед нами полное преобразование не только условий сельскохозяйственного производства, но и всей природы, полная «переделка географии» нашей степной полосы.

Сегодняшняя Каменная степь — это всесоюзная школа передового сельскохозяйственного опыта, который успешно усваивается советскими учёными, агрономами, колхозниками. Они видят здесь все преимущества травопольной системы, осуществлённой

на практике в больших масштабах. Недаром в Сталинском плане преобразования природы говорится о Каменной степи:

«На полях Научно-исследовательского института земледелия центрально-чернозёмной полосы имени В. В. Докучаева (бывшая Каменностепная опытная станция), где наиболее полно освоена указанная система агрономических мероприятий, урожай зерновых культур за короткий срок удвоен и достигли в среднем 20—25 центнеров с гектара».

В засушливом 1946 году в Каменной степи был получен стопудовый урожай хлебов, несмотря на то, что засуха в этих местах была более жестокой, чем в 1891 году. После 1946 года урожай на полях Института растёт год от году.

Наша бурно развивающаяся советская жизнь обгоняет все предположения и планы. И то, что изложено в книге о Каменной степи, сегодня, через несколько месяцев после написания этой книги, может быть дополнено новыми волнующими фактами.

Этим летом, наряду с экскурсиями колхозников, агрономов, работников МТС и ЛЗС (лесозащитных станций), Каменную степь посетили многочисленные крестьянские делегации из стран народной демократии.

Один из членов венгерской крестьянской делегации, делясь своими впечатлениями после ознакомления с Каменной степью и передовыми колхозами Воронежской области, заявил: «У себя на родине мы слышали об институте имени Докучаева, но не могли предполагать, что возможно так переделать природу степи. Теперь же мы воочию убедились, что может сделать человек. В колхозах области мы увидели, как советские люди под руководством партии и великого Сталина переделывают природу, мы увидели, как претворяется в жизнь великое учение Маркса—Ленина о построении коммунистического общества. Мы воспримем опыт советских людей и построим социализм в своей стране».

Хлеба, выращенные в 1949 году в Каменной степи не на опытных делянках, а на больших массивах, дали невиданные урожаи — было намолочено по 288 пудов ячменя и по 228 пудов озимой пшеницы с гектара.

В дни всенародной борьбы за осуществление Сталинского плана преобразования природы опыт Каменной степи имеет первостепенное значение. Результаты, полученные сегодня в Каменной степи, станут завтра достоянием тысяч и десятков тысяч колхозов. Преображённая природа Камен-

ной степи — это завтрашний день всей нашей степной полосы.

Книга В. Журавского и Б. Мартынова несомненно будет содействовать ещё более успешному распространению опыта передового отряда преобразователей природы.

И. и Л. КРУПЕНИКОВЫ.

☆

География

Книга исследователя Алтая

В 1931 году мне пришлось консультировать группу рабочей молодёжи одного из ленинградских заводов, отправлявшуюся в туристское путешествие по Алтаю. «Почему именно на Алтае вы решили провести отпуск? Ведь страна наша изобилует красивыми местами, которые и ближе и доступнее, чем Алтай», — спросил я молодых туристов. Они ответили мне, что Алтай очень красив и суров, ландшафты его разнообразны: здесь и громадные горные ледники, и заоблачные вершины гор, и высокие альпийские луга, и обширные массивы лесов, и чудесные реки. Алтай — это сокровищница, в которой много полезных ископаемых. Алтай — край золота, цветных металлов. Недаром часть Алтайских гор называется Рудным Алтаем. Здесь рождаются великие сибирские реки — Обь и Иртыш, а прозрачные горные озёра своей нетронутой природой и красотой затмевают прославленные озёра Швейцарии. Самое живописное озеро Алтая — Телецкое, его алтайцы называют Алтын-куль, то есть Золотое озеро. Глубок Алтын-куль, по глубине это озеро занимает четвёртое место в Советском Союзе, прозрачные его воды сливаются в многоводную, быструю и порожистую Бию.

Примерно так ответили мне туристы, и я согласился с ними. Мы терпеливо разрабатывали маршрут, стараясь провести его и через плодородные приалтайские степи, горные долины и высокие влажные луга, где кочевали тогда животноводы Алтая.

В разработке маршрута, в знакомстве с Алтаем нам очень помог путешеводитель «Пути по Русскому Алтаю», составленный профессором Томского университета, большим

знатоком и исследователем этого края, Василием Васильевичем Сапожниковым.

История изучения Русского и Монгольского Алтая тесно связана с именем В. Сапожникова. Ученик К. Тимирязева, ботаник и физиолог растений по специальности, В. Сапожников многие годы своей напряжённой и кипучей деятельности посвятил изучению великой горной системы Азии — Алтая, расшифровке его «белых пятен».

Исследования В. Сапожникова носили целеустремлённый и систематический характер. Год за годом путешественник посвящал изучению избранных им районов и всегда подводил итоги работ в ценных монографиях. Так в 1897 году в Томске вышла его книга «По Алтаю», в 1901 году выходит большая работа «Катунь и её истоки» с итогами работ автора в Русском Алтае. Ровно через десять лет появляется крупная монография «Монгольский Алтай в истоках Иртыша и Кобдо», посвящённая описанию зарубежного Алтая, лежащего в пределах Монголии и частично Синьцзяна. Материалы этих трёх книг и вошли в настоящее издание, выпущенное Географгизом.

Нужно сказать, что в отличие от многих путешественников конца прошлого столетия В. Сапожников хорошо понимал, что маршрутно-дневниковая форма отчётов, наиболее распространённая в то время, уже не может удовлетворить читателей. При такой форме ускользает общая характеристика стран и народов, не получается целостного представления о них, так как автор ведёт читателя только по своему пути, ограничивая себя описанием узкой лентой маршрута. В. Сапожников, наряду со своими дневниковыми записями, полными фак-

В. В. Сапожников. «По Русскому и Монгольскому Алтаю». Географгиз, 1949.

тических материалов, даёт систематическое, обобщённое описание посещённых им стран.

Удивительно многогранны были интересы путешественника. Его увлекали исследования высокогорного оледенения (он был настоящим альпинистом), изучение «белых пятен», растительности, рельефа. Тепло описывает он жителей, их быт.

Многое изменилось на Алтае со времени работ В. Сапожникова. Совсем другим стал Русский Алтай, да и Монгольский Алтай изменил своё лицо. Через Горно-Алтайскую автономную область ныне проходит прекрасная автомобильная дорога — Чуйский тракт, связывающий СССР с Монголией. На тракте, на высоких Чуйских степях, приютился посёлок Кош-Агач. Невзрачная картина этого посёлка многократно подчёркивалась путешественниками. В 1842 году здесь были лавки купцов — четыре сарая без окон и дверей. Но уже В. Сапожников описывает селение Кош-Агач так: «...оно состоит из маленькой деревянной церкви и десятка домов и лавок для временного склада товаров. Вид селения очень пустынный и неприютный, так как постоянных жителей почти нет. Оживляется Кош-Агач в мае и декабре, т. е. в период доставки монгольских товаров и отпуска русских».

Ныне советский Кош-Агач — районный центр Горно-Алтайской автономной области и экономический центр Чуйской долины. Это большой посёлок с правильными, широкими улицами, аккуратными домами. Здесь школа, банк, типография, библиотека при парткабинете.

Коренным образом изменилось социальное лицо горного Алтая. По высоким горным пастбищам и долинам кочевал алтаец со своим несложным хозяйством — юртой и небольшим количеством крупного рогатого скота и овец. В свободное время промышленлял кочевник зверя, которого много в лесах, горах. Бил лося, благородного оленя, кабаргу, коосулю, сурка, белку. Особенно удачливой бывала охота во время смены рогов у оленей-маралов, когда панты — молодые неокостеневшие рога — можно было заготавливать и продавать в Китай, где они издавна применялись в медицине. Ходил алтаец к шаману, просил у него помощи в борьбе с болезнями, удачи в охоте, защиты от хищных зверей и непогоды.

Организация колхозов на Алтае, переход жителей от кочевой жизни к оседлой, пре-

образили этот горный край. Возникли новые населённые пункты в тех местах, где когда-то по пустырям пробирался маленький караван В. Сапожникова. Переход к оседлости бывших алтайских кочевников вызвал усиленное строительство домов, юрт стало гораздо меньше. В далёких колхозных посёлках появилось много культурных учреждений. Сюда пришли врач, учитель, агроном, зоотехник, ветеринар. Вместе с развитием животноводства продвинулось в горы земледелие. На Алтае созданы специальные мараловодческие хозяйства. Теперь здесь добывают панты, но не убивают при этом оленей-маралов. Развитие горного промысла неизбежно привело к вовлечению недавних кочевников и охотников в промышленность.

Разительные перемены со времени исследований В. Сапожникова можно видеть и по ту сторону советской границы — в Монгольской Народной Республике. Когда в Монгольском Алтае работал этот путешественник, Монголия являлась китайской колонией. В большой нищете и бесправию жили монгольские араты.

Западная Монголия обладает большой этнографической пестротой. Здесь кочуют западномонгольские племена: дюрбеты, баяты, торгоуты, дзахачины, олеты и другие; племена тюркских языков: алтайские тувинцы и казахи. Монгольская Народная Республика, став на путь революционных преобразований, предоставила возможность хозяйственного и культурного развития всем этим народам. В 1941 году постановлением Монгольского правительства был организован специальный национальный казахский аймак, лежащий в алтайских горах, на крайнем западе МНР.

В 1909 году В. Сапожников пересек долину Кобдо в урочище Улан-хусу. «Сама степь Улан-хусу, — пишет он, — кое-где заросла чием и полынью, а ближе к р. Кобдо заболочена».

Пустынные эти места я посетил в 1941 году и нашёл здесь оживлённый посёлок — районный центр Баян-Улэгэйского национального казахского аймака, а ниже его, в Улэгэе, видел новый аймачный центр, возникший на галечной террасе реки Кобдо. На глазах у меня шло строительство больших деревянных тёплых домов (зима в этих местах суровая). С алтайских гор по Кобдо сплавляли лес, главным образом

ровные стволы лиственницы. Уже была построена большая казахская школа, амбулатория, больница, дома аймачного управления и аймачного Комитета Монгольской народно-революционной партии. Несколько лет в Улэгэе работает казахский драматический театр, выросший из любительского кружка. Улэгэй связан телеграфом с Улан-Батором и Бийском, почтовые машины регулярно доставляют сюда газеты, журналы и почту из столицы Монголии, а на месте издаётся своя аймачная газета.

Книга «По Алтаю» рассказывает о последовательном изучении этой горной страны, когда науке ещё очень мало было известно о ней. Вклад В. Сапожникова в историю исследования Азии бесспорен.

В рецензируемом издании впервые напечатан и большой биографический очерк о В. Сапожникове, написанный его дочерью и спутницей по некоторым алтайским маршрутам — Н. Сапожниковой. Редакцию кни-

ги и подбор материала из трёх книг, вышедших при жизни автора, осуществил В. Обручев — помощник В. Сапожникова в его путешествиях по Монгольскому Алтаю. Следует отметить кропотливый труд редактора по составлению комментариев и примечаний, в которых он подытожил, в связи с исследованиями В. Сапожникова, наши современные представления об Алтае и сдвиги, происшедшие за последние сорок лет.

Книга В. Сапожникова «По Русскому и Монгольскому Алтаю» — часть большого вклада наших учёных-исследователей в географию азиатского материка, его самых труднодоступных горных районов. Этот ценный труд является существенным дополнением к серии больших книг русских путешественников, изданных Географгизом.

Доктор географических наук
Эд. МУРЗАЕВ.

★

Русские путешественники в Африке

Африка — третий по величине материк — к середине XIX века была исследована не больше, чем на одну треть. Однако результаты первых же экспедиций в Африку пробудили живейший интерес к этому матерiku не только людей науки. К несметным её природным богатствам потянулись жадные руки колониального капитала, в первую очередь английского и французского. Весьма скоро путешествия в глубь Африки приобрели новый, зловещий смысл: географы и учёные — хотели они этого или не хотели — стали выступать в роли разведчиков империализма.

В роли таких путешественников-колонизаторов оказались, например, Стэнли и Де-Бразз, Нахтигаль и Рольфе и многие другие. Их заслуги в качестве учёных меркнут перед их «заслугами» в качестве пособников поработителей африканских народов. Рука об руку с учёными-колонизаторами в Африку хлынула армия миссионеров, несших туземцам «свет христианской религии». По выражению Ленина, европейские капиталисты «...лицемерно прикрывали политику грабежа распростра-

нением христианства...».¹ Известно, что рядом с проповедниками евангельского смирения всегда шли вооружённые солдаты. В результате, как говорили туземцы, сперва у европейцев была Библия, а у нас земля, но затем Библия оказалась у нас, зато земля — у них. Известный миссионер и исследователь Африки Ливингстон признавался: «Народ не проявляет ни малейшей любви к евангелию. Они ненавидят и боятся его так же, как наши старинные тори боялись и ненавидели дух революции»...

В наши дни интерес к Африке со стороны империалистических держав не только не ослабел, наоборот — значительно усилился. В планах развязывания третьей мировой войны англо-американские экспансионисты большую роль отводят африканскому матерiku и в связи с его стратегическим положением, и как сырьевой базе, и как резерву пушечного мяса.

Люди капиталистической науки, той науки, которая, по выражению органа американских биржевиков «Бизнес уик», «надевает военную форму», торопятся, как встарь, в Африку прокладывать пути для

И. И. Бабков. «По Африке». Географгиз, 1949.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, изд. 3-е, т. IV, стр. 61.

военной экспансии, помогать строителям военно-морских и военно-авиационных баз, а также монополиям, интересующимся богатыми месторождениями африканской земли.

Что несут эти «географы» народам Африки, можно понять, вспомнив хотя бы о пресловутом мальтузианце «географе» и геополитике Вильяме Фогте, призывающем к уничтожению целых народов.

Обо всём этом думаешь по закону контраста, когда перелистываешь страницы брошюры «По Африке», рассказывающей о Е. Ковалевском, а также о других русских путешественниках по Африке — В. Юнкере и А. Елисееве.

Во все времена передовым людям русской науки были свойственны стремление служить своей родине и высокий гуманизм. Русские путешественники, открывшие и исследовавшие около трети всей поверхности земли, глубоко изучали не только природу, но и местное население, не делили другие народы на «низшие» и «высшие», относились к ним доброжелательно и без предубеждения. Достаточно вспомнить о друге темнокожих, борце против колонизаторов Н. Миклухо-Маклае. Он не был изолированным явлением в русской науке XIX века. Ещё за четверть века до его поездки на Гвинею другой замечательный русский путешественник Егор Петрович Ковалевский проник в сердце Африки и высказал ряд глубоких и смелых мыслей, весьма сходных с мыслями Н. Миклухо-Маклая.

К Е. Ковалевскому, как и к Н. Миклухо-Маклаю могут быть отнесены проникновенные слова А. П. Чехова о Н. Пржевальском и людях, ему подобных: «Их идейность, благородное честолюбие, имеющее в основе честь родины и науки, их упорство, никакими лишениями, опасностями и искушениями личного счастья непобедимое стремление к раз намеченной цели, богатство их знаний и трудолюбие, привычка к зною, к голоду, к тоске по родине, к изнурительным лихорадкам... делают их в глазах народа подвижниками, олицетворяющими высшую нравственную силу»¹.

В нынешнем году исполняется сто лет со времени выхода в свет книги Е. Ковалевского «Путешествие во внутреннюю

Африку», явившейся ценным вкладом в дело изучения Африканского материка.

Е. Ковалевский был всесторонне образованным человеком. Совмещая в себе геолога, инженера, путешественника, он исколесил не только Европу и Африку, но и Азию. Он был и дипломатом, и историком, и, наконец, литератором. Между прочим, он основал комитет для пособия нуждающимся литераторам и учёным (литературный фонд). Е. Ковалевский принимал активное участие в работе Русского географического общества.

Путешествие в Африку Е. Ковалевский совершил в 1847—48 годах по приглашению правителя Египта Мухаммеда (Мегмета) Али для организации разработок золотых россыпей, открытых в верхнем Египте. Русского инженера сопровождали работавшие с ним на Урале опытные мастера-штейгеры.

Для того чтобы прибыть к месту разработок, Е. Ковалевскому пришлось преодолеть громадные трудности и совершить путь в две тысячи километров — в том числе на парусной барке по Нилу и с караваном через пустыню.

С подлинным литературным блеском описал Е. Ковалевский все этапы своего пути, во время которого он совершил ряд научных открытий. Его книга «Путешествие во внутреннюю Африку» может служить образцом увлекательного рассказа учёного-географа, исследователя неизвестных земель.

Е. Ковалевский меньше всего чувствовал себя в далёкой Африке сторонним наблюдателем или просто регистратором новых и необычных для него явлений. Нет, твёрдо веря в передовую науку, которая должна преобразовать мир, он стремился проникнуть в самую сущность этих явлений, чтобы поставить их на службу человеку. Узнав, как оживает пустыня, когда—один раз в десять лет—в ней выпадают дожди, Е. Ковалевский пишет: «Значит не вечной же смерти обречена эта пустыня! Если природа так быстро может исторгнуть её из рук смерти, то и человек, силою труда и времени, может достигнуть этого же». Поистине—пророческие слова!

Успешно выполнив поставленную перед ним задачу, Е. Ковалевский совершил экспедицию в неисследованные области Африки. Он первым из европейцев и египтян до-

¹ А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем, Гослитиздат. 1947, т. VII, стр. 476.

стиг реки Тумат и подробно исследовал лежащий между Белым и Голубым Нилом Сеннарский полуостров. Е. Ковалевский нанёс на карту местность, расположенную между рекой Туматом и Абиссинским нагорьем, и назвал её Николаевской страной. Протекающая здесь речка получила наименование Невки. «Это название, — с патриотической гордостью указывал Е. Ковалевский, — может служить указанием, до каких мест доходил европейский путешественник и к какой нации он принадлежит». Так в самом сердце Африки появились русские названия.

Большой заслугой Е. Ковалевского является и то, что он указал правильное направление, где нужно искать истоки Нила.

Как уже указывалось, в рецензируемой брошюре приведены также описания путешествий по Африке видных её исследователей В. Юнкера и А. Елисеева. Нам кажется, что было бы гораздо более целесообразным посвятить по брошюре каждому из них. И во всяком случае, автор и издательство должны были добросовестно поработать над материалом. Поставив перед собой неправильную для объёма брошюры задачу — сказать обо всём и обо всех, автор и издательство выпустили книжку, перегруженную подчас повторяющимися описаниями африканской природы и написанную небрежно, сухим, невыразительным языком. Автор даже не упомянул, например, что Е. Ковалевский открыл левый приток Нила —

Абудом и опроверг тем самым мнение современных ему географов, что у Нила имеется лишь один приток — река Атбара. На серых страницах брошюры оазисами выглядят приводимые автором отрывки из книг самих путешественников.

Если задачей путешественников являлось стремление познакомить своих современников с неизвестным им внешним миром, то основной задачей автора брошюры должно было бы явиться ознакомление читателя с внутренним миром самого открывателя новых земель. И этого И. Бабков не сделал. Лишь скороговоркой, в нескольких абзацах («в заключение необходимо обновиться...», как сам он пишет) рассказал автор о передовых взглядах Е. Ковалевского — этнографа.

А между тем замечательные высказывания Е. Ковалевского об африканских племенах звучат страстно и злободневно и заслуживают, конечно, гораздо более подробного и глубокого обобщения.

Напечатанными в брошюре картами путешествий пользоваться затруднительно, так как на них не нанесены многие пункты, бывшие основными вехами пути Е. Ковалевского, В. Юнкера и А. Елисеева.

Географизму, выпустившему за последнее время немало хороших книг, следовало бы более вдумчиво относиться к важному и полезному делу — выпуску брошюр серии «Русские путешественники».

А. ИГЛИЦКИЙ



СНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Декабрь 1949 года

★

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Виктор Авдеев. Земля моих отцов. Повесть и рассказы. 224 стр. Цена 7 р. 50 к.
Георгий Гулиа. Добрый город. Повесть. 148 стр. Цена 4 р.

Владимир Добровольский. Трое в серых шинелях. Повесть. 232 стр. Цена 7 р.

Михаил Жестев. Земля моя. Рассказы. 200 стр. Цена 4 р. 75 к.

Наири Зарьян. Избранное. Перевод с армянского. 200 стр. Цена 6 р. 50 к.

Лео Киачели. Человек гор. Роман. Перевод с грузинского Э. Ананишвили. 188 стр. Цена 6 р. 50 к.

Юрий Лаптев. Заря. Повесть. 272 стр. Цена 8 р.

Латышские рассказы. Составитель Л. Г. Блюмфельд. 520 стр. Цена 15 р.

Леонид Леонов. В наши годы. Публицистика 1941—1948. 322 стр. Цена 9 р.

Кави Наджми. Прибрежные костры. Повести и рассказы. Авторизованный перевод с татарского. 202 стр. Цена 5 р.

С. Надсон. Стихотворения. 224 стр. Цена 5 р. 75 к.

Н. Рыленков. Зелёный цех. Стихи. 134 стр. Цена 3 р. 50 к.

Анна Саксе. В гору. Роман. Перевод с латышского. 548 стр. Цена 16 р.

В. Саянов. Ленин в Горках. 94 стр. Цена 3 р.

Георгий Соловьёв. Трудное плавание. Повесть. 152 стр. Цена 5 р.

ГОСЛИТИЗДАТ

В. Г. Белинский. Избранные сочинения. 1096 стр. Цена 34 р.

С. Бородин. Дмитрий Донской. Роман. 396 стр. Цена 8 р. 25 к.

С. Голубов. Вагратион. Исторический роман. 344 стр. Цена 7 р. 50 к.

И. А. Гончаров. Обыкновенная история. Роман в двух частях. 312 стр. Цена 5 р.

Б. Горбатов. Непокорённые. (Семья Тараса). 136 стр. Цена 4 р.

Эмиль Золя. Чрево Парижа. Перевод с французского. 348 стр. Цена 6 р. 50 к.

П. Игнатов. Записки партизана. 632 стр. Цена 14 р. 75 к.

А. В. Кольцов. Избранные стихотворения. 104 стр. Цена 1 р. 75 к.

М. Ю. Лермонтов. Лирика. 64 стр. Цена 75 к.

С. А. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография. Том I. 512 стр. Цена 10 р. 50 к.

Н. Маслин. Владимир Маяковский. 168 стр. Цена 3 р. 50 к.

В. В. Маяковский. Полное собрание сочинений. Том 12. 240 стр. Цена 15 р.

Мультигули. Избранные произведения. Перевод с голландского. 320 стр. Цена 6 р.

Н. А. Некрасов. Мороз, красный нос. 76 стр. Цена 14 р.

Агриппа д'Обинье. Трагические поэмы. Мемуары. 152 стр. Цена 4 р.

М. Е. Салтыков-Щедрин. Избранные произведения в семи томах. Том VI. 512 стр. Цена 10 р.

М. Е. Салтыков-Щедрин. Избранные сказки. 78 стр. Цена 1 р.

К. Симонов. Пьесы. Русский вопрос. Чужая тень. 168 стр. Цена 4 р. 50 к.

Т. Смоллет. Приключения Родрика Рендома. Перевод с английского. 552 стр. Цена 9 р. 50 к.

В. Н. Сосюра. Стихотворения и поэмы. Перевод с украинского. 240 стр. Цена 6 р.

Н. Степанов. И. А. Крылов. Жизнь и творчество. 376 стр. Цена 7 р.

Л. Н. Толстой. Война и мир. (В двух книгах). Послесловие С. Бычкова. Томы 1 и 2. 736 стр. Цена 13 р. Томы 3 и 4. 784 стр. Цена 13 р.

Г. И. Успенский. Избранные сочинения. 496 стр. Цена 19 р.

Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений в пятнадцати томах. Том VI. 548 стр. Цена 18 р.

Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений. Том XIII. 920 стр. Цена 18 р.

А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем. Том XVIII. 672 стр. Цена 15 р.

Вильям Шекспир. Полное собрание сочинений. Том VIII. 688 стр. Цена 20 р.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Н. Бирюков. Воды Нарына. 662 стр. Цена 17 р.

Вот она, Америка! 264 стр. Цена 8 р. 50 к.

В. Коротеев и В. Левкин. Комсомольцы Сталинграда. 112 стр. Цена 1 р. 20 к.

Ф. Наседкин. Большая семья. 448 стр. Цена 11 р.

Н. Панова. Они будут пионерами. 216 стр. Цена 7 р.

Б. Рябинин. Геннадий Фукалов. 176 стр. Цена 1 р. 50 к.

В. Серебряков. Лыжный спорт. 48 стр. Цена 1 р.

А. Харламов. Комсомол — помощник партии в государственном и хозяйственном строительстве. 72 стр. Цена 1 р. 30 к.

Юные садоводы-мичурицы. Сборник. 128 стр. Цена 7 р. 50 к.

ГОСПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс. Капитал. Том II. 530 стр. Цена 15 р.

Ф. Энгельс. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. 58 стр. Цена 60 к.

В. И. Ленин. Государство и революция. 120 стр. Цена 1 р. 50 к.

В. И. Ленин. Грозящая катастрофа и как с ней бороться. 48 стр. Цена 60 к.

В. И. Ленин. Сочинения. Том 26. 532 стр. Цена 6 р. 50 к.

И. Сталин. Политический отчет Центрального Комитета XIV съезду ВКП(б). 292 стр. Цена 6 р.

И. В. Сталин. Политический отчет Центрального Комитета XV съезду ВКП(б). 236 стр. Цена 6 р.

И. Сталин. Политический отчет Центрального Комитета XVI съезду ВКП(б). 304 стр. Цена 6 р.

И. В. Сталин. Отчетный доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б). 206 стр. Цена 6 р.

И. В. Сталин. Отчетный доклад на XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б). 56 стр. Цена 1 р.

А. Берёзкин. США — активный организатор и участник военной интервенции против Советской России (1918—1920 г.г.). 184 стр. Цена 2 р. 50 к.

Великий вождь и учитель коммунистической партии и советского народа. К семидесятилетию со дня рождения И. В. Сталина. 32 стр. Цена 30 к.

Г. М. Маленков. 32-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Доклад на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1949 г. 32 стр. Цена 30 к.

Н. С. Маслова. Производительность труда в промышленности СССР. 260 стр. Цена 5 р.

М. Суслов. Защита мира и борьба с поджигателями войны. Доклад на совещании Информационного Бюро коммунистических партий в Венгрии во второй половине ноября 1949 года. 32 стр. Цена 40 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Ф. Бонт. Дорога чести. Перевод с французского. 362 стр. Цена 19 р.

А. Клима. 1848 год в Чехии. Начало чешского рабочего движения. 238 стр. Цена 13 р. 50 к.

Р. Крессоль. Рост цен во Франции. Перевод с французского. 112 стр. Цена 4 р. 50 к.

Ю. Кучинский. История условий труда в Германии. Перевод с немецкого. 532 стр. Цена 27 р. 50 к.

Андре Марти. Славные дни восстания на Чёрном море. 136 стр. Цена 5 р. 20 к.

К. Прадо. Экономическая история Бразилии. Перевод с португальского. 338 стр. Цена 17 р. 30 к.

А. Рочестер. Почему бедны фермеры. Перевод с английского. 354 стр. Цена 19 р.

Э. Серени. Аграрный вопрос в Италии. Перевод с итальянского. 404 стр. Цена 21 р.

Л. Стеффенс. Разгребатель грязи. Перевод с английского. 196 стр. Цена 7 р. 15 к.

В. Тарн. Эллинистическая цивилизация. Перевод с английского. 372 стр. Цена 19 р.

Б. Эдвардс. Химические тресты Англии. Перевод с английского. 118 стр. Цена 4 р. 50 к.

Л. Эннекерус. Курс германского гражданского права. Том I. Полутом I. Перевод с немецкого. 436 стр. Цена 33 р.

Главный редактор **Константин Симонов.**
 Редколлегия: **Борис Агапов, Валентин Катаев,**
Александр Кривицкий (зам. главного редактора),
Константин Федин, Михаил Шолохов.

Редакция: Москва, 6. Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
 Вход с улицы Чехова, 1.

Сдано в набор 24/XII—49 г.

А 00406.

Объем 19³/₄ печ. л.

Подписано к печати 13/I—50 г.

Тираж 66.300.

Заказ № 2552.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
 имени И. И. Скворцова-Степанова.

No 8

Цена 9 руб.